ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1
1958

ИНОСТРАННАЯ Литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ПОЖЕЛАНИЕ НА НУЛЕВОЙ ГОД

— Возможно, наступит день, когда мы тоже начнем запускать луны...
— Почему бы нет? Но начнем с серпа и молота.

Рисунок Жана Эффеля, присланный художником для нашего новогоднего номера.

1

1958

ЯНВАРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ“ МОСКВА

Содержание

ГО МО-ЖО — Стихи, написанные в Москве . . 3
АЛЬБЕРТО МОРАВИА — Чочара (Роман) . . 7
ГАБРИЭЛА МИСТРАЛЬ — Стихи разных лет. Предисловие Пабло Неруды 86
ИВАЙЛО ПЕТРОВ — Нонка (Повесть). Предисловие автора 93
ТУДОР АРГЕЗИ — Стихи 133

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Письма и заметки Стендаля (Анри Бейля) (К 175-летию со дня рождения) 187

КРИТИКА

ЧЖОУ ЯН — За развитие социалистического искусства 194
Р. ХЛОДОВСКИЙ — Альберто Моравиа . . . 198
В. ИВАШЕВА — Английский роман пятидесятых годов 211
О. ЕГОРОВ — «Прием в свете» Г. Манна . . 218
МАРТИН НАГ — Путь к расцвету 222

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОШЛОГО

О. РОССИЯНОВ — Эндре Ади с нами 225
ЭНДРЕ АДИ — Публицистические статьи . . 231

НА КИНОЭКРАНАХ

ЖОРЖ САДУЛЬ — Я видел новый фильм Чаплина 236

ИЗ ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СВЯЗЕЙ МАСТЕРОВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Письма к Сергею Михайловичу Эйзенштейну 242

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Боевое искусство Джона Хартфильда . . . 252

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

А. Михайлов — Книга воспоминаний о М. Горьком. ◇ Нгуен Ван Тыок — Роман о предреволюционном Вьетнаме. ◇ Р. Ралов — «Закон». ◇ С. Майзельс — Книга о трудовых людях Англии. ◇ К. Наумов — Преступление и наказание Силио Транифило. ◇ С. Иванько — Сборник китайских рассказов. ◇ Л. Симонян — Журнал и его читатели. ◇ Н. Лопырев — Четвертый роман эпопеи «Британский путь» . . . . . 25[illegible]9

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника). 269

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . . 288

Го Мо-жо

Стихи, написанные в Москве

Вольный перевод с китайского А. Суркова

ПРИВЕТ ТЕБЕ, НОВЫЙ ГОД!

Рады мы все твоему появлению, юноша год!
Планом второй пятилетки отметили мы твой приход.
Днями весны одаряешь ты, юный жених,
Наши надежды, мечты, вдохновение в них.
Пусть этот стих о твоей красоте и богатстве поет.

Мы говорим: люди нашей китайской земли
Первый свой план перевыполнить с честью смогли,
К социализму разбег пятилетками дан,
Радуга моста взвилась над рекой Янцзыцзян,
К высям Тибета мы ленты шоссе провели.

Мы говорим: реактивный построен уже самолет,
Марки «цзефан» машины текут из фабричных ворот,
Твердо шагаем мы избранным нами путем,
Быстро, уверенно, смело преграды сметем.
Славит тебя шестисотмиллионный народ.

Мы говорим: перед радостной встречей с тобой
Дали мы правым жестокий, решительный бой,
Чтобы Китай превратили мы в сказочный сад,
Чтоб сто цветов подарили нам свой аромат,
Чтоб ты, как феникс, крылья простер над страной.

Мы говорим: друзей принимает радушно страна,
Спутник твой — счастье и мирных времен тишина,
Наши богатства мы добыли в мирном труде,
Песни о дружбе слышатся в мире везде,
Время придет и забудется слово «война».

Юноша год! Славословья тебе не нужны.
Видишь, как стали в труде наши люди сильны.
Пусть быстротечное время меняет года —
Мы бы хотели тебя задержать навсегда
Символом счастья и вечной народной весны.

В МАВЗОЛЕЕ ЛЕНИНА

Дыхание, замри... Пусть будет тишина.
Великий Ленин здесь почил навеки.
Здесь даже тишина величия полна.
Здесь Сталина во сне смежились веки.
Здесь места для тщеславных мыслей нет.
Здесь человек, склонясь, молчанье не нарушит.
Здесь мудрости спокойный, сильный свет.
Как солнце, озаряет души.

У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ

Солнце прямыми лучами Москву обожгло.
Бронзовый Пушкин, почуяв тепло,
Шляпу в раздумье держа за спиной,
Смотрит на город родной.
Может быть, песня в душе у тебя родилась?
Может быть, в песне — советская власть,
Спутников первых мерцающий свет,
Шелест летящих ракет?
Стих свой звенящий в сердце моем прочитай —
Слово твое долетело в Китай.
Пусть же звучит оно в каждой стране
Мечтами о вечной весне.

ПРОГУЛКА

Температура упала ниже нуля,
А на клумбе, сквозь иней, багрятся цветы.
Сюда не пропустят древние стены Кремля
Стихающий гул городской суеты.
Зелень газона сверкает во льду.
Хвою украсил узор ледяной.
Я между елей кремлевских иду,
Красные звезды горят надо мной.

«ЧОЧАРА» *Рис. Д. Дубинского*

Альберто Моравиа

Чочара

РОМАН

Перевод с итальянского Г. Богемского и Г. Брейтбурда
Под редакцией Н. Георгиевской

ГЛАВА ПЕРВАЯ

До чего же хорошее было время, когда меня выдали замуж и из своей деревни я переехала в Рим!

Знаете, как в песне поется: «Когда чочару* замуж выдают, за ней веревки клок да чочи** отдают».

Но я мужу все отдала — не то что веревку да чочи,— ведь он же муж мне и увозил меня в Рим, а я так была довольна, что туда еду, не знала я, что в Риме-то и ждет меня беда. Была я круглолицей, и глаза у меня были большущие, черные, пытливые, а черные волосы, сплетенные в две тугие, словно канаты, косы, почти весь лоб закрывали. Губы у меня были красные, как коралл,— и стоило засмеяться, как все видели, что зубы у меня белые, ровные, красивые. И сильная я была — на голове, на круге, по обычаю нашему, бывало, до пятидесяти кило поднять могла. Отец с матерью у меня, знаете, крестьяне были, а приданое мне справили не хуже, чем барыне,— всего по тридцать штук дали: простынь тридцать, наволочек тридцать, платков тридцать, сорочек тридцать. Все из тонкого и прочного льняного полотна, мама сама на своем станке выткала, а кроме простынь, еще пододеяльники, вышитые красивым узором. Были у меня и кораллы— дорогие, темно-красные — целое ожерелье, да еще сережки золотые с коралловыми подвесками, колечко золотое тоже с кораллом и даже красивая шпилька, тоже золотая и с кораллами. И другие золотые вещи были — все наше, семейное; да медальон нагрудный с камеей — на ней красивый такой пастушок с овцами.

У мужа была лавчонка в Трастевере в тупике дель Чинке. Квартиру он снимал в том же доме, прямо над лавкой. Стоило высунуться из окна спальни, и можно было рукой дотянуться до вывески цвета бычьей крови с надписью «Хлеб и макароны». Два окна у нас выходили во двор, два на улицу; в квартире было четыре комнатушки, тесные и низенькие, но я их хорошо обставила — кое-что мы прикупили на рынке в Кампо ди Фьори, кое-что мне и мужу от родителей досталось. Спальня была новехонькая: с двуспальной железной кроватью, расписанной под дерево, с цветами и гирляндами у изголовья. В гостиную я поставила красивый диван с деревянными завитушками, обитый цветастой тканью, два креслица, тоже с завитушками и такой же тканью, да круглый обеденный стол и буфет с посудой — всё до последней тарелки из тонкого фарфора с позолоченным ободочком, а внутри цветы и фрукты нарисованы. Муж с утра пораньше отправлялся в лавку, а я бралась за уборку. Все перетру, начищу, обмету

---

* Чочара — крестьянка из Чочарии, горной местности к югу от Рима.

** Чочи — род обуви из овечьей шерсти, подвязываются веревкой, как лапти

каждый уголочек. Кончишь уборку— и дом блестит, как зеркало, а из окон сквозь белые занавеси льется внутрь спокойный, мягкий свет. Взглянешь на комнаты, в которых все прибрано, чисто, все блестит, все на своем месте стоит,— и радостно становится на сердце. До чего ж хорошо иметь свой дом, куда никто без спросу не войдет. Кажется, всю жизнь за ним глядела бы да убирала. Покончив с уборкой, я, бывало, оденусь, причешусь и отправлюсь с корзинкой за покупками. Рынок в двух шагах от дома, а пока обойдешь ряды — битый час пройдет. Покупала я немного, ведь у нас почти все у себя в лавке было, а просто поглазеть хотелось. Пройду я меж рядов и на все погляжу: на фрукты, на зелень, мясо, рыбу, яйца; в торговле я толк понимала, любила подсчитать, что сколько стоит, от чего какая прибыль, разбиралась в товарах, любила выводить на чистую воду всякие обманы да жульничества торговок.

Любила я и поторговаться: поставишь товар на весы, уйдешь, потом снова вернешься, еще поторгуешься, а потом так ничего и не купишь. Кое-кто из торговцев пытался было за мною поволочиться, намекая, что даром товар уступит, будь я к нему поласковей, но я так их отваживала, что им сразу становилось ясно, не на таковскую напали. Нрава я была гордого, из-за пустяка кровь бросалась в голову, так что глаза застилало; и право же, думала я, хорошо, что женщины не таскают в кармане нож, как мужчины, а то в гневе я могла бы кого-нибудь и укокошить. На одного продавца, который приставал ко мне больше других и раз чуть не силой хотел мне всучить свой товар, я с булавкой так и накинулась. К счастью, полиция подоспела вовремя, не то всадила бы ему эту булавку прямо в спину.

Домой возвращалась я довольная и ставила варить суп; положу туда косточек, мяса кусок и зелень какую-нибудь для запаху, потом иду в лавку. Мне и в лавке нравилось. Торговали мы всем понемногу — были у нас макароны, хлеб, рис, сушеные овощи, вино, оливковое масло, консервы. Стоишь себе за прилавком, словно королева, с голыми руками до самых локтей, на груди медальон с камеей, товар достаешь быстро-быстро, взвесишь, карандашом запишешь цену на оберточной бумаге, завернешь и подашь покупку. Муж у меня был не такой проворный. Забыла вам сказать,что он уже почти стариком был, когда я за него замуж пошла. Люди болтали, что я из корысти на это решилась, конечно я его никогда не любила, но видит бог, не изменяла ему, хотя он сам не был мне верен. У бедняги были свои странности, а главное, он думал, будто нравится женщинам, но в действительности наоборот. Человек он был болезненно тучный, с черными глазами, всегда налитыми кровью, и желтым лицом, будто осыпанным крошками табака. Был он желчный, скрытный и грубый, и не дай бог ему перечить. Сам он то и дело уходил из лавки, и я знала, что шляется он по девкам, но готова поклясться, что женщин он находил только за деньги. Известно, за деньги всего добьешься, за деньги и невеста ничего не постесняется. А я быстро догадывалась, когда дело у него шло на лад,— он тогда сразу становился веселым и даже любезным. Когда у него женщин не было, он ходил мрачный, отвечал мне грубо, а случалось, даже руки пускал в ход. Только я ему однажды сказала: «Шляйся с кем хочешь, а меня трогать не смей, не то брошу тебя и вернусь домой». Ухажеров я не заводила, хоть их и не мало, как уже говорила, за мной бегало. Привязалась я к дому, к лавке, а потом, когда девочка родилась, вся моя любовь на нее ушла. До баловства мне дела не было. Может, оттого, что я знала только старого и уродливого мужа, сама любовь стала внушать мне почти отвращение. Одного мне хотелось — жить в достатке и спокойно. Словом, что бы там ни было, а жена должна быть верна мужу, даже если муж, как у меня, сам ей неверен. А муж с годами старел и теперь, когда он даже за деньги не мог найти себе женщин, ста-

новился все невыносимей. Давно уж я ему женой не была, но однажды ни с того ни с сего, может оттого, что он других женщин не находил,— пришла ему дурь в голову, и он снова решил заставить меня позабавиться с ним, да не как жена с мужем, а как девка распутная со своими дружками... Мне такие вещи всегда были не по нраву, даже в первые дни после свадьбы, когда я была так счастлива, что мне казалось, будто я его и на самом деле люблю. Я сказала тогда мужу, что не нравится мне это, и он так сильно меня прибил, что даже кровь из носу пошла. Но потом понял, что я твердо стою на своем, и перестал приставать, но зато возненавидел меня и стал всячески изводить. Я терпела, но в душе тоже его ненавидела, просто глаза мои на него не смотрели бы. Так и сказала на исповеди священнику: умрет мой муж дурной смертью. Но чего от духовника ждать — он мне посоветовал терпеть и положиться на благость Мадонны. Я тем временем взяла к себе в дом помощницу, девочку пятнадцати лет, звали ее Биче, родители мне ее поручили, ведь она была почти ребенком. Тогда мой муженек принялся ухаживать за ней. Стоило ему заметить, что я занята с покупателями, как он уходил из лавки, бегом взбирался по лестнице в кухню и бросался на девушку, как волк. Ну, тут уж я не выдержала, велела ему бросить Биче, а затем, увидев, что он не перестает ее мучить, уволила ее. Тут-то он меня еще сильней возненавидел и стал называть ослицей: «Ослица вернулась?», «Где ослица?»... Словом, тяжелый это был крест, и, когда он заболел не на шутку, должна признаться, у меня на душе как-то полегчало. И все же ходила я за ним с любовью, как и следует ходить за мужем, если он болен, и люди знают, что я забросила лавку и все время была подле него и даже сон потеряла. В конце концов он умер, и тогда я снова почувствовала себя почти счастливой. У меня была лавка, был дом, была девочка, похожая на ангелочка. И больше мне нечего было в жизни желать.

Настали самые счастливые годы в моей жизни: 1940, 1941, 1942, 1943-й. Правда, была война, но я о войне ничего не знала. Ведь у меня, кроме моей девочки, детей не было, и какое мне дело до войны. Пусть себе убивают друг друга сколько влезет, самолетами, танками, бомбами, а мне, чтобы быть счастливой, как я и была, довольно лавки и квартиры. Впрочем, я мало что знала о войне. Хоть я умею считать и даже могу подпись свою поставить, сказать по правде читаю я плохо, в газетах меня интересовали лишь преступления в отделе происшествий, да и те мне читала Розетта. Немцы, англичане, русские, американцы — для меня один черт. Когда в лавку заходили солдаты и хвастались: «Там победим, туда долетим, добьемся, пробьемся»,— я им отвечала: «По мне все ладно, лишь бы торговля шла». А торговля и на самом деле шла хорошо, хотя мне с Розеттой целыми днями приходилось вырезать талоны из продовольственных карточек, орудуя ножницами, словно мы портнихи, а не лавочницы. Торговля шла хорошо оттого, что я держалась молодцом и всегда ловчила, чтобы немного выгадать на весе. Да к тому же, когда ввели карточки, мы с Розеттой вдвоем стали понемногу промышлять на черном рынке. Иногда запрем лавку и поедем ко мне в деревню или куда поближе. С собой захватим два больших пустых фибровых чемодана, а обратно привозим их полнехонькими всякой всячины: муки, ветчины, яиц, картошки. С полицией я договорилась: ведь и им тоже есть надо. Теперь я стала больше продавать из-под полы, чем по карточкам. Нашелся один полицейский, который решил взять меня за горло. Пришел и сказал, что донесет на меня, если я его не приласкаю. Я ему спокойно-спокойно ответила:

— Хорошо, приходи попозже ко мне домой.

Он покраснел, словно его удар хватил, и молча ушел. В условленное время он заявляется, я его провела в кухню, открыла ящик, вынула нож, приставила ему к горлу, говорю:

— Хочешь доносить — доноси, но прежде я тебя прирежу.

Он испугался, сказал, что я сумасшедшая, а пришел он шутки ради и только. А потом добавил:

— Что ты, иначе скроена, чем все женщины? Мужчины-то тебе разве не нравятся?

Я ему ответила:

— Ну, это ты другим расскажи... А я вдова, на мне торговля, я только о лавке и думаю... о любви я и не помышляю... так и запомни.

Он-то не сразу поверил и продолжал еще за мной ухаживать, правда теперь уже с почтением. А ведь я ему правду сказала. После того как родилась Розетта, мне не до любви было, а может, она меня и раньше не интересовала. Такая уж я есть: всегда терпеть не могла, чтоб кто-нибудь ко мне прикасался. Не выдай меня родители в свое время замуж, я б и теперь такой же была, какой меня мать на свет родила.

Но внешность обманывает, и я нравилась мужчинам; хоть росту я невысокого и с годами располнела, а лицо у меня гладкое, без единой морщинки, глаза черные-пречерные и зубы белые. Эти годы, которые, как я уже говорила, были в моей жизни самыми счастливыми, и многие на мне хотели жениться. Но я-то знала, что метили они на лавку и квартиру, даже если распинались, что любят меня по-настоящему. Может, они и сами того не знали, что лавка с квартирой для них важней всего прочего, и сами себя обманывали, но я-то сужу по себе: ведь я на лавку с домом любого мужчину променяю... Разве другие не такие, как я? Все мы из одного теста. Будь они хоть, уж не говорю, богатые, а просто зажиточные люди, так нет же: все как на подбор голь перекатная — за версту видно, что пристроиться хотят. Был среди них неаполитанец, из тайной полиции, вздыхал по мне сильней прочих, все хотел меня лестью да комплиментами обойти, даже называл, как у них в Неаполе, «донна Чезира». Ему-то я напрямик сказала:

— Стали б вы со мной такие разговоры вести, не будь у меня лавки да квартиры!

Ну, этот хоть был человек искренний. Засмеялся и говорит:

— Так они ж у тебя есть, и квартира, и лавка.

Впрочем, он сказал мне правду, когда я у него всякую надежду отняла.

А война тем временем продолжалась, но она меня не интересовала, и когда по радио после песенок читали сводку, я всегда говорила Розетте:

— Выключи, выключи ты его... пусть друг друга режут эти окаянные, покуда им не осточертеет, а я и знать ничего не хочу: что нам за дело до этой войны! Они у бедняков не спрашивают, прежде чем начать воевать друг с другом, хоть и шлют их воевать; а мы тоже бедняки, значит нечего нам этой войной заниматься.

Но, с другой стороны, нужно сказать, что мне война была на руку, я все больше торговала из-под полы, по высоким ценам, все меньше продавала по твердым ценам, установленным правительством. Когда стали бомбить Неаполь и другие города — люди мне говорили: «Надо удирать, не то нас всех перебьют». А я отвечала: «В Рим не полезут, потому что в Риме — папа... Если я уеду, кто же позаботится о лавке?»

Пришло мне письмо от родителей из деревни, они звали к себе, но я отказалась. Мы с Розеттой все чаще выезжали из Рима со своими чемоданами и привозили домой все, что удавалось раздобыть; в деревнях было полно всякой всячины, но крестьяне ничего не хотели продавать правительству, потому что им плохо платили. Крестьяне поджидали нас, спекулянтов, которые давали им настоящую цену. Иногда не все влезало в чемоданы, приходилось и на себе, под юбкой таскать; помню, раз я возвраща-

лась в Рим, обвязав вокруг живота несколько кило колбасы, со стороны казалось, что я беременна. А Розетта клала себе яйца на грудь, и когда мы их потом вынимали, они были теплые-теплые, словно только что из-под курицы. Опасные были наши поездки, да и времени много отнимали. Однажды возле Фрозиноне самолет пустил пулеметную очередь вдоль поезда, и поезд тогда остановился посреди открытого поля. Я велела Розетте сойти с поезда и спрятаться в канаве, а сама осталась, потому что у меня чемоданы были набиты разным добром, а народ в вагоне подобрался подозрительный — долго ли чемодан утащить. Легла я на пол между сиденьями, подушками с дивана прикрыла лицо и живот, а Розетта сошла вместе со всеми и спряталась в канаве. Обстреляв нас, самолет покружил в небе и затем снова вернулся, пролетел совсем низко над остановившимся поездом — послышался страшный рев мотора и частый стук пулемета, словно град по крыше стучал. Самолет пролетел, скрылся вдали, и тогда настала тишина, все вернулись в вагоны, и поезд вскоре тронулся. Мне тогда показали и пули, с палец длиной. Кто говорил, что самолет американский, кто — немецкий. А я сказала Розетте:

— Тебе приданое нужно. Солдаты с войны возвращаются, не так, что ли? А ведь на войне по ним без конца стреляют, чего только не придумывают, чтоб людей убивать... Значит, и мы домой воротимся.

Розетта не отвечала. Только скажет: «Куда вы, мама, туда и я». Характер у нее мягкий, не то что у меня, ангел земной, не девушка.

Я Розетте твердила:

— Бога проси, чтоб война еще годика два продлилась. Тогда не только приданое справишь — оденешься, богатая станешь.

Но она мне не отвечала, только все вздыхала. В конце концов я узнала, что милый ее на войне и она всё боится, как бы его не убили. Переписывались они, был он теперь в Югославии. Вскоре я о нем все разузнала. Сам он из Понтекорво, парень хороший, у родителей клочок земли есть, учился на счетовода, да война помешала, после войны хотел опять за учебу взяться. Тогда я сказала Розетте:

— Самое главное, пусть с войны вернется... об остальном я позабочусь.

Розетта бросилась мне на шею, счастливая такая. Теперь я на самом деле могла ей сказать: «я обо всем позабочусь», ведь у меня была квартира, лавка, деньги отложенные, а войны, сами знаете, кончаются рано или поздно, и все становится на свое место. Розетта прочла мне последнее письмо своего жениха. И я особенно запомнила одну фразу: «Жизнь тут у нас и на самом деле трудная. Эти славяне не хотят покориться, а мы все время винтовок из рук не выпускаем». Об Югославии я ничего не знала, но все же сказала Розетте:

— Чего мы лезем в эту страну? Что мы, у себя дома не могли усидеть? Они не хотят, чтобы ими верховодили, и правильно делают, это я тебе говорю.

В 1943 году удалась мне выгодная сделка — я из Сермонето привезла в Рим с десяток окороков. Уговорилась с шофером грузовика, который возил в Рим мешки с цементом, он спрятал окорока под мешки и привез их в Рим целехонькими, а я заработала толику, ведь все их хотели купить. Может, эта сделка с окороками и помешала мне как следует понять, что делается на свете. Когда я вернулась из Сермонето, мне сказали, что Муссолини удрал и что войне теперь на самом деле конец пришел. Я тогда ответила: «Для меня что Муссолини, что Бадольо — всё один черт, лишь бы торговля шла». Впрочем, Муссолини мне никогда по душе не был: глаза вылупит, голос нахальный — ни на минуту не умолкает. С тех пор как он связался с этой Петаччи, думала я, дела у него пошли под гору, ведь, знаете, пожилые мужчины от любви теряют голову, а Муссолини

был уже дедом, когда с ней сошелся. В ту ночь на двадцать пятое июля* только и было, что разграбили какой-то склад интендантства на улице Гарибальди. Я пошла туда вместе со всеми и домой принесла большую головку сыру. Много там было всякого добра, и люди немало с собой унесли. Сосед привез к себе на тележке печь, которая стояла в кабинете управляющего.

В это лето мне много дел удалось провернуть. Люди всего боялись, делали запасы, и все им казалось, что мало. В погребах и в кладовых было больше продуктов, чем в магазинах. Помню, раз отнесла я окорок одной даме на виа Венето. Она жила в шикарном доме, дверь мне открыл лакей в ливрее, а я внесла свой фибровый чемодан, в котором лежал окорок. Навстречу мне в прихожую вышла дама, красивая, как Мадонна, вся увешанная драгоценностями, от нее пахло духами, а за ней шел ее муж, низенький такой толстячок. Дама так была признательна, что чуть меня не обняла, приговаривая: «Дорогая... дорогая моя, проходите вот сюда, пожалуйста, проходите». Я прошла за ней по коридору и, когда дама открыла дверь в кладовую, увидела горы всякого добра. Продуктов там было больше, чем в колбасной. В кладовой не было окон, только полки вдоль стен, а на полках в ряд уставлены большие, по кило, банки с сардинами в масле и разные вкусные заграничные консервы, большие пакеты с макаронами, мешки с мукой, фасолью, банки с вареньем и не меньше десятка окороков и колбас. Я тогда сказала даме:

— Синьора, у вас здесь на десять лет припасено.

Но она мне ответила:

— Неизвестно, что еще будет.

Я повесила свой окорок рядом с другими, и ее муж тут же на месте мне заплатил, и когда он вынимал деньги из бумажника, руки у него так и тряслись от радости, и он то и дело повторял: «Помните, как только раздобудете что-нибудь хорошенькое, тотчас же несите к нам... Мы готовы заплатить на двадцать, даже на тридцать процентов дороже, чем другие...»

Словом, всем нужны были продукты, и люди без рассуждений выкладывали денежки; а сама я о запасах не думала, привыкла я к тому, что нет на свете ничего ценней денег, впрочем ведь деньгами сыт не будешь, и когда настал голод — у меня у самой ничего не было. В лавке одни пустые полки, кроме нескольких пакетов макарон да сардин скверного качества ничего не оставалось. Деньги у меня, правда, были, из осторожности я держала их дома, а не в банке: разговор шел, что правительство хочет закрыть банки, чтобы забрать у бедных людей сбережения, но деньги теперь никто не брал, не говоря уже о том, что мне тяжело было тратить на черном рынке денежки, которые я сама там заработала,— ведь цены теперь становились такие, что голова кругом шла. Тем временем в Рим вернулись немцы и фашисты. Однажды я проходила утром по площади Колонна и увидела черный фашистский флаг на дворце Муссолини. Всю площадь заполонили вооруженные до зубов чернорубашечники, а те, кто столько шума наделал в ночь на двадцать пятое июля, теперь присмирели и к стенам жались, словно мыши при появлении кота. Я сказала Розетте:

— Будем надеяться, что они скоро выиграют войну и мы перестанем голодать.

Сентябрь стоял на дворе, когда мне утром сказали, что на виа дель Вите выдают яйца. Я пошла туда и увидела два грузовика с яйцами. Но никто их не выдавал, а немец в трусах и рубашке, с автоматом на перевязи, следил за тем, как выгружают ящики. Люди собрались в круг и молча глядели, как идет выгрузка, но в глазах у них был нехороший голод-

* 25 июля 1943 года — день падения диктатуры Муссолини.

ный блеск. Немец, видать по всему, боялся, чтоб на него не набросились, он то и дело оборачивался, не выпуская из рук автомата, и все прыгал в сторону, как лягушка у пруда. Немец был молодой, жирный, белый, обгоревший на солнце, с ожогами на ногах и руках, как после дня, проведенного на море. Увидев, что яйца не выдают, люди стали ворчать, сначала потихоньку, а затем все громче и громче, покуда немец — за версту было видно, как он боялся,— не поднял автомат, навел его на толпу и гаркнул:

— Разойдись, разойдись, разойдись!

В то утро я ничего не ела и, совсем потеряв рассудок от голода, крикнула немцу:

— Ты нам дай яиц, и тогда мы уйдем.

Но он все повторял:

— Разойдись, разойдись! — и навел на меня автомат, а я, чтоб показать ему, что голодна, поднесла руку ко рту. Но на него это не подействовало, и вдруг он с силой ударил меня стволом прямо по животу, оттолкнув меня назад, и так мне сделал больно, что я в ярости закричала:

— Зачем вы Муссолини увезли... при нем было лучше... с тех пор как вы пришли — есть стало нечего.

Не знаю отчего, но при этих словах люди стали смеяться и многие даже обозвали меня ослицей, как муж-покойник. Один у меня спросил:

— Что там у вас в Сгурголе, газеты читают?

Я, взбешенная, ему ответила:

— Знать тебя не знаю, не с тобой говорю... Сама я из Валлекорса, а не из Сгургола.

Но толпа не переставала смеяться, и даже немец чуть не расхохотался. А яйца тем временем в открытых ящиках сносили вниз, в склад, такие белые, красивые. Тогда я закричала:

— Эй, немецкое отродье, яиц хотим, понял... яиц.

Из толпы вышел полицейский и стал меня уговаривать:

— Лучше домой отправляйся.

Я ему ответила:

— Ты ел сегодня?.. А я нет.

Тогда он влепил мне пощечину и пинком загнал в самую гущу толпы. Я его убить была готова, честное слово, и вырывалась из чьих-то рук, выкладывая громко все, что у меня на душе было, но люди вокруг подталкивали меня вперед, и в конце концов мне пришлось уйти, в давке я даже платок потеряла.

Вернулась я домой и говорю Розетте:

— Если мы отсюда вовремя не выберемся, помирать нам с голоду.

Тогда она принялась плакать:

— Мама, я так боюсь.

Я испугалась, ведь Розетта мне до сих пор ничего не говорила, никогда не жаловалась, и ее спокойствие даже мне не раз придавало храбрости. Я ей говорю:

— Дурочка, чего ты боишься?

А она отвечает:

— Слух идет: прилетят самолеты и всех нас убьют... Говорят даже, у них план есть: сначала разрушить железные дороги, а потом, когда Рим совсем отрежут и есть будет нечего и никто не сможет удрать в деревню, они всех перебьют своими бомбами... Мамочка, я так боюсь... И Джино уже месяц не пишет, ничего я о нем не знаю.

Я пыталась ее успокоить все теми же словами, заведомо зная, что это ложь: мол, в Риме папа, немцы скоро выиграют войну, и нечего нам бояться. Но она всхлипывала все сильней, да так, что мне в конце концов пришлось взять ее на руки и убаюкивать, как двухлетнего ребенка. Ла-

скаю я свою девочку, а она все плачет и плачет, повторяя: «Страшно мне, мама». Тут я подумала: до чего же она на меня не похожа, ведь мне не страшен ни бог, ни сам черт. Впрочем, и наружностью Розетта на меня не походила: личико было у нее кроткое, как у овечки, глаза большие, ласковые, почти печальные, носик тонкий, чуточку опущенный книзу, а рот красивый, пухлый, выдавался над срезанным подбородком, совсем как у овечек. И волосы, как овечья шерсть, были, вьются темно-золотыми кудряшками, кожа белая, деликатная, со светлыми родинками, а у меня самой волосы темные и кожа темная, словно я на солнце загорела. Наконец, чтоб ее успокоить, я сказала:

— Все говорят, на днях придут англичане, и тогда не будет больше голода... а мы пока, знаешь что сделаем? В деревню отправимся, к бабушке с дедушкой, там до конца войны переждем... Еда у них есть, фасоль есть, яйца, свинина. В деревне всегда что-нибудь съестное раздобудешь.

Тогда она спрашивает:

— А как же квартира?

Я ей ответила:

— Доченька, я и об этом подумала... Квартиру сдадим Джованни, не за плату, конечно, а когда возвратимся, он нам все вернет, как было... ну, а лавку я закрою, в ней все равно хоть шаром покати, скоро нечем будет торговать.

Должна сказать, что этот Джованни торговал углем и дровами и был мужу моему приятель. Был он мужчина рослый, полный, лысый, лицо красное, усы колючие, а глаза ласковые. Когда муж еще жив был, он с ним да с другими торговцами из нашего квартала по вечерам в остерии посиживал. Костюмы он всегда носил широкие, все с него спадало, а из-под усов у него торчала давно потухшая сигара. Сколько я его помню, он всегда ходил с карандашом и записной книжечкой, все что-то подсчитывал, записывал, отмечал. Держался он ласково, мягко, по-дружески, и взгляд у него был такой же. Когда Розетта еще маленькая была, он только меня завидит — сразу спрашивает: «Как наша куколка? Что наша куколка поделывает?» Мне самой не верится в то, что сейчас расскажу,— так бывает, что сама сомневаешься, было это или приснилось, тем более, что виновник происшедшего больше об этом не заговаривал и вел себя так, словно никогда ничего и не произошло. Однажды, когда муж еще жив был, Джованни к нам зашел, когда я стряпала,— уж не помню, под каким предлогом, — и расселся в кухне, покуда я возилась у плиты. Стал он болтать о том о сем, а потом заговорил о моем муже. Я их друзьями считала, и можете сами представить, до чего я удивилась, когда он мне вдруг сказал:

— Скажи-ка, Чезира, к чему тебе такая сволочь нужна?

Вот так и сказал «сволочь»; я ушам своим не поверила и обернулась, чтобы взглянуть на него. Сидел он спокойно, смирный такой, с потухшей сигарой в углу рта. Посмотрел на меня, а потом добавил:

— Он все равно плох, долго не протянет... по девкам шляется, еще тебя дурной болезнью заразит.

Я ему в ответ:

— Нужен он мне больно, муж-то! Вечером придет, на постель повалится, а я только на другой бок перевернусь — вот и вся недолга.

Тут он и говорит, а может, мне только послышалось:

— Ведь ты еще молода. Рано тебе монашкой становиться. Ты молодая, и тебе нужен любящий мужчина.

Я его и спрашиваю:

— А тебе какое до этого дело? Мне мужчины не нужны. А понадобятся, так ты тут при чем?

Тогда он поднялся и, как сейчас помню, поближе ко мне подошел, рукой взял меня за подбородок и сказал:

— Всё вам, женщинам, разжевать нужно... А я-то на что, ясно тебе? Обо мне-то ты и не подумала.

Столько лет с тех пор прошло, я и не помню хорошенько, что дальше было; одно твердо помню: предложил он мне шашни с ним завести, и вот как сейчас припоминаю, что когда я ему ответила: «Не стыдно тебе? Ведь Винченцо твой друг»,— он сказал: «Какой там друг. У меня друзей нет». И потом, поклясться могу, он мне сказал, что даст денег, если я пойду с ним в спальню. Открыл свой бумажник и тут же, на кухонном столе, стал в кучу складывать одну бумажку за другой, глядя мне в глаза и приговаривая: «Еще добавить? Или хватит?»,— покуда, помнится мне, я ему спокойно, без всякой злости, не велела уйти. А он собрал деньги и ушел. Все это, конечно, было на самом деле, не могла ж я такого придумать, но на следующий день он и словом не заикнулся и никогда уж больше к этому не возвращался. И держал он себя со мной снова по-прежнему — просто, любезно и ласково. Я даже спрашивать себя стала: а не приснилось ли мне случайно, что он обозвал сволочью моего мужа, предложил мне пойти с ним в спальню и выкладывал денежки на кухонный стол? С годами мне все сильнее стало казаться, что всего этого не было, и порой я думала, что мне все это только приснилось. И все же, сама не знаю почему, но я всегда знала, что Джованни — единственный человек, который по-настоящему любит меня, а не мое добро, и что в трудных обстоятельствах он был единственный, к кому я могла обратиться.

Итак, я пошла к Джованни и нашла его в темном полуподвале, заваленном вязанками дров и мешками с углем — единственный товар, который этим летом еще можно было найти в Риме. Я рассказала ему о своем намерении, а он молча выслушал меня, искоса поглядывая на полупогасшую сигару. Потом сказал:

— Ладно, пока ты не вернешься, присмотрю за твоей лавкой и квартирой. Конечно, мне от этого одна морока... особенно в такие времена... сам не знаю, ради чего соглашаюсь. Ну хорошо, пусть я делаю это ради покойника.

Как сказал он это, мне прямо не по себе стало и показалось, будто я снова слышу, как он говорит: «К чему тебе эта сволочь?»,— и снова я своим ушам не поверила. Вдруг у меня неожиданно вырвалось:

— Надеюсь, ты это и ради меня сделаешь.

Сама не знаю, зачем я так сказала, может оттого, что верила в его любовь и теперь, в трудную минуту, мне хотелось бы услышать, что он делает это именно ради меня. Он поглядел на меня с минутку, вынул сигару изо рта и положил ее на край стола. Затем подошел к выходу, поднялся по ступенькам и на засов запер дверь в полуподвал. Внезапно мы оказались в совершенно темном помещении. Теперь мне все стало понятно, дыхание у меня захватило, и сердце сильно забилось. Не скажу, чтоб все это было мне неприятно, только я очень волновалась. Много было причин для этого — и суматоха в Риме, и голод, и страх, и отчаяние от расставанья с лавкой и квартирой, и боль, что не было у меня, как у других женщин, мужа, который помог бы мне в подобную минуту и ободрил бы меня. Когда же Джованни в темноте шел мне навстречу, я в первый раз в жизни ощутила, как вся обмякла и тело мое стало вялым и податливым. А когда он подошел ко мне в темноте и обнял меня, то первым моим желанием было прижаться к нему, отыскать его губы и, тяжело дыша, прильнуть к ним ртом. Он бросил меня на мешки с угольной крошкой, и я отдалась ему, чувствуя в ту минуту, что по-настоящему впервые отдаюсь мужчине, и чувство какой-то легкости овладело мною в ту минуту. Когда все было кончено и он отошел от меня, я, одурелая и счастливая, еще долго проле-

жала на мешках, и мне почти показалось, что я снова молода, снова такая, какой была, когда впервые приехала в Рим со своим мужем и мечтала испытать такое чувство, а на самом деле никогда его не испытывала — и во мне возникло отвращение к мужчинам и к любви.

Ну, хватит об этом. Наконец он спросил меня в темноте: готова ли я поговорить о нашем деле. Я тогда поднялась и сказала: «Да», а он зажег лампочку, от которой шел желтый свет, и я увидела, что он сидит за столом, как прежде, будто ничего и не было, сигара торчит из-под усов, и ласковые глаза полузакрыты. Я подошла к нему ближе и сказала:

— Поклянись, что никогда никому не расскажешь о том, что было сегодня.... ну, поклянись.

Он улыбнулся и ответил:

— Ничего я не знаю... Ты о чем это? Даже не понимаю тебя... Ведь ты пришла, чтоб поговорить по поводу дома и лавки, не так ли?

И снова мне показалось, точно все это было сном, не будь моя одежда в беспорядке, а я вся перепачкана углем, оттого что ворочалась на этих мешках; я могла бы и на самом деле подумать, будто ничего не случилось. В смущении я пробормотала:

— Понятно, ты прав! Конечно, я пришла ради лавки и дома.

Тогда он достал лист бумаги и написал на нем, что я на год сдаю ему свою лавку и квартиру, а потом дал мне его подписать. Бумагу он спрятал в ящик, потом открыл дверь и сказал:

— Что ж, договорились... Сегодня я приду принимать имущество, а завтра утром отвезу вас обеих на вокзал.

Он стоял у двери, а я прошла вперед, чтоб выйти. Когда я проходила, он хлопнул меня ладонью по заду и усмехнулся, как бы желая сказать: «Что ж, и по другому делу мы с тобой тоже договорились». А я подумала про себя, что теперь уже не вправе возмущаться, что я теперь больше не могу считать себя честной женщиной, и тогда же решила, что виной всему война и голод и что честная женщина, когда ее хлопают по заду, не может возмутиться именно потому, что она уже перестала быть честной.

Вернулась я домой и тотчас же стала готовиться к отъезду. Больно мне было, и душа надрывалась оттого, что приходилось оставлять этот дом, где я провела двадцать лет безвыездно, если не считать поездки за продуктами для черного рынка. Правда, я верила, что скоро придут англичане, может через неделю-другую, и готовилась ехать самое большее на месяц, но в то же время было во мне непонятное предчувствие не только более длительной разлуки, но и какой-то беды, что ждала меня в будущем. Политикой я никогда не занималась и ничего не знала ни о фашистах, ни об англичанах, ни о русских, ни об американцах. Сказать, чтоб я что-нибудь понимала из всех разговоров, которые велись вокруг, я не могу — по правде говоря, я в них совсем не разбиралась,— но одно мне было ясно: ничего хорошего нельзя теперь ждать для таких бедняков, как мы. Было вокруг, как в деревне, когда небо покрывается черными тучами, листья на деревьях поворачиваются в одну сторону, овцы сбиваются в кучу, стараясь потесней прижаться друг к другу, хоть и лето на дворе, и откуда-то вдруг налетает холодный ветер, леденящий своим дыханием землю. Боялась я, но сама не знала чего, и сердце щемило от разлуки с домом и лавкой, как будто я наверняка знала, что больше их никогда не увижу. Розетте я все-таки сказала:

— Не бери ничего лишнего. Едем мы на две недели, не больше, а на дворе еще тепло.

Было это числа пятнадцатого сентября, и погода стояла жаркая, куда жарче, чем в другие годы.

Так мы уложили два маленьких фибровых чемодана, взяли почти только легкие вещи да захватили по фуфайке, на случай если похолодает.

Стараясь себя немного утешить, я только то и делала, что расписывала Розетте, как меня в деревне встретят родители:

— Увидишь, будут кормить нас до отвала... поправимся, отдохнем... в деревне сейчас не так тяжело, как в Риме... нам там хорошо будет... отоспимся и, главное, есть будем вдоволь... вот увидишь, у них свинья, мука, фрукты, вино, лучше папы римского заживем.

Но Розетту все это не радовало: она думала о женихе, который остался в Югославии и вот уже месяц не подавал о себе вестей. Я знала, что она каждый день встает спозаранок и отправляется в церковь, чтобы помолиться за него, выпросить у господа, чтобы его не убили, чтобы он вернулся и они поженились бы. И тогда, чтобы показать ей, что я все понимаю, я ее обняла, поцеловала и сказала:

— Доченька моя золотая, будь покойна, Мадонна видит и слышит тебя, она не допустит, чтоб с тобой недоброе приключилось.

А тем временем сама я продолжала готовиться в дорогу, и теперь, когда я поборола свои опасения, не могла дождаться часа отъезда. Не терпелось мне уехать еще и потому, что в последнее время из-за воздушных тревог, нехватки съестного, мыслей о поездке и многого другого жизнь для меня перестала быть жизнью, и даже дом прибрать охоты у меня не было, а ведь в обычное время я на коленках пол натирала да так начищала, что из сил выбивалась, покуда пол не начинал сверкать, как зеркало. Случается, упадет с повозки ящик, треснут доски, и все содержимое вывалится на мостовую,— так и жизнь теперь, казалось мне, вышла из своей колеи. Стоило мне подумать о том, что было у нас с Джованни и как он тогда хлопнул меня по заду,— мне становилось ясно, что не только жизнь, но и я сама вышла из колеи и что теперь я на все способна: красть так красть, убивать так убивать — все оттого, что потеряла уважение к себе и больше не была такой, как прежде. Утешалась я только мыслью о Розетте, тем, что у моей дочки, по крайней мере, мать есть, которая ее защитит. Пусть хоть она будет такой, какой я уж никогда не буду. Да, жизнь и на самом деле состоит из привычек, и даже честность только привычка; стоит лишь изменить привычке — и жизнь становится адом, а человек — совсем как сорвавшийся с цепи дьявол, который не уважает ни себя, ни других.

Розетта вдобавок беспокоилась о своем коте, красивом тигровом коте, которого она еще совсем маленьким нашла на улице, заманила в дом, дав ему хлеба, а потом кот спал с ней ночью в одной постели, а днем ходил за ней из комнаты в комнату, как собачонка. Я сказала Розетте, чтобы она поручила кота привратнице соседнего дома, и она мне ответила, что так и сделает. Теперь Розетта сидела у себя в комнате, в ногах кровати, где лежал уже упакованный чемодан, и держала кота на коленях, гладила его потихоньку, а бедняжка котик, не зная, что хозяйка его покидает, мурлыкал и жмурил глаза от удовольствия. Жаль мне ее стало, потому что поняла я, как ей тяжко, и тогда я сказала:

— Доченька моя, пусть только минуют эти плохие времена — и тогда увидишь, как все хорошо пойдет... Кончится война, вернется изобилие, а ты замуж выйдешь и будешь счастлива со своим мужем.

И как раз в эту минуту, как бы в ответ на мои слова, завыла сирена воздушной тревоги, и проклятый этот вой, как мне казалось, сулил нам несчастье и каждый раз разрывал мое сердце. Разозлилась я донельзя, открыла окно во двор, подняла кулак к небу и закричала:

— Чтоб тебе не своей смертью подохнуть! Кто тебя звал сюда? Кто тебя сюда прислал?

Розетта и с места не тронулась, только сказала:

— Мама, почему ты злишься? Ты же сама сказала, что все на свое место станет.

Тогда из любви к своему ангелочку я успокоилась, хоть и не без труда, и ответила:

— Да, но пока что нам придется покинуть свой дом, и кто знает, что еще ждет нас впереди.

Адские муки перенесла я в тот день. Сама на себя не походила: то все думала о том, что было у меня с Джованни, и когда вспоминала, что, как уличная девка, одетая, отдалась ему на мешках с углем,— кажется, руки бы себе искусала от обиды; то ходила по комнатам, которые двадцать лет были моим домом, а теперь я должна была их покинуть,— и отчаяние овладевало мной. В кухне огонь был погашен, в спальне, где мы вместе с Розеттой спали на большой кровати, простыни были разбросаны в беспорядке, а я не находила в себе сил, чтобы застелить постель, в которой мне не скоро придется спать, и развести огонь в плите, которая завтра уж не будет моей и не мне придется на ней готовить. Поели мы хлеба с сардинами на голом столе без скатерти, и я то и дело поглядывала на Розетту, а она была такая грустная, что у меня кусок в горле останавливался: больно мне было, и боялась я за нее, все думала о том, как не повезло моей доченьке, что она в такие времена родилась и выросла. Часам к двум мы повалились на неубранную постель и поспали немного, вернее Розетта уснула, прижавшись ко мне, а я лежала с открытыми глазами и все думала о Джованни, о мешках с углем, о том, как он меня хлопнул по заду, да о доме и лавке, которые покидала. Наконец раздался звонок, и я, осторожно отодвинув от себя спавшую Розетту, пошла открыть дверь: это был Джованни. Он стоял с сигарой во рту и усмехался. Я ему и слова произнести не дала.

— Послушай,— сказала я ему со злостью,— что было, то было, и я уж теперь не та, что прежде, и ты прав, когда обращаешься со мной, как с девкой... но попробуй хлопнуть меня разок, как в то утро,— и я, как бог свят, прирежу тебя... пусть меня в тюрьму посадят — времена теперь такие, что, может, в тюрьме лучше живется, и я туда отправлюсь с удовольствием.

От удивления он лишь слегка нахмурил брови, но ничего не сказал. Только в прихожей процедил сквозь зубы:

— Что ж, займемся сдачей вещей.

Я пошла в спальню и взяла листок, на котором велела Розетте переписать все имущество, что было у нас в доме и в лавке. Даже самые мелкие вещи велела ей переписать, и не оттого, что не доверяла Джованни, а просто потому, что доверять никому не следует. Прежде чем начать передачу, я сказала Джованни:

— Смотри, все это мы с мужем пóтом своим за двадцать лет труда заработали... и уж будь добр, чтоб я всё на месте нашла; помни, что все до последнего гвоздя должно быть цело, когда я вернусь.

Усмехнулся он и сказал:

— Не волнуйся, все свои гвозди на месте найдешь.

Начала я со спальни. Списков у меня было два заготовлено: один у него был, другой у Розетты, а я по порядку указывала на вещи. Показала ему кровать двуспальную, металлическую, расписанную под дерево, да так красиво, что все прожилки да сучки видны были и можно было подумать, что она из орехового дерева. Одеяло подняла, чтобы он видел, что два матраса под ним, один конским волосом набит, другой — шерстью. Шкаф открыла, пересчитала одеяла, простыни, все белье. В ночном столике показала ночные горшки из фарфора, расписанные красными и синими узорами. Затем сделала перечень мебели: комод с крышкой из белого мрамора, овальное зеркало в позолоченной рамке, четыре стула, кровать, два ночных столика, шкаф с двумя дверцами и зеркалом посередине. Пересчитала все мелочи и безделушки: стеклянный колпак, а под ним

искусственные цветы из воска, совсем как живые,— мне их на свадьбу кума подарила,— фарфоровая коробка для конфет, две статуэтки — пастушок и пастушка, подушечка для иголок из голубого бархата, коробочка из Сорренто,— если ее открыть — зазвучит песенка, а на самой крышке Везувий вырезан,— две бутылки для воды и к ним под стать стаканчики из резного и плотного стекла, ваза для цветов из раскрашенного фарфора, в виде тюльпана, с тремя такими красивыми павлиньими перьями вместо цветов, и две цветные напечатанные картинки: на одной Мадонна с младенцем, а на другой сцена из представления — мавр с белокурой дамой, мне как-то говорили, что оно называется «Отелло», а мавр и есть сам Отелло.

Из спальни я повела его в столовую, которая служила мне и гостиной, там же у меня и швейная машина стояла. Заставила его рукой потрогать круглый стол из темного ореха, с кружевной салфеточкой посередине, и вазу с полевыми цветами, такую же, как в спальне, и четыре стула, обитые зеленым бархатом, а затем открыла буфет и пересчитала штуку за штукой сервиз из фарфора, расписанный цветами и гирляндами, на шесть персон, мы за всю мою жизнь только два раза из него ели. Тут я его предупредила: «Смотри, этот сервиз мне дорог, как свет очей, попробуй его разбить — увидишь, что будет». Он ответил с улыбкой: «Не беспокойся!» А потом по списку показала ему все остальные вещи: две картинки с цветами, швейную машину, приемник, диванчик, обитый репсом, с двумя креслицами, графинчик из розового с голубым стекла, а к нему рюмки, еще бонбоньерки и коробочки, красивый разноцветный веер с видом Венеции, прибитый к стене.

После этого мы перешли в кухню, и я поочередно пересчитала всю посуду и кастрюли, алюминиевые и медные, и приборы из нержавеющей стали. Я ему показала, что у меня все есть: и плита, и машинка, чтобы картофель мять, и шкафчик для вениках, и цинковое ведро. Словом, все ему показала, и тогда мы спустились вниз и направились в лавку. Здесь мы управились быстро, потому что, кроме полок, прилавка и нескольких стульев, ничего здесь не оставалось, все было продано, выметено, подчищено за эти последние голодные месяцы. Наконец мы вернулись наверх в квартиру, и тогда я с горечью сказала:

— К чему теперь весь этот список?.. Все равно я чувствую, что больше сюда не вернусь.

Джованни сидел и курил, потом, тряхнув головой, ответил:

— Через пятнадцать дней придут англичане, даже сами фашисты так считают... Ты теперь на две недели едешь на дачу... когда вернешься, отпразднуем твой приезд... Что это тебе на ум взбрело?

К этим словам Джованни, желая нас утешить, добавил еще много других, и ему почти удалось своего добиться: после его ухода мы совсем приободрились, а он на этот раз, хоть мы были совсем одни в прихожей, не повел себя, как тогда при прощании в подвале, а только ласково погладил меня по лицу, как частенько делал, когда еще жив был мой муж, и я ему за это очень была признательна; мне чуть не показалось, что между нами действительно ничего не произошло и что я осталась такой, как всегда была.

Остаток дня прошел в подготовке к отъезду. В первую очередь я приготовила на дорогу большой пакет с едой: колбасу положила, несколько коробок сардин, рыбных консервов коробку и немного хлеба. Для отца с матерью сделала отдельный сверток: отцу положила мужнин костюм, почти новый, который он сделал себе незадолго до смерти и просил меня похоронить его в нем, но я в последнюю минуту пожалела такой красивый костюм из синей шерсти и положила мужа в гроб, обернув старой простыней, а костюм сберегла. Отец у меня был почти такого же роста, как муж,

и я вместе с костюмом положила пару туфель, старых, но еще совсем хороших. Матери я решила отвезти платок и юбку. В тот же сверток добавила все, что у меня еще оставалось из бакалеи: несколько кило сахару и кофе, немного консервов и парочку колбас. Все это я уложила в третий чемодан, так что у нас теперь оказалось три чемодана и мешок, в который я положила одеяло с подушкой, на случай если нам придется заночевать в поезде. Мне все говорили, что теперь поезда идут два дня до Неаполя, а нам надо было сойти на полпути между Римом и Неаполем, и я решила, что не мешает быть предусмотрительной.

Вечером сели за стол, и на этот раз, чтоб не слишком огорчаться, я кое-чего приготовила; но едва только мы стали есть— началась воздушная тревога, и я увидела, как Розетта вся побелела и задрожала от страха. Тут я поняла, что, хотя Розетта долгое время держалась, теперь она сдала и нервы у нее никуда не годятся. Тогда я решилась бросить ужин и спуститься в подвал. Ни к чему это, правда, было: ведь попади бомба в наш старый дом — и он развалился бы на кусочки, похоронив нас под собой. Итак, мы спустились в убежище и просидели там вместе со всеми жильцами нашего дома три четверти часа на скамейке, в полной темноте. О приходе англичан все говорили, как о деле ближайших дней: они высадились в Салерно, неподалеку от Неаполя, а от Неаполя до Рима, даже если они медленно станут двигаться, доберутся за неделю,— ведь немцы и фашисты удирали, как зайцы, и не остановятся, покуда не добегут до Альп. Но кое-кто говорил, что в Риме немцы дадут бой, потому что Рим был важен для Муссолини, и ему наплевать, если разрушат весь город, лишь бы в него не вошли англичане. Слушала я все эти разговоры — и думала: как хорошо, что мы с Розеттой уезжаем. Розетта ко мне все прижималась, и я поняла, что она теперь всего боится и не успокоится, покуда мы не уедем из Рима. Вдруг кто-то сказал:

— Знаешь, что рассказывают? Они сбросят парашютистов. Вот увидишь, станут шарить по домам и всем жару зададут.

— Как тебя понимать?

— Очень просто: сперва барахло, а потом женщины...

Тогда я сказала:

— Хочу посмотреть на того, кто посмеет до меня дотронуться.

Тогда из темноты донесся голос некоего Проетти, пекаря, человека до крайности глупого и очень вольного на язык, которого я всегда терпеть не могла. Он сказал с усмешечкой:

— Тебя-то, может, и не тронут, ты слишком старая, а вот дочь твою, это да!

Я ему ответила:

— Осторожней говори... мне тридцать пять, замуж-то я вышла в шестнадцать, и немало найдется таких, кто на мне сейчас жениться захочет... А во второй раз замуж не вышла потому, что не хотела.

— Да,— говорит он мне,— лисица и виноград.

Тогда я, уже совсем разозлившись, сказала ему:

— Ты лучше о своей жене-потаскухе подумай, она тебе и без парашютистов рога наставляет... воображаю, что будет, когда они заявятся.

Я думала, что жена его в деревне, сами они из Сутри, и я несколько дней тому назад видела, как она уезжала, на самом же деле она сидела здесь в убежище, а я ее в темноте не заметила. Она тотчас же заорала:

— Сама ты потаскуха, дура несчастная, уродина проклятая!

И тут я поняла, что она ухватила за волосы Розетту, приняв ее за меня, и Розетта вопила, а она ее дубасила. Тогда я бросилась на нее в темноте, и мы повалились на землю, награждая друг друга пинками, вцепившись друг другу в волосы среди всеобщего крика, в то время как Розетта плакала, все звала меня и уговаривала. Словом, пришлось нас

разнимать в темноте, и надо полагать, желающим помирить нас тоже досталось: покуда нас старались оттащить в разные стороны, внезапно прозвучал отбой, и когда кто-то зажег свет, мы очутились друг против друга, растрепанные, запыхавшиеся, а у тех, кто держал нас за руки, лица были в царапинах и волосы в беспорядке.

Розетта всхлипывала, забившись в угол.

После этой сцены мы легли спать очень рано, даже не докончив ужин, который так и остался на столе и простоял до следующего утра. В постели Розетта прижалась ко мне, как делала, когда была маленькой, давно уж этого не случалось. Я спросила ее:

— Что ж ты, все еще боишься?

Она ответила:

— Нет, не боюсь. Но, мама, скажи, это правда, что парашютисты пристают к женщинам?

Я ей:

— Нашла кого слушать... он ведь с придурью, сам не знает, что мелет.

— Но это правда? — настаивала она.

— Нет, неправда... да ведь мы завтра уезжаем, едем в деревню, а там ничего не приключится, будь покойна.

Помолчала она с минутку, а потом и говорит:

— Но кто же должен победить, чтоб нам домой вернуться: немцы или англичане?

Вопрос меня, по правде сказать, озадачил, я уж говорила, что не читаю газет и вдобавок никогда не хотела знать, как идет война. Я ответила ей:

Право, не знаю, что они там накрутили... одно только знаю, все они сукины сыны — и немцы, и англичане... войну начинают, а у нас, бедняков, не спрашивают... Вот что я тебе скажу: нам нужно, чтоб кто-нибудь — немцы или англичане, все равно — наконец победил по-настоящему, чтобы война кончилась... только бы чей-нибудь верх был.

Но Розетта все настаивала:

— Люди говорят, что немцы гадкие... А что они сделали такого, мама?

Тогда я ответила:

— Дома бы у себя сидели... так нет же, пришли сюда, нам докучать... вот отчего они всем и осточертели.

— А там, куда мы сейчас поедем,— спросила она,— там немцы или англичане?

Тут уж не знала я, что ей ответить.

— Нет там ни немцев, ни англичан... поля там, коровы, крестьяне, мы там хорошо заживем... ну, а теперь спи.

Не сказала она больше ни слова, только тесней прижалась ко мне и под конец будто заснула. Ну и ночка выдалась! Я то и дело просыпалась, да и Розетта, должно быть, тоже глаз не сомкнула, только притворялась, что спит, не желая меня тревожить. А мне то казалось, будто я просыпаюсь, хотя я на самом деле спала, то мерещилось, что я сплю, в то время как я бодрствовала и только из-за усталости и сильного волнения как во сне была. Христос в саду Гефсиманском, когда Иуда со стражей за ним пришел, не пережил того, что я в ту ночь выстрадала. Сердце у меня сжималось при мысли, что придется оставить квартиру, в которой я столько лет прожила, или что поезд в пути могут обстрелять из пулеметов. А возможно, думала я, и поездов больше нет, ведь слух прошел, что Рим со дня на день будет отрезан. Думала я и о Розетте, и о том, что на мою беду муж мой оказался таким скверным человеком, и теперь его уж нет в живых, а мы, две одинокие женщины, оста-

лись на белом свете без мужчины, который нас защитит и направит,— все равно что два слепца посреди дороги, которые не видят и не понимают, где они находятся.

Уж не помню, в каком часу услыхала я стрельбу на улице. Дело по тем временам привычное, каждую ночь стреляли, жили мы, будто в тире, но тут Розетта проснулась и спрашивает:

— Мама, что случилось?

Я ей ответила:

— Ничего, ничего... вот сукины дети... стрельбой забавляются... хоть бы все друг друга перестреляли.

А потом прямо под нами прошла целая колонна грузовиков, и весь дом дрожал. Казалось, что им конца не будет, а когда они прошли наконец, еще один грузовик промчался со страшным грохотом. Я лежала, обнявшись с Розеттой, прижимая ее к себе, и вдруг, может потому, что ее голова лежала у меня на груди, вспомнила, как она была еще совсем маленькой и я кормила ее грудью. Молока у меня всегда было вдоволь, недаром женщины из Чочарии славятся в Риме и во всей округе как лучшие кормилицы,— она сосала мое молоко и с каждым днем становилась все красивей, просто красавица, а не девочка: люди на нее на улице заглядывались. Вспомнила я об этом — да вдруг подумала: лучше бы ей вовсе не родиться, чем жить в таком мире, среди печалей, опасностей и страха. А потом я сама себе сказала, что по ночам всякое в голову лезет, а такое думать — грешно, и тогда перекрестилась в темноте, поручив себя спасителю и Мадонне. Тут я и услышала, как запел петух в соседней квартире,— там одна семья жила, у которой в отхожем месте целый курятник помещался. Подумала я, что скоро начнет светать, и как будто задремала.

Проснулась я внезапно, услышав, как дверной колокольчик звонит да звонит, и сразу поняла, что уже давно звонят. Встала в темноте, пошла в прихожую, дверь открыла и вижу Джованни. Он сказал входя:

— Ну и крепко же вы спите... вот уж час целый трезвоню.

Была я в одной сорочке, груди у меня и сейчас крепкие, могу без лифчика обойтись, а тогда они были еще красивей, еще более налитые и упругие, соски приподняты кверху, словно хотят, чтобы их и под сорочкой заметили. И тотчас же я увидела, что глядит он на мою грудь, а глаза под бровями горят у него, как два уголька в золе,— вот-вот за груди меня ухватит. И тогда, пятясь назад, я ему сказала:

— Нет, Джованни, нет... ты для меня больше не существуешь... что между нами было, позабудь... не будь ты женат, я бы за тебя пошла... но ведь у тебя жена, и между нами быть ничего не должно.

Он ни да ни нет не сказал, но, вижу я, силится собой овладеть. Под конец справился и спокойным голосом говорит:

— Твоя правда... что ж, будем надеяться, помрет гадина эта, жена моя, в эту войну... вот вернешься, буду я вдовцом, мы и поженимся, столько ведь народу от бомб гибнет, почему бы ей не помереть?

И снова мне стало не по себе, и я не могла без удивления слушать такие слова и не верила своим ушам, как и в тот раз, когда он обозвал моего мужа сволочью, хотя считался его другом, и даже, можно сказать, они были неразлучны.

Я на самом деле знала жену Джованни и всегда думала, что он любит ее или, по крайней мере, к ней привязан, ведь они уже столько лет живут вместе и у них трое детей, а он вот здесь говорил о ней с такой ненавистью и желал ее смерти. По тому, как он говорил о ней, можно было понять, что он бог знает как давно ее возненавидел, и если в прошлом он испытывал к ней какое-то иное чувство, то теперь у него ничего, кроме ненависти, в душе не осталось. Я, по правде говоря, почти ужасну-

лась при мысли, что человек может столько лет быть чьим-то другом и мужем, а потом с такой холодностью и злостью обзывать друга сволочью, а жену гадиной. Но я ничего не сказала об этом Джованни, который прошел в кухню и стал шутить с Розеттой, тоже успевшей встать.

— Вот увидите, вернетесь вы обе... располневшими, и для вас война тем и кончится... там в деревне сыр, яйца, баранина — всего вдоволь, вам там хорошо будет.

Теперь уже все было готово, и я вынесла в прихожую три чемодана и мешок со свертками. Джованни взял два чемодана, я захватила мешок, а Розетта понесла маленький чемоданчик. Они спустились вниз по лестнице, а я нарочно застряла, для вида запирая дверь, и как только они оба исчезли за поворотом лестницы, вернулась в дом, зашла в спальню, подняла половицу и достала запрятанные там деньги. У меня была по тем временам немалая пачка тысячных билетов, и я не хотела ее доставать в присутствии Розетты, потому что с деньгами ничего нельзя знать заранее, а человек неопытный всегда может совершить неосторожность и сболтнуть чего не следует, да и вообще никому нельзя в денежных делах доверяться. Выходя из квартиры, я подняла юбку и запрятала деньги в пришитый для этого полотняный мешочек. Затем я уже на улице догнала Джованни и Розетту.

У дверей стоял извозчик, свой грузовик для перевозки угля Джованни не хотел взять, боясь, чтобы его не реквизировали. Он помог нам усесться, а затем и сам взобрался. Пролетка тронулась, и я не могла удержаться и повернула голову, чтобы еще разок взглянуть на перекресток, и на дом свой, и на свою лавку, потому что на душе у меня было скверное предчувствие, будто я больше никогда их не увижу.

День еще не наступил, но ночь уже прошла, и при сером свете раннего утра увидела я свой дом, стоявший на самом углу перекрестка, с заколоченными окнами, а в нижнем этаже — лавку со спущенными жалюзи. Напротив моего стоял другой, тоже угловой дом, а в нем, на втором этаже, была круглая ниша с образом Мадонны под стеклом, и перед ним горела неугасимая лампада. Я подумала тогда: вот лампада горит и в дни войны, и в дни голода, так пусть не гаснет и моя надежда вернуться домой, и как-то легче мне на душе стало — не угаснет моя надежда, будет согревать мне сердце и вдали от дома.

В сером свете был виден весь наш перекресток, и напоминал он опустевшую сцену театра после ухода актеров; сразу видно было, что жили здесь бедняки,— словом, не дома, а просто лачуги какие-то: чуть покосившиеся, будто одна на плечо другой опирается, известка кое-где облупилась, особенно на первом этаже, потому что повозки и машины так и трутся о стены, а рядом с моей лавкой угольная торговля Джованни, а вокруг двери черно, как в печи; не знаю сама почему, но в этот утренний час грустно мне было смотреть на эту черноту. Как тут было не припомнить, что в добрые старые времена перекресток днем был полон народу, женщины сидели у порога своих дверей на соломенных стульях, кошки бродили по мостовой, ребятишки играли в скакалочку и прыгалки, а парни, работавшие в мастерских, заглядывали в остерию, которая была всегда полна народу.

Кольнуло меня в сердце при мысли об этом, и тогда я убедилась, до чего же дороги мне эти домишки и наш перекресток, может оттого, что здесь прошла вся моя жизнь, и я была совсем молодой, когда их впервые увидела, а теперь и сама в годах, и у меня уже дочка взрослая.

Я сказала Розетте:

— Что ж ты не взглянешь на наш дом, что ж ты не взглянешь на нашу лавку?

А она мне ответила:

— Не волнуйся, мама, ты ведь сама сказала, что через недельки две вернемся.

Вздохнула я и промолчала. Пролетка направилась в сторону Тибра, я повернула голову, чтоб больше не видеть наш перекресток.

Улицы были пустынны, серый воздух в их глубине застаивался, как пар при стирке очень заношенного белья. В свете газовых фонарей сверкали и казались железными камни мостовой. Ни единой души, впрочем нам навстречу попадались собаки: пять или шесть уродливых, голодных и грязных псов обнюхивали подворотни и потом мочились у стен, с которых свисали лохмотья прокламаций, призывающих воевать до победы.

По мосту Гарибальди мы переехали через Тибр и дальше по улицам Аренула и Арджентина выехали на площадь Венеции. На балконе дворца Муссолини висело такое же черное полотнище, какое я за несколько дней до этого видела на площади Колонна, и два вооруженных фашиста стояли по обе стороны двери. Пустынная площадь казалась просторней, чем обычно. Вначале я не заметила на черном полотнище золотой пучок прутьев с топориком, и мне показалось, что это траурный флаг, тем более что погода была безветренная и оно свисало подобно тем черным полотнищам, которые вывешивают у двери, когда в доме покойник. Потом уже я заметила между складками золотой пучок прутьев и поняла, что это флаг Муссолини. Я спросила у Джованни:

— Что, разве вернулся Муссолини?

Во рту у него дымилась почти докуренная сигара, и он ответил мне с воодушевлением:

— Вернулся, и будем надеяться, что останется навсегда.

Я так и осталась с разинутым ртом, ведь я-то знала, что Джованни терпеть не мог Муссолини, но он меня всегда озадачивал, и я никогда не могла предвидеть, что ему на ум взбредет. Потом он толкнул меня локтем в бок, и я увидела, что он кивает на извозчика, как бы желая дать мне понять, что эти слова были сказаны из страха перед ним. «Это уж чересчур,— подумала я,— извозчик — добрый старичок, с седыми волосами, которые из-под шапки торчали во все стороны, вылитый мой дедушка. Конечно, такой старик не станет доносить».

Когда мы свернули на виа Национале, воздух уже не был таким серым, а из-за верхушки башни Нерона выплывал розовый диск солнца. Но когда мы добрались до вокзала и вошли туда, внутри было — будто ночь и не кончалась, и в темноте горели все лампы. На вокзале полно было народу, в большинстве такие же бедняки, как мы, которые тащили свои пожитки, но немало было там и немецких солдат с ружьями и ранцами, они кучками стояли друг подле друга в самых темных углах.

Джованни отправился покупать билеты и оставил нас посреди вокзала вместе с нашими чемоданами. И покуда мы ждали его возвращения, прямо на перрон внезапно выскочили со страшным грохотом с десяток мотоциклистов, во всем черном, словно черти из преисподней. После черного полотнища на площади Венеции я просто с содроганием смотрела на этих мотоциклистов, одетых во все черное. Я даже подумала: «К чему столько черного, зачем все в черном? Проклятые сукины дети, своими черными знаменами они, в конце концов, принесли нам несчастье». Солдаты поставили мотоциклы у колонн, при выходе, а сами стали у дверей, их лица были зажаты касками из черной кожи, а руки они держали на пистолетах у пояса. Тут у меня от страха дыхание сперло и сердце сильно застучало, я решила, что эти черные мотоциклисты прибыли на вокзал не иначе, чтоб закрыть все выходы, а затем арестовать всех нас, усадить на грузовики и увезти бог знает куда, как не раз уже бывало. Я стала оглядываться по сторонам, как бы ища лазейку, через которую можно было спастись. Но потом я увидела, что к выходу от перрона дви-

галась группа каких-то людей. Все повторяли: «Дорогу дайте, дорогу», и тогда я поняла, что мотоциклисты были здесь по случаю прибытия какой-то важной особы. Толпа мешала мне разглядеть, кто прибыл, но вскоре снова раздался треск этих проклятых мотоциклов, и мне стало ясно, что они проследовали за машиной этой важной персоны.

Джованни вернулся за нами, держа билеты в руках, и сказал, что эти билеты только до Фонди, оттуда нам через горы придется добираться до своей деревни.

Мы вышли из здания вокзала и направились на перрон к поезду. Лучи солнца, проникавшие сюда, как это бывает в больничной палате или тюремных дворах, ложились продольными полосами на платформу. Ни души вокруг, и длинный-длинный, стоявший под навесом поезд казался пустым. Но когда мы вошли туда и стали пробираться из вагона в вагон, то увидели, что состав битком набит немецкими солдатами с вещевыми мешками на плечах, в надвинутых на глаза касках и с зажатыми меж колен винтовками. Трудно мне сказать, сколько их там было: мы переходили из купе в купе, и в каждом сидело молча и неподвижно по восьми немецких солдат, и казалось, будто им отдан приказ не шевелиться и не разговаривать. Наконец в одном из вагонов третьего класса мы наткнулись на итальянцев. Ими, как скотом, который везут на убой, были набиты коридоры и купе: где уж тут думать об удобствах — все равно скоро помирать. Они молчали, как немцы, не двигаясь с места, но видно было, что их молчание и неподвижность — от усталости и отчаяния, между тем как немцы, казалось, готовы в любую минуту выпрыгнуть из поезда и немедленно начать воевать. Я сказала Розетте:

— Вот увидишь, ехать нам придется стоя.

И в самом деле, обойдя бог знает сколько вагонов, уже накалившихся от солнца, проникавшего сквозь грязные окна, мы, наконец, поставили чемоданы в коридоре, перед уборной, и кое-как примостились тут же. После этого Джованни, провожавший нас, сказал:

— Что ж, я вас теперь оставлю, вот увидите, поезд скоро тронется.

Но тут какой-то одетый в черное человек, сидевший тоже на своем чемодане, мрачно, не поднимая глаз, возразил ему:

— Черта с два... мы здесь уже три часа ждем...

Итак, Джованни попрощался с нами, расцеловав Розетту в обе щеки и лишь слегка коснувшись края моих губ, может быть он хотел поцеловать меня по-настоящему, но я вовремя отвернулась. После ухода Джованни мы остались сидеть на своих чемоданах — я сидела повыше, Розетта пониже, положив голову мне на колени. Так, скрючившись, просидели мы с полчаса, не проронив ни слова. Наконец Розетта спросила:

— Мама, когда мы поедем?

А я ответила ей:

— Доченька, разве я больше тебя знаю?

Так неподвижно просидела я с прижавшейся к моим ногам Розеттой бог знает сколько времени. Люди в коридоре дремали, вздыхали, солнце стало сильно припекать, а снаружи, с платформы, до нас не доносилось ни звука. Молчали и немцы, словно их здесь вовсе и не было. Затем неожиданно в соседнем купе немцы запели. Нельзя сказать, чтобы они плохо пели, голоса у них были низкие и хриплые, но звучали они стройно, а ведь я столько раз слышала, как весело поют наши солдаты в поездах, когда вместе куда-нибудь едут, и меня такая тоска охватила, когда я услыхала, как эти немцы на своем языке затянули что-то, по-моему очень печальное. Пели они медленно, и казалось, что они не так уж рвутся воевать, потому что песня у них действительно была печальная. Я сказала человеку в черном, сидевшему рядом со мной:

— Им тоже воевать не хочется... в конце концов, они тоже люди... послушай, какую грустную песню затянули...

Но он мне ответил, надувшись:

— Ничего ты не понимаешь... это же их гимн... ну, как у нас королевский марш.— А затем, помолчав с минуту, добавил:— Вот у нас, итальянцев, тоска так тоска.

Поезд, наконец, тронулся без свистка, без сигнала к отправлению, тронулся бесшумно, как будто случайно. В последний раз я обратилась за помощью к Мадонне, прося ее уберечь меня и Розетту от всех опасностей, навстречу которым мы отправлялись. Но тут меня сон так одолел, что я даже помолиться была не в силах. Только подумала: «вот сукины дети», и сама не знаю, кого я имела в виду, немцев ли, англичан, фашистов или итальянцев. Может быть, всех понемногу. Так я и уснула.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Проснулась я, пожалуй, через час и увидела, что поезд стоит и вокруг мертвая тишина. В вагоне теперь от жары почти нечем было дышать. Розетта поднялась, подошла к окошку и разглядывала уж не знаю что. Из всех окошек вагонов то и дело высовывались испуганные лица. С трудом поднялась я, одурев от сна, обливаясь потом, и тоже выглянула из окошка. Светило солнце, сияло голубизной небо, вокруг зеленели поля, на холмах раскинулись виноградники, и на одном из таких холмов, прямо напротив поезда, горел белый домик. Из окон вырывались красные языки пламени, клубился черный дым, и только дым и пламя были в движении, все в этих полях было спокойно и недвижно, день выдался действительно чудесный, и полное безлюдье кругом. Потом все в вагоне закричали: «Вот он, вот он»; я взглянула на небо — и увидела на горизонте черное насекомое, которое почти сразу же приняло очертания самолета и тут же исчезло. Затем я внезапно услышала, как самолет кружит над поездом, и сквозь страшный грохот взбесившегося металла раздалось дробное постукивание, напоминавшее швейную машинку. Грохот длился мгновение, затем стал затихать, и тотчас же после этого вблизи от нас раздался сильнейший взрыв, и в вагоне все бросились на пол, кроме меня, потому что я не успела и даже об этом не подумала. Тогда я увидела, что горевший домик исчезает в большом сером облаке, которое тотчас же расползлось по холму и волнами стало спускаться к поезду; потом снова настала тишина, и люди начали подыматься с пола, почти не веря, что остались живы, и опять принялись выглядывать из окошек. В воздухе теперь полно было тонкой пыли, от которой хотелось кашлять. Когда же облако постепенно рассеялось, мы все увидели, что белого домика больше не было. Через несколько минут поезд снова тронулся в путь.

Это и было самое значительное происшествие за все время нашего пути. Останавливался поезд еще не раз, и всегда в открытом поле, стоя полчаса или час, и поездка, которая в обычное время продлилась бы не более двух часов, теперь продолжалась шесть.

Розетта, которая так пугалась во время бомбежек в Риме, на этот раз, после того как белый домик взлетел на воздух и поезд снова двинулся в путь, сказала:

— В деревне не так страшно, как в Риме. Здесь солнце, здесь мы на открытом воздухе. В Риме я так боялась, что дом обвалится мне на голову. А здесь, если умрешь, хоть солнце увидишь.

Тогда один из тех, кто ехал в коридоре вместе с нами, заметил:

— Я на покойников под солнцем в Неаполе нагляделся. В два ряда на мостовой лежали после бомбежки. Свалены в кучу, словно грязная одежда. Уж эти перед смертью солнцем вдосталь налюбовались...

А другой вставил с усмешкой:

— Знаешь, как в Неаполе песню поют: «О мое солнце».

Но разговаривать, а тем более шутить, по правде сказать, ни у кого не было охоты, и дальше всю дорогу мы просидели молча. Сходить нам надо было в Фонди, и после Террачины я велела Розетте приготовиться.

Мои родители жили в горах, в деревушке вблизи Валлекорса, там у них был домик и небольшой участок земли, от Фонди туда было не больше часа езды машиной по шоссе. Но когда мы, слава богу, наконец добрались до Монте Сан-Бьяджо — деревушки, вскарабкавшейся на холм, с которого видна долина Фонди, все стали выходить из поезда. Немцы сошли еще раньше — в Террачине, и теперь в поезде оставались одни итальянцы. Но и они все сошли, и мы остались вдвоем в пустом купе, и я сразу почувствовала себя лучше, потому что теперь мы были одни, и стоял чудесный день, и мы скоро должны были приехать в Фонди, а оттуда отправиться к моим родителям.

Поезд не двигался, но меня это не смущало, ведь он уже столько раз останавливался в пути, и я сказала Розетте:

— Вот увидишь, ты в деревне сразу оживешь, станешь есть, спать, и все пойдет на лад.

Я продолжала говорить о том, как мы станем жить в деревне, а поезд тем временем не трогался с места. Был час дня или два, стояла сильная жара, и я сказала: «Давай поедим»; вытащила чемоданчик, в который уложила съестное, открыла его и приготовила два куска хлеба с колбасой. Была у меня и бутылочка вина с собой, я налила Розетте и сама выпила стаканчик. Мы ели, а кругом стоял зной и было тихо-тихо, из окошек видны были лишь белые от пыли и сожженные солнцем платаны, окружавшие станционную платформу, в их густой листве цикады стрекотали, как в середине августа.

Да, это была деревня, самая настоящая деревня, в которой я родилась и прожила до шестнадцати лет. Здесь все было, как и на моей стороне, где воздух пропитан разогретой на солнце пылью, сухим навозом и сожженной травой.

— До чего же здесь хорошо! — воскликнула я, не удержавшись, и вытянула ноги, положив их на сиденье напротив.— Послушай, какая тишина. Как же я довольна, что мы не в Риме.

В эту минуту открылась дверь купе и просунулась чья-то голова.

Худой смуглый железнодорожник, в фуражке набекрень, в расстегнутой куртке и давно небритый, показался на пороге и сказал: «Приятного аппетита», с серьезным и даже сердитым видом. Решив, что он, как и многие в эти дни, голоден, я показала ему на лист желтой бумаги с нарезанными ломтиками колбасы:

— Не угодно ли?

Но он мне в ответ все раздраженней:

— Какое уж тут угодно? Выходить надо, вот что.

Я ему говорю:

— Мы едем в Фонди,— и билет показываю.

Он на билет и не взглянул.

— Вы разве не видели, что все здесь сошли. Дальше поезд не идет.

— Не идет до Фонди?

— Какое там Фонди: рельсы разобраны.— Но через минуту, уже полюбезней, добавил: — Вы до Фонди за полчаса пешком доберетесь, только сходите поскорей, поезд скоро обратно в Рим отправится,— и вышел, захлопнув за собой дверь.

Остались мы как сидели, только взглянули друг на друга, а в руках у нас надкусанные ломти хлеба. Потом я сказала Розетте:

— Для начала худо.

Розетта, как бы угадав мои мысли, ответила:

— Да что ты, мама, сойдем, отыщем какую-нибудь повозку или машину.

Я ее и не дослушала. Схватила чемоданы, открыла дверцу и выскочила из поезда. Под навесом станции не было ни души, мы прошли через зал ожидания — и там никого, вышли на площадку — пусто. Отсюда шла прямая дорога, настоящая деревенская дорога, белая, вся словно вываляннная в муке, шла она по самому солнцепеку, среди окутанных пылью изгородей и редких, тоже пыльных деревьев. Здесь на площадке, в углу, был расположен фонтанчик; от жары и волнения у меня во рту пересохло, я подошла к фонтанчику, но воды в нем не оказалось. Розетта, которую я оставила с чемоданами, поглядела на меня испуганно:

— Мама, что мы станем делать?

Эти места я знала хорошо, знала и то, что дорога ведет прямо в Фонди.

— Делать нечего, доченька. Придется пешком идти.

— А чемоданы?

— На себе понесем.

Ничего она мне не ответила, только растерянно взглянула на чемоданы: не понимала, как мы их донесем. Я открыла чемодан, достала два полотенца и сделала из них два круга — один для себя, другой для нее. Я еще девушкой привыкла тяжести на голове носить, до пятидесяти кило поднимала. А покуда готовила круги, я сказала Розетте:

— Вот тебе мама сейчас покажет, что делать нужно.

Успокоившись, Розетта улыбнулась.

Я приладила как следует круг на голове. Розетте я сказала, чтоб сделала то же самое. Сняла туфли, чулки и велела Розетте разуться. Потом поставила себе на голову самый большой чемодан, на него другой поменьше, а сверху сверток с продуктами — все по очереди, а Розетте дала самый маленький чемодан. Объяснила ей, что голову нужно держать прямо, а чемодан придерживать одной рукой за ребро. Розетта меня поняла, и, увидев, как она идет по дороге с чемоданом на голове, я подумала: «Вот, родилась в Риме, а в конце концов и она чочара: ведь хорошая кровь не обманет».

Так, с чемоданами на голове, босые, зашагали мы в сторону Фонди по обочине дороги, где росла чахлая трава.

Шли мы и шли. Дорога пустынная, и живой души не видать. Городскому, непонимающему человеку могло показаться, что все здесь в деревне выглядит как обычно, но я была крестьянкой, прежде чем переехала в город, и сразу убедилась, что деревня эта брошена людьми. Следы запущенности видны были повсюду: виноград уж давно следовало убрать, но здесь чересчур золотистые, а местами даже потемневшие и гнилые гроздья свисали к земле среди пожелтевших листьев, и ягоды кое-где были изъедены осами и ящерицами. Кукуруза там и сям в беспорядке повалилась на землю, а переспевшие, окутанные листвой початки были почти красными. И финики валялись на земле, под деревьями; они опали оттого, что давно уже перезрели, и лежали помятые, поклеванные птицами. И ни одного крестьянина. «Должно быть, все бежали»,— подумала я. А день был такой прекрасный, такой спокойный и жаркий, настоящий деревенский денек. «Вот она какая, война, — подумала я, — все кажется обычным, а на самом деле где-то в глубине прополз червь войны, людей охватил страх, и они бежали, а поля — будто им все равно — продолжают родить плоды, зерно, травы, словно на свете ничего не случилось».

Когда мы добрались до Фонди, наши ноги по колено стали белыми от пыли, в горле пересохло, а от усталости мы будто онемели. Я сказала Розетте:

— Сейчас зайдем в остерию, выпьем, перекусим, отдохнем. А потом станем искать машину или повозку, чтоб добраться до деревни.

Где уж там остерия, машина или повозка! Войдя в Фонди, мы тотчас же убедились, что город пуст и заброшен. На улицах ни души, на всех лавках спущены шторы, и кое-где висят белые клочки бумаги с сообщением, что хозяева выбыли; двери и ворота домов на запоре, окна и форточки заколочены, даже лазейки для котов наглухо забиты. Казалось, мы идем по городу, все жители которого вымерли от какой-то эпидемии. А ведь в это время года люди в Фонди всегда на улице — женщины, мужчины, дети и тут же рядом кошки, собаки, ослы, лошади, цыплята; кто из людей по делу идет, кто просто гуляет, наслаждаясь прекрасной погодой, кто сидит за столиками кафе или у порога своего дома. Казалось, что жизнь еще сохранилась на боковых улочках, потому что яркий солнечный свет играл на фасадах домов и на камнях мостовой, но стоило лишь получше вглядеться, чтобы увидеть все те же окна с заколоченными ставнями, все те же забитые двери, и тогда это солнце, под лучами которого сверкали камни, начинало почти пугать, так же как пугали тишина и шум собственных шагов. Я то и дело останавливалась, стучала в какую-нибудь дверь, звала, но никто не открывал, никто не отзывался на мой крик.

Наконец вот остерия «Петух» — с деревянной вывеской, на которой виднелось выцветшее от солнца изображение общипанного петуха. Старая, выкрашенная в зеленый цвет дверь была заперта огромным старинным висячим замком; я заглянула в замочную скважину — и разглядела в глубине темного зала окно, выходившее в сад, где вокруг беседки из вьющейся лозы в лучах солнца зеленели виноградные листья и свисали к земле черные гроздья; можно было заметить также стоявший на солнце столик и ничего больше. И здесь никто не отозвался, хозяин бежал вместе со всеми остальными.

Вот она какая деревня: еще хуже, чем Рим. И вспомнив о том, как я заблуждалась, надеясь в деревне найти то, чего мне недоставало в Риме, я повернулась к Розетте со словами:

— Знаешь, что я тебе скажу? Мы сейчас передохнем немного, а затем вернемся на станцию и поедем обратно в Рим.

Так бы я и поступила. Но, увидев, какое у Розетты стало испуганное лицо — она, конечно, подумала о бомбежках,— я поспешила добавить:

— Все же прежде чем решиться, я хочу сделать последнюю попытку. Это Фонди. Посмотрим, как дела в деревне обстоят. Может, найдем кого-нибудь, кто нас на ночь или две пустит к себе переночевать. А там видно будет.

Так мы передохнули немного, прислонясь к стенке и не разговаривая друг с другом,— ведь среди этой пустыни наши голоса почти пугали,— а затем снова взяли чемоданы и вышли из города, направившись в сторону, противоположную той, откуда пришли. Шли мы около получаса по дороге, под сильным солнцем, утопая в белой, как мука, пыли, и лишь только по обеим сторонам дороги стали появляться апельсиновые рощи, свернули на первую тропинку, которая вилась между апельсиновыми деревьями. Я подумала: в деревне тропинки всегда куда-нибудь ведут, выведет нас и эта. Деревья стояли тесно-тесно, листва была чистой, не запыленной, зелень давала много тени, и после выжженной, пыльной дороги мы почувствовали облегчение. Мы шли по этой тропинке, которая вилась и вилась между апельсиновыми деревьями, и Розетта вдруг спросила у меня:

— Мама, а когда собирают эти апельсины?

Я ей ответила, даже не подумав:

— В ноябре начинают собирать. Вот увидишь, какие они тогда сладкие.

И тотчас же прикусила себе язык, ведь был только конец сентября, а я ей все время твердила, что мы уехали из Рима не больше чем на десять дней, хотя сама знала, что это неправда, и вот теперь я себя выдала. Но она, к счастью, ничего не заметила, и мы продолжали шагать по этой тропинке.

Наконец в глубине тропинки показалась лужайка, а на ней дом, когда-то, должно быть, выкрашенный в розовый цвет, а теперь от времени и сырости ставший совсем черным и облезшим. Наружная лестница вела на второй этаж, где была веранда с аркой, на ней висели связки перца, помидоров и лука. На току перед домом были разбросаны сушившиеся на солнце финики. Крестьянский дом, и вдобавок жилой. И в самом деле, мы еще не успели кликнуть, как показался крестьянин, и я поняла, что он где-то прятался, чтобы разглядеть, кто идет к дому. Нас испугала худоба этого старика, его маленькая, обтянутая кожей плешивая голова, длинный, похожий на клюв нос, запавшие глаза; низкий лоб делал его похожим на коршуна. Он сказал:

— Кто вы? Что вам нужно? — В руках у него был серп, словно он собирался им защищаться.

Но я ничуть не смутилась, может оттого, что была с Розеттой, ведь даже трудно себе представить, какие силы придает близость существа, которое слабей тебя и нуждается в защите. Я ответила, что нам от него ничего не нужно, и что сами мы из Ленола — это, в конце концов, было правдой, потому что я родилась в деревне близ Ленола,— и что мы за этот день столько прошли пешком, что дальше идти невмоготу, и если он нас впустит к себе в комнату на ночь, я заплачу ему хорошо, не хуже, чем в гостинице.

Он слушал меня, стоя посреди тока и широко расставив ноги; на нем были донельзя рваные штаны, куртка в сплошных заплатах, а серп в руках придавал ему сходство с воробьиным пугалом. Должно быть, из всего, что я ему говорила, до него дошло только, что я ему хорошо заплачу; позднее я узнала, что он вообще слабоумный и, кроме своей выгоды, ничего не понимает. Но и в делах для него прибыльных он тоже разбирался с трудом, и бог знает сколько времени ему понадобилось, чтобы понять, о чем я ему толковала. Он все только повторял:

— Комнат у нас нет, а ты говоришь, будто заплатишь, но чем же ты заплатишь?

Доставать зашитые в мешочек под юбкой деньги мне не хотелось: ведь время военное — каждый может стать вором и убийцей, а этот и без того походил на убийцу и вора; вот почему я надрывалась, стараясь ему втолковать, чтоб он не беспокоился, в долгу не останусь. Но он не понимал меня. Розетта стала было тянуть меня за рукав и тихонько говорила, что нам лучше уйти, но, к счастью для нас, появилась жена старика, намного моложе его, худая маленькая женщина с горящими глазами на возбужденном, раскрасневшемся лице. В отличие от своего мужа она поняла меня сразу же и едва не бросилась мне на шею, повторяя:

— Ну как же, как же, есть у нас, конечно, комната. Сами станем спать на веранде или на сеновале, а тебе отдадим нашу комнату. И еда у нас есть, все у нас, знаешь, простое, деревенское, с нами будешь есть.

Муженек ее теперь отошел в сторону и мрачно поглядывал на нас своими вытаращенными глазами, словно больной петух, который таращит глаза, делается вялым и перестает клевать. Она же, не переставая тараторить, взяла меня под руку:

— Пойдем, я покажу тебе комнату, пойдем, я уступлю тебе свою кровать, сама с мужем стану спать на веранде.

Так мы с ней поднялись по наружной лестнице на второй этаж.

Вот и началась наша жизнь у Кончетты — так звали эту женщину.

Мужа ее звали Винченцо, и был он на двадцать лет старше жены. Работал испольщиком у некоего Феста — торговца, бежавшего вместе со многими другими из города; теперь он жил в хижине на самой вершине горы, возвышавшейся над долиной. Были у них сыновья — Розарио и Джузеппе, оба черноволосые, с тяжелыми грубыми лицами, маленькими глазами, низкими лбами. Появлялись они редко, а дома рта не открывали: они прятались, потому что после перемирия бежали из армии и не явились вновь по призыву, а теперь боялись фашистских патрулей, которые рыскали повсюду и хватали людей, чтобы отправлять их на работу в Германию. Скрывались они в апельсиновых рощах, домой приходили лишь к обеду, ели наспех, почти слова не проронив, а затем снова исчезали неизвестно куда. Хоть оба относились к нам хорошо, мне они были неприятны, я сама не понимала отчего и часто упрекала себя, что несправедлива к ним. Потом я как-то поняла, что меня чутье не обманывало и они, как я с самого начала подозревала, были настоящими негодяями. Здесь я должна вам сказать, что неподалеку от дома, среди апельсиновых деревьев, был расположен большой, окрашенный в зеленый цвет и крытый жестью сарай. Кончетта говорила мне, что в этот сарай они по мере уборки складывали апельсины, это, может, так и было, но ведь время сбора апельсинов еще не настало, все они висели на деревьях, а я приметила, что не только Винченцо и Кончетта, но и оба их сына частенько возились у сарая. Сама я женщина нелюбопытная, но раз уж мне одной да еще с дочерью пришлось поселиться у чужих людей, которым, по правде говоря, я не доверяла, то мне, так сказать, по необходимости пришлось стать любопытной. Как-то в полдень вся семья пошла к сараю, а я немного погодя последовала за ними и спряталась за апельсиновым деревом. Отсюда был виден расположенный совсем неподалеку сарай, он походил на развалину, краска облезла, крыша покосилась, и казалось, столбы чудом ее удерживали. Посреди лужайки стоял запряженный в телегу мул, а на телеге была свалена куча всякого добра: кроватные сетки, матрасы, стулья, шкафчики, узлы с вещами. Сыновья Кончетты развязывали веревки, которыми была перевязана вся эта рухлядь, а довольно широкие двухстворчатые двери сарая были распахнуты настежь. Винченцо, как всегда глядевший придурковато, сидел на пне в сторонке и покуривал трубку, а Кончетта была в сарае, я ее не видела, только слышала, как она говорила: «Живей поворачивайтесь, скорей, ведь поздно уже».

А сыновей будто подменили: всегда они были молчаливые, вялые, точно пришибленные, а теперь они ловко, старательно и со сноровкой занимались своим делом.

Тут я подумала, что людей надобно видеть, когда они заняты чем-то для них интересным: крестьян — на поле, рабочих — на заводе, лавочников — за прилавком, а воров, скажем прямо, надо разглядывать, когда они заняты краденым. Ведь все эти сетки, стулья, шкафчики, узлы и свертки были украдены — это я тотчас же заподозрила, а Кончетта в тот же вечер сама мне подтвердила, когда я, набравшись смелости, спросила ее как бы невзначай, чьи это вещи они сегодня таскали в сарай.

Сыновей ее, по обыкновению, в это время уже не было, и Кончетта, может на какую-то минутку, смутилась, но затем как ни в чем не бывало ответила мне со своей преувеличенной веселостью:

— Ах, ты нас видела, напрасно к нам не подошла, могла бы помочь. Нам-то скрывать нечего, у нас все на виду. Взяли эти вещи в одном доме в Фонди. Бедняга-хозяин бежал в горы и бог знает когда вернется. Знаешь, чем их в доме оставлять, чтоб они там при следующей бомбежке погибли, мы уж их лучше к себе взяли. Так они хоть кому-нибудь пригодятся. Ведь сейчас, известное дело, война, надо как-то устраиваться, прозеваешь — в дураках останешься. Вот так-то, кума, живем. А кончится вой-

на — правительство уплатит хозяину за имущество, и он себе еще лучшие вещи купит.

Не по себе мне стало, по правде сказать испугалась даже, побледнела должно быть, потому что Розетта на меня взглянула и спросила:

— Что с тобой, мама?

Испугалась я оттого, что сама я лавочница и собственность очень уважаю, честной я всегда была и всегда думала: «Что мое — мое, что твое— твое», и тут путаницы не должно быть, иначе все кувырком пойдет. А теперь вот попала в дом к ворам, и, что всего хуже, воры эти всякий страх потеряли, потому что в этих местах нет ни закона, ни полиции. Не только страх потеряли, но даже похваляются воровством своим. Я ничего не ответила, но Кончетта, должно быть, поняла, о чем я задумалась, и добавила:

— Пойми, мы эти вещи себе взяли, потому что они теперь как бы ничьи. Но мы, Чезира, люди честные, и это я тебе сейчас докажу. Вот возьми, постучи сюда.

Она поднялась и постучала в стенку кухни, левей плиты. Поднялась и я, тоже постучала и по звуку поняла, что за стеной пустое пространство. Тогда я спросила:

— Что ж у вас там, за стеной?

Тут мне Кончетта с восторгом стала выкладывать:

— Там вещи Феста, там целый клад, все приданое дочки, все хозяйство: простыни, одеяла, полотно льняное, серебро, посуда, ценные вещи.

От неожиданности я так и остолбенела. Тогда Кончетта с той же горячностью, которую она вкладывала во все, что делала и говорила, объяснила мне: Винченцо и Филиппо Феста, так сказать, породнились: по воле святого Джованни, Феста крестил сына Винченцо, а Винченцо крестил дочку Феста — выходит, их святой Джованни и побратал. А Феста этому святому верил и, прежде чем бежать в горы, замуровал все свое добро в кухне Винченцо и заставил его поклясться, что тот вернет ему все, как только война кончится. Теперь эти вещи Феста для нас все равно что святыня, закончила Кончетта в таком исступлении, словно речь шла о самом господе боге.

— Пусть меня лучше убьют, если я до этих вещей дотронусь. Они здесь уже месяц лежат и будут лежать, пока война не кончится.

Я осталась при своих сомнениях, не убедило меня и то, что молчавший до тех пор Винченцо вынул трубку изо рта и произнес своим глухим голосом:

— Вот именно, святые они. Будь то немцы, будь то итальянцы — им придется через мой труп перейти, прежде чем к вещам этим притронуться.

При этих словах мужа Кончетта поглядела на меня своими блестящими и возбужденными глазами, как бы желая сказать: «Вот видишь, что ж ты молчишь? Честные или не честные мы люди?» Но я словно заледенела и, вспоминая, как оба их сына ретиво снимали с телеги всякое добро, про себя подумала: «Подальше от них! Кто раз украл, украдет и еще раз».

Главное, из-за этого их воровства я и стала подумывать о том, как бы оставить дом Кончетты и отправиться куда-нибудь в другое место. У меня в мешочке под юбкой зашиты деньги, и деньги немалые, а мы две одинокие женщины, которых некому защитить, и теперь, когда нет ни законов, ни полиции, не так уж трудно обидеть нас и отобрать все, что есть. Правда, свой мешочек я Кончетте ни разу не показывала, только время от времени платила небольшие суммы за еду и комнату, но я им сказала, что буду платить и дальше, и они наверняка подумали, что у меня где-то припрятаны деньги. Сегодня они воровали брошенное добро, а завтра могли украсть мои деньги и даже убить меня — ничего нельзя знать за-

ранее. У сыновей разбойничьи рожи, муж походит на дурачка, а Кончетта все время в каком-то исступлении; нет, здесь на самом деле нельзя знать, что может случиться. И дом, хоть и совсем близко от Фонди, так одиноко захоронился среди апельсиновых рощ, что здесь, если прирежут человека, никто и не заметит. Правда, нужно сказать, укрылись мы здесь хорошо, но в этом убежище дело может хуже обернуться, чем на открытом месте, под бомбами.

В тот же вечер, когда мы с Розеттой легли спать в комнате, я ей сказала:

— Эта семья преступная. Может, они нам ничего дурного и не сделают, а могут и убить, зароют в землю, как навоз под апельсиновым деревом, глазом не моргнут.

Сказала я так, чтоб поделиться своим беспокойством, и тотчас же поняла, что плохо поступила, потому что Розетта, которая еще не избавилась от страха перед римскими налетами, сразу же принялась плакать и, прижавшись ко мне, зашептала:

— Мама, я так боюсь. Отчего бы нам сразу отсюда не уйти?

Тогда я сказала ей, что всё это мои домыслы, всему виной война, а Кончетта, Винченцо и их сыновья — славные люди. Но Розетту это, кажется, не очень убедило, и под конец она сказала:

— Я так или иначе отсюда уйду: нам здесь так плохо живется.

Я обещала ей, что мы уйдем отсюда как можно скорей, ведь она и на самом деле была права: неважно жилось нам здесь, очень неважно.

Да, жили мы плохо, и теперь, вспоминая об этом военном времени, которое мы провели вне дома, я думаю, что нам нигде не жилось так скверно, как у Кончетты. Она уступила нам свою комнату, в которой спала вместе со своим мужем с самого первого дня их женитьбы, но, должна вам сказать, хоть и сама я из крестьян, а такой страшной грязи в жизни не видывала. В комнате стояла такая сильная вонь, что дышать было нечем, хоть окна всегда и были настежь открыты. Вонь здесь была от затхлости, грязи, гнилья, червей, мочи. Желая разузнать, откуда идет этот запах, я открыла оба шкафчика и обнаружила в них два урильника, очень высоких и узких, без ручек, похожих на трубки из белого стекла с нарисованными на них розовыми цветами. Эти урильники никогда, должно быть, не видели воды, и чего-чего в них только не было, а запах-то и шел от них, я выставила их поэтому за дверь. Кончетта на меня чуть с кулаками не набросилась, до того ее это разозлило, ведь урильники достались ей еще от матери, они хранились в семье, и она не могла понять, отчего я решила выставить их из комнаты.

В первую же ночь мы вдвоем легли в их огромную двуспальную кровать на дырявый продавленный матрас, набитый чем-то колючим и свалявшимся и покрытый такой тоненькой материей, что она, казалось, должна была лопнуть при каждом нашем движении. Я сразу же принялась неистово чесаться и уже не переставала это делать, а Розетта тоже места себе не находила, ворочалась из стороны в сторону, пока наконец не уснула.

В конце концов зажгла я свечу и с подсвечником в руках осмотрела кровать: тут я увидела, как во все стороны разбежались целые полчища клопов — темно-красных, жирных, налитых высосанной из нас за эти часы кровью. Кровать была вся черная от клопов, и я, по правде сказать, в жизни своей столько за один раз не видела. В Риме, бывало, заведется у меня клоп или два, так я тотчас же отдам матрас перебить, и больше их не видно. А здесь клопов были целые тысячи, водились они, видно, не в одном только матрасе, но и в дереве кровати, да и повсюду в комнате. Наутро мы с Розеттой встали и взглянули на себя в зеркало: с ног до головы

были мы в красных пятнах, и до того искусали нас эти клопы, что казалось, мы заболели какой-то отвратительной накожной болезнью.

Позвала я хозяйку, показала ей Розетту, которая сидела голая на кровати, заливаясь слезами, и говорю ей, что стыдно было укладывать нас вместе с клопами, а она, как всегда в исступлении, закричала:

— Твоя правда, стыдно это, неприлично, я знаю, что есть клопы, это просто позор. Но мы бедняки, живем в деревне, а ты барыня городская: нам клопы, а тебе пуховая постелька. — Она с готовностью соглашалась со мной, но как-то по-странному, словно издевалась надо мной, признав, что я права, и вдруг заявив мне, что и клопы — твари господни, и раз бог их создал, значит они на что-нибудь да годны. Словом, я ей сказала, что с этого дня мы будем спать в сарайчике, где она держит сено для мула. Сено кололось, и может, в нем тоже водились насекомые, но уж более приличные, чем клопы,— они хоть и щекочут и ползают по телу, но крови не пьют. И все же я хорошо понимала, что долго так продолжаться не может.

В этом доме все было мерзко: не только постели, но и еда. Кончетта была страшной неряхой, все она делала в спешке, спустя рукава, кухня у нее была закопчена до черноты, многолетняя грязь прилипла к сковородам и кастрюлям, воды никогда не было, посуду не мыли, стряпалось все наспех, как бог на душу положит. Ежедневно Кончетта готовила одно и то же — похлебку, которую у нас в Чочарии зовут «минестрина»: домашний хлеб нарезают тонкими ломтями и рядами укладывают в глиняный горшок дополна, затем туда же выливают кастрюльку фасолевого супа. Едят эту похлебку холодной, после того как суп хорошенько пропитает собой хлеб, превратив его в кашицу. Мне «минестрина» никогда не была по вкусу, но здесь, у Кончетты, меня от нее прямо воротило: ведь грязь такая, что в похлебку непременно попадет муха или червяк, не говоря уже о том, что Кончетта не умела толком приготовить даже это простое блюдо.

Ели похлебку по-крестьянски, без тарелок, каждый опускал свою ложку в кастрюлю, клал ее в рот, облизывал, а затем снова опускал в похлебку. Не поверите вы мне, когда я раз что-то сказала Кончетте насчет дохлых мух, застрявших между хлебом и фасолью, она мне, как настоящая невежда, ответила: «Ешь. Ешь. Что такое муха, в конце концов? Мясо — ничем не хуже телятины». Наконец, увидев, что Розетта больше не в силах есть эту дрянь, я стала время от времени вместе с Кончеттой выходить на большую дорогу за апельсиновой рощей. Рынок был теперь здесь, а не в городе, где люди жили среди воздушных тревог, фашистских реквизиций и где больше не было ничего надежного. На большой дороге попадались крестьянки, которые продавали свежие яйца, фрукты, кусочки мяса и даже рыбу. Дороговизна была бешеная, а если кто начинал торговаться, чтобы купить подешевле, ему отвечали: «Ладно, ешь свои деньги, а я буду есть яйца». Словом, и они знали, что теперь настал голод и пришли такие времена, когда деньги ничего не стоят, и брали меня за горло. Все же что-нибудь мне всегда удавалось купить, и, в конце концов, я стала кормить и семью Кончетты, так что деньги текли, как вода, и это тоже была одна из причин, заставлявших меня все больше тревожиться.

Мы стали подумывать об уходе, но куда идти? Однажды я сказала Кончетте, что теперь, когда англичане задерживаются, мне надо на телеге или, на худой конец, пешком добраться до деревни, где живут мои родители, и переждать там, покуда война не кончится. Она меня тотчас же с восторгом поддержала:

— Конечно, так всего лучше будет. Только у себя дома и бывает хорошо. Кто же может мать заменить? Так и сделай, тебе у нас все не нра-

вится, а дома, у своих родителей, те же клопы и та же похлебка райскими покажутся. Еще бы! Завтра же Розарио отвезет вас на телеге. Вот и прогуляетесь!

Поверив ей, мы, довольные, поджидали Розарио, который на следующий день должен был откуда-то воротиться. Он и на самом деле вернулся, только вместо повозки с мулом привез с собой целый мешок дурных вестей: немцы повсюду хватали мужчин, фашисты арестовывали каждого, кто осмеливался показаться на дороге, англичане кидали бомбы, американцы прыгали с парашютами, и повсюду — голод, лишения, беспорядки, а немцы с англичанами скоро начнут сражение как раз в тех местах, где деревня моих родителей; немецкое командование об этом разузнало и велело очистить эту деревню, и всех жителей увели в концлагерь вблизи Фрозиноне. На дорогах, сказал он, в любом случае опасно, самолеты снижаются и обстреливают людей из пулеметов, пока всех не перебьют, а на горных дорогах тоже небезопасно, там полно дезертиров и разбойников, которые ради пустяка убивают людей. Словом, нам двоим лучше дождаться прихода англичан здесь, ведь это дело дней, потому что союзная армия наступает и будет здесь не позже чем через неделю.

Напоследок наговорил он нам целую кучу всякой всячины, и ложь в его словах так перемешалась с правдой, что и ложные известия казались нам верными. Насчет бомбежек и пулеметов он правду говорил, но врал, рассказывая, будто бои будут там, где моя деревня, и что оттуда народ выселили. Но мы были напуганы, совсем одиноки, и других сведений, кроме этих, у нас не было; и мы просто не могли себе представить тогда, что он нам эти дурные вести выкладывал, чтобы удержать нас в их доме, где они на нас зарабатывали. С другой стороны, времена и на самом деле были скверные, а у меня дочь на руках, и не могла я рискнуть пуститься в путь, если даже одна сотая тех опасностей, о которых он говорил, нам могла повстречаться. Вот отчего я решила отложить поездку в свою деревню до лучших дней и дождаться прихода союзников в Фонди.

И все же нужно было как можно скорее покинуть дом Кончетты, потому что здесь, на отшибе, среди апельсиновых рощ, как я уже говорила, любая беда могла случиться. Да и сыновей Кончетты я с каждым днем стала побаиваться все сильней. Я уже говорила, что были они не словоохотливы, но стоило им заговорить, как мне просто тошно делалось. Они были способны под видом шутки вот что рассказывать:

— Стояли мы в Албании, в одной деревне, а там в нас стали постреливать и ранили двоих. Знаешь, что мы сделали, чтоб их наказать? Мужчины ведь все бежали, так мы взяли женщин самых смазливых и стали их друг другу передавать, одну за другой... Некоторые шли охотно, суки этакие, дождались случая, чтоб мужьям своим рога наставить, а других брали силой... некоторые по стольку раз переходили из рук в руки, что на ногах уже не держались, словно мертвые...

Я так и остолбенела, услышав эти разговоры, а Кончетта слушает да посмеивается:

— Парни, знаешь, молодые, девушек любят, кровь у молодых горячая.

А Розетта как услышала это, так вся и побледнела, так вся и дрожит. Однажды я отрезала:

— Бросьте вы эти разговоры, здесь дочь моя, разве можно при девушке такое рассказывать?

Лучше бы они возмутились, лучше выругали бы меня, так нет же — они только промолчали да взглянули исподлобья на Розетту своими сверкающими, как угольки, глазами, наводившими на меня страх, а мать их слушала и приговаривала:

— Парни ведь молодые, знаешь, кровь у них горячая. Но ты, Чезира, за свою дочь не бойся. Мои сыновья твою дочь за миллион не тронут. Вы гости, а для нас гость — все равно что святой. Здесь твоя дочь в надежном месте, как в церкви.

А во мне все рос и рос страх перед молчаливыми сыновьями и болтливой матерью. Тем временем я у одного крестьянина раздобыла складной ножик и носила его в мешочке вместе с деньгами. Ничего нельзя знать заранее: пускай попытаются только — им сначала пришлось бы иметь дело со мной, а у меня хватит силы даже чтоб их прирезать.

Однако недельки через две после того, как мы здесь поселились, произошел случай, окончательно убедивший меня в том, что отсюда нужно удирать. Как-то утром сидели мы с Розеттой на току и только собрались очищать кукурузные початки — делать ведь все равно нечего,— как на тропинке показалось двое мужчин. Я-то сразу сообразила, кто они такие, по их винтовкам на перевязи и черным рубашкам, торчавшим из-под курток, а еще потому, что увидела, как сын Кончетты — Розарио, который закусывал хлебом с луком, бегом бросился в рощу, едва только их приметил. Я тихо сказала Розетте:

— Это фашисты, ты молчи, я сама с ними буду разговаривать.

Этих новых фашистов, появившихся после 25 июля, я знала хорошо, потому что не раз видела их в Риме: все как на подбор негодяи, бродяги никчемные, которые ради своей выгоды надели черные рубашки, когда честные люди их теперь и знать не хотят. Однако ребята из себя видные, таких нередко встречаешь у нас в Трастевере и Понте. А эти двое мне сразу показались замухрышками, ублюдками несчастными, которые своих винтовок сами боятся больше тех, кого они ими хотят запугать. Один наполовину скрюченный, лысый, со сморщенным, как сухой каштан, лицом, вздернутым носом, запавшими глазами, давно небритый и такой узкоплечий, что на него глядеть жалко было; а другой был почти карлик, но лицо, словно у профессора,— жирное, серьезное, в очках.

Кончетта тотчас же спустилась вниз и первого из них назвала прозвищем, которое само по себе многое говорит:

— Обезьянка,— сказала она ему,— что ты здесь ищешь, в наших местах?

Тогда лысый и худой фашист, прозванный Обезьянкой, покачиваясь на своих ножках и похлопывая рукой по прикладу винтовки, ответил ей хвастливо:

— Кума Кончетта, кума Кончетта, мы понимаем друг друга. Ты знаешь, что мы ищем. Хорошо знаешь.

— Я тебя, честное слово, не понимаю. Хочешь вина? Хочешь хлеба? Хлеба у нас мало, но можем дать тебе фиаску вина и еще дадим немного сушеных фиников. Все наше, деревенское.

— Хитрая ты, кума Кончетта, но на этот раз напала на тех, кто похитрей тебя.

— Что ты говоришь, Обезьянка? Это я-то хитрая?!

— Да, хитрая ты, и муж у тебя хитрый, а хитрей всех оба твоих сына!

— Сыновья мои? А кто их когда видел, моих сыновей? Бедные мои сыновья, они в Албании сражаются за короля и Муссолини, пусть их бог сохранит и обоим здоровья пошлет.

— Какой там король, какой король, у нас теперь республика, Кончетта.

— Тогда да здравствует республика!

— А сыновья твои не в Албании, а здесь.

— Здесь? Ах, было бы это так!

— Да, здесь они, только вчера люди видели, как они в Коккуруццо на улице спекуляцией занимались.

— Что ты говоришь такое, Обезьянка? Здесь мои сыновья? Было б это так, я тебе уж сказала, обняла б я их, была бы я за них спокойна, а я за них ночами слезы лью, страдаю больше Мадонны-скорбящей.

— Хватит, давай кончать. Говори, где они?

— А я почем знаю? Могу тебе дать вина, фиников могу тебе дать сушеных, муки кукурузной могу тебе дать немного, хоть у нас самих ее мало, но как же могу я тебе дать своих сыновей, если их здесь нет?

— Что ж, пока поглядим, что у тебя за вино.

Тут они уселись посреди тока, на двух табуретках. А Кончетта, как всегда возбужденная, принесла им фиаску вина, два стакана и еще захватила корзиночку, полную сушеных фиников. Прозванный Обезьянкой уселся верхом на табуретку, выпил вина и потом сказал:

— Твои сыновья дезертиры. Знаешь, что в декрете про дезертиров сказано? Если их поймаем, мы должны будем их расстрелять. Таков закон.

А она им спокойным голосом отвечает:

— И правильно: дезертиров надо расстреливать... негодяи эдакие... всех перестрелять надо. Но мои сыновья не дезертиры.

— А кто ж они, если не дезертиры?

— Они солдаты. Сражаются за Муссолини, чтоб ему бог послал сто лет жизни.

— Небось на черном рынке сражаются, а?

— Хочешь еще вина?

Словом, когда Кончетта не знала, что отвечать, она сразу предлагала им вина, и они, пришедшие главным образом ради выпивки, не отказывались и пили.

А я с дочкой сидела в сторонке, на ступеньках. Обезьянка пил, а с Розетты глаз не сводил и рассматривал ее не как полицейский, который думает, что, может, у кого-нибудь бумаги не в порядке, а разглядывал ее ноги и грудь, как мужчина, у которого кровь закипела при виде красивой женщины. Наконец он спросил у Кончетты:

— А кто эти двое?

Я сама за Кончетту ответила второпях, потому что не хотела, чтобы фашисты узнали, что мы из Рима:

— Из Валлекорса мы, двоюродные сестры Кончетты.

А та сразу же в восторге подхватила:

— Конечно, двоюродные сестры. Чезира — дочка моего дядюшки, теперь они с нами будут. Эх, знаешь — родная кровь не водичка.

Но Обезьянку эти заверения что-то не очень убедили. Видать, он был умней, чем казался.

— Не знал, что у тебя родные в Валлекорсе. Ведь ты мне всегда говорила, что замуж пошла из Минтурно. А эту красавицу как звать?

— Розетта ее звать,— ответила я.

Он опорожнил свой стакан, поднялся и подошел к нам.

— Ты мне нравишься, Розетта. Нам в штабе как раз нужна девушка обед варить, постели убирать. Хочешь, Розетта, с нами пойти?

Говоря это, он протянул руку и взял Розетту за подбородок. Я его тут же по руке хлестнула и говорю:

— Руки подальше держи.

Он как взглянет на меня, вылупив глаза, притворяется, будто удивлен.

— Тебя,— говорит,— какая муха укусила?

— А ты к дочери моей не смей прикасаться!

Тут он, наглец такой, с плеч винтовку снимает и на меня наводит.

— Да ты знаешь, с кем разговариваешь? Руки вверх!

А я, ну совсем спокойно, словно в руках у него не винтовка, а большая ложка, чтобы поленту мешать, отвела немного в сторону ствол и пренебрежительно говорю:

— Руки вверх? Как бы не так! Нашел кого своей винтовкой пугать! Знаешь, на что твоя винтовка годится? Чтоб чужое вино пить да сушеные финики таскать — вот на что она годна. Слепому видно, что ты просто ублюдок и все тут.

Удивительно, что он сразу успокоился и говорит другому:

— Ты как думаешь? Ведь она, самое меньшее, заслужила расстрел.

Но тот лишь плечами пожал и пробормотал что-то вроде: «Чего ты с бабами связываешься?» Тут Обезьянка опустил винтовку и сказал торжественно:

— На этот раз ты прощена, но знай — ты была на волосок от смерти. «Кто фашистов задевает, свинец в глотку получает».

Эти слова были написаны на стенах в Риме, да и в Фонди, так что бедняга на стене их прочел и выучил. Через минутку он добавил:

— Но мы с тобой договорились, что дочку ты пошлешь к нам в штаб, в Коккуруццо, работать уборщицей.

Я ему ответила:

— О дочери моей позабудь. Шиш с маслом тебе пошлю.

Тогда он обернулся к Кончетте.

— Давай,— говорит,— Кончетта, обмен с тобой устроим: мы перестанем искать твоих сыновей, а они ведь здесь, и если мы их только по-настоящему искать станем, так непременно арестуем. А ты мне за это пришлешь сестричку двоюродную. Что ж, договорились?

Тут эта проклятая Кончетта — она ведь такая, чем ей преступней и заковыристей дело предложишь, тем она довольней,— отвечает ему, подумайте только, с готовностью:

— Ну, не сомневайтесь, завтра же утром Розетта будет у вас. Я ее сама приведу, вы не беспокойтесь. Розетта вам будет готовить, убирать, все что захотите будет делать. Все ясно, я вам ее завтра утром сама приведу.

На этот раз я из осторожности решила промолчать, хоть кровь во мне закипела. А эти негодяи посидели еще немножко, выпили еще по стаканчику вина, а затем ушли по той же тропинке, по которой пришли, унося с собой фиаску с вином и корзиночку сушеных фиников.

Только они скрылись из виду, я сказала Кончетте:

— Ты, милая, совсем спятила. Покуда я жива, моя дочь фашистам прислуживать не будет.

Я, по правде сказать, не очень-то сильно ее выругала, надеясь в душе, что она согласилась только для вида, лишь бы не возражать фашистам и выпроводить их по-хорошему. Но потом я прямо диву далась, увидев, что вовсе она не смутилась, как мне сначала показалось.

— Что ж,— сказала мне Кончетта,— не съедят же они твою дочь. А у фашистов, кума, всего найдется: у них и вино, и разносолы всякие, у них и мясо, у них и фасоль. У них в штабе что ни день жаркое едят из телятины. Там у них Розетта заживет, как королева.

— Да что ты говоришь? Да ты в своем уме?

— Ничего я такого не говорю, только понимать надо, что теперь война, а на войне самое главное правило — не ссорься с сильным. Сегодня фашисты сильней всех, значит надо ладить с фашистами. А завтра, может, англичане будут сильней, так мы и с англичанами поладим.

— Да ты что, не поняла, зачем им Розетта понадобилась? Ты не видела, что ли, как этот негодяй все время на ее грудь поглядывал?

— Подумаешь, велика беда! С тем или с другим, а уж этого не ми-

новать. Что ж тут такого? Ведь война теперь, а с бабами в военное время, знаешь, не миндальничают, на войне такого уважения, как в мирное время, не требуется. Я тебе вот что скажу, кума: собака лает — ветер носит. Я того, что Обезьянкой зовут, хорошо знаю. Для него одно важно: брюхо себе набить.

Словом, стало мне ясно как божий день, что она всерьез приняла предложение Обезьянки: ты мне, дескать, дашь Розетту, а я оставлю в покое твоих сыновей. И не скажу, чтоб она не права была, ведь она интерес свой соблюдала: если Розетта станет служанкой или чем похуже у фашистов, то ее разбойники-сыновья могут спокойно спать дома, и больше их никто не станет искать. Но за свободу своих сыновей она хотела расплатиться моей дочерью. Я сама мать и поняла, что она из любви к своим детям могла позвать фашистов и выдать им Розетту. Значит, споры тут не к месту — попросту бежать надо. Вот почему я сразу же заговорила с ней по-другому, поспокойней:

— Знаешь, надо мне об этом подумать. Розетта, конечно, у фашистов будет жить, как королева, но я-то все же не хочу...

— Пустое, кума... Нужно с сильными ладить. Ведь война идет.

— Ладно, ночью решим.

— Ты подумай, подумай. Незачем торопиться. Фашистов я знаю, скажу им, что Розетта денька через два к ним придет. Ничего, подождут. А у тебя самой, имей в виду, ни в чем больше не будет недостатка. У этих фашистов все есть: у них и масло оливковое, у них и вино, у них и свинина, у них и мука... Они, знай, только пьют да едят. Обе вы поправитесь, заживете хорошо.

— Конечно, конечно.

— Сам бог, Чезира, нам этих фашистов послал, ведь я, по правде сказать, больше вас у себя в доме держать не могу. Платишь ты вовремя, но дороговизна все растет, и запасы теперь дороже денег. Да и сыновья мои больше не могут так по-цыгански жить, всё в бегах да в бегах. Теперь они спокойно спать станут, начнут работать. Да, видно, сам бог послал нам этих фашистов.

Словом, она решила пожертвовать Розеттой. Что до меня, я решила в ту же ночь от них уйти. Поужинали мы, как всегда, вчетвером: нас двое, Кончетта и Винченцо; сыновья в Фонди были, и только мы очутились на сеновале, как я сказала Розетте:

— Ты не думай только, что я с Кончеттой договорилась. Знаешь, с такими людьми хитрить надо. Мы сейчас уложим чемоданы и уйдем отсюда, как только станет рассветать.

— Куда ж мы, мама, пойдем? — спросила она у меня со слезами в голосе.

— От этих преступников подальше. Прочь от них, куда глаза глядят.

— Но куда же мы пойдем?

Об этом я уж не раз и не два думала, и было у меня кое-что на примете. Я сказала:

— К дедушке с бабушкой нам идти нельзя. Из их деревни всех выселили, и кто знает, где они теперь. Пойдем для начала к Томмазино, он человек порядочный, у него и спросим совета. Ведь он мне все рассказывал, что брат у него живет в горах, и неплохо там живет, со всей семьей. Уж Томмазино нам скажет, куда идти. Ты только не бойся, с тобой твоя мама, которая тебя так любит, и деньги у нас есть, а надежней денег друга не отыщешь. Найдем, куда отправиться.

Словом, успокоила я ее, ведь и она знала Томмазино, сводного брата Фесты, которому принадлежала земля, арендуемая Винченцо. А этот Томмазино сам был торговец. Он помирал со страху, но никак не мог решиться отправиться в горы к своим родным, до того полюбился ему черный

рынок, где он торговал всем понемногу. Был у него домик у самого подножия горы, там, где начиналась долина, и зарабатывал он много, хоть и рисковал своей жизнью, продолжая торговать под бомбежками и пулеметными обстрелами, и ни насилия фашистов, ни немецкие реквизиции остановить его не могли. Знаете, из-за денег и трусы становятся храбрецами, а Томмазино был не храброго десятка.

И вот при свете свечи уложили мы в чемоданы те немногие вещи, которые вынули по приезде сюда, а потом, как были в одежде, так и повалились на сено и проспали, может, часа четыре. Розетта, по правде сказать, охотно поспала бы еще, у нее, молодой девушки, сон был крепкий — хоть весь оркестр деревенский под ухом у нее заиграет, все равно не проснется. А ведь я постарше ее, и сон у меня чуткий — с той поры как мы из дому ушли, я от забот и волнений совсем плохо спать стала.

Ночь была еще на дворе, когда петухи запели, но рассвет уже близился. Петухи знают это время — сначала едва-едва слышно доносилось их кукареканье из долины, потом зазвучало все ближе и ближе, и наконец, звонко запели петухи совсем рядом с нами, в курятнике у Винченцо. Тогда я поднялась с сеновала и стала расталкивать Розетту. Говорю «стала расталкивать», потому что просыпаться она не хотела и лишь хныкала, повторяя в дреме: «Что случилось? Что случилось?» — словно совсем позабыла, что мы с ней в Фонди, в доме Кончетты. Ей, должно быть, во сне казалось, что мы в Риме, у себя дома, где раньше семи мы никогда не поднимались. Наконец Розетта совсем проснулась, но все похныкивала. Тогда я сказала ей:

— Ты что ж, спать до полудня хочешь, чтоб тебя фашист разбудил?

Прежде чем покинуть сеновал, я просунула голову в дверь и взглянула: на земле были разложены для просушки финики, на табуретке стояла позабытая Кончеттой корзина с кукурузой, чуть дальше розовела облупившаяся и покрытая копотью стена дома. На току никого не было. Тогда я взгромоздила чемоданы на голову себе и Розетте, на круг, таким же манером, как мы сделали на станции в Монте Сан-Бьяджо, и, выйдя из сарайчика, мы опрометью побежали к тропинке, которая вилась среди апельсиновых деревьев.

Я знала, куда идти. Как только мы из апельсиновой рощи вышли на большую дорогу, я направилась к подножию горы, которая возвышается на север от долины Фонди. Чуть брезжил рассвет, и тут я, припомнив рассвет того дня, когда мы бежали из Рима, подумала: «Кто знает, сколько раз еще вот так же придется увидеть рассвет, прежде чем домой вернемся». Серый свет, словно туман, окутывал поля; кое-где на белесом небе виднелись желтые звезды, словно не день занимался, а вторая ночь, только чуть посветлей первой; роса лежала на деревьях, печальных и неподвижных, на обочинах дороги и холодила босые ноги. Вокруг стояла мертвящая тишина, но уже не тишина ночи — она была полна сухих шорохов, потрескивания сучьев и всплесков. Поля постепенно просыпались.

Я шла впереди Розетты и глядела на горы, подымавшиеся вокруг нас к самому небу; выжженные, без растительности, лишь кое-где покрытые коричневыми пятнами, они казались пустынными. Но я родилась в горах и знала — стоит только туда добраться, а там, вверху, обработанные поля, леса, заросли кустарников, хижины, домики, крестьяне и беженцы. Думала я о том, что ждет нас в этих горах, и хотелось мне, чтоб нас там ждало одно доброе и люди бы хорошие повстречались, а не такие преступники, как Кончетта со своей семейкой. А главное, хотелось мне, чтоб мы пробыли там недолго и поскорей бы пришли англичане, и я могла бы вернуться в Рим, к своему дому и к своей лавке. Тем временем занялся день, солнце едва показалось за краем гор, и вершины их и небо окрасились в розовый цвет. Погасли звезды на небе, и оно стало бледно-голу-

бым, и тогда внезапно среди серебристых веток оливковых деревьев засверкало золотое солнце; его сияющие, хотя еще и слабые, лучи ложились вдоль дороги, и песок под ногами сразу стал не таким холодным. Повеселев от солнышка, я сказала Розетте:

— Ну, кто подумает, что на свете идет война? В деревне о войне никогда и не думаешь.

Розетта мне даже ответить не успела, как со стороны моря показался самолет, который летел с невероятной скоростью: я сначала услыхала нараставшее грохотанье мотора, а затем увидела, как он ринулся прямо на нас с неба, словно наклонив голову. Я едва успела схватить за руку Розетту и потащить ее за собой через канаву в кукурузное поле. Легли мы ничком среди кукурузы, а самолет низко пролетел над нами вдоль дороги, словно преследуя нас, а потом с яростным и противным грохотом, от которого глохли уши, пролетел над головой, достиг дальнего поворота дороги, покружил там и, внезапно вздыбившись над рядами тополей, пролетел вдоль горы, удаляясь в сторону побережья, и уже казался мухой, жужжащей на солнце. Я лежала ничком, тесно прижав к себе Розетту, но поглядывала на дорогу, где остался брошенный Розеттой в ту минуту, когда я схватила ее за руку, маленький чемодан. Когда самолет пролетел над дорогой, я заметила, как над ней поднялись облака пыли, уносимые ветром в сторону гор, словно вдогонку за самолетом. Когда же все затихло, я поднялась, вышла на дорогу и увидела, что чемоданчик наш весь изрешечен, а в пыли валялись пули из латуни, величиной с мой мизинец. Значит, самолет метил только в нас, ведь больше никого на дороге не было. «Да,— подумала я,— чумы на вас мало», и такая у меня тут появилась ненависть к войне, что и сказать не могу. Ведь этот летчик не знал нас, может он был славным парнем, одних лет с Розеттой, и лишь оттого, что была война, захотел нас убить, просто так, походя, как охотник, который забавы ради, пробираясь с собакой сквозь чащу леса, стреляет по деревьям, думая: «Кого-нибудь, да подстрелю, хоть воробья, на худой конец».

Да, мы и были двумя воробьями, которых взял на прицел бездельник-охотник, из тех, что если и подстрелит воробья, так с земли не поднимет, потому что он ему совсем не нужен.

— Мама,— сказала Розетта, вскоре после того как мы тронулись в путь,— ты говорила, что в деревне нет войны, а ведь он хотел нас убить.

— Ошиблась я, доченька, повсюду теперь война: и в городе, и в деревне.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Прошли мы с полчаса и очутились у перекрестка: направо был мост через горную речку переброшен, а за мостом белый домик, в котором, как я знала, жил Томмазино. Перегнулась я через перила и вижу: на каменистом дне женщина стоит на коленях и белье полощет в полувысохшей речке. Я крикнула ей:

— Эй, Томмазино здесь живет?

Женщина старательно выжала уже выполосканное белье и ответила:

— Да, здесь он живет. Но сейчас его нет. Сегодня спозаранок он спешно в Фонди ушел.

— А вернется сегодня?

— Пожалуй, вернется.

Значит, не остается ничего другого, как ждать его возвращения. Так мы и сделали, уселись на каменной скамье, стоявшей у самого моста. Посидели мы немного на припеке, помолчали, а солнце с каждой минутой становилось все горячей, все ослепительней. Наконец Розетта спросила:

— Как ты думаешь, Аннина позаботится, чтобы Паллино был жив и здоров, когда я вернусь в Рим?

Но я до того в свои мысли углубилась, что сначала даже не поняла ее. Потом вспомнила, что Аннина ведь это привратница в соседнем доме, а Паллино тигровый котенок Розетты, которого она очень любила и действительно, уезжая, оставила на попечение Аннины. Успокоила я ее, сказав, что она непременно найдет своего Паллино еще более похорошевшим и разжиревшим, недаром же у Аннины брат мясник, а у мясников, хоть и голод, а в мясе нехватки не бывает. Она будто утешилась от моих слов и вновь умолкла, закрыв глаза от слепящего солнца. Говорю я про этот вопрос Розетты, который она задала в такую трудную для нас минуту, чтобы показать, что она все еще была по характеру ребенок. Хоть лет ей было восемнадцать с лишком, ведь вот могла же она тревожиться по таким пустякам, когда мы даже еще не знали, где проведем эту ночь и будет ли нам что поесть.

Но вот, наконец, на дороге показался человек. Он медленно шел, жуя на ходу апельсин. Я сразу же узнала Томмазино; как две капли воды похож он на еврея из гетто — лицо у него длинное, заросшее многодневной щетиной, нос крючком, глаза навыкате и ноги волочит, выворачивая носки наружу. Он меня тоже узнал, ведь я же была его клиенткой и за эти две недели купила у него немало всякой всячины; но, как всегда подозрительный, он не ответил на мое приветствие и как ни в чем не бывало продолжал шагать, жуя апельсин и смотря себе под ноги. Когда он поравнялся с нами, я ему сразу же сказала:

— Томмазино, мы ушли от Кончетты, ты нам должен помочь, не знаем мы, куда нам идти теперь.

Тогда он прислонился к перилам моста, ногу поставил на перекладину, вытащил из кармана еще апельсин, надкусил его, выплюнул чуть ли не в лицо мне кусок кожуры и произнес:

— Легко сказать. В такое время каждый за себя, а бог за всех. Чем же, ты хочешь, чтобы я тебе помог?

Я сказала:

— Есть ли у тебя в горах какой-нибудь знакомый крестьянин, который мог бы приютить нас, пока не придут англичане?

А он в ответ:

— Никого я не знаю, и все дома, насколько мне известно, заняты. Но если ты пойдешь в горы, вероятно что-нибудь найдешь — хижину там или сарай какой-нибудь.

Я сказала:

— Нет, одна я не пойду. У тебя в горах живет брат и знакомство есть среди крестьян. Сделай милость, укажи, к кому мне обратиться.

А он выплюнул в мою сторону другой кусок кожуры и говорит:

— Знаешь, что бы я сделал на твоем месте?

— Ну что?

— В Рим бы вернулся. Вот что бы я сделал.

Тут ясно мне стало, что прикидывается он непонимающим, думает, что с нас взять нечего. А знала я, что он только о деньгах и помышляет и, если не пахнет наживой, он ни для кого пальцем не пошевелит. Я ему никогда словом не обмолвилась, что у меня с собой много денег, но теперь увидела, что пора ему об этом сказать. Могла ему я довериться, потому что он одной породы со мной: такой же лавочник, как и я, продовольственный магазин имел в Фонди, а теперь спекулировал на черном рынке точно так же, как я,— одним словом, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Поэтому уже не так настойчиво я сказала ему:

— В Рим не поеду я, там бомбежки и голод, поезда больше не ходят, и дочка моя, Розетта, здесь она со мной, до сих пор все никак

бомб забыть не может. Вот я и решила идти в горы и там приют себе найти. Заплачу хорошо. Да и запасы кое-какие сделать хочу; к примеру сказать, купить оливкового масла, фасоли, апельсинов, сыру, муки — словом, всего понемножку. За все заплачу чистоганом, деньги у меня есть, почти сто тысяч лир. Ты мне не хочешь помочь, ладно, обращусь к кому-нибудь другому, ты ведь здесь, в Фонди, не один, есть Эспозито, есть Скализе и много других. Идем, Розетта.

Говорила я очень решительно; потом подняла чемодан на голову, Розетта тоже, и мы направились по дороге в сторону Монте Сан-Бьяджо. Услышав, что у меня есть сто тысяч лир, Томмазино вытаращил глаза и так и застыл с апельсином в зубах, который он только что чистил. Потом швырнул апельсин на землю и бегом бросился за мной. Чемодан, который я несла на голове, мешал мне обернуться, но я слышала за своей спиной его глухой, задыхающийся голос.

Он просил:

— Да обожди ты минутку, остановись, черт тебя подери, чего ты взбеленилась, постой, поговорим, все обсудим.

Короче говоря, я в конце концов остановилась и, немного поспорив с ним, согласилась вернуться и зайти в его домик. Ввел он нас в пустую выбеленную комнатку на первом этаже, ничего в ней не было, кроме железной сетки с матрасом и простынями комком. Уселись мы все трое на постель, и он довольно любезным тоном сказал:

— Ну, вот теперь составим список нужных тебе продуктов. Однако я ничего не обещаю, времена сейчас трудные и крестьян не перехитришь. Поэтому, что до цен, ты уж положись на меня и не торгуйся: мы же не в Риме в мирное время — мы в Фонди, и вокруг война. Что касается домика в горах, право, ничего не знаю. Прежде, до бомбежек, было сколько хочешь, но потом там все сдали. Однако уж раз сегодня утром я все равно должен идти к своему брату, значит вы обе можете пойти вместе со мной, и мы уж что-нибудь да обмозгуем, тем более, если ты согласна заплатить вперед. Ну, а насчет продуктов дай мне неделю срока. Если ты найдешь себе там жилье, брат мой или еще кто из беженцев смогут тебе кое-что одолжить или продать.

Сказав все это резонно, по-деловому, он вынул из кармана замусоленную записную книжку, нашел чистую страничку, взял чернильный карандаш и, послюнив его кончик, продолжал:

— Ну, так запишем: сколько тебе нужно муки?

Продиктовала я ему весь список, точно указав, сколько мне чего надо — столько-то пшеничной муки, столько-то кукурузной, столько-то оливкового масла, фасоли, овечьего сыра, сала, колбасы, апельсинов и так далее. Он все старательно записал, а потом спрятал в карман книжечку и вышел из комнаты. И вскоре вернулся, неся булку и полкруга колбасы.

— Вот вам запас для начала... Теперь закусите и ждите меня здесь... через часик пойдем в горы... а пока неплохо, чтобы ты мне заплатила за эту булку и колбасу... так мы не спутаемся в наших расчетах.

Достала я тогда бумажку в тысячу лир и протянула ему, а он, внимательно посмотрев ее на свет, дал мне сдачу — множество мелких бумажных денег, таких рваных и грязных я еще никогда в жизни не видывала. Такие бумажки попадаются только в деревне, где мало денег, и это малое количество перекочевывает из кармана в карман и никогда не обновляется, ведь крестьяне не любят хранить деньги в банке, прячут их у себя дома. Возвратила я ему некоторые, уж очень были они засалены, и он мне их обменял, заметив при этом:

— Я бы не прочь, пожалуй, иметь таких бумажек побольше, хоть целый воз.

Затем Томмазино нас оставил, предупредив, что скоро вернется, и мы поели хлеба и колбасы, сидя на кровати в полном молчании, но уже совершенно спокойные, так как знали, что скоро у нас будет и кров и пища. Вдруг я сказала, сама не знаю почему, наверно следуя ходу своих мыслей:

— Видишь, Розетта, что значат деньги?

А она:

— Мадонна помогла нам, я знаю, мама, и она всегда будет нам помогать.

Не решилась я возразить ей, зная, что она очень набожна. Ведь вставая поутру, она всегда молилась и вечерами тоже, ложась спать. Сама я ее так воспитала по обычаю наших мест. Все же не могла я не подумать про себя, что если все это верно, то помощь Мадонны была какой-то уж очень странной: Томмазино согласился помочь нам ради денег, а деньги эти я заработала, спекулируя на черном рынке, благодаря войне и голоду... Разве война и голод могли быть угодны Мадонне? Но зачем? Чтобы наказать нас за наши грехи?

Закусив хлебом и колбасой, мы растянулись на грязных простынях Томмазино и проспали, вероятно, с полчасика — ведь в тот день мы встали чуть свет, и теперь сон нас одолевал, затуманив голову, как вино, выпитое натощак. Когда вернулся Томмазино, мы еще спали. Он стал хлопать нас рукой по щекам, весело приговаривая:

— Вставайте, вставайте, пора идти.

Вид у него был очень довольный, он уже предвкушал выгоду, которую рассчитывал получить от нас. Мы поднялись и вслед за ним вышли из дому. На дороге перед мостом стоял серый ослик, очень маленький, из той породы, что называют сардинской. На несчастном животном была навьючена целая гора свертков, на вершину которой Томмазино уже привязывал наши чемоданы. Так мы пустились в путь: впереди вел на поводу осла Томмазино, с длинным прутом в руке, одетый по-городскому — в черной шляпе, черном пиджаке и черных брюках в полоску, но без галстука, а на ногах у него были забрызганные грязью солдатские ботинки желтой кожи; позади — мы с Розеттой.

Пошли мы сначала по равнине и обогнули подножие одной из гор, а затем стали подниматься по горной тропе, ответвлявшейся от проезжей дороги. Карабкаясь меж зарослей колючего кустарника по каменистому, пыльному склону, мы вскоре очутились в зажатой двумя горами узкой и обрывистой долине, напоминавшей перевернутую воронку; она поднималась вверх, все более сужаясь, и, наконец, как нам удалось разглядеть, высоко-высоко, под самым небом, превращалась в тесный проход между двумя скалистыми вершинами. Поверите ли? Как только ступила я ногой на камни горной тропки, пыльной, изрытой ямами, усеянной сухим пометом, словно ощутила какую-то радость.

Я крестьянка, родилась в горах и до шестнадцати лет немало исходила таких горных тропок, как эта; и теперь, почувствовав ее вновь под ногами, я подумала, что вот, наконец, обрела что-то родное; пусть уже не найду здесь своих родителей, но, по крайней мере, я опять в тех местах, где они меня вырастили. До сих пор, подумала я, мы были на равнине, а тамошние люди лживы, нечестны, грязны и вероломны; но теперь я взбиралась по этой дорогой моему сердцу горной тропе, усыпанной камнями, навозом, пыльной и обрывистой, и теперь со мной вновь мои горы и близкие мне люди. Ничего я не стала говорить Томмазино; не понял бы он меня, ведь и сам он со своим характерным лицом и жаждой наживы был настоящим жителем равнины. Но, проходя мимо красивой живой изгороди, вдоль которой росли бесчисленные цикламены, вполголоса я сказала Розетте:

— Нарви цикламенов и сплети себе из них венок, они очень тебе к лицу.

Сказала и вспомнила, что так всегда делала и я, когда была молодой девушкой: собирала цикламены, которые мы в Чочарии, не знаю почему, называем «скоччапиньятте», делала из них букетик, втыкала его себе в волосы над ухом, и мне казалось, что я становилась вдвое красивей. Розетта последовала моему совету, и когда мы на минутку остановились передохнуть, нарвала один букетик для себя, а другой для меня, и мы воткнули их себе в волосы. Смеясь, сказала я глядевшему на нас с изумлением Томмазино:

— Это мы прихорашиваемся к новоселью.

Но он даже не улыбнулся: уставился глазами в пространство, как всегда делал, прикидывая в уме, что ему продать или купить, прибыль будет или убыток. Настоящий спекулянт, да вдобавок еще с равнины.

Тропинка сначала привела нас к группе домов, стоящих у входа в долину, а потом свернула вправо и пошла сквозь заросли вдоль склона горы. Поднималась она вверх зигзагами, постепенно, совсем незаметно, лишь иногда то там, то здесь подъем становился круче; не чувствовала я ни малейшей усталости, потому что у меня с рождения, можно сказать, ноги привычные к лазанью, и теперь они сразу же, словно сами собой, зашагали медленно и размеренно, как принято в горах; так что я не задыхалась даже на кручах, между тем Розетта, уроженка Рима, и Томмазино, житель равнины, наоборот, то и дело останавливались, чтобы перевести дух. По мере того как тропа поднималась все выше, перед нами открывался вид на долину или, вернее сказать, теснину; долиной ее нельзя было назвать, уж очень была узкой: просто гигантская лестница, ступени которой становились все у́же, чем ближе к вершине. Ступени эти, в виде террас, были посевами. Мы в Чочарии зовем их «мачеры» — множество длинных и узких полос плодородной земли, поддерживаемых невысокой каменной стеной сухой кладки. На полосах этих растет всего понемногу: пшеница, картофель, кукуруза, разные овощи, лен, не говоря уже о фруктовых деревьях, разбросанных здесь и там среди посевов. Хорошо знала я эти «мачеры»; работала я на них девушкой, как вьючная скотина таскала на голове корзины с камнями, из которых складывали подпорные стенки, и привыкла карабкаться по тропинкам и лесенкам, что соединяют между собой «мачеры». Стоят они пота и крови, эти «мачеры»: крестьянин, чтобы построить их, должен расчистить горный склон, выкорчевать кустарники, выкопать большие камни и таскать в гору на своем горбе не только камень для стенок, но даже землю. Однако раз «мачера» возделана, она прокормит крестьянина, давая ему все необходимое для жизни, так что, можно сказать, ему не придется ничего покупать на стороне.

Сколько времени мы шли по тропинке, уж не знаю: петляя, она довольно долго лезла вверх по горному склону слева от долины, а потом переходила на другую сторону и снова забирала в гору, но уже справа. Перед нами теперь открылась вся долина. Она поднималась к самому небу: там, где кончалась лестница «мачер», темнела полоса зарослей, еще дальше заросли редели и виднелись одиноко растущие деревья на выжженном солнцем склоне, а потом и деревьев не стало, и лишь груды белых камней поднимались до самого голубого неба. Под самым гребнем горы, словно хохолок, торчал поросший зеленью выступ, а сквозь зелень проглядывали красноватые скалы. Томмазино нам сказал, что эти скалы закрывают вход в глубокую пещеру, в которой много лет назад прятался знаменитый пастух из Фонди. Он живьем сжег в хижине свою невесту, а потом бежал на другую сторону горы, женился там и имел много детей и внуков. Когда же его, наконец, нашли, он был почтенным старцем

с седой бородой, отцом, свекром и дедом, и все в округе его любили и уважали. Томмазино добавил, что за этим гребнем начинаются горы Чочарии и среди них гора Фей. Тут вспомнила я, что название этой горы, когда я была девочкой, всегда заставляло меня задумываться, и я не раз спрашивала у матери, правда ли, что там живут феи, и она мне всегда отвечала, что фей там нет, а почему так гора называется, знать не знает; но я ей никогда не верила, и даже теперь, когда я сама взрослая и дочь у меня большая, меня одолевало искушение спросить Томмазино, почему эта гора так называется и действительно ли на ней в былые времена феи жили.

Ну, довольно об этом. Неожиданно на одном из поворотов тропинки мы увидели посреди лестницы, соединяющей «мачеры», белого вола, запряженного в плуг, и крестьянина, обрабатывающего свое поле — узкую и длинную полосу. Томмазино сразу же приставил ко рту ладонь и крикнул:

— О-о, Париде!

Крестьянин прошел еще несколько шагов за плугом, потом остановился и не спеша пошел нам навстречу.

Это был мужчина невысокого роста, но, как все жители Чочарии, ладно скроенный, круглоголовый, с низким лбом, маленьким горбатым носом, тяжелой челюстью и ртом, похожим на узкую прорезь, который, казалось, никогда не улыбается. Томмазино, указывая на нас, сказал:

— Париде, вот это две синьоры из Рима, они хотят найти здесь в горах какой-нибудь домик... пожить, пока не придут англичане... это, видно, вопрос дней.

Париде снял свою засаленную черную шляпу и уставился на нас бессмысленным взглядом: так тупо, без выражения смотрят все крестьяне, привыкшие целыми днями работать наедине со своим плугом, полем и волами. Потом он медленно и нехотя сказал, что жилья сейчас не найти, а те домики, что были свободны, все уже сданы, и, в общем, он не знает, где бы нам устроиться. Розетта сразу же загрустила и расстроилась, я же оставалась по-прежнему спокойной, ведь у меня в кармане были деньги и я знала, что с деньгами все можно уладить. И действительно, не успел Томмазино почти грубо сказать ему: «Ах, Париде, что ты, не понимаешь — синьоры заплатят... даром им ничего не нужно... наличными заплатят...» — как Париде почесал затылок, а потом, смотря в землю, признался, что у него самого есть нечто вроде сарайчика или хлева, пристроенного к его дому, где у него стоит ткацкий станок, и мы могли бы там расположиться, если дело действительно идет о нескольких днях. Томмазино сразу же ему сказал:

— Вот видишь, и жилье нашлось... достаточно было только умом раскинуть... Ну ладно, Париде, ты тут себе работай... а я уж сам познакомлю синьор с твоей женой.

Перекинувшись с Томмазино еще несколькими словами, Париде вернулся к своему плугу, а мы снова пошли в гору.

Теперь уже было недалеко. В самом деле, не прошло и четверти часа, как мы увидели три домика, примостившиеся полукругом на уступе одной из «мачер». Домики были маленькие, в две комнаты, прилепившиеся к склону горы. Крестьяне строят такие домики, можно сказать, собственными руками, часто без помощи каменщика. В этих домиках они только спят. В остальное время они работают в поле, а когда идет дождь или наступает час обеда, они располагаются в хижинах, которые еще легче построить, чем их домики: их можно соорудить за одну ночь, сложив из камней стены, а крышу покрыть соломой. Здесь тоже вокруг были разбросаны такие хижины, образуя вместе с домиками своего рода крошечную деревню. Над некоторыми хижинами поднимался дымок — при-

знак того, что там стряпали, остальные, по-видимому, служили хлевом или для хранения соломы. На узком пространстве между домиками и хижинами взад и вперед сновали люди.

Когда, наконец, мы достигли «мачеры», то увидели, что люди суетились, накрывая большой стол на открытом воздухе, почти у самого края «мачеры», в тени фигового дерева. На скатерти были расставлены тарелки и стаканы для вина; теперь тащили толстые чурбаны, которые должны были служить стульями. Завидев нас, один из суетившихся людей сразу же бросился навстречу Томмазино, крича ему:

— Ты вовремя поспел, мы как раз садимся за стол.

Это был Филиппо, брат Томмазино; в жизни не видывала никогда я двух столь различных людей. Томмазино был сдержан, молчалив, замкнут, почти мрачен и, кусая ногти и смотря себе под ноги, всегда занят подсчетом в уме прибылей, а Филиппо, наоборот, был всегда общителен и сердечен. Как и Томмазино, он был лавочник, только у Томмазино была продовольственная лавка, а у Филиппо мелочная, в которой он торговал всем понемногу. Был он маленького роста, с короткой шеей; голова, плотно сидевшая на широченных плечах, напоминала печной горшок, поставленный узкой частью кверху, широкой — книзу, а нос точь-в-точь был похож на ручку горшка. Ноги у Филиппо были короткие, грудь широкая, колесом и толстый живот — при каждом его движении казалось, что брюки, подвязанные ремнем под животом, вот-вот спадут.

Филиппо, когда услышал, что мы беженки и будем жить с ними в горах, что у нас есть деньги, а в Риме лавка (все это ему рассказал Томмазино, бурча что-то себе под нос), — готов был броситься нам на шею:

— Милости просим за стол вместе с нами... мы сварили лапшу и фасоль... пообедаем вместе, и пока у вас не будет своих продуктов, не стесняйтесь, берите наши... тем более, что скоро придут англичане и всего навезут. Тогда всего будет вдоволь, а пока самое главное — есть досыта и быть веселыми.

Он бегал взад и вперед, без конца суетился вокруг стола и представил нам свою дочь — брюнетку, с нежным, печальным лицом, и сына — низенького, широкоплечего юношу, немного сутулого, сперва даже показавшегося мне горбатым, чего на самом деле не было, черноволосого, в очках с толстыми стеклами. Он кончил университет, так, по крайней мере, сказал его отец.

— Познакомьтесь, мой сын Микеле... он кончил университет.

Потом Филиппо познакомил нас также с женой — женщиной с бледным-бледным испуганным лицом, лихорадочно блестевшими глазами, обведенными синевой, и огромной грудью. Ее мучила астма, а также, по-моему, страх; она казалась совсем больной. Филиппо, как я уже сказала, едва узнав, что у меня в Риме лавка, сразу же стал ласковым, будто брат родной, и спросил, есть ли у меня деньги; получив утвердительный ответ, он шепнул мне по секрету, что он держит в кармане брюк большую сумму, которой ему хватит, даже если англичане почему-либо задержатся еще на год. Он говорил со мной попросту, как равный с равным, ну, словом, как лавочник с лавочником, и я скоро почувствовала себя немного успокоенной. Тогда я еще не знала, так же как и он, что эта крупная сумма, пока идет война, будет постепенно таять и таять, и в конце концов денег, на которые семья могла прожить целый год, не хватит, чтобы прокормить ее даже один месяц. Филиппо мне еще сказал:

— Здесь в горах мы останемся до тех пор, пока не придут англичане. Мы будем есть, пить и ни о чем не тужить... придут англичане, привезут нам вино, оливковое масло, муку, фасоль, всего вдоволь, и мы — коммерсанты — сразу же начнем опять торговать как ни в чем не бывало.

Возразила я ему тут, просто чтобы что-нибудь сказать:

— А вдруг англичане вовсе не придут, и войну выиграют немцы?

А он на это:

— Какое нам до этого дело? Немцы или англичане — все одно, лишь бы кто-нибудь всерьез победил... Нас одна торговля только и интересует...

Сказал он эти слова громко и очень уверенно; тогда сын его, который стоял один-одинешенек на краю «мачеры», любуясь оттуда видом на Фонди, быстро, как змея, обернулся и говорит:

— Тебе, может быть, и нет дела... но что касается меня, я убью себя, если победят немцы.

Проговорил он это таким серьезным и убежденным тоном, что я удивленно спросила:

— А что тебе немцы сделали?

Он искоса поглядел на меня, потом сказал:

— Лично мне ничего... но, представь себе, кто-нибудь предложит тебе вдруг: слушай, я пущу к тебе в дом ядовитую змею, ухаживай-ка за ней и люби ее, что ты на это ответишь?

Удивилась я и сказала:

— Ну, ясное дело, не стала бы я держать у себя дома змею.

— Почему? Ведь эта змея тебе до сих пор не сделала ничего дурного, а?

— Так-то так, но известно, что ядовитая змея рано или поздно ужалит.

— Ну вот видишь, ведь это то же самое: даже если немцы мне лично ничего и не сделали, я знаю, что они, или вернее нацисты, в конце концов так же, как змея, когда-нибудь все равно нас ужалят.

В это время Филиппо, слушавший наш разговор с нескрываемым нетерпением, закричал:

— К столу, к столу... к черту немцев, к черту англичан... к столу, суп подан!

А сын его, видно думая, что с крестьянкой нечего тратить попусту слов, направился, как и все остальные, к столу.

Что это был за стол! Я до самой смерти, кажется, его не забуду, и обстановка необычная, и полным-полно всякой еды. Все было необычно: длинный и узкий стол посреди длинной и узкой «мачеры»; под нами, спускаясь до самой долины Фонди, гигантские уступы «мачер», горы вокруг, и голубое небо над нами, освещенное нежным и теплым сентябрьским солнцем. А стол ломился от еды: блюда с колбасой и ветчиной, сыры всех сортов, свежие, хрустящие домашние булочки, всякие маринады, крутые яйца и сливочное масло, огромные, полные до краев миски супа с лапшой и фасолью, которые дочь, мать и жена Филиппо подавали одну за другой, по очереди принося из хижины, где они стряпали. На столе стояли также фиаски с вином и даже бутылочка коньяку. В общем, никому в голову не могло прийти, что внизу, в долине, нечего есть и одно яйцо стоит восемь лир, а в Риме люди умирают с голоду. Филиппо все ходил вокруг стола да руки потирал, лицо его так и сияло от удовольствия. Он все повторял:

— Будем есть и пить... скоро, скоро придут англичане, и опять всего будет вдоволь.

Откуда ему пришло в голову, что с англичанами придет к нам изобилие, просто не могу сказать. Но все этому верили, все только и делали, что говорили об этом. Думаю, что такое убеждение вселило во всех радио: как мне рассказывали, по радио выступал какой-то англичанин, знавший итальянский язык не хуже итальянца, он изо дня в день вел эти разговоры и все твердил, что, когда придут англичане, все мы будем кататься как сыр в масле.

Наконец суп разлили по тарелкам, и мы уселись за стол. Сколько нас было? Филиппо с женой, сыном и дочерью; Париде с женой Луизой, маленькой синеглазой блондинкой с курчавыми волосами и угрюмым выражением лица, и их мальчик — Донато; Томмазино с женой — длинной, худой, усатой женщиной с мрачной физиономией, и дочерью, у которой было такое же лошадиное лицо, как у матери, но молодое, с добрыми темными глазами; а также еще четверо или пятеро мужчин, плохо одетых, заросших щетиной и, по моему разумению, тоже беженцев из Фонди. Они не отходили от Филиппо, видно, считали его своим главарем. Филиппо пригласил всех, чтобы отпраздновать годовщину своей свадьбы. Но об этом узнала я позже, а тогда думалось мне, будто у Филиппо столько продуктов, что он может швыряться ими направо и налево, приглашая к себе каждый день всех местных жителей.

Скажу без прикрас — обедали мы самое меньшее часа три. Сначала ели суп с лапшой и фасолью; лапша была тоненькая, на яйцах, желтая, как золото, а фасоль самого лучшего качества, белая, нежная и крупная, прямо таяла во рту, как масло. Супа каждый из нас съел по две и даже по три полных-преполных тарелки, до того он был вкусен. Потом пришел черед закускам: свиной окорок деревенского копчения, немного солоноватый, но вкусный, домашняя колбаса, крутые яйца, разчые маринады. После закусок женщины поспешили в хижину, находившуюся поблизости, и возвратились, каждая несла блюдо с толстыми, старательно нарезанными ломтями жареного мяса — первосортной телятины, нежной и белой; как раз накануне зарезали теленка, и Филиппо купил несколько килограммов мяса. Телятину сменило рагу из молодого барашка, с очень вкусным кисло-сладким соусом; затем мы ели овечий сыр — твердый как камень и до того острый, будто специально приготовленный, чтобы вином его запивать, а после сыра подали фрукты — апельсины, винные ягоды, виноград, сушеные фрукты. Были и домашние торты, да, дорогие мои, торты из миндального теста, посыпанные ванильным сахаром, а напоследок мы пили коньяк и заедали его печеньем из большой коробки, которую дочь Филиппо принесла из их домика. Сколько мы выпили вина? Думаю я, по крайней мере по литру на брата — может, кто выпил и больше литра, а кто и четверти не выпил, к примеру Розетта, она вообще никогда не пила вина. Веселье было такое за столом, что описать невозможно: все досыта ели и пили, и разговору было только о кушаньях да о выпивке, то есть о том, что́ ели и пили в ту минуту, или что̀ бы хотелось еще отведать и выпить, или же о том, что́ ели и пили когда-либо раньше. Для этих людей из Фонди, как, впрочем, и для моих земляков, пить и есть значило то же, что в Риме — иметь свою машину и квартиру в Париоли*; по их мнению, человек, который мало ест и пьет, это просто жалкий бедняк; поэтому тот, кто хочет, чтобы его принимали за настоящего барина, старается есть и пить сколько влезет, зная, что это единственный способ добиться, чтобы тобой восхищались и тебя уважали. Сидела я за столом рядом с женой Филиппо, с той бледной-бледной женщиной с огромной грудью, о которой я сказала, что была она похожа на больную. Бедняжка не очень-то веселилась, по всему видно было, что она перемогается. Но и она расхвасталась передо мной, мол, чего-чего у них только в доме не было.

— Никогда у нас меньше сорока свежих яичек из-под курицы да шести окороков ветчины и разных там колбас и сыров не бывало... а заливных не меньше дюжины тарелок... Сала мы ели столько, что случилось однажды, я отрыгнула, и кусок сала, который я уже проглотила, выскочил у меня изо рта, будто второй язык, только, правда, белый.

---

* Фешенебельный квартал в предместье Рима.

Повторяю я ее слова потому, что она, по-моему, говорила все это, желая поразить меня. Одним словом, люди эти были просто деревенщиной и не знали они, что настоящие господа, те, что живут в городе, едят немного, даже очень мало, особенно женщины, и тратят деньги на обстановку, драгоценности и одежду. Здесь же люди были одеты, как голодранцы настоящие, зато гордились своими запасами яиц и сала, как римские дамы своими бальными платьями.

Филиппо пил больше всех, ведь это была годовщина их свадьбы, как он нам неожиданно объявил, и к тому же за ним вообще водился этот грешок, и частенько потом мне случалось встречать его в любое время дня, даже часов в девять утра, с блестящими глазами и покрасневшим носом. Может, потому, что выпил лишнее, в середине обеда Филиппо пустился откровенничать:

— Послушайте, что я вам скажу,— вдруг начал он со стаканом в руке,— война страшна только для дураков, остальным на нее наплевать. Знаете, какую надпись я хотел бы сделать в своей лавке над кассой? «Здесь дураков нет». Так говорят в Неаполе, но это можем сказать и мы у себя, и это истинная правда. Я не дурак и никогда им не буду, ведь существует два сорта людей: дураки и умные, и никто из тех, кто это понимает, никогда не захочет оказаться в числе первых. Самое главное — понимать что к чему и хорошо видеть, что вокруг тебя происходит. Дурак это тот, кто верит всему, что пишут в газетах, платит налоги и идет на войну, а оттуда нередко отправляется и на тот свет. А умный, хе-хе, умный делает наоборот, вот и вся хитрость. Теперь такое время, когда глупцы гибнут, а умные выживают и глупому только и остается, что быть еще глупее, чем всегда, а умные стараются быть еще умнее. Э, да вспомните пословицу: «Лучше живой осел, чем мертвый мудрец», а также и другую: «Лучше яичко сегодня, чем курочка завтра» и еще третью: «Обещают и держат слово только трусы». Скажу вам больше: теперь на земле для дураков нет и не будет больше места, никто не сможет теперь позволить себе роскошь быть дураком даже на один денек. Теперь все должны быть умными, очень умными, необыкновенно умными, время-то нынче очень опасное, и стоит дать один палец, как схватят всю руку. Подумать только, что случилось с этим беднягой Муссолини — он хотел немного повоевать с Францией, протянул палец, а его хвать за руку — пришлось идти против всего мира, и вот теперь он все потерял, и ему приходится, хочешь не хочешь, оставаться в дураках. Это ему-то, который всегда хотел быть умнее всех. Послушайте меня: правительства уходят и приходят и затевают войны, но отдуваются-то бедняки; а потом правительства мирятся и делают все, что им заблагорассудится; единственно, что цену имеет и никогда ее не теряет, это торговля. Пусть приходят немцы, англичане, русские, для нас — коммерсантов — важнее всего торговля, и если торговля идет хорошо, значит все в порядке.

Короткая эта речь, видно, стоила Филиппо больших усилий, и потому, когда он ее кончил, пот градом так и катился у него с лица, и он принялся обтирать его платком, осушив одним глотком свой стакан. Остальные беженцы, которые, как я уже говорила, составляли его свиту, сразу же стали горячо одобрять его слова, тем более, что эти нищие и льстивые бездельники кормились за его счет и всячески перед ним заискивали.

— Да здравствует Филиппо и да здравствует торговля! — заорал один из них. Другой, хихикая, заметил:

— Филиппо, ты-то уж можешь сказать, что торговля вечна: чего только не случалось на свете, а ты все торгуешь по-прежнему и всегда дела хорошо у тебя идут.

Третий, немного смущенный, заметил, однако, с умным видом:

— Согласен, пусть придут немцы или англичане, но как ты, Филиппо, можешь говорить: пусть придут русские?

— А почему нет? — спросил Филиппо: он выпил столько вина, что теперь уже мало что понимал.

— Да потому, что русские не позволят тебе торговать, Филиппо, ты разве этого не знаешь? Ведь русские в первую голову жару зададут тем, кто занимается торговлей.

— Чтоб им пусто было, — немного подумав, тихо сказал Филиппо, наполняя стакан и ласково глядя на льющееся из бутылки вино.

Наконец четвертый воскликнул:

— Молодец, Филиппо, ты прав, это точно: здесь нет дураков, истинную правду ты сказал!

Тут, когда все смеялись над этими столь искренними словами, вдруг совершенно неожиданно поднимается сын Филиппо и, насупившись, говорит:

— Здесь нет дураков, разве один я. Я дурак.

Замолчали все после этой выходки и растерянно поглядывают один на другого. А Микеле, помолчав минутку, продолжает:

— А так как дуракам не место в компании умных, то, извините меня, я пойду немного пройтись.

Придя в себя, некоторые стали кричать ему:

— Да что ты, перестань, чего обиделся, никто тебя никогда дураком не считал! — но Микеле отставил свой стул и медленно пошел вдоль «мачеры».

Все повернулись и начали смотреть ему вслед; но Филиппо уж очень был пьян, чтобы рассердиться на сына. Он протянул стакан в сторону Микеле и сказал:

— За его здоровье... в семье не без урода, один дурак не помешает...

Тут все принялись хохотать, глядя на отца, считавшего себя умным и поднявшего бокал за здоровье сына, который объявил себя дураком. Но еще больше смеху было, когда Филиппо заорал:

— Можешь строить из себя дурака, раз в доме есть я, а я стараюсь быть умным.

Кто-то заметил:

— Да, верно, это Филиппо трудится и зарабатывает деньги, а его сын в то же время целыми днями книги читает да важничает.

Но Филиппо, который в глубине души, видно, гордился сыном, столь не похожим на него самого и таким образованным, помолчав немного, поднял нос от стакана с вином и добавил:

— Однако поймите же: мой сын, по сути дела, идеалист... а кто в наше время идеалист? Дурак. Пожалуй, не по своей вине, волей-неволей, но все же форменный дурак.

Между тем уже близился вечер, солнце скрылось за горами, и, наконец, все вперемежку встали из-за стола. Кое-кто из мужчин пошел играть в карты в домик к Филиппо, а мы, женщины, занялись уборкой со стола. Мы мыли посуду в кадке, доверху наполненной водой, возле колодца, а потом сложили тарелки стопкой, и я снесла их в комнату, которую занимала семья Филиппо в домике, стоящем посредине «мачеры». Он был двухэтажный, на второй этаж вела наружная лестница. Вошла я туда и очень удивилась: Филиппо и его приятели сидели на полу посреди комнаты, в шляпах, с картами в руке и играли в «скопоне». Вокруг в комнате не было никакой мебели, и только в углах виднелись прислоненные к стене скатанные тюфяки и множество мешков, столько их было, что и не сосчитать. Должна признать, по крайней мере, что до всяких запасов, то Филиппо применял свои идеи на практике и действовал как умный, а не как дурак. Там стояли покрытые белой

пылью мешки с пшеничной мукой, мешки с кукурузной — все желтые, и мешочки поменьше, судя по виду, с фасолью, горохом, чечевицей, зеленым горошком. Было еще много банок с консервами, главным образом томатной пастой, над окном висели два больших окорока, а на мешках лежали несколько головок копченого сыру. Увидела я там и немало завязанных бумагой банок с салом, большие посудины с оливковым маслом, две оплетенные бутыли с вином, а с потолка свисали несколько гирлянд домашних сосисок. Словом, там было все нужное для питания, ведь если есть мука, жир и томатная паста, то как бы плохо ни было, тебе всегда обеспечена тарелка макарон. Я уже сказала, что Филиппо и вся его свита посреди комнаты играли в «скопоне»; жена же и дочь Филиппо, свернувшись калачиком, лежали полуголые на одном тюфяке, разомлев от жары и сытного обеда. Вошла я, а Филиппо, увидев меня, не поднимая глаз от карт, сказал:

— Погляди, Чезира, мы здесь неплохо устроились... скажи-ка ты Париде, чтобы он тебе показал твою комнатку... вот увидишь, вы тут будете жить, как в раю.

Ничего я ему не ответила, поставила тарелки на пол и пошла искать Париде, чтобы договориться с ним о жилье.

Нашла я его возле сарая, он колол дрова. Я тут же ему сказала, что готова сейчас посмотреть обещанную мне комнатку. Он поставил обутую в чочу ногу на колоду и выслушал, не выпуская из рук топора и глядя на меня из-под опущенных полей своей измятой черной шляпы. Потом сказал:

— Вот что... Томмазино распоряжается, как хозяин, но хозяин-то настоящий здесь я... раньше я тебе сказал, что согласен, но теперь передумал. Боюсь, что эту комнатку не смогу тебе сдать... в ней целый день ткет на станке Луиза... что же вы обе будете делать в то время, когда она там работает?.. Не уходить же вам в поле...

Поняла я, что он, как настоящий крестьянин, все еще не доверял мне, и тогда достала я из кармана бумажку в пятьсот лир, протянула ему и говорю:

— Ты что, боишься, мы не заплатим?.. Вот пятьсот лир, я их тебе даю в задаток; потом, когда буду уезжать, мы с тобой сочтемся.

Замолчал он и взял деньги. Взял он их как-то по-особенному, и мне так хочется описать его жест, ведь это поможет понять душу крестьянина-горца. Взял он бумажку, поднял ее, держа обеими руками на высоте живота, и долго-долго рассматривал, будто какой-то странный предмет, с молчаливым и радостным восторгом переворачивая то на одну, то на другую сторону. Потом я нередко видела, что он делает тот же жест всякий раз, когда ему попадают в руки деньги, и поняла, что здешние крестьяне никогда денег в глаза не видят, так как все необходимое, даже одежду, изготовляют они дома; а те гроши, какие у них порой заводятся, они скапливают, торгуя хворостом, который зимой возят вниз, в долину, и продают вязанками. Поэтому деньги для них — что-то редкостное, очень ценное, это больше, чем просто деньги, это почти их божество. Надо сказать, что эти горцы-крестьяне, среди которых мне пришлось так долго жить, совсем не религиозны и даже не суеверны: деньги для них самое главное, ведь они денег не имеют и никогда не видят, да и к тому же деньги — по крайней мере, по их разумению — несут с собой всякие блага. Во всяком случае, так они считают, а я сама лавочница и, по правде говоря, утверждать не могу, что они не правы.

Одним словом, Париде, тщательно рассмотрев со всех сторон бумажку, сказал:

— Если тебе не мешает шум станка, то что ж, занимай эту комнатку.

Пошла я за ним в его домик, находился он по левую сторону деревушки и прилепился, как и все остальные, к каменной стенке, подпиравшей «мачеру». Рядом с домиком в два этажа стояло крошечное строение, прислонившееся к каменистому склону горы, с черепичной крышей, маленькой дверцей и окошечком без стекол. Вошли мы туда, и я увидела, как и предупреждал меня Париде, что половину комнатки занимал ткацкий станок допотопного вида, весь из дерева. В другой же половине стояла деревенская кровать, вернее пара железных козел с настланными на них досками, а сверху лежал мешок из тонкой материи, набитый сухими листьями кукурузы. В комнатке этой из-за скошенного потолка с трудом можно было встать во весь рост; голая скала служила задней стеной, а густая паутина и пятна сырости покрывали боковые стенки. Опустила я глаза — ни кирпичного, ни каменного пола не было, просто утрамбованная земля, как в хлеву. Почесывая затылок, Париде сказал:

— Вот комната... смотрите сами, сможете ли вы здесь устроиться.

Розетта — была она тут же — испуганно спросила:

— Мама, и нам придется здесь спать?

Но я ей в ответ сказала:

— В голодный год из вики хлеб едят, — затем, повернувшись к Париде, я напомнила: — Простынь-то у нас нет... Вы нам дадите?

Тут пошла торговля: сначала простынь он давать нам не хотел, все повторял, что они — приданое жены, но в конце концов договорились мы, что я ему заплачу за пользование ими. Одеял же у него не было, поэтому он вместо одеял обещал нам дать свой широкий черный плащ, само собой разумеется тоже за плату. И так было со всем остальным. Медный кувшин, чтобы приносить воду для умывания, полотенца, посуду, даже стул, на котором сидеть можно было бы, ну хотя бы по очереди,— решительно все приходилось у него выцарапывать, буквально вырывать зубами, и соглашался он лишь после того, как я обещала платить за пользование каждой вещью в отдельности. Спросила я его потом, где мы сможем готовить, и он ответил, что в сарайчике, там же, где и они готовят. Тогда я сказала:

— Ну что ж, пойдем посмотрим, надо же представление хотя бы иметь...

И представление получила я сразу же, войдя вслед за ним в сарайчик, находившийся немного ниже по склону, на «мачере» под нами. Это была хижина, прислонившаяся к стенке «мачеры» и сложенная из камня, с соломенной крышей, напоминавшей перевернутую лодку. Знакомы мне такие хижины — в моей деревне в них обычно держат скот. Этакую хижину, работая без передышки, можно за один день построить: сначала стены возводят, складывая и подгоняя друг к другу всухую, без извести, большие, почти не обтесанные камни. Потом по краям каменной загородки овальной формы ставят две рогатины, а на них поперек кладут длинный сук. Наконец с двух сторон в несколько слоев укладывают связанную лозою в пучки солому, пока крыша не достигнет достаточной толщины. У этих хижин окон нет; дверь получается так — ставят вертикально два камня, на которые, на манер притолоки, кладется поперек третий. Притолока эта обычно бывает настолько низкой, что для того чтобы войти в хижину, нужно согнуться в три погибели. Хижина Париде была точь-в-точь такой, как у меня в деревне. Около двери на большом гвозде висело ведро с водой и ковшом. Прежде чем войти, Париде взял ковш с водой и напился, потом протянул его мне, и я напилась тоже. Мы вошли в хижину. В первую минуту я ничего не могла разглядеть, потому что хижина, как я сказала, была без окон, а Париде, войдя, закрыл за собой маленькую дверь. Потом он зажег коптилку, заправленную оливковым

маслом. И тогда я мало-помалу стала различать окружающее. Пол был земляной, посреди хижины в очаге тлел огонек, а на железном треножнике стоял почерневший котелок. Подняла я голову вверх — где-то под самым потолком, в темноте покачивались гирлянды повешенных для копчения сосисок и кровяных колбас, а кругом свисали черные, воздушные кружева копоти — точь-в-точь как на рождественской елке, но только елка была одета в траур. Вокруг очага было расставлено кружком несколько чурбанов, и на одном из них, к своему удивлению, увидела я старуху, старую-престарую, с лицом, как луна на ущербе — один нос да подбородок; старуха одна-одинешенька, в темноте, сидела за прялкой. Это была мать Париде. Она встретила меня такими словами:

— Молодец, что пришла, садись. Мне сказали, ты синьора из Рима... это, ясное дело, не гостиная, как у вас там в Риме, а хижина... но что поделаешь, уж придется тебе потерпеть, ну, подойди сюда, садись.

Сказать по правде, не хотелось мне садиться на эти неудобные чурбаны, и я чуть было не спросила, нет ли стула, но вовремя удержалась. Потом я обнаружила, что стульев в хижинах никогда не бывает; их держат в домах, считая роскошью, и пользуются ими только по праздникам да в таких торжественных случаях, как свадьбы, похороны и так далее, а чтобы они не портились, их ножками вверх, словно окорока, подвешивают к потолку. В самом деле, однажды войдя в домик Париде, стукнулась я лбом о такой стул и про себя подумала, что судьба закинула меня в порядочную глушь.

Ну, хватит. Теперь хижина была вся освещена, и я смогла убедиться, что это был просто хлев: холодная и темная комнатушка, под ногами жидкая грязь, а каменные стены и внутренняя сторона соломенной крыши были черными от копоти и сплошь покрыты густым слоем сажи. В хижине стоял дым от тлеющих в очаге сучьев — может, потому, что они еще были зеленые. Весь дым из-за отсутствия окон застаивался внутри и еле-еле выходил наружу, просачиваясь с большим трудом через соломенную крышу. Поэтому вскоре Розетта и я стали кашлять, а глаза у нас начали слезиться. Тут я еще разглядела почти совсем утонувших в широких юбках старухи уродливую дворняжку и облезлого старого кота, у них от едкого дыма — вот чудеса-то — тоже, как у людей, текли из глаз слезы, они, бедненькие, плакали, но не шевелились, и глаза у них были широко раскрыты — привычные они к этому, наверно. Терпеть я всегда не могла грязи, и моя квартира в Риме, хоть и была скромна, но уж что до чистоты, то надо прямо сказать, блестела она у меня, как стеклышко. Поэтому, увидев эту хижину, подумала я, что теперь нам с Розеттой придется готовить, есть и пить в этом хлеву, совсем как двум козам или овцам, и сердце у меня сжалось еще сильнее. Я громко сказала, будто своим мыслям отвечая:

— По счастью, речь идет всего о нескольких днях, пока не придут англичане.

А Париде:

— Разве эта хижина тебе не нравится?

Я сказала:

— У нас в таких хижинах держат скот.

Париде был тип любопытный, как я потом убедилась, бесчувственный и без всякого самолюбия. Слегка усмехаясь, он ответил:

— А у нас в них живут люди.

Тогда старуха сказала своим пронзительным, как у цикады, голосом:

— Видать, хижина тебе не нравится, но лучше в ней жить, чем в чистом поле. Знаешь, сколько бедняг-солдат из нашей деревни, которые сейчас в России — всё ведь мужья наших баб, — всю жизнь в такой хижине, как эта, жить бы согласились, лишь бы домой вернуться. Но они

не вернутся, их там всех перебьют и даже не похоронят по-христиански, потому что в России больше не верят ни в Христа, ни в Мадонну.

Удивило меня такое мрачное предсказание; Париде чуть улыбнулся и сказал:

— Моя мать все видит в черном свете, старая она уж стала и целыми днями сидит одна, да и глухая к тому же.

И затем уже погромче добавил:

— Вот еще, кто тебе сказал, что они не вернутся? Обязательно вернутся, теперь это уже скоро будет.

Старуха пробормотала:

— Мало того, что они не вернутся, но и нас всех здесь в горах с самолетов укокошат.

Париде вновь улыбнулся, будто услышал что-то смешное, а я, испуганная такой безнадежностью, поспешно проговорила:

— Ну, мы еще увидимся... до свидания.

А старуха все тем же зловещим тоном изрекла:

— Можешь не сомневаться, увидимся, тем более, что в Рим ты так скоро не вернешься, да и кто знает, попадешь ли ты туда еще когда-нибудь.

Услышав ее слова, Париде тут уж просто расхохотался, а я подумала, что смеяться нечего, и не могла удержаться, чтобы про себя не произнести заговора от дурного глаза.

Вечер я провела, прибирая комнатку, где стояла наша постель. Тогда я еще не знала, что нам предстояло так долго в ней жить. Подмела я земляной пол, соскребла с него всю грязь, что приставала к нему годами, отнесла Париде уж не знаю сколько лопат и мотыг, которые были свалены в углах комнаты, чтобы он их поставил в другое место, обмела со стен паутину. Потом переставила кровать в угол, вдоль скалы, что служила нам стеной, укрепила доски на козлах, потрясла набитый кукурузными листьями тюфяк, покрыла его простынями: хорошие очень были простыни, плотные, льняные, ручного тканья,— а сверху вместо одеяла постелила черный плащ Париде. Жена Париде — Луиза, та блондинка, которую я уже описала, синеглазая с угрюмым лицом и курчавыми волосами, тем временем уселась в глубине комнаты за ткацкий станок и принялась без устали с таким невероятным шумом крутить его своими сильными, мускулистыми руками, что я ее спросила:

— Ты что, всегда тут будешь грохотать своим станком?

Она, смеясь, ответила:

— Кто знает, сколько мне придется здесь сидеть... мне нужно материи наткать, чтобы сшить брюки Париде и мальчикам.

Я сказала:

— Плохо наше дело: мы из-за тебя совсем оглохнем.

А она:

— Я-то не оглохла... увидишь, что и ты привыкнешь.

В общем, она оставалась в комнате часа два, не переставая водить вверх и вниз станок, и ударяющиеся друг о друга деревянные части издавали сухой и резкий звук. А мы обе, убравшись в комнате, сели отдыхать — Розетта на стул, который я взяла, так сказать, напрокат у Париде, а я на постель. Так мы сидели, как две дуры, не сводя глаз с работавшей Луизы, разинув рот и ничего не делая. Луиза была неразговорчива, но на наши вопросы отвечала охотно. Так мы узнали, что из всех мужчин, живших до войны в здешних местах, только Париде не отправили на фронт, у него ведь не хватало двух пальцев на правой руке. Всех других забрали в армию, и почти всех послали в Россию.

— Кроме меня, — сказала Луиза с двусмысленной улыбкой и почти радостным тоном,— все остальные женщины у нас вроде как вдовы.

Удивилась я и, думая, что Луиза настроена так же мрачно, как ее свекровь, сказала:

— По-твоему, что же, они должны все-все умереть? А я, наоборот, думаю, что они обязательно вернутся.

Но Луиза, улыбаясь, покачала головой:

— Ты меня не поняла. Я мало верю в их возвращение не потому, что их убьют, а потому, что русским женщинам нравятся наши мужчины. Известно, что иностранцы всегда нравятся. И может случиться, что, когда кончится война, русские женщины их не отпустят и тогда поминай как звали.

В общем, на войну она смотрела со своей колокольни, многое зависело, по ее мнению, от отношений между мужчинами и женщинами. Видно, она была очень довольна, сохранив целехоньким своего мужа благодаря тому, что у него не было двух пальцев, тогда как все остальные лишились своих мужей по вине русских женщин. Поговорили мы также и о семействе Феста, и она мне сказала, что Филиппо благодаря знакомству и взяткам добился, чтобы его сына не послали на фронт, а крестьяне, у которых нет ни денег, ни знакомств, должны были идти на войну и там гибнуть. Вспомнила я тогда слова Филиппо, что мир, как он считает, делится на умных и дураков, и поняла, что и в этом случае он вел себя, как умный.

Наконец, слава богу, стемнело и Луиза перестала грохотать своим станком и ушла готовить ужин. Мы с Розеттой так устали, что словно к месту приросли, и целый час просидели, не двигаясь и не проронив ни слова. Сидела я на постели, а Розетта на стуле у изголовья. При тусклом свете коптилки наша комнатка казалась маленькой пещерой. Смотрела я на Розетту, Розетта на меня, и всякий раз наши взгляды выражали что-то новое, и мы молчали, ведь мы друг друга хорошо понимали и знали, что слова тут излишни и ничего не добавят к нашему немому разговору. Глаза Розетты говорили: «Мама, что мы будем делать, мне страшно, куда мы попали?» А мои отвечали: «Дорогая доченька, будь спокойна, твоя мама рядом с тобой, нечего тебе бояться» и всякое такое. Вот так молча мы обменивались разными нашими мыслями, и, наконец, словно в заключение этого невеселого разговора, Розетта придвинула стул к кровати и, обхватив мои колени, уткнулась головой в юбку, а я, все так же молча, тихо-тихо стала гладить ее по волосам. Так сидели мы, может, с полчаса; потом кто-то толкнул дверь, она приотворилась, и невысоко над порогом показалась детская головка — это был Донато, сын Париде.

— Папа говорит, если хотите, можете прийти с нами поужинать.

Есть нам не очень хотелось, ведь мы наелись днем у Филиппо: однако все равно я приняла это приглашение; я чувствовала себя усталой и упавшей духом, и мне вовсе не улыбалось закончить вечер без ужина, сидя вдвоем с Розеттой в этой печальной комнатушке.

Итак, пошли мы следом за Донато, а он почти бегом пустился вперед, словно видел в темноте, как кошка, и очутились у хижины, стоящей на «мачере» ниже по склону. Мы застали Париде в окружении четырех женщин: матери, жены, сестры и невестки. У этих двух было по трое ребят, а мужья были призваны в армию и посланы в Россию. Сестру Париде звали Джачинта, она была такая же черная, как и он, с блестящими, живыми глазами и широким, грубым лицом. Была она словно одержимая и раскрывала рот лишь для того, чтобы сказать грубость или побранить своих трех ребятишек, которые цеплялись за ее юбку, словно щенята, и непрерывно хныкали. Частенько она, вместо всяких разговоров с ними, ограничивалась тем, что молча била их, изо всех сил ударяя кулаком по голове. Невестку Париде звали Анна, она была женой его

брата, жившего в мирное время около Чистерны. Это была темноволосая, бледная, худая женщина с орлиным носом и ясными глазами, со спокойным и задумчивым выражением лица. В отличие от Джачинты, которой можно было испугаться, Анита производила впечатление воплощенного спокойствия и мягкости. У нее также были дети, но они не висли на ней, а благонравно сидели на лавках и молча, терпеливо ждали, когда им дадут есть. Когда мы вошли, Париде сказал нам со своей обычной странной улыбочкой, смущенной и в то же время угрюмой:

— Мы подумали, что вы там одни... милости просим, садитесь с нами.

И помолчав немного, добавил:

— Пока у вас нет продуктов, вы могли бы питаться здесь, вместе с нами. Потом сочтемся.

Короче говоря, он давал нам понять, что не собирается кормить нас бесплатно, но я ему была все равно благодарна, так как знала, что они люди бедные, повсюду голод и это совсем не мало, что они соглашались кормить нас в обмен на деньги, потому что в голодное время тот, у кого есть хоть небольшие запасы, держит их для себя и не делится ими ни с кем даже за деньги.

Словом, мы сели, и тогда Париде зажег ацетиленовую лампу, и приятный белый свет осветил всех нас: кто сидел на лавках, а кто на чурбанах, расставленных вокруг треножника, на котором кипел небольшой котелок. Париде был здесь единственный мужчина, и Анита, его невестка, не без горечи — ведь, как я говорила, муж ее был в России — пошутила по этому поводу:

— Ты, наверно, доволен, Париде, столько женщин к твоим услугам, вот как тебе повезло!

Париде, чуть улыбнувшись, ответил:

— Счастье, которое скоро кончится!

Но унылая старуха, его мать, немедленно возразила:

— Скоро? Всем нам скорей придет конец, чем этой войне.

Между тем Луиза поставила на шаткий столик глиняную суповую миску; потом взяла булку и, прижав к груди, начала быстро-быстро резать ее на весу острым ножом — тонкие ломти падали в миску, пока она не наполнилась до краев. Тогда она сняла с огня котелок и вылила содержимое в миску, прямо на ломтики булки; это был, одним словом, тот обычный суп, что мы уже ели у Кончетты, то есть кашица из хлеба и фасоли.

Пока мы дожидались, чтобы хлеб хорошенько пропитался и размок, Луиза поставила на пол посреди хижины большую шайку и налила в нее воды из кувшина, гревшегося на золе под треножником. Потом все, кто там был, начали снимать свои чочи, не спеша и даже с некоторой торжественностью, будто делали серьезное дело, которое совершается каждый вечер, в раз навсегда заведенном порядке. Сначала я совсем ничего не понимала, но потом, увидев, как Париде первым опустил в шайку босую ногу, всю черную от земли, особенно между пальцев и вокруг щиколотки, я тут же все поняла: мы в городе, прежде чем сесть за стол, моем руки, они же, бедняги, после того как целый день месили на полях грязь, моют ноги. Да, они их мыли, но все в одной шайке и не меняя воду, и вы можете себе представить цвет этой воды после того, как в ней побывали ноги всех членов семьи, в том числе и детей,— она стала шоколадного цвета. Только мы с Розеттой не окунули ног, и кто-то из ребятишек наивно спросил:

— А вы почему не моете?

На что мать Париде, которая также не ополоснула ног, угрюмо ответила:

— Синьоры-то из Рима. Они не работают в поле, как мы.

Тем временем суп уже был готов; Луиза вынесла шайку с грязной водой и поставила посреди хижины столик с суповой миской. Мы начали есть все вместе, каждый зачерпывал ложкой прямо из миски. Розетта и я съели, наверно, не больше двух-трех ложек, но остальные, особенно дети, набросились на еду с такой яростью, что вскоре миска оказалась пустой, и, судя по несколько разочарованным лицам и жадным взорам, я поняла, что многие еще далеко не сыты. Париде роздал всем еще по пригоршне сухих винных ягод, потом достал из углубления в стене хижины фиаску с вином и наливал каждому, в том числе и детям, по стакану вина, и все пили из одного стакана. Пили вино все, и каждый раз Париде обтирал край стакана рукавом, наливал с необыкновенной точностью и, протягивая стакан, вполголоса называл имя того, кому оно предназначалось, будто это какая-то церемония в церкви. Вино было кислое, почти уксус, одним словом вино гор, натуральное виноградное вино, в чем можно было не сомневаться. Закончив ужин, прошедший в полном молчании, женщины вновь взялись за свою прялку и кудель, а Париде при свете ацетиленовой лампы принялся проверять урок по арифметике сына своего Донато. Париде был неграмотен, но немного умел считать и хотел, чтобы его сын тоже этому научился. Однако его сын — большеголовый мальчик с простым и тупым лицом — был, видно, порядочно бестолков; Париде без конца пытался вдолбить ему какое-то решение, а потом рассердился и заорал: «Болван!» — и дал ему хороший подзатыльник. Звук от удара был такой, точно у Донато деревянная голова, но мальчик как ни в чем не бывало тихонечко принялся играть на полу с кошкой. Я потом спрашивала Париде, почему ему хочется, чтобы его сын, как и он, не умеющий ни читать, ни писать, выучился арифметике,— и поняла: для Париде цифры были важнее букв, так как первые могли пригодиться хотя бы на то, чтобы сосчитать деньги, тогда как вторые, по его мнению, ровным счетом ни на что не годились.

Хотелось мне описать этот первый наш вечер, проведенный вместе с Морроне (фамилия семейства Париде), прежде всего потому, что описав его, я тем самым описала все последующие, ведь все они были одинаковы. К тому же еще в тот день я обедала с беженцами, а ужинала с крестьянами и, значит, могла увидеть всю разницу в их жизни. Скажу по правде, беженцы, по крайней мере некоторые из них, были богаче, еда у них лучше, они умели читать и писать, не носили на ногах чочи, и женщины их одеты по-городскому; несмотря на все это, я с первого же дня и чем дальше, тем больше предпочитала всегда крестьян. Пристрастие мое, вероятно, объяснялось тем, что еще до того как стать лавочницей, я была крестьянкой, но больше всего, по-моему, тем странным чувством, какое я ощущала, встречаясь с беженцами и сравнивая их с крестьянами: людям этим образование не только не пошло на пользу, но сделало их еще хуже. Так, пожалуй, бывает с озорными мальчишками, которые едва пойдут в школу и научатся писать, первым делом исписывают стены всякими ругательствами. В общем, по-моему, недостаточно еще дать людям образование: надо их научить, как им пользоваться.

К концу ужина всех стало ко сну клонить, а некоторые дети просто уснули; Париде тогда поднялся и заявил, что они ложатся спать. Все мы вышли из хижины и попрощались, пожелав друг другу покойной ночи, и мы с Розеттой остались одни на краю «мачеры», вглядываясь в ночную темень, в ту сторону, где, как мы знали, находилось Фонди. Не видно было ни одного огонька, вокруг была тьма и тишина, живыми казались только звезды — ярко сверкали они на темном небе, словно множество золотых глаз, которые смотрели на землю и все о нас знали, между тем как мы ничего о них не ведали. Розетта тихо сказала:

— Какая чудная ночь, мама!

Я спросила ее, довольна ли она, что мы пришли сюда, в горы. Она ответила, что всегда всем довольна, раз она со мной. Постояли мы еще немного, любуясь ночью, а потом она потянула меня за рукав и прошептала, что хочет помолиться — поблагодарить Мадонну за то, что она помогла нам добраться сюда целыми и невредимыми. Тихо-тихо сказала она, словно боясь, что ее кто-то услышит. Немного удивившись, я спросила ее:

— Здесь молиться?

Она кивнула головой и медленно опустилась на колени на траву у самого края «мачеры», потянув за собой и меня. Пожалуй, мне даже понравился этот поступок Розетты — она в ту тихую и спокойную ночь, после стольких хлопот и волнений, будто угадала мое чувство: чувство благодарности к кому-то или чему-то, что нам помогло и нас защитило. Поэтому с охотой я подчинилась ей, сложила руки, как и она, и, беззвучно шевеля губами, быстро-быстро прочитала молитву, которую обычно произносят на сон грядущий. Давно уже я не молилась — с того самого дня, как позволила Джованни овладеть собой. Знала я, что не смогу после этого молиться — грешницей себя считала, но вместе с тем, не знаю почему, и вины своей не чувствовала. И вот теперь, в первый раз, я просила прощения у господа за то, что у меня было с Джованни, и обещание дала никогда этого больше не делать. Потом, может под влиянием ночи, такой необъятной и темной, в которой скрыто столько человеческих дел и жизней, я помолилась за всех — за себя и Розетту, за семью Феста и за семью Париде и за тех, кто сейчас укрылся в горах, за англичан, что придут нас освободить, и за нас, итальянцев, что так страдают, а также за немцев и фашистов, которые хоть и виноваты в наших бедах, но ведь они все-таки тоже люди. Признаюсь: по мере того как молитва почти против моей воли все затягивалась, я почувствовала себя растроганной, слезы на глаза навернулись и, хотя я подумала, что все это, наверно, от усталости, сердце подсказало мне, что чувство это доброе и как хорошо, что я его испытываю. Розетта также молилась, склонив голову, но потом вдруг схватила меня за руку и воскликнула:

— Смотри же, смотри!

Подняла я голову и увидела, как ночную тьму прорезала сверкающая узкая полоска, которая взметнулась высоко-высоко и превратилась в зеленый цветок, а потом медленно опустилась на землю, осветив на мгновение горы вокруг долины, заросли и даже, как мне показалось, дома Фонди. Потом я узнала, что эти зеленые огни, такие красивые, были ракеты, которые пускали, чтобы освещать линию фронта и намечать цели для стрельбы из орудий и бомбежки с воздуха. Тогда мне это показалось добрым предзнаменованием, чуть ли не вестью от Мадонны, будто она давала мне понять, что молитва моя услышана и она мне поможет.

Хочется рассказать об этой молитве особенно для того, чтобы дать представление о характере Розетты, о котором я до сих пор не говорила. Впоследствии, из-за войны, характер ее менялся с каждым днем, поэтому сейчас хочу я показать, какой Розетта была в то время, когда мы с ней пришли в горы, или, по крайней мере, какой она была тогда в моих глазах. Известно, что матери не всегда знают своих детей, но все же даже теперь, когда она, как я уже сказала, так резко изменилась, думаю, что тогдашнее мое представление о ней в общем было не такое уж неверное. Растила я Розетту заботливо, ухаживала за ней, будто была она дочерью важных господ. Старалась, чтобы она ничего не знала о плохом, что делается на свете, и держала ее, насколько это было возможно, подальше от всего дурного. Не могу о себе сказать, что женщина я религиозная, хотя и хожу в церковь; вера моя какая-то нестойкая, порой, к примеру сказать в ту ночь на «мачере», мне казалось, что я верую, а иногда, как

в те дни, когда нужно было бежать из Рима, веры моей как не бывало. Во всех случаях религия никогда не закрывала мне глаз на действительность, на то, что есть на самом деле, и сколько бы священники наши ни трудились объяснять и оправдывать ее, жизнь на каждом шагу опровергает их. Но с Розеттой дело обстояло иначе. Не знаю, может потому, что воспитывалась она до двенадцати лет у монахинь в полузакрытом монастыре или по характеру своему, Розетта была до глубины души религиозна, цельной была ее вера, без колебаний и сомнений. И до того она верила и убеждена была в своей правоте, что даже никогда не говорила о религии и, может, даже не думала о ней: религия для нее была как воздух — им дышишь, он входит и выходит из легких, и мы не задумываемся над этим и даже этого не замечаем. Трудно мне теперь, когда все так изменилось, объяснить, какой была Розетта в те дни, когда мы бежали из Рима. Скажу только, что всякий раз, когда мне случалось подумать об этом, я приходила к мысли, что дочь моя — совершенство. В самом деле, была она из тех людей, про которых даже самые злые языки не скажут ничего плохого. Доброй, искренней, правдивой и бескорыстной была Розетта. У меня характер неровный, могу я и рассердиться, и накричать, а когда теряю голову, то даже ударить способна. Розетта же ни разу мне грубо не ответила, ни разу не затаила на меня обиду и всегда была примерной дочерью. Однако совершенство ее не в том только заключалось, что недостатков у нее не было, но и в том, что всегда она все делала и говорила правильно, именно то, что нужно было говорить и делать, выбирая из тысячи поступков и слов. Иногда я просто пугалась и думала: «Святая у меня дочка». И в самом деле подумать можно, что она святая была, ведь вести себя так по-хорошему, поступать до того правильно, жизни еще не зная и будучи, в сущности, совсем еще девочкой, может только святая. Розетта мало что в своей жизни делала — жила она со мной и после воспитания, полученного у монахинь, помогала мне по хозяйству дома, а иногда и в лавке,— однако вела она себя так, будто все умела и знала. Впрочем, думаю я так теперь, это ее совершенство, казавшееся мне просто невероятным, было от неопытности ее и воспитания, полученного у монахинь. Неопытность и вера, слитые воедино, создали то совершенство, которое я считала непоколебимым, как крепостная башня, но — увы! — оно оказалось непрочным, как карточный домик. В общем, не понимала я, что подлинная святость — это знание и опыт, пусть даже особого рода, а не отсутствие опыта и полное неведение, как это было у Розетты. Но разве это моя вина? Растила я ее любовно и, как все матери на свете, заботилась, чтобы она ничего не знала о плохом в жизни; думала, выйдет она замуж, уйдет из дому, все узнает, а сейчас рано еще. Однако не приняла я в расчет войны; война заставляет нас узнать плохое даже против нашей воли и принуждает неестественным и жестоким образом раньше времени познать его. Так было с нами: совершенство Розетты годилось для мирной жизни, когда торговля шла бойко и мать копила деньги на приданое, и полюбил бы ее славный паренек, женился бы на ней, а она детей народила бы ему и хорошей женой стала бы, после того как была хорошим ребенком и хорошей девушкой. Но такое совершенство не нужно для войны, она требует от людей совсем других качеств, даже не знаю каких, но, конечно, не тех, что были у Розетты.

Ну, хватит об этом. Поднялись мы, наконец, и побрели вдоль «мачеры» в темноте к нашей комнатке. Прошли мы под окном домика Париде, и я поняла, что он и его домочадцы еще не легли, потому что двигались они и тихо разговаривали меж собой, совсем как в курятнике куры, которые всегда суетятся, прежде чем устроиться спать. Ну, вот и наша комнатка, приткнувшаяся к стене «мачеры», с грубо сколоченной

дверью, с черепичной скошенной крышей и окошечком без стекла. Толкнула я дверь, и мы очутились в темноте. С собой у меня были спички, и я первым делом зажгла огарок свечи; потом оторвала от носового платка полоску полотна, скрутила фитилек и опустила его в лампадку с оливковым маслом. Осветив комнату этим ярким, но печальным огоньком, сели мы обе на постель, и я сказала Розетте:

— Давай снимем только юбки и кофточки. Кроме простыни и этого плаща Париде, нам нечем укрыться, если мы ляжем совсем раздевшись, под утро нам станет холодно.

Так мы и сделали и, не снимая рубашек, улеглись в постель. Простыни были льняные, ручного тканья, свежие и тяжелые, но это единственное, что было обычного в этой постели, которую, по правде говоря, и назвать постелью нельзя было. Стоило мне пошевельнуться, как я чувствовала, что кукурузные листья подо мной шуршат и сбиваются в кучу, и сквозь тонкую материю тюфяка я ощущаю под спиной твердые доски. В жизни мне не приходилось спать на такой постели, даже девчонкой в деревне: были у нас обычные кровати с сеткой и матрасом. Мало того, вдруг, когда я повернулась, подо мной разъехались не то что листья, а доски, и почувствовала я, что проваливаюсь между ними и касаюсь задом пола. Тогда в темноте поднялась я, поправила доски, взбила тюфяк, опять улеглась и тесно прижалась к Розетте, свернувшейся калачиком и лежавшей спиной ко мне у стенки.

Но все равно ночь эта была очень беспокойная. Не знаю уж в котором часу, может после полуночи, я проснулась и услышала тоненький-тоненький писк, еще более слабый, чем писк птенцов. Он слышался из-под кровати, и я немного спустя разбудила Розетту и спросила ее, слышит ли она писк. Розетта ответила, что слышит. Зажгла я тогда лампадку и заглянула под кровать. Писк, как я сразу же поняла, шел из ящика, в котором, казалось, ничего не было, кроме множества пучков ромашки и мяты. Но посмотрев получше, мы обнаружили среди ромашки нечто вроде круглого, свитого из соломы и пуха гнезда, а в нем — восемь или десять новорожденных мышат, не больше моего мизинца, розовых, голеньких, почти прозрачных. Розетта тут же сказала, что не надо их трогать, спим мы здесь первую ночь, и убивать их нельзя — это может несчастье принести. Залезли мы обратно в кровать и хорошо или плохо, но снова уснули. И часу не прошло, как вдруг в темноте чувствую я, как у меня по лицу и по груди двигается что-то мягкое и тяжелое. Я громко закричала от испуга. Розетта опять проснулась, зажгли мы лампадку и— подумать только! — на этот раз увидели кошку. В самом деле, в ногах кровати сидел хорошенький котик, черный, с зелеными глазами, худой, но молодой, с блестящей шерсткой. Смотрел он пристально на нас, готовый ежеминутно выскочить в окошечко, откуда он и пришел. Но Розетта по-своему позвала его — очень любила она кошек и знала, как с ними обращаться,— кот сразу же доверчиво к ней подошел и вскоре уже забрался к нам под простыню и от удовольствия замурлыкал. Спал этот кот всегда с нами, пока мы оставались в Сант-Эуфемии. Звали его Джиджи. У него были свои привычки — приходил он еженочно, после полуночи, залезал под простыню, в середку между нами, и там оставался до рассвета. Ласковый он был, привязался к Розетте, но когда спал между мной и Розеттой, беда если кто-либо из нас осмеливался пошевелиться: в темноте сразу же раздавалось урчание Джиджи, который будто говорил нам: «Эй, дадите вы мне спать наконец?»

Много еще раз я в ту ночь просыпалась и после мышей и кота и все никак понять не могла, где же я. В одно из таких пробуждений услышала я гул самолета. Летел он совсем низко, медленно-медленно, и

мотор его гудел размеренно, торжественно и мягко, будто рассекал он не воздух, а воду. Показалось мне, что в шуме мотора слышатся слова, ободряющие меня и успокоительные. Объяснили мне потом, что самолеты эти назывались «аистами» и посылали их на разведку, почему они и летали так медленно. В конце концов до того я к ним привыкла, что иной раз нарочно старалась не спать, чтобы звук их услышать, а если не слышала, то досада меня брала. «Аисты» эти были английские самолеты, и я знала, что англичане рано или поздно должны прийти освободить нас и дать нам возможность вернуться домой.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Вот и началась наша жизнь в Сант-Эуфемии, так деревушка эта называлась. И казалось, будто живем мы здесь временно и больше двух недель все это не продлится, а в действительности суждено нам было провести здесь целых девять месяцев. По утрам спали мы сколько душе угодно, все равно делать было нечего, однако надо сказать, что наверное лишения и волнения в Риме совсем уж допекли нас, потому в первую неделю спали мы иногда по двенадцать, а то и по четырнадцать часов кряду. Ложились мы рано, просыпались ночью и вновь засыпали, а на рассвете вновь просыпались, и сон нас опять одолевал, потом становилось совсем светло, но стоило нам повернуться лицом к скалистой стене «мачеры», а спиной к окошечку, откуда свет лился, как вновь мы впадали в спячку, и проспать мы могли чуть ли не весь день-деньской. В жизни моей никогда я так много не спала. Здоровый это был сон, безмятежный, сладкий, как хлеб, испеченный дома, без сновидений и волнений, словом, целительный сон, и с каждым днем прибывали к нам силы, растраченные в Риме и когда мы жили у Кончетты. В самом деле, сон этот, глубокий и непробудный, шел нам на пользу: за неделю мы обе преобразились — заблестели глаза, исчезли черные круги под ними, порозовели и округлились щеки, разгладились и посвежели лица, ясной стала голова. Во сне этом мне казалось, что земля, где я родилась и которую я так давно покинула, вновь принимает меня в свое лоно и отдает мне свою силу. Так бывает с растениями, вырванными с корнем: посадишь их снова в землю, и они быстро набирают силу и опять покрываются листьями и цветами. Да, растения мы, а не люди, или, пожалуй, скорее растения, чем люди, и дает нам силу земля родная, а если ее покидаем, мы уже не растения и не люди, а так, былинки невесомые, гонимые жизнью то туда, то сюда по воле случая.

Спали мы так много и с такой охотой, что все трудности жизни в горах казались нам пустяковыми, и переносили мы их шутя, почти не замечали; так хорошо накормленный и отдохнувший мул одним духом поднимает в гору тяжелый воз и, добравшись до вершины, еще в силах как ни в чем не бывало припуститься веселой рысцой. И все же, как я сказала, нелегкая была жизнь там наверху, и мы это сразу почувствовали. Утро начиналось с множества забот: приходилось с опаской вставать с кровати, чтобы не запачкать ноги, поэтому положила я на полу плоские камушки, чтобы не месить грязь в дождливые дни, когда земляной пол в нашей комнатке превращался в озеро. Потом нужно было принести воды из колодца, был он как раз напротив нашей лачуги. Пока осень стояла, это было нетрудно, но зимой вода на дне колодца замерзала — деревушка-то находилась на высоте почти в тысячу метров,— и по утрам, когда я опускала в колодец ведро, руки у меня коченели от холода, и вода в нем была такая ледяная, что просто дух захватывало. Зябкая я была, самое большее лицо и руки ополаскивала, зато Розетта холод пред-

почитала грязи и, раздевшись догола, становилась посреди комнаты и выливала на себя полное ведро ледяной воды. Крепкая и здоровая была моя Розетта, вода стекала у нее с тела, будто вся она была маслом смазана, и только несколько капель на груди, на плечах, на животе да на спине оставалось. После умывания выходили мы из дому, и начинались хлопоты со стряпней. Пока осень стояла и хорошая погода, все шло довольно гладко, но пришла зима, и тут начались всякие трудности. Приходилось под дождем ходить в заросли и там садовым ножом срезать тростник и ветки кустарника. Потом мы забирались в хижину, где стряпали, и начиналась пытка с разведением огня. Свежесрезанные и сырые ветки никак нельзя было разжечь, от тростника валил густой черный дым, нам приходилось на землю ложиться, прижимаясь щекой к размокшему, грязному полу, и дуть до тех пор, пока огонь не разгорится. В конце концов мы оказывались с головы до ног в грязи, глаза у нас слезились от едкого дыма, мы вконец выбивались из сил и нервничали — и все для того, чтобы подогреть маленькую кастрюльку фасоли либо поджарить на сковороде яичницу. Ели мы так, как принято у крестьян, то есть в первый раз — часов в одиннадцать утра очень легко, а потом во второй раз — около семи по-настоящему обедали. Утром мы съедали немного поленты, сдобренной жиром сырой сосиски, если же ее не было, то довольствовались луковицей и половиной булки или даже только пригоршней сладких рожков. По вечерам ели суп, я уж о нем говорила, и кусок мяса, почти всегда козлятины; правда, трех сортов она бывала — то мясо козы, а то козла или козленка. После утреннего завтрака делать было нечего, разве что обеда дожидаться. Если погода была хорошая, шли пройтись: огибали гору, все время идя по той же «мачере», доходили до зарослей кустарника, выбирали местечко потенистей и покрасивей, под каким-нибудь деревом, растягивались на траве и так оставались там до самого вечера, любуясь открывавшимся оттуда видом. Но в плохую погоду — а она в ту зиму целыми месяцами держалась — мы оставались в нашей комнатке, я на кровати сидела, а Розетта на стуле, без всякого дела, в то время как Луиза по обыкновению ткала на своем станке с оглушительным шумом, о чем я уже говорила. Долгие эти часы, что я провела во время непогоды в нашей комнате, я до смерти не забуду. Дождь, частый и мерный, лил не переставая, и я слышала, как он стучал по крыше и, булькая в водосточной трубе, стекал в канаву. Мы сидели почти в темноте, чтобы не тратить оливкового масла, которого у нас было в обрез; в комнату еле-еле пробивался тусклый свет дождливого дня через окошечко, или вернее кошачий лаз — до того оно было мало. Мы сидели молча, потому что не хватало у нас духу говорить о двух вещах, о каких только и было разговору: о голоде да о приходе англичан. Мучительно долго тянулись часы; я потеряла счет времени и часто даже не знала, какой месяц идет и что сегодня за день. Казалось мне, что я совсем поглупела, потому что голова моя не работала с тех пор, как думать становилось все бесполезнее, иногда мне казалось, что я с ума схожу, и, не будь со мной рядом Розетты, которой я как мать пример подавать должна была, просто не знаю, чего бы я только не натворила: с истошным криком могла выскочить из нашей лачуги или же оплеух надавать Луизе, когда она, словно нарочно, чтобы оглушить нас, грохотала на своем станке, а с лица у нее не сходила какая-то угрюмая усмешка, будто она хотела сказать нам: «Вот как мы, крестьяне, обычно живем... теперь нашей жизни хлебнули и вы, барыни из Рима... что вы скажете? Нравится она вам?»

Другое, что меня прямо-таки сводило с ума в течение всего нашего пребывания в горах,— простора не было в нашей деревушке, особенно по сравнению с необозримой панорамой Фонди. Из Сант-Эуфемии перед

нами как на ладони была видна долина Фонди, усеянная темными пятнами апельсиновых рощ и беленькими домиками, а подальше, справа, со стороны Сперлонги, виднелась полоска моря. Знали мы, что там, в море, есть остров Понца, иногда в ясные дни его можно было разглядеть, и знали также, что на острове этом — англичане, а значит — свобода. А тем временем, несмотря на привольные просторы перед нашими глазами, продолжали мы жить, двигаться и томиться на тесной длинной «мачере», до того узкой, что, сделав несколько шагов, можно было свалиться вниз на точно такую же «мачеру». Одним словом, сидели мы там наверху, будто птицы на ветке во время наводнения, которые лишь выжидают подходящий момент, чтобы перелететь туда, где посуше. Но момента этого, казалось, мы никогда не дождемся.

После первого приглашения, сделанного в день нашего появления в деревушке, Феста звали нас еще несколько раз, но уже довольно прохладно, а потом, в конце концов, перестали и вовсе нас приглашать, потому, как сказал Филиппо, у него была семья, и поскольку речь шла о расходе продуктов, то прежде всего он должен думать о семье. По счастью, из долины через несколько дней пришел Томмазино, тащил он на поводу своего ослика,— навьюченного, кстати сказать, как верблюд,— множеством свертков и чемоданов. То были наши продукты, которые Томмазино набрал в долине Фонди отовсюду понемножку, согласно списку, что мы вместе составляли; тот, кто сам не оказывался в подобном положении — с деньгами, которые на деле ровным счетом ничего не стоят, чужой среди чужих, на вершине горы — и не испытал лишений и голода во время войны, тому никогда не понять той радости, с какой мы встретили Томмазино. Трудно это объяснить: люди живут в городах, где обычно в лавках полки ломятся от товаров, и не делают никаких запасов, так как знают: если что им понадобится, они смогут купить, ведь везде вдоволь всего. Так людям и начинает казаться, будто то, что лавки полны товаров, — дело такое же естественное, как смена времен года, как дождь и солнце, день и ночь. Сущая чепуха: товары могут сразу исчезнуть, как это действительно в тот год и случилось, и тогда ни за какие миллионы на свете не купить краюхи хлеба, а без хлеба — смерть.

Итак, появился Томмазино, усталый и запыхавшийся, и сказал мне, ведя за узду ослика, который еле на ногах держался:

— Ну, кума, здесь у вас еды по крайней мере месяцев на шесть хватит,— а затем передал мне все продукты, то и дело сверяясь с обрывком желтой бумаги, на котором я написала ему список. Помню я этот список назубок и привожу его здесь, чтобы дать представление, чего стоила человеческая жизнь осенью 1943 года. Словом, наши жизни — моя и Розетты — зависели от мешка с пятьюдесятью килограммами крупчатки, чтобы печь хлеб и делать лапшу, от второго мешка, поменьше, с кукурузной мукой, чтобы варить поленту, от двадцатикилограммового мешочка с фасолью самого низкого качества, с так называемым «глазком», и нескольких килограммов гороха, сухого зеленого горошка и чечевицы, пятидесяти килограммов апельсинов, банки сала весом в два кило и нескольких кило сосисок. Кроме того, Томмазино привез также мешочек сухих фруктов, вроде винных ягод, затем орехов и миндаля и довольно много сладких рожков, которыми обычно кормят лошадей, но теперь, как я уже говорила, они вполне пригодились и нам. Отнесли мы все это в нашу комнатку, спрятали бóльшую часть продуктов под кровать, потом стала я рассчитываться с Томмазино и тут увидела, что цены только за одну неделю подскочили на треть. Другой на моем месте подумал бы, что Томмазино сам набавил цены, ведь он ради наживы отца родного не пожалел бы, но сама я лавочница, и когда он мне сказал, что цены поднялись, я сразу же ему поверила: по опыту я знала, что если дела и впредь пойдут так, как сейчас, то есть англичане будут отсижи-

ваться у Гарильяно, а немцы — вывозить в Германию продукты да людей пугать и не давать им работать, то цены поднимутся еще выше и достигнут бог весть каких размеров. Так всегда случается в голодное время: ежедневно исчезает то один, то другой продукт, на рынке с каждым днем становится все меньше людей, имеющих достаточно денег, чтобы покупать продукты, и в конце концов может оказаться, что нет ни продавцов ни покупателей и все — без денег или с деньгами — умирают с голоду.

Словом, я поверила Томмазино, когда он мне сказал, что цены подскочили, и без звука заплатила ему; потом подумала я, что подобный человек, такой жадный до наживы, что никакая война ему не страшна, в такое время — настоящее сокровище и за него надо держаться.

Заплатила я ему и к тому же, вынимая деньги, показала толстую пачку бумажек по тысяче лир, которую я держала в мешочке под юбкой. Он, как деньги увидел, сразу уставился на них, словно коршун на цыпленка, и тут же сказал, что мы с ним прекрасно споемся и, как только мне понадобится, он достанет мне продукты, но, конечно, всегда по рыночной цене, ни на грош ни больше ни меньше. Тут лишний раз убедилась я, что деньги либо, как было в данном случае, продукты могут внушить уважение к людям. Феста и его жена, видя, что продуктов нам все не везут и приходится обращаться к Париде, который хоть и скрепя сердце, но все же позволял нам питаться вместе со своей семьей, разумеется за плату, последние дни избегали нас и, когда наступал час обеда или ужина, потихоньку исчезали, словно стеснялись. Но лишь только прибыл со своим осликом Томмазино, надо было видеть, до чего они к нам изменились! Улыбки, поклоны, ласковые слова, всяческие разговоры и — хотя теперь мы в этом уже не нуждались — приглашения к обеду. Они даже пришли, чтобы полюбоваться на наши запасы; и по этому случаю Филиппо, искренне довольный, так как был ко мне расположен, правда не настолько сильно, чтобы поделиться со мной продуктами, но достаточно, чтобы порадоваться за меня сейчас, когда они у нас есть, сказал мне:

— Мы с тобой, Чезира, здесь единственные, кто может спокойно смотреть в будущее, потому что только у нас двоих есть деньги.

Сын его, Микеле, при этих словах насупился еще больше, чем обычно, а потом процедил сквозь зубы:

— А ты в этом твердо уверен?

Отец расхохотался и, хлопнув его по плечу, сказал:

— Уверен ли я? Да это единственное, в чем я уверен... Ты разве не знаешь, что деньги лучшие, самые верные, самые постоянные друзья, из всех, какие только могут быть у человека.

Слушала я их и слова не проронила. Но про себя подумала, что это далеко не так: ведь сегодня эти, такие верные, друзья здорово меня подвели — ценность их упала на целую треть! Теперь ста лир еле хватает, чтобы купить немного хлеба, а до войны на них можно было полмесяца жить. Скажу я вам, что нет верных друзей во время войны — ни людей, ни денег, ничего. Война сметает все, и вместе с вещами, которые каждый видит, разрушает и то, что для нас невидимо, хотя оно и существует.

С того дня, как прибыли продукты, жизнь в Сант-Эуфемии пошла своим чередом. Утром мы просыпались, одевались, собирали хворост и сучья, разводили в кухне огонь, потом шли немного пройтись, болтая о том и о сем с другими беженцами, затем ели, снова шли прогуляться, готовили и ели во второй раз и, наконец, чтобы сберечь оливковое масло в лампадке, очень рано ложились спать. Погода стояла хорошая — мягкая, тихая, ни ветра, ни облачка на небе, чудесная осенняя пора, когда окрестные леса на склонах гор уже тронуты желтизной и багрянцем. Все говорили — погода для союзников самая подходящая, чтобы развернуть быстрое и неудержимое наступление и дойти, по крайней мере, до Рима,

и никто не мог понять, почему они этого не делают и всё топчутся где-то возле Неаполя или чуточку севернее. Впрочем, в Сант-Эуфемии это был обычный, чтоб не сказать единственный, разговор. Не переставая твердили все о союзниках — о том, когда они придут и почему не приходят, да как же это так и чем объяснить. Больше всех говорили об этом беженцы — им хотелось как можно скорее вернуться в Фонди к своей привычной жизни; крестьяне же, наоборот, говорили об этом меньше, потому что война, в сущности, приносила им выгоду, ведь они сдавали домики беженцам и вообще по мелочи наживались на них; да к тому же жили они так же, как в мирное время, и приход союзников почти ничего или очень мало изменил бы в их жизни.

Сколько раз говорила я о союзниках днем, прохаживаясь взад и вперед по «мачере», любуясь панорамой Фонди и синеющим вдали морем, или же по вечерам, в хижине Париде, почти впотьмах, сидя перед полупотухшим очагом со слезящимися от едкого дыма глазами, или же ночью, прежде чем заснуть, лежа в постели, обнявшись с Розеттой. Говорила я о них так много, что постепенно стали эти союзники мне казаться какими-то местными чудотворцами, что дождь посылают или хорошую погоду, которым люди то молятся, то бранят их, но всегда чего-нибудь от них да ждут. Ждали все от союзников чего-то необыкновенного, совсем как от святых, и все были уверены, что с их приходом жизнь не только станет нормальной, но даже будет лучше, чем прежде. Нужно было послушать, чего только не говорили по этому поводу, особенно Филиппо. Думается мне, что он представлял себе армию союзников, как нескончаемую вереницу грузовиков, наполненных всяким добром, с сидящими в них солдатами, которым приказано раздавать нам, итальянцам, все это даром. И подумать только, что человек пожилой, торговец, считающий себя «умником», вдруг может предположить, будто союзники окажутся такими дураками и станут благодетельствовать нам, итальянцам, за то, что мы затеяли против них войну, убивали их сыновей и заставили их тратить на эту самую войну уйму денег.

Однако сколько-нибудь верных известий об этих благословенных союзниках у нас мало было или, точнее сказать, не было никаких. Иногда в Сант-Эуфемию поднимался из долины Томмазино, но ведь его, кроме черного рынка и денег, ничего не интересовало, поэтому от него нельзя было ничего добиться, кроме каких-то туманных фраз; порой приходил какой-нибудь крестьянин, но, как настоящая деревенщина, нес несусветную чепуху. Иногда с солдатскими ранцами за плечами поднимались к нам парни из Понтекорво продать соль или табак — две вещи, в которых мы больше всего нуждались. Табак был в листьях, сырой и горький, и беженцы его сами крошили и свертывали цигарки из газетной бумаги; а соль была самого плохого качества, такая идет в корм скоту. Парни эти также приносили всякие новости, большей частью самые невероятные; сперва человек им верил, но потом, раскинув хорошенько умом, понимал, что эти вести напоминают подмоченную для веса соль: новости их были столь обильно приправлены фантазией, что могли сойти за правду; и все же потом, при проверке, фантазия испарялась, как вода под лучами солнца, и человек видел, что правды-то в них ни капли не было. Рассказывали они о большом сражении, кто утверждал — к северу от Неаполя, кто — возле Казерты, кто — на дороге в Кассино, а кто — даже совсем близко, у Итри. Все ложь одна. На самом деле парней этих больше всего интересовало продать свою соль и табак, а новости они старались сообщать такие, какие, по их мнению, могли порадовать тех, кто спрашивал.

Единственным событием тех первых дней, напомнившим о войне, были какие-то взрывы, которые однажды утром донеслись к нам со сто-

роны моря, оттуда, где находилась Сперлонга. Взрывы эти слышали мы очень отчетливо, а потом одна женщина, пришедшая продать апельсины, рассказала нам, что немцы взрывают дамбы на низине и осушительные каналы, чтобы задержать наступление англичан, и что скоро все снова затопит вода, и тысячи людей, работавших всю жизнь, чтобы возделать свое крошечное поле, будут разорены — вода ведь уничтожает посевы, и нужны годы, чтобы снова осушить землю и сделать ее пригодной для посева. Взрывы раздавались один за другим, как треск хлопушек на деревенском празднике; вызывали они у меня странное чувство, потому что было в них что-то и праздничное, и вместе с тем я знала, что они несут нищету и горе всем, кто жил внизу, на осушенной равнине. День выдался чудесный, ясный, тихий, на небе ни облачка, и долина Фонди, цветущая, зеленеющая, простиралась до подернутой легкой дымкой полоски моря, настолько голубого и ласкового, что я не могла на него вдоволь наглядеться. И подумала я снова, слушая эти взрывы и любуясь открывающейся передо мной картиной, что люди живут своей жизнью, а природа своей, и когда природа бушует и посылает нам бурю, гром, молнии, дождь, мы сидим у себя в домах и бываем даже счастливы, и наоборот, когда природа улыбается и, кажется, сулит нам вечное блаженство, случается, что мы приходим в отчаяние и жаждем смерти.

Прошло еще несколько дней, а вести о войне были все такими же неопределенными. Люди, приходящие в Сант-Эуфемию из долины, по-прежнему твердили нам об огромной английской армии, двигавшейся по дороге в Рим. Но нужно сказать, что эта огромная армия, видно, двигалась черепашьим шагом, ведь если даже англичане шли пешком и каждую минуту располагались отдыхать, то и тогда они уже давно должны были появиться, а их и в помине не было. Просто я слышать больше не могла этих разговоров об англичанах да о том, какой рай земной будет, когда они придут. Я старалась найти себе какое-нибудь занятие, ну хотя бы вязание. Купила я у Париде немного шерсти и начала вязать на спицах себе фуфайку, смутно предчувствуя, что нам придется оставаться здесь еще кто его знает сколько времени, беспокоясь о том, что, когда наступят холода, у нас обеих не будет ничего теплого. Шерсть была жирная, темная и пахла хлевом. Была она с немногих овец, какими владело семейство Париде. Ежегодно их стригли, а потом, как в старину, пряли шерсть при помощи прялки и веретена и вязали чулки и фуфайки. Впрочем, там, в горах, все шло так, как в далекие времена, при царе Горохе. У семьи Париде было дома все необходимое не только для питания, но и для одежды — полотно, шерсть, кожа; и это было для них большим счастьем, потому, как я уже говорила, денег у них почти совершенно не было, и не делай они все своими руками, пожалуй им пришлось бы ходить голыми и босыми. Выращивали они лен, держали овец для шерсти, когда резали коров, пускали в ход их кожу на чочи и куртки. Шерсть и лен, как я сказала, они сначала пряли по старинке, а затем ткали на станке в нашей комнате — то Луиза, то сестра, то невестка Париде; впрочем, должна я заметить, что вся эта троица никуда не годилась; и хотя они и сидели вечно за прялкой, веретеном или ткацким станком, но толком ничего делать не умели. Ткань, изготовленная таким способом, кое-как потом окрашивалась в синий цвет при помощи каких-то скверных красок и, наконец, раскраивалась, чтобы шить из нее брюки и куртки (в жизни своей я не видывала хуже скроенных вещей, будто топором их вырубили), но не проходило и недели, как она рвалась на коленях или на локтях, и женщинам сразу же приходилось латать дыры. Поносив недели две свои обновки, все семейство Париде очень скоро появлялось уже в заплатах и дырах. Да, словом, они ничего не покупали и действительно делали все сами, но делали все плохо и удивительно нескладно.

Сын Филиппо, Микеле, с которым я поделилась этими своими наблюдениями, как всегда покачал головой и ответил мне серьезно:

— Скажи-ка, ну кто теперь работает вручную, когда есть машины? Только такие несчастные, как они, только крестьяне такой отсталой и нищей страны, как Италия.

Не надо думать, что в этих словах Микеле звучало презрение к крестьянам, — как раз напротив. Только он всегда выражал свои мысли в такой форме — ужасно резко, грубо и решительно и вместе с тем — это меня больше всего и удивляло — никогда не повышая голоса, спокойным тоном, словно говорил он об очевидных, бесспорных истинах, о которых уже давно не стоит спорить, и высказывал их так же просто, как другой бы утверждал, что солнце светит на небе или дождь падает на землю.

Любопытный тип был этот Микеле; подружилась я с ним и привязалась к нему, как к сыну родному, поэтому мне и хочется описать его, хотя бы для того, чтобы он в последний раз вновь предстал перед моими глазами. Был он невысокого роста, скорее даже маленький, но широкоплечий и с виду будто горбатый, с большой головой и очень высоким лбом. Носил он очки, держался гордо и высокомерно, с видом человека, который не даст себя никому в обиду и никого не боится. Был он очень ученым и, со слов отца, как раз в том году то ли должен был окончить университет, то ли уже окончил, сейчас не помню. Было ему лет двадцать пять, но благодаря очкам и солидности можно ему было дать все тридцать. Но самым удивительным был его характер, ни капельки не походил он на характер других беженцев и вообще всех тех, кого я до сих пор знавала. Как я уже говорила, свои мнения он выражал с необыкновенной уверенностью, как человек, глубоко убежденный в том, что только он один знает и говорит правду. Вот именно этой его убежденностью, по-моему, и объяснялось то любопытное обстоятельство, которое я уже отмечала: даже когда он говорил что-нибудь резкое и обидное, он никогда не выходил из себя; мало того, говорил он в этом случае таким спокойным, рассудительным голосом и к тому же как бы вскользь, не придавая своим словам значения, будто речь шла о чем-то хорошо известном и уже давным-давно решенном. Но на самом деле это было не так, по крайней мере для меня, так как слушая, что он говорил, например, о фашизме и о фашистах, я всякий раз испытывала такое чувство, будто он меня по голове стукнул. Подумать только! Целых двадцать лет, то есть с тех пор как я начала понимать что к чему, мне твердили о нашем правительстве всегда лишь одно хорошее, и хотя бывало, что я и не соглашалась с чем-нибудь, в особенности если дело касалось моей торговли (ведь политикой-то я никогда не интересовалась), в душе все же я считала, что коли газеты всегда одобряют правительство, значит у них есть на то серьезные причины и не нам, простым и невежественным людям, судить о том, чего мы не знаем и не понимаем. А теперь Микеле решительно все отрицал и про то, что газеты всегда называли белым, он говорил — черное; послушать Микеле, так в течение двадцати лет господства фашистов ничего хорошего в Италии не было, а все, что было сделано за эти годы — сплошная ошибка. В общем, по его мнению, Муссолини, все его министры и все большие шишки, и все, кто что-нибудь да значил, просто настоящие бандиты, вот так он их и называл — бандиты. Я просто совсем огорошена была, слушая эти его слова, произносимые с такой уверенностью, с таким невозмутимым видом. Я всегда только и слышала: Муссолини это, по меньшей мере, гений, а его министры — самое малое, великие деятели, ну а областные заправилы, скромно говоря, умные и порядочные люди; что касается всех остальных фашистов помельче, то это, без всякого преувеличения, надежные ребята, которым можно доверить-

ся с закрытыми глазами. И вдруг теперь все сразу вверх тормашками полетело, и Микеле называл их всех без исключения бандитами! Я все время думала: как это Микеле дошел до таких мыслей; не похоже было, чтобы он, как многие другие, стал размышлять так лишь с той поры, как дела на фронте пошли плохо для Италии. Я уже говорила, что Микеле будто прямо так и родился с этими мыслями, они пришли ему на ум сами, так же просто и естественно, как детям приходят в голову имена, которые они обычно дают растениям, животным, людям. В нем жило извечное, непоколебимое, закоренелое недоверие ко всем и ко всему на свете. Меня в нем это тем более удивляло, что было ему всего лишь двадцать пять лет и потому, можно сказать, никогда в жизни не видел он ничего, кроме фашизма; фашисты его вырастили и воспитали, и, если воспитание вообще что-нибудь да значит, он тоже должен был стать фашистом или, по крайней мере, одним из тех — а таких людей теперь немало,— кто хоть и критиковал фашизм, но лишь исподтишка и довольно неуверенно. Микеле же, наоборот, несмотря на все свое фашистское воспитание, просто люто ненавидел фашизм. Невольно мне приходила в голову мысль, что, видно, в его воспитании не все шло гладко, иначе он не говорил бы с таким гневом о фашизме.

Кто-нибудь может подумать, что у Микеле, раз он так говорил, были за плечами невесть какие переживания: знаете ведь, если с человеком случается какая-нибудь беда, — а это может произойти даже и при самом хорошем правительстве, — то он потом ко всему подходит с той же меркой, все видит в черном свете, все ему кажется плохим, все — ошибочным. Часто разговаривая с Микеле, я постепенно убедилась, что в жизни он мало что испытал, как и многие люди его возраста и положения. Вырос он в Фонди, где жила его семья, там же он учился в школе, вместе с другими мальчиками, его ровесниками, был сначала в «Балилле»*, а потом в «Авангарде»*. Затем он поступил в римский университет и несколько лет учился в Риме, живя у своего дяди-судьи. Вот и все. За границей он никогда не бывал, а в Италии, кроме Фонди и Рима, он вряд ли знал другие города. В общем, с ним ни разу в жизни не случалось ничего необыкновенного, а если и случалось, то лишь в мыслях, а не в действительности. К примеру сказать, по-моему, в отношениях с женщинами был он совершенно не искушен, а ведь многим любовный опыт, за отсутствием другого, открывает глаза на жизнь. Много раз он мне сам говорил, что никогда не был влюблен, никогда не имел невесты, никогда не ухаживал за женщиной. Самое большее, насколько я могла понять, он имел несколько раз дело с потаскухами, как это случается со всеми молодыми людьми, у которых, как у него, нет ни денег ни знакомства. Пришла я в конце концов к выводу, что свои столь крайние взгляды выработал он, почти не отдавая себе в них отчета, может только из духа противоречия. В течение двадцати лет фашисты надсаживали глотку, крича, что Муссолини — гений, а его министры — великие люди; а он, едва начав мыслить, так же естественно, как растение, что пускает побеги в сторону солнца, стал думать обратное тому, что твердили фашисты. Знаю я, что много в этом загадочного, и не мне, необразованной, темной женщине, понять и судить такое, но я часто замечала, как дети поступают вопреки тому, что им велят делать или что делают их родители; и не от сознания, что родители их поступают плохо, а просто по единственной и вполне достаточной причине, что они — дети, а родители — это родители, и дети хотят тоже жить своей жизнью и строить ее на свой лад, как и родители их прожили свою по-своему. Так, я думаю, было и с Микеле. Фашисты его вырастили, чтобы стал он фашистом, но именно по-

* Так назывались фашистские детская и юношеская организации.

тому, что он живой человек и хотел жить по-своему, Микеле и сделался антифашистом.

В первое время нашей жизни в Сант-Эуфемии он взял привычку проводить с нами почти целый день. Не знаю я, что его к нам тянуло, потому были мы обе женщины простые и, в сущности, мало чем отличались от его матери и сестры; к тому же, как я дальше расскажу об этом, не было у него к Розетте особенного влечения. Может, он предпочитал нас своей семье и другим беженцам потому, что были мы из Рима, не говорили на местном диалекте и не сплетничали насчет всяких дел в Фонди, которые, как он неоднократно заявлял, не только не интересовали его, но даже раздражали. Короче говоря, приходил он с раннего утра, когда мы только вставали, и уходил лишь в часы обеда и ужина — словом, проводил с нами весь день. Мне кажется, что и теперь я вижу его как живого, вот заглядывает он к нам в комнатку, где мы сидим без всякого дела — я на постели, а Розетта на стуле,— и спрашивает веселым голосом: «А что вы скажете насчет небольшой прогулки?» Мы тут же соглашались, хотя прогулки эти были всегда одни и те же: либо мы шли по «мачере», огибая гору, и, идя вдоль склона, могли добраться до другой соседней долины, совсем такой же, как долина Сант-Эуфемии; либо мы поднимались до перевала по каменистым кручам, пробираясь сквозь заросли молодого дубняка; либо же спускались по одной из крутых тропинок, ведущих вниз, в долину. Почти всегда, чтобы не слишком уставать, выбирали мы дорогу вдоль склона и, прохаживаясь по «мачере», доходили до отрогов горы слева от Сант-Эуфемии — ее остроконечная вершина поднималась высоко над долиной. Большое рожковое дерево росло там, густые зеленые заросли были наполнены солнечным светом, а землю покрывал мягкий мох, служивший нам подушкой. Мы усаживались почти на самой вершине одного из крутых отрогов, неподалеку от голубоватой скалы, оттуда открывался вид на Фонди, лежащее внизу. Часами сидели мы там. Что мы делали? Теперь, когда я все вспоминаю, просто даже сказать не могу. Иногда Розетта с Микеле бродили по зарослям, собирая цикламены, много их там в это время года, крупных, красивых, и ярко-розовый венчик их так и горел среди темных листьев. Росли они повсюду, где только был мох. Розетта набирала большой букет и приносила его мне, а я ставила его в банку на столе в нашей комнате, когда мы возвращались домой. А иногда мы просто сидели и ничего не делали: смотрели на небо, на море, на долину, на горы. Сказать по правде, не запомнились мне эти прогулки потому, что ничего примечательного не случалось в это время, не считая разговоров Микеле. Вот слова его я помню хорошо, так же как и его самого. Слова эти были новыми для меня, как и он сам, в жизни никогда я еще не встречала такого диковинного человека.

Обе мы были женщины необразованные, а он прочел много книг и уйму знал. Однако жизнь мне была известна лучше, чем ему; и теперь я думаю, что, несмотря на все прочитанные им книги и все свои знания, был он, в сущности, желторотым птенцом, который жизни совершенно не знал и о многом судил неверно. Помню я, к примеру сказать, один разговор в первые дни:

— Ты (он нас обеих называл на «ты» и мы его тоже), ты, Чезира, конечно, лавочница и ни о чем другом не думаешь, кроме своей лавки, но торговля тебя не испортила, к твоему счастью, осталась ты такой, какой была в детстве.

Я спросила:

— Какой же?

А он:

— Простой крестьянкой.

Я сказала:

— Ну и плохой же комплимент ты мне сделал... Крестьяне ничего знать не хотят, кроме своей земли, невежды они, живут по-свински...

Микеле рассмеялся и ответил:

— Да, пожалуй, прежде это был бы плохой комплимент... а теперь это комплимент настоящий... теперь те, кто умеет читать и писать, живут в городе и считаются барами — вот они-то в действительности люди невежественные, некультурные, нецивилизованные... с ними ничего не поделаешь... с вами же, крестьянами, можно начать с самого начала.

Хорошенько не поняла я, что он хотел сказать, и спросила:

— Но что значит начать с начала?

А он:

— Ну, сделать крестьян новыми людьми.

Я воскликнула:

— Видно, голубчик, плохо ты крестьян знаешь... с крестьянами ничего не поделаешь... Знаешь ли ты, кто такие крестьяне? Самые старые из всех людей на земле. Нечего сказать, новые люди! Спокон веков они были крестьянами, еще до того как люди стали селиться в городах. Крестьяне, они всегда ими и останутся.

Он снисходительно покачал головой и ничего не ответил. Создалось у меня тогда впечатление, что крестьян представляет он себе такими, какими они никогда не были и не будут; пожалуй, скорее такими, какими ему хотелось их видеть, а не такими, какими они были на самом деле.

Микеле хорошо говорил только о крестьянах да о рабочих, а по-моему, он не знал ни тех, ни других. Однажды я ему сказала:

— Ты вот, Микеле, говоришь о рабочих, а сам их не знаешь.

Он спросил меня:

— А разве ты их знаешь?

Я ответила:

— Понятно, знаю, они часто приходят ко мне в лавку... Они неподалеку живут.

— Какие же это рабочие?

— Ну, разные там ремесленники — водопроводчики, каменщики, электромонтеры, столяры, все они — рабочий народ, каждый трудится, как может.

— И что ж, по-твоему, это рабочие? — спросил он с насмешливым видом, будто приготовившись услышать в ответ какую-нибудь глупость.

Я ответила:

— Эх, милый ты мой, не знаю я, кто они... для меня этих различий не существует... они люди как люди... среди них есть и хорошие и плохие... Одни бездельники, другие работяги... одни любят своих жен, другие же бегают за потаскухами... одни пьют, другие в карты играют... В общем, есть всякие, как и везде, как и среди господ, как и среди крестьян и среди служащих, как среди всех людей вообще.

Тогда он сказал:

— Может, ты и права... ты в них видишь таких же людей, как и все остальные, и ты права... если бы все на них смотрели, как ты, то есть, как на таких же людей, как все другие, и в соответствии с этим и обращались бы с ними, то, вероятно, не случилось бы кое-чего и мы не очутились бы тут в горах, в Сант-Эуфемии.

Я спросила:

— Ну а как на них смотрят другие?

А он:

— Они видят в них не таких же людей, как все остальные, а только рабочих.

— А ты как на них смотришь?

— Тоже только как на рабочих.

— Значит, — сказала я, — и твоя вина в том, что мы очутились здесь... Я ведь только твои слова повторяю, хотя тебя и не совсем понимаю: в твоих глазах они только рабочие, а не такие люди, как все мы.

А он:

— Разумеется, я также подхожу к ним, как к рабочим... но нужно понять, почему некоторым удобно их рассматривать только как рабочих, а не как людей, чтобы сильнее их эксплуатировать... мне же это удобно, чтобы взять их под свою защиту.

— В общем,— сказала я вдруг,— ты, значит, бунтовщик.

Замолчал он растерянно и потом спросил:

— Это при чем тут?

Я сказала:

— Слышала я, как про это говорил один карабинер — заходил он ко мне раз в лавку; все эти бунтовщики, утверждал он, ведут агитацию среди рабочих.

Помолчал он минутку, а потом говорит:

— Ну так, допустим, что я бунтовщик.

Я от него не отставала:

— А разве ты когда-нибудь вел агитацию среди рабочих?

Пожал он плечами и наконец нехотя признался, что агитации никогда не вел.

Тогда я сказала:

— Вот видишь, ты не знаешь рабочих.

На этот раз он ничего не ответил.

Однако, хотя разговоры Микеле были трудны для нашего понимания, все же Розетта и я всегда предпочитали его компанию обществу других мужчин. Словом, был он самым разумным из всех, и пожалуй, один он не думал о деньгах и наживе, и поэтому с ним было не так скучно, как с другими. Правда, деньги и нажива — дело важное, но когда слышишь разговоры об этом с утра до ночи, то в конце концов начинают они действовать угнетающе. Филиппо и другие беженцы только и знали, что говорить о наживе, то есть о купле и продаже, и по какой цене, и с какой прибылью, и как дела шли до войны, и как пойдут они после. Если не говорили о наживе, то играли в карты. Собирались они в комнатке у Филиппо: бывало, усядутся на полу, поджав под себя ноги и прислонившись спиной к мешкам с мукой и фасолью, в шляпах и с сигарами во рту, да часами режутся в карты и так при этом орут и вопят, что казалось, их режут. А вокруг четырех игроков всегда стоят, по крайней мере, еще четверо зевак, как это бывает в деревенских остериях. Всю жизнь я терпеть не могла карт и не понимала, как это можно целые дни проводить за игрой, зажав в руке такие грязные, замусоленные карты, что на них и фигур не разобрать. Но хуже всего было, когда вместо разговоров о наживе или игры в карты компания Филиппо начинала болтать о всякой всячине, одним словом молоть всякий вздор. Человек я необразованный и толк знаю в одной лишь торговле да в земле, но и то все время я чувствовала, что эти здоровенные, бородатые пожилые мужчины, когда разговор выходил из круга их обычных интересов, несли околесицу. Ощущала это я тем острее, что могла их сравнивать с Микеле — ведь он не был таким, как они, и хоть мыслей его я частенько не понимала, все равно чувствовала, что мысли эти правильные. Люди эти, повторяю, рассуждали, как идиоты или, я сказала бы даже, как животные, умей животные рассуждать; а когда эти люди глупостей и не говорили, то произносили слова оскорбительные, грубые и жестокие. Вспоминаю я, к примеру, некоего Антонио, булочника. Был это маленький, черный-пречерный человечек; один глаз у него ничего не видел и

казался меньше другого — еле-еле его прикрывало короткое веко, которое все время дергалось, будто песчинка ему попала в глаз. Однажды, не помню когда, четверо или пятеро беженцев, и Антонио в их числе, сидя на камнях «мачеры», разговорились о войне, о том, что бывает и что случается на войне, и мы с Розеттой остановились их послушать. Этот Антонио, когда ему было лет двадцать, воевал в Ливии и любил об этом вспоминать, ведь это было самым значительным событием в его жизни, и к тому же он потерял на войне глаз. И вот мы с Розеттой вдруг услышали, как он, уже не помню к чему, говорил:

— Троих наших они убили... мало сказать убили... глаза им выкололи, языки отрезали, ноги вырвали... тогда мы решили проучить их... отправились рано утром в одну из их деревень да сожгли все хижины и поубивали всех мужчин, женщин и детей... маленьким девчонкам, сукиным этим дочкам, штыки между ног втыкали и бросали потом в общую кучу... Разом отбили у них охоту зверства всякие учинять...

Тут кто-то слегка кашлянул, чтобы обратить внимание Антонио на наше присутствие — верно, он нас не заметил, стояли мы за деревом. Антонио, будто извиняясь, сказал:

— Ну, на войне всякое бывает.

Я услыхала эти слова уж когда поспешила вслед за Розеттой, которая повернулась и быстро пошла прочь. Шла она, опустив голову, потом, наконец, остановилась, и увидела я, что она бледная-бледная, а глаза полны слез. Спросила я ее, что с ней, и она ответила:

— Ты слышала, что говорил Антонио?

А я лучшего ничего не нашла, как бухнуть его же слова:

— Ничего не поделаешь, доченька, на войне всякое бывает.

Она помолчала минутку, а потом сказала, будто разговаривая сама с собой:

— Знаешь что, лучше быть среди тех, кого убивают, чем среди тех, кто убивает.

С того дня мы еще больше отдалились от других беженцев, так как Розетта ни за что не хотела разговаривать с Антонио и даже видеть его.

Однако и с Микеле Розетта не всегда была согласна: вот по вопросу о религии взгляды их очень расходились. Микеле не выносил два вида людей: как я уже говорила, фашистов и потом священников, и трудно сказать, кого из них он больше ненавидел — первых или вторых. Нередко он в шутку говорил, что фашисты и попы — это одного поля ягоды; разница меж ними лишь в том, что фашисты укоротили черную рясу, превратив ее в черную рубашку, тогда как попы носят рясу длинную, до самого пола. Мне от его яростных нападок на религию, вернее сказать на попов, было ни жарко ни холодно; всегда я считала, что в этих вопросах каждый волен поступать по-своему; сама я верующая, но не настолько, чтобы пытаться навязывать свою веру другим. И к тому же я отлично понимала, что в словах Микеле, несмотря на всю их резкость, злобы не было, мне иногда даже в голову приходило, что он так ругал духовенство не потому, что ненавидел именно служителей церкви, а, может, потому, что огорчался: не такие они, какими должны быть, и не всегда ведут себя, как им подобает. В общем, кто знает, быть может, Микеле и был по-своему верующим человеком, но, видно, разочаровался он в религии; часто именно такие люди, как Микеле, которые могут быть настоящими верующими, разочаровавшись в религии, особенно яростно ополчаются на священников. Розетта же была в этом отношении совсем другим человеком, чем я: она глубоко верила и требовала того же от других; не могла она допустить, чтобы при ней поносили религию, даже как это было с Микеле, когда он говорил искренне и, в сущности, без

злобы. Так, с самого начала при первых же его нападках на священников она сразу же ясно и твердо ему заявила:

— Если хочешь видеться с нами, ты должен прекратить эти разговоры.

Ожидала я, что он станет спорить или рассердится, как иногда случалось, когда ему возражали. Однако, к моему удивлению, он не спорил, ничего не сказал, помолчал немного и заметил:

— Несколько лет назад я тоже был такой, как ты... Я даже серьезно задумывался, не стать ли мне священником... потом у меня это прошло.

Совсем огорошил он меня этим неожиданным признанием: в жизни мне не пришло бы в голову, что он мог иметь такое намерение. Я спросила:

— Неужели ты всерьез хотел сделаться священником?

Он сказал:

— Честное слово... не веришь, можешь спросить у моего отца.

— А почему же ты раздумал?

— Я тогда мальчишкой был, а потом понял, что у меня нет к этому призвания. Или, вернее, — добавил он с усмешкой, — понял, что призвание-то у меня было, и именно поэтому мне и не следовало идти в священники.

На этот раз Розетта ничего не сказала, и разговор на том и кончился.

Меж тем события назревали, правда медленно и не в нашу пользу. После множества противоречивых слухов пришло наконец вполне определенное известие: на равнине Фонди расположилась лагерем немецкая дивизия, линия же фронта остановилась на реке Гарильяно. Означало это, что англичане перестали продвигаться, а немцы, в свою очередь, собираются провести зиму с нами. Люди, поднимавшиеся к нам из долины, рассказывали, что там полным-полно немцев, больше всего в апельсиновых рощах, они укрываются вместе со своими танками и палатками, которые сплошь разрисованы зелеными, синими и желтыми пятнами, камуфляжем это называется по-ихнему. Но все это были лишь слухи, никто еще в глаза немцев не видел, я имею в виду тех, кто был с нами в горах, потому пока ни один немец не добирался еще до Сант-Эуфемии. Впрочем, потом произошло одно событие, которое вплотную нас столкнуло с немцами и показало, что это за люди. Рассказываю я о нем, пожалуй, потому, что именно с той поры все изменилось: впервые тогда пришла к нам в горы война и больше уже не уходила.

Итак, среди беженцев, партнеров Филиппо по картам, был один портной, звали его Северино, моложе их всех, маленького роста, худощавый, с желтым лицом и черными усиками. Один глаз у него был всегда прищурен, будто подмигивал, это у него сделалось вот отчего: когда, согнувшись на табурете, шил он в своей мастерской, то всегда один глаз щурил, а другой нет. Северино бежал из Фонди, как и все другие, при первых бомбежках и жил в домике неподалеку от нас с дочкой и женой, такой же маленькой и скромной, как и он. Северино волновался больше всех в Сант-Эуфемии, потому во время войны он вложил все свои деньги в партию английских и итальянских тканей и спрятал их в надежном месте, однако потом оно оказалось вовсе не таким уж надежным, и он целыми днями беспокоился за судьбу своего скромного достояния. Впрочем, Северино быстро переходил от тревоги к надежде, как только переставал думать о настоящем — немцах и фашистах, войне и бомбежках — и принимался мечтать о будущем. Если находился охотник его выслушать, Северино излагал свой план, который, по его словам, даст ему, как только кончится война, полную возможность разбогатеть. План этот в том состоял, что Северино воспользуется для своих целей моментом — может он продлиться полгода, может год — между окончанием войны и возвратом

к нормальной жизни. В эти полгода или год будет нехватка в товарах, транспорт будет нарушен, Италия еще оккупирована, и торговать будет очень трудно, чтобы не сказать невозможно. Вот тогда, в эти полгода или год, Северино и погрузит свой товар на грузовик, помчится в Рим и там разбогатеет, продавая в розницу все, что купил оптом, сбывая отрез за отрезом по баснословным ценам из-за отсутствия в продаже товаров. План этот был правильный, как мы потом увидим, и он показывал, что Северино, быть может, один из всех тех беженцев, что жили с нами в горах, хорошо понимал, что цены будут подниматься: товаров ведь становилось все меньше, а немцы, союзники и сами итальянцы печатали все больше ничего не стоящих денег. Повторяю, план этот был правильный, но, к сожалению, такие хорошие планы часто осуждены на провал, особенно во время войны.

Одним словом, однажды утром, запыхавшись, прибежал с равнины паренек, работавший учеником у Северино. Уже снизу, не добежав еще до «мачеры», он стал кричать портному, в волнении поджидавшему его на краю стены, подпиравшей «мачеру»:

— Северино, у тебя все украли... нашли тайник и забрали твои ткани!

Стояла я неподалеку от Северино и видела, как при этом известии он буквально пошатнулся, будто его кто-то сзади по голове хватил палкой. Паренек тем временем уже поднялся на «мачеру»; Северино схватил его за грудь и, задыхаясь, тараща глаза, бормотал:

— Нет, быть не может... Что ты городишь? Мои ткани? Материю? Украли? Невозможно это... Кто же мог украсть?

— А я почем знаю, — отвечал парень.

Сбежались все беженцы и окружили Северино, а он, как сумасшедший, метался из стороны в сторону, дико вращал глазами, бил себя по лбу, рвал на себе волосы. Филиппо было попытался его успокоить, говоря:

— Да полно тебе, не расстраивайся... может, это только болтают...

— Какое там болтают,— сказал простодушно паренек,— я сам своими глазами видел дыру в стене и пустой тайник.

При этих его словах Северино с отчаянием потряс кулаком в воздухе, будто угрожая самому небу, а затем стремглав бросился вниз по тропинке и скрылся из виду. Всех нас ужасно огорчил этот случай: значит, война все продолжается, даже становится еще более ожесточенной, и у людей совести больше нет, если теперь грабят, то скоро и убивать начнут. Филиппо горячее всех обсуждал это событие, ругая Северино за то, что тот не был достаточно осмотрителен, и кто-то из беженцев ему заметил:

— Ты небось тоже замуровал свое добро в доме у свояка, смотри, чтобы и с тобой чего не случилось.

Тут вспомнила я разговоры, что вели Кончетта и Винченцо, и подумала, что беженец-то прав: ведь у них в доме стенку каждую минуту тоже могли бы разобрать. Но Филиппо решительно покачал головой и с уверенностью сказал:

— Мы с ними кумовья и поклялись святому Джованни... я крестил их сына, а они крестили мою дочь... разве ты не знаешь, что святой Джованни не допустит обмана?

Подумала я тогда при этих словах Филиппо, что хоть он и считает себя великим умником, но у каждого из нас есть свои слабые стороны и каждый может оказаться в дураках: к примеру, мне казалось, что уповать на святого Джованни, имея дело с Кончеттой и Винченцо, было ужасной глупостью, может и довольно невинной, но все же глупостью. Ничего я не сказала, чтобы подозрений в нем не вызывать. Тем более, что один уж получил хороший урок, а его ничему это, видно, не научило.

К вечеру Северино возвратился из долины, с головы до ног покрытый пылью, грустный и подавленный. Рассказал он, что ходил в город и видел проломленную стену и опустошенный тайник; ограбили его дочиста, и теперь он нищий. Сказал он также, что сделать это могли одинаково как немцы, так и итальянцы, но думает он, что скорее всего итальянцы, причем, насколько он мог понять, расспрашивая немногих оставшихся в городе жителей, местные фашисты. Рассказал он все это и умолк, неподвижно сидя, скорчившись, на стуле у порога дома Филиппо, еще более пожелтевший и почерневший, чем обычно; обхватив руками спинку стула, он смотрел одним глазом в сторону Фонди, где у него все украли, а другим глазом, как всегда, будто подмигивал. И, пожалуй, тяжелее всего было видеть именно это: обычно люди подмигивают, когда им весело, а он подмигивал, хотя готов был наложить руки на себя от отчаяния. Время от времени он качал головой и тихим голосом говорил:

— Мои ткани... все пропало... дочиста ограбили, — а потом проводил рукой по лбу, словно никак не мог осознать того, что случилось. Наконец он произнес: — Состарился я за один день, — и поплелся к своему домику, не пожелав остаться ужинать у Филиппо, который пытался всячески утешить его и успокоить.

На следующий день видно было, что он только и думает о своих товарах и все ищет способ вернуть их. Уверен он был, что украл их кто-нибудь из местных жителей; и почти не сомневался, что это дело рук фашистов или, вернее, тех, кого теперь называли фашистами, а раньше, до падения фашизма, знали их в долине как бродяг и босяков. Не успели вернуться фашисты, как эти жулики вступили в фашистскую милицию, чтобы грабить и жить за счет местных жителей, которые благодаря войне и бегству всех властей оказались целиком у них в руках.

Теперь Северино вбил себе в голову, что он должен разыскать свои ткани, и, можно сказать, ежедневно отправлялся в долину и возвращался вечером усталый, запыленный и с пустыми руками, но полный, как никогда, решимости. Решимость эта сказывалась также и в его поведении: молчаливым он стал, глаза у него горели, как у безумного, а на лице мускул так ходуном и ходил под кожей, обтягивавшей ввалившиеся щеки. Если кто-нибудь его спрашивал, зачем он каждый день бывает в Фонди, Северино в ответ говорил только: «Хожу на охоту», подразумевая, что он охотится за своими тканями и за теми, кто их украл. Постепенно из разговоров Северино с Филиппо удалось мне понять, что фашисты, которые, по его мнению, украли ткани, имеют свою штаб-квартиру в одной усадьбе, расположенной в местности под названием «Уомо морто»*. Было их человек двенадцать, и перевезли они в усадьбу большое количество продуктов, отнятых силой у крестьян. Обжирались они там, пьянствовали и, вообще, жили в свое удовольствие, а обслуживали их во всех отношениях несколько потаскушек, которые раньше были прислугами и фабричными работницами. По ночам эти фашисты покидали свое логово и уезжали в город, где обходили дом за домом, брошенные беженцами, и тащили все, что под руку попадалось, простукивая прикладами ружей пол и стены и разыскивая тайники. Вооружены они были все автоматами, ручными гранатами и кинжалами и чувствовали себя вполне уверенно, потому что во всей долине, как я уже говорила, не было ни карабинеров — одни давно бежали, других арестовали немцы,— ни полиции, вообще никаких властей. Правда, остался один агент муниципальной полиции. Но бедняга этот был обременен большой семьей и бродил от деревни к деревне, совсем оборванный и голодный, выпрашивая у крестьян юриста ради кусок хлеба или яйцо. В общем, закона не стало.

* Мертвец *(итал.)*.

Единственными блюстителями закона были немецкие жандармы, отличавшиеся от других солдат немецкой армии тем, что они носили на шее нечто вроде нагрудной цепи; но то ведь был их закон, а не наш, итальянский, и его, по крайней мере в отношении нас, вообще вряд ли можно было назвать законом: создан, казалось, он был специально для того, чтобы дать возможность немецким жандармам устраивать облавы, грабить и совершать всевозможные насилия. Дать вам представление о том, что творилось в те времена, вполне может хотя бы такой случай: один крестьянин из деревни по соседству с Сант-Эуфемией в одно прекрасное утро, не знаю уж по какой причине, взял да пырнул ножом восемнадцатилетнего паренька, своего племянника, и оставил его умирать истекающего кровью посреди виноградника. В десять часов утра случилось это. А в пять часов дня убийца пошел к торговавшему из-под полы мяснику купить полкило мяса. О преступлении стало уже известно, люди знали, но никто не решился даже пикнуть: ведь было это его личное дело, да к тому же все его побаивались. Только одна женщина ему сказала:

— Сердце-то есть у тебя? Ты убил своего племянника, а теперь преспокойно идешь покупать мясо...

А он ответил:

— Значит, такая его судьба... никто меня не арестует, потому что теперь и законов-то нет больше, и каждый поступает так, как считает нужным.

Человек этот был прав: никто его не арестовал, он закопал своего племянника под фиговым деревом и продолжал жить припеваючи.

Итак, Северино вбил себе в голову, что суд и расправу чинит он сам, раз все равно теперь этого требовать не от кого. Уж не знаю, чего ему удалось добиться во время этих его походов в Фонди, но вот однажды утром, еле переводя дух от крутого подъема, вдруг прибегает один паренек с криком, что к нам идут немцы, а вместе с ними Северино, немцы, мол, на его стороне, он с ними столковался, и они обещали ему помочь вернуть его ткани. Все беженцы, и мы с Розеттой в том числе, выскочили из домов. Столпилось нас на «мачере» человек двадцать, и мы, не отрывая глаз, смотрели на тропинку, на которой вот-вот должен был показаться Северино с немцами. Все в один голос говорили, что Северино умно поступил и совершенно прав, ведь власть-то теперь действительно в руках у немцев, а немцы — не бродяги и преступники, как фашисты, они не только помогут ему вернуть товар, но и накажут фашистов. Больше всех нахваливал немцев Филиппо:

— Немцы — люди обстоятельные, они все делают по-серьезному — и когда воюют, и когда не воюют, и когда торгуют... Хорошо Северино сделал, что к ним обратился... Немцы не итальянцы, они не анархисты и не враги дисциплины... чего-чего, но дисциплины у них хоть отбавляй, а воровство во время войны — это как раз и есть нарушение дисциплины. Вот я и уверен, что они помогут Северино получить назад его ткани и проучить этих бандитов-фашистов... Молодец Северино, он смотрел прямо в корень вещей: у кого нынче в Италии власть в руках? У немцев. Значит и надо обращаться к немцам.

Филиппо рассуждал громким голосом, с самодовольным и важным видом поглаживая усы. Ясно было, что он думал при этом о своем добре, спрятанном в доме кума; ему хотелось, чтобы Северино получил назад свои ткани, а воры были бы наказаны, потому что и у него самого тоже было кое-что припрятано и он боялся, что его обкрадут.

Мы же всё смотрели в сторону тропинки, и вот, наконец, на ней показался Северино, но вместо целого вооруженного отряда, который мы ожидали увидеть, мы узрели одного-единственного немца, к тому же про-

стого солдата, а не жандарма. Когда они поднялись на «мачеру», Северино с гордым и довольным видом представил нам немца, которого звали Ганс, что по-нашему значит Джованни. Все окружили его и протянули руки, но Ганс никому не пожал руки и ограничился тем, что приветствовал нас по-военному, щелкнув каблуками и отдав честь, будто желал подчеркнуть этим разницу между ним и беженцами. Ганс этот был маленький блондинчик, с широкими, словно у женщины, боками, с бледным и немного одутловатым лицом. На щеке у него было два или три длинных шрама, и когда кто-то его спросил, где он их заработал, он быстро произнес одно только слово: «Сталинград». Из-за этого ранения лицо его, пухлое, в каких-то вмятинах, словно сплющенное, походило на те яблоки или персики, которые, упав на землю, сплющиваются, сморщиваются, и когда ты их разрезаешь, оказывается, что в середине они наполовину уже сгнили. Глаза у него были голубые, но некрасивые — какие-то линялые, невыразительные, слишком светлые, будто стеклянные. Меж тем Северино с гордым видом объяснял окружающим, что он подружился с этим Гансом потому, что Ганс, вот ведь совпадение, до войны был у себя в городке тоже портным. И вот, как портной с портным, они сразу же нашли общий язык, и он рассказал Гансу о краже, и Ганс обещал ему помочь получить обратно его материю, так как он ведь сам портной и лучше всякого другого может понять горе Северино. В общем, оказалось, немец пришел только один, да и тот не из военной полиции; к тому же разговор с ним был не официальный, а частный, как между людьми одной профессии, оба ведь были портными. Однако немец был в форме, с автоматом на ремне, и держался он, как настоящий немецкий солдат, поэтому все наперебой старались умаслить его. Кто допытывался, скоро ли кончится война, кто расспрашивал о России, где он воевал, кто хотел знать, правда ли, что англичане затеяли большую битву, кто справлялся, дадут ли, наоборот, немцы сражение англичанам. По мере того как окружающие засыпали Ганса вопросами, он все больше надувался от важности — совсем как сморщенный воздушный шар, когда начинаешь его надувать. Сказал он нам, что война продлится недолго, потому что у немцев есть секретное оружие; добавил, что русские дерутся хорошо, но немцы лучше; и что немцы скоро дадут англичанам сражение и сбросят их назад в море. В общем, он внушал к себе уважение, и в конце концов Филиппо пригласил его вместе с Северино к себе завтракать.

Пошла я тоже к Филиппо; хоть я уже завтракала, но из любопытства хотелось мне посмотреть на этого немца, первого, который забрался к нам в горы. Пришла я туда, когда они уже принялись за фрукты. Семейство Филиппо было все в сборе, кроме Микеле — он ненавидел немцев и незадолго до того ушел, а когда Ганс с важным видом распространялся о решительной победе, которую немцы вскоре непременно одержат над англичанами, он бросал на него такие мрачные и угрожающие взгляды, что казалось, вот-вот набросится на него с кулаками. Теперь, может под влиянием выпитого вина, немец держался развязно и разоткровенничался. Он то и дело хлопал Северино по плечу, повторяя, что они оба портные и друзья до самой смерти и что он обязательно поможет Северино вернуть материю. Потом вытащил он из кармана бумажник, а из бумажника фотографию, на ней была изображена женщина в два раза выше и толще его, с добродушным лицом, и сообщил, что это его жена. Потом вновь заговорили о войне, и Ганс опять принялся твердить:

— Мы начинаем наступление и сбрасываем в море англичан.

Здесь Филиппо, всячески старавшийся задобрить и умаслить немца, чуточку переборщил:

— Ну разумеется, как же иначе, мы сбросим их в море, этих убийц.

Но тут немец возразил:

— Нет, они вовсе не убийцы, они хорошие зольдаты.

А Филиппо живо подхватил:

— Ну конечно, они хорошие солдаты, всем это известно...

Тогда немец:

— Ах, значит, тебе нравятся английские зольдаты... ты предатель.

Филиппо ему с испугом:

— Да кому они нравятся?.. Я же сказал, что они убийцы.

Но немцу не так легко было угодить.

— Нет, они не убийцы, они хорошие зольдаты... а предателю, как ты, который восхищается англичанами, капут,— и он сделал рукой жест, будто горло перерезал. Короче говоря, что бы ему ни говорили, все ему не нравилось, всем он был недоволен, и мы все перепугались, потому что видели — немец начинает злиться.

В конце концов он вдруг спросил Северино:

— Ты почему не на фронте? Мы, немцы, сражаемся, а вы, итальянцы, сидите здесь... ты должен идти на фронт.

Северино тоже испугался и ответил:

— Меня признали негодным... я слабогрудый,— и он показал себе на грудь.

Это была правда — был он очень болен, говорили даже, что у него осталось одно легкое. Однако немец, обозлившись, схватил его за руку и сказал:

— Тогда ты иди сейчас же со мной на фронт.

С этими словами он приподнялся, будто и впрямь собирался встать и тащить его за собой. Северино побледнел, пытался выжать улыбку, но это ему никак не удавалось. От неожиданности все словно окаменели и не знали, что делать, а у меня от страха душа в пятки ушла. Немец тянул Северино за рукав, а он упирался, цепляясь за Филиппо, и тот тоже, видно было, струхнул. Потом немец неожиданно рассмеялся и сказал:

— Друзья... друзья... ты портной, я портной... ты получишь обратно ткани и станешь богатый... а мне идти на фронт, сражаться и умереть.

И, не переставая смеяться, вновь стал хлопать Северино по плечу. На меня вся эта сцена произвела странное впечатление: будто передо мной был не человек, а хищный зверь, который то урчит от удовольствия, то оскаливается, и не знаешь, что он сделает через минуту и как с ним обращаться. Казалось мне, что Северино обманывается, как те, кто говорит: «Это животное меня знает, оно никогда меня не укусит». И будущее показало, что я не ошибалась.

После этой сцены немец вновь стал любезен, выпил еще много вина и опять, уж не знаю сколько раз, стал похлопывать по плечу Северино, так что тот оправился от испуга и, выбрав минутку, когда немец чем-то отвлекся, успел шепнуть Филиппо:

— Сегодня же мои ткани будут вновь у меня... вот увидишь.

В самом деле, немец вскоре поднялся из-за стола и стал надевать ремень, который снял, когда садился за стол, шутя при этом и показывая нам, что ему теперь приходится застегивать ремень на следующую дырочку, так мы сытно накормили его. Затем он сказал Северино:

— Мы спустимся вниз, а потом ты возвратишься сюда с твоими тканями.

Северино встал. Немец, щелкнув каблуками, попрощался с нами по-военному и, важно выпятив грудь, вышел из домика, и они с Северино стали спускаться вниз по тропинке, которая, петляя по «мачерам», вела в долину. Филиппо вышел вместе с другими проводить их, посмотрел он им вслед и сказал, выражая общее чувство:

— Северино верит этому немцу... я бы, однако, на его месте так бы ему не доверял.

Весь вечер и часть ночи прождали мы Северино, но он не вернулся. На следующий день мы пошли в домик, где жила его семья; жена Северино, сидя в темноте с ребенком на руках, плакала горькими слезами. С ней была старуха крестьянка, которая пряла шерсть на прялке и время от времени, дергая нитку, повторяла одно и то же:

— Не плачь, дочка... Северино скоро придет, и все будет в порядке.

Но жена Северино только качала головой и твердила:

— Знаю, не вернется он... Не прошло и часа после его ухода, как я это почувствовала.

Мы всячески пытались утешить ее, но она не переставала плакать и все время твердила, что во всем виновата она, потому Северино делал все это для нее и девочки, чтобы им хорошо жилось и они разбогатели, а она не остановила его и не помешала ему купить эти проклятые ткани. К сожалению, нечего нам было сказать ей, так как Северино не вернулся — ведь это был факт, а перед лицом фактов все добрые слова на свете ничего не стоят. Пробыли мы у нее весь день, успокаивая ее то так, то эдак, высказывая всевозможные предположения о том, куда исчез Северино; но она продолжала плакать и повторять, что он никогда больше не вернется. На следующий день — то есть на вторые сутки после исчезновения Северино — мы вновь пошли к ней, но ни девочки, ни ее не было дома: оказывается, на рассвете она посадила ребенка на плечи и спустилась в долину разузнать, что случилось с ее мужем.

Несколько дней мы ничего не знали ни о Северино, ни о его жене. Наконец Филиппо, привязанный по-своему к Северино, решил выяснить, что произошло, и послал за стариком крестьянином по имени Николо, который работать в поле уже не мог и обычно целыми днями прогуливался по «мачере», присматривая за детьми. Филиппо сказал ему, что просит его пойти разузнать о Северино, добавив: идти надо в местность «Уомо морто», где засели воры-фашисты. Николо сперва не хотел идти, но когда Филиппо обещал ему триста лир, этот старик, который ради денег полез бы в раскаленную печь, сразу же пошел седлать своего осла. Он сказал, что вернется на следующий день, а ночевать будет у своих родственников в соседней деревне, и наскоро сунул в переметную суму хлебец и кусок сыру. Попрощались мы с ним и пошли его проводить. Он сидел на своем ослике прямой как палка, в черной шляпе, с трубкой во рту, низко свесив по обе стороны свои негнущиеся ноги в чочах и белых обмотках. Филиппо крикнул ему вслед, что лучше всего обратиться к фашисту по прозвищу Тонто *, он, пожалуй, не самый злобный в этой банде. Старик сказал, что он так и сделает, и уехал.

Прошел этот день и половина следующего, и вот, когда уже начало смеркаться, на «мачере» появился старый Николо, ведя на поводу осла, а верхом на осле не кто другой, как сам Тонто. Когда они приблизились, Тонто слез с осла. Это был мужчина со смуглым худым лицом, заросшим щетиной, с меланхолическим взглядом глубоко ввалившихся глаз и длинным, уныло свисающим носом. Все его окружили; Тонто, видно, растерялся и молчал. Старик взял осла за узду и сказал:

— Немец забрал материю себе, а Северино послал на фронт — строить укрепления... Вот что с ним случилось.

Пробормотав это, старик пошел задать корм своему ослу.

От удивления мы все окаменели. Тонто стоял поодаль в смущении. Тогда Филиппо со злостью спросил его:

— А ты зачем сюда явился? Тебе здесь чего надо?

---

* Глупый, придурковатый *(итал.)*.

Тонто сделал несколько шагов вперед и смиренно сказал:

— Филиппо, вы не должны судить обо мне плохо... я пришел, желая оказать вам услугу. Рассказать, как все произошло, чтобы вы не думали, что это сделали мы.

Все смотрели на него с неприязнью, но всем хотелось знать, как это случилось, и, наконец, Филиппо, хотя и скрепя сердце, пригласил его к себе выпить стакан вина. Тонто не заставил себя долго просить и направился к домику Филиппо, и мы все за ним следом, будто крестный ход. Тонто вошел в дом и присел на мешок с фасолью, а Филиппо, стоя перед ним, налил ему вина; мы же все столпились у порога и тоже стояли. Тонто не спеша выпил и потом сказал:

— Все равно отрицать бесполезно: ткани действительно взяли мы... Знаешь, Филиппо, в такие времена каждый за себя, а бог за всех... Северино думал, что хорошо запрятал свой товар, а на деле выходит, что все мы знали, где он спрятан. Вот тогда мы и подумали: не возьмем мы — немцы возьмут, доносчик всегда найдется, так уж лучше заберем мы. А потом, Филиппо, ведь жить-то надо? — тут сложил он ладони и потряс ими перед собой, затем поглядел на нас и продолжал: — Ведь у каждого из нас семья, а в такие времена прежде всего думают о своей семье, а потом уж обо всем остальном. Не скажу, что мы поступили хорошо; скажу, поступили так по необходимости. Ты, Филиппо,— торговец, Северино — портной, а мы... мы тоже должны жить... вот мы и устраиваемся... Плохо сделал Северино, что пошел к немцам. Они тут ни при чем. Черт подери, Филиппо, если бы Северино так не злобствовал, мы могли бы с ним поладить — продать ткани и разделить деньги... Ну скажем, мы сделали бы ему какой-нибудь подарок... в общем, свои люди, сочлись бы... Северино же просто исходил злостью, и случилось то, что случилось. Явились они с этим проклятым немцем, и Северино ругал нас на чем свет стоит, а потом немец навел на нас автомат и сказал, что хочет сделать обыск, а мы ведь в известном смысле подчиняемся немцам, значит не могли помешать ему. Ткани сразу же нашлись, немец погрузил их на грузовик и укатил вместе с Северино. А Северино, уезжая, нам даже крикнул: «Есть еще справедливость на этом свете!» Нечего сказать, хороша справедливость. Знаете вы, что сделал немец? Отъехали они несколько километров, а навстречу им другой грузовик, полный итальянцев, которых немцы поймали во время облавы и везли на фронт работать на строительстве укреплений. Тогда немец остановил свой грузовик и, угрожая автоматом, заставил Северино слезть и взобраться на грузовик с арестованными. Вот так Северино, вместо того, чтобы получить назад свои ткани, угодил на фронт, а немец, он тоже портной, теперь будет переправлять в Германию отрез за отрезом, откроет там свою мастерскую и оставит с носом Северино и всех нас. Вот я и говорю, Филиппо, зачем ему было вмешивать в это дело немцев? Известно, двое дерутся, а третьему лафа. Так случилось и здесь, и я клянусь, что все это сущая правда.

Филиппо и все мы после того, что рассказал Тонто, некоторое время молчали, может потому, что в его рассказе упоминалась такая вещь, как облава: правда, слухи об облавах доходили до нас и раньше, но никогда еще никто не говорил нам об этом так ясно и спокойно, словно о чем-то вполне естественном. Наконец Филиппо набрался смелости и спросил, что это за облавы. Тонто с безразличным видом ответил:

— Немцы рыщут повсюду со своими грузовиками и забирают всех мужчин, затем отправляют их на фронт, в район Кассино или Гаэты, строить оборонительные сооружения.

— А как там с нашими обращаются?

Тонто пожал плечами:

— Живут в бараках, много работают, мало едят. Знаете сами, как немцы обращаются...

Снова воцарилось молчание, но Филиппо не отставал:

— Ладно, они забирают жителей из деревень на равнине, но не увозят же они беженцев, которые живут в горах?

Тонто вновь пожал плечами.

— Не доверяйтесь немцам. Они поступают так, как едят артишоки: объедают один за другим все листочки... сейчас пришла очередь тех, кто живет на равнине, потом придет черед тех, кто живет в горах.

Теперь никто уже не думал о Северино, всем стало страшно, и каждый думал лишь о себе. Филиппо спросил:

— А откуда ты все это знаешь?

Тонто ответил:

— Знаю потому, что мне целыми днями приходится иметь дело с немцами... Слушайте меня: или вступайте в милицию, как мы, или же вот мой вам совет — получше спрячьтесь... да только как следует, иначе немцы одного за другим выловят вас всех.

Затем он нам кое-что пояснил: сперва немцы производят облавы на равнине и увозят на своих грузовиках всех трудоспособных мужчин, затем они поднимаются в горы и действуют таким образом: спозаранок, пока еще темно, на вершину горы поднимается рота солдат, а потом, когда наступает час облавы, примерно около полудня, они спускаются и рассеиваются по всей горе, так что все, кто находится, как, допустим, мы, посередке, оказываются пойманными, будто мелкая рыбешка в огромную сеть.

— У них все продумано,— заметил здесь кто-то голосом, дрожащим от страха.

Теперь Тонто приободрился, и к нему почти вернулась его обычная наглость. Он даже попытался содрать взятку с Филиппо, который, как он знал, был здесь наиболее денежным человеком.

— Однако, если мы с тобой столкуемся, я смогу замолвить словечко за твоего сына перед немецким капитаном — я его хорошо знаю.

Филиппо был в таком ужасе, что, может, и согласился бы обсудить с Тонто его предложение, но внезапно к Тонто подошел Микеле и резко сказал ему:

— Чего ты, собственно говоря, ждешь? Тебе здесь больше нечего делать.

Все мы онемели от удивления, тем более что у Тонто была винтовка и ручные гранаты, а Микеле был совсем безоружным. Но на Тонто, не знаю уж почему, подействовал тон Микеле. Он довольно нерешительно проговорил:

— Ну, раз так, выпутывайтесь сами... я ухожу.

Затем Тонто встал и вышел из домика.

Все вышли вслед за ним, а Микеле, прежде чем он скрылся из виду, крикнул ему, подойдя к краю «мачеры»:

— А ты вместо того, чтобы шляться, предлагая свои услуги, лучше подумай о себе самом... не сегодня-завтра немцы отнимут у тебя твое ружье и пошлют работать, как Северино.

Тонто обернулся и сделал пальцами рожки от дурного глаза. Больше никогда мы его не видели.

После ухода Тонто мы с Микеле направились домой. Розетта и я обсуждали случившееся, жалея беднягу Северино, который сначала лишился своих тканей, а потом и свободы. Микеле шел, опустив голову, и сумрачно молчал. Вдруг он пожал плечами и сказал:

— Так ему и надо.

Я возмутилась:

— Как ты можешь такое говорить? Этот несчастный остался нищим, а теперь, может статься, его там угробят.

Помолчал он сначала, потом, пройдя немного, почти закричал:

— Пока всё не потеряют, ничего они не поймут!.. Всё. Они должны всё потерять, страдать и плакать кровавыми слезами... только тогда это их научит чему-нибудь.

Я возразила:

— Но Северино ведь не за наживой гнался... Ради своей семьи он старался.

Рассмеялся Микеле злым, горьким смехом.

— Ради семьи!.. Обычное оправдание для всех подлостей в этой стране! Ну что ж, тем хуже для семьи.

У Микеле, раз уж о нем зашла речь, в самом деле был своеобразный характер. Дня через два после окончательного исчезновения Северино, разговаривая с ним о всякой всячине, я сказала, что теперь зимой рано темнеет и прямо не знаешь, как убить время. На это Микеле ответил, что если бы мы хотели, он мог бы почитать нам что-нибудь вслух. С радостью мы согласились, хотя у нас не было, как вы, наверно, сами понимаете, привычки к чтению; однако в те дни и книги могли быть развлечением. Помнится мне, я, думая, что он собирается нам читать роман какой-нибудь, сказала ему:

— А про что? Наверно, про любовь?

Улыбнувшись, он ответил:

— Молодец, ты попала в самую точку — именно про любовь.

Решено было, что Микеле почитает нам вслух после ужина, в хижине, как раз в тот вечерний час, когда мы не знали, куда деваться от скуки. Хорошо запомнилась мне эта сцена — она врезалась мне в память сама не знаю почему, потому, может, что в тот вечер в характере Микеле проявилась черта, не известная мне до тех пор. Как сейчас вижу нас с Розеттой и семейство Париде; сидим мы кружком на лавках и чурбанах вокруг полуугасшего очага, почти в полной темноте, и лишь маленькая лампадка, заправленная оливковым маслом, висит позади Микеле, чтобы он мог читать свою книгу. В хижине мрачно, как в пещере: свешиваются с потолка черные космы копоти, колеблющиеся при малейшем движении воздуха; в глубине хижины, погруженной во мрак, сидит мать Париде, будто ведьма из Беневенто, до того она старая и сморщенная, и все прядет и прядет шерсть.

Мы с Розеттой были рады чтению, но Париде и все его семейство, проработав целый день в поле, вечером валились от усталости и обычно сразу же после ужина укладывались спать. Вот и теперь дети уже заснули, прикорнув возле матерей.

Микеле вынул из кармана небольшую книжечку и, не начиная читать сказал:

— Чезире хотелось услышать что-нибудь про любовь, вот я вам как раз про любовь и прочту.

Одна из женщин, больше из любезности, спросила Микеле: происходила ли эта история на самом деле или же, наоборот, придумана? Он ответил, что, может, она и придумана, но так, будто все произошло в действительности. Затем открыл книгу, поправил на носу очки и, наконец, объявил, что прочтет нам из евангелия некоторые эпизоды жизни Христа Мы все слегка приуныли, так как ожидали, что читать будет он какой-нибудь роман; да к тому же все, что относится к религии, всегда кажется несколько скучным, может потому, что разные религиозные обряды мы выполняем скорее из чувства долга, чем по искреннему побуждению. Париде, выражая общее чувство, заметил, что все мы знаем жизнь Хри-

ста и потому вряд ли услышим что-нибудь для себя новое. Розетта же ничего не сказала; однако потом, когда мы возвратились в нашу лачугу и остались одни, она заметила:

— Ведь если он в Христа не верит, почему же он не оставит его в покое? — Слова Микеле слегка задели ее, но не рассердили. Она питала симпатию к нему, хотя, как и все другие в деревне, в сущности, не понимала его.

Микеле в ответ на слова Париде лишь ограничился тем, что с улыбкой спросил:

— А ты в этом твердо уверен?

Затем он сказал, что прочтет нам про Лазаря, и спросил:

— Вы помните, кто он был?

Все мы, конечно, слышали про этого Лазаря, но при вопросе Микеле почувствовали, что толком не знаем ни кто он, ни что он сделал. Может, Розетта это знала, но и она на этот раз промолчала.

— Вот видите, — сказал Микеле своим спокойным и вместе с тем торжествующим тоном, — говорите, что знаете про жизнь Христа, а даже не помните, кто был Лазарь... а ведь воскрешение Лазаря, как и все остальное, вы могли множество раз видеть в церквях на картинах и фресках, где изображены страсти господни, даже и у нас в церкви.

Париде, возможно, подумал, что в этих словах кроется упрек ему, и сказал:

— А разве ты не знаешь, надо ведь потерять целый день, чтобы пойти в церковь, вниз, в долину. Работать нам нужно, и не можем мы терять день даже на то, чтобы пойти в церковь.

Микеле ничего не ответил и начал читать.

Уверена я, что все, кто будет читать эти мои воспоминания, знают историю про Лазаря, и я ее здесь не повторяю, к тому же и Микеле прочитал ее, не прибавив ни слова; что же касается тех, кто ее не знает, пусть прочтут в евангелии. Скажу здесь только: чем дольше Микеле читал евангелие, тем больше лица сидящих кругом слушателей выражали если не скуку, то, во всяком случае, полное безразличие и разочарование. В самом деле, все ожидали интересную любовную историю, а вместо нее Микеле читал историю про чудо, в которое они к тому же — по крайней мере, как мне это казалось,— не верили, впрочем, не верил в него и сам Микеле. Но разница между ними и Микеле была. Им было скучно, до того скучно, что две женщины начали шушукаться и потихоньку смеялись, а третья без конца зевала, и даже Париде, казавшийся самым внимательным из всех, клевал носом и сидел с ничего не понимающим лицом. Повторяю, разница между ними состояла в том, что Микеле, по мере того как читал, казался все более растроганным этим чудом, в которое сам не верил. И когда он дошел до фразы: «И рече Иисусе: Я есмь воскресение и жизнь», то на мгновение замолк, и все мы видели, что прекратил он чтение потому, что ему мешали слезы. Поняла я, что плакал он над прочитанным и, как потом это стало понятно, сравнивал его с нашей теперешней жизнью. Но одна из скучающих женщин, далекая от мысли, что история про Лазаря могла вызвать слезы на глазах Микеле, заметив, что он плачет, заботливо спросила:

— Тебе что, дым мешает, Микеле?.. Ах, здесь всегда ужасно дымно... ничего не поделаешь, ведь это хижина.

Чтобы понять эти ее слова, нужно напомнить — я, кажется, говорила уже об этом, — что дым от очага не уходил в трубу или в какое-либо отверстие, которых попросту не было, а скапливался в хижине и постепенно просачивался на улицу сквозь плотные связки сухой соломы, настланные на крыше. Поэтому нередко случалось, что все, кто находился в хижине, лили слезы, даже обе собаки и кошка с котятами. Женщина

эта, из любезности, будто хотела извиниться перед Микеле за разъедавший глаза дым, но он вдруг вытер слезы, вскочил и неожиданно для всех закричал:

— И дым и хижина тут ни при чем... не буду вам больше читать, ничего вы не понимаете... и бесполезно пытаться заставить понять тех, кто все равно никогда ничего не поймет. Впрочем, запомните, что я вам сейчас скажу: каждый из вас это Лазарь... и я, читая про его воскрешение, говорил о вас, о всех вас... о тебе, Париде, о тебе, Луиза, о тебе, Чезира, о тебе, Розетта, а также и о самом себе, и об отце своем, и об этом негодяе Тонто, и о Северино с его тканями, и о всех беженцах, что скрываются здесь в горах, и о немцах, и о фашистах, что внизу, в долине,— в общем, о всех нас... все мы мертвецы, мы все мертвецы, а думаем, что мы живые люди. Но пока мы будем думать, что мы живые, лишь на том основании, что у нас есть наши ткани, наши страхи, наши делишки, наши семьи, наши дети, до тех пор мы будем мертвецами... и лишь в тот день, когда мы поймем, что мертвы мы, окончательно мертвы, давно уж разлагаться стали, протухли и от нас за сто шагов мертвечиной несет,— только тогда в нас начнет чуточку теплиться жизнь... Покойной ночи!

С этими словами он резко поднялся, перевернув лампадку с оливковым маслом, которая сразу потухла, и, хлопнув дверью, вышел из хижины. Мы все остались впотьмах, застыв от удивления. Потом, наконец, Париде, роняя все в темноте, ощупью нашел лампадку и зажег ее. Никому не хотелось говорить об этой вспышке гнева; только Париде смущенно и угрюмо пробормотал всегдашним своим тоном крестьянина, который думает, что все хорошо понимает:

— Эх, легко говорить этому Микеле... он барчук, а не крестьянин...

Думается мне, и женщины с ним соглашались: все это рассуждения для господ, которым не надо мотыжить землю и зарабатывать себе хлеб кровью и потом. Короче говоря, мы пожелали друг другу покойной ночи и пошли спать. На следующий день Микеле сделал вид, что не помнит о происшедшем, но больше уже никогда не предлагал нам читать вслух.

Однако случай этот подтвердил то, что впервые мне пришло на ум в тот день, когда Микеле нам сказал, будто юношей он всерьез задумывался, не стать ли ему священником. В самом деле, думала я, несмотря на его нападки на религию, Микеле все же больше похож на священника, чем на обыкновенных людей, как Филиппо и другие беженцы. Вот, к примеру, его гневная речь, с которой он на нас обрушился, когда, читая про Лазаря, заметил, что крестьяне его не понимают, не слушают и скучают. Если чуточку изменить кое-какие слова, его речь очень была бы подходящей для любого деревенского священника во время воскресной проповеди, когда видит он, что его прихожане, перед которыми он со своей кафедры мечет громы и молнии, сидят с рассеянными лицами и не обращают на него никакого внимания. Словом, это была анафема священника, видит он во всех остальных грешников, которых надо вразумить и на путь истинный наставить, а вовсе не вспышка гнева простого человека, считающего себя таким же, как все.

Чтобы больше не возвращаться к характеру Микеле, хочу рассказать вам еще об одном маленьком случае, подтверждающем то, что я говорила о нем раньше. Упоминала я уже, что он никогда не говорил о женщинах и о любви, и казалось мне, в этой области был он совершенно неопытным. И не потому, что случая ему не представлялось — вы сейчас все поймете из моего рассказа,— а просто потому, что в этих делах он был не такой, как все парни в его возрасте. А вот что произошло: Розетта взяла такую привычку — каждое утро, только встанет, снимала рубашку

и мылась совсем голой. Вернее сказать, я выходила из домика, набирала в колодце полное ведро воды и приносила ей; она опрокидывала полведра себе на голову, потом намыливала все тело и выливала на себя другую половину. Была она очень чистоплотна, моя Розетта: первое, что она потребовала, когда мы поселились в Сант-Эуфемии, чтобы я купила у крестьян мыла, которое они сами варили дома; и даже зимой она продолжала так мыться, хотя в горах стояли сильные холода, и по утрам вода в колодце замерзала, и ведро, когда я опускала его в колодец, отскакивало от тонкого слоя льда прежде чем проломить его, а веревка больно резала руки. Несколько раз пробовала я следовать примеру Розетты, но у меня дыхание спирало, и я, еле живая, с минуту стояла, разинув рот.

Так вот, однажды утром Розетта вымылась, как обычно опрокинув себе на голову ведро воды, и затем с силой растирала себе тело полотенцем, стоя возле кровати и положив под ноги дощечку, чтобы ноги не испачкать на нашем грязном земляном полу. Тело у Розетты было крепкое, сильное, чего никогда нельзя было бы подумать, глядя на ее нежное тонкое личико с большими глазами, чуть-чуть удлиненным носом и пухлым ртом над маленьким, слабым подбородком, совсем как у овечки. Грудь у нее была небольшая, но хорошо развитая, как у женщины, которая уже стала матерью, налитая и белая, словно полная молока, с темными, торчащими вверх сосками, будто ищущими ротик рожденного ею младенца. Но живот у нее как у невинной девушки был гладкий, плоский, даже чуть вдавленный, так что темный густой пушок между ее сильными и округлыми бедрами выдавался вперед и казался хорошенькой подушечкой для булавок. Сзади она тоже была чудо как хороша, будто белая мраморная статуя, как те, что стоят в садах и парках Рима: полные и покатые плечи, длинная спина с крутым, как у молодой лошадки, изгибом, а под ним белые, круглые, упругие ягодицы, такие аппетитные и чистенькие, что так и хотелось осыпать их поцелуями, как делала я, когда ей было два годика. В общем, я всегда думала, что всякий мужчина, конечно настоящий мужчина, при виде моей Розетты, когда она растирает полотенцем свою гибкую спину и при каждом движении вздрагивают ее красивые, упругие, высокие груди, всякий мужчина, говорю я, должен был бы хотя бы почувствовать волнение, покраснеть или побледнеть, в зависимости от своего темперамента. Голова у мужчины может быть занята чем угодно, но при виде нагой женщины мгновенно все мысли у него разлетаются, как стая вспугнутых выстрелом воробьев, и остается лишь неудержимое влечение мужчины к женщине. Так вот, не знаю уж как, однажды утром, когда Розетта, как я сказала, стояла голая в углу комнаты и вытиралась, пришел к нам Микеле и, не постучав, наполовину приоткрыл дверь. Сидела я у порога и могла бы, кажется, предупредить его: не входи, мол, Розетта моется. Сознаюсь, ничего я не имела против того, что он так внезапно к нам ворвался, мать ведь всегда гордится своей дочерью; в ту минуту моя материнская гордость была сильнее, чем удивление и досада. Я подумала: он ее увидит раздетой... Ну что ж, ведь он это сделал не нарочно... пусть увидит, как хороша моя Розетта. Подумав так, я ничего не сказала, а он, обманутый моим молчанием, широко распахнул дверь и вошел прямо в комнату, очутившись перед Розеттой, тщетно пытавшейся прикрыться полотенцем. Я наблюдала за ним. При виде голой Розетты он на мгновенье остановился в нерешительности, будто даже в досаде, потом обернулся ко мне и поспешно сказал, что просит извинить его, может, он пришел слишком рано, но все же хочет сообщить нам важную новость — узнал он ее от одного парня из Понтекорво, который по горным селениям продает табак,— русские начали большое наступление, и немцы отходят по всему

фронту. Потом добавил, что ему некогда и он зайдет к нам попозже, и ушел. В тот же день, улучив минутку, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз, я, улыбаясь, сказала ему:

— Знаешь, Микеле, ты, правда, скроен не так, как все парни твоего возраста.

Он помрачнел и спросил:

— Почему ты так думаешь?

А я:

— Попалась тебе на глаза сегодня такая красавица, как Розетта, да еще голенькая, а ты только и думаешь, что о русских, о немцах да о войне и, можно сказать, даже ее не заметил.

Слова мои ему не понравились, и он, чуть не разозлившись, сказал:

— Что еще за чепуху ты городишь? Удивляюсь просто, как ты, мать, говоришь мне это.

Тогда я ему сказала:

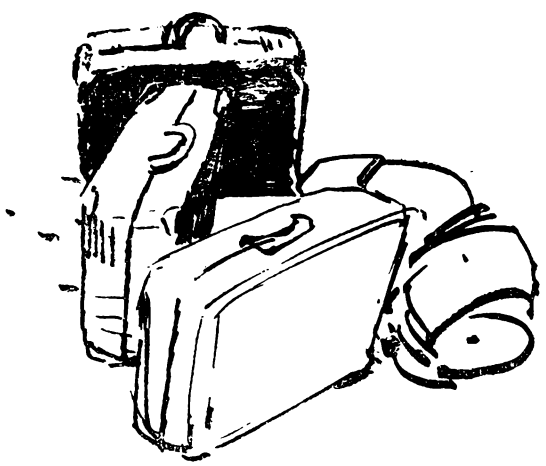
— Каждому таракану его детеныш мил. Разве ты, Микеле, не знаешь этой пословицы? А потом, в чем дело? Ведь я не просила тебя приходить сегодня утром, а ты вошел, даже не постучавшись. Может, я бы даже рассердилась, если б ты стал очень пялить глаза на Розетту, но, поверь, в глубине души, именно потому, что я ее мать, мне это, пожалуй, польстило бы даже. А ты и не взглянул на нее, будто и не видел совсем.

Он улыбнулся как-то натянуто, а потом сказал:

— Для меня этих вещей не существует.

И это был первый и последний раз, что я с ним говорила о таких вещах.

(Продолжение следует)



Габриэла Мистраль

Стихи разных лет

Перевод с испанского О. Савича

ПАМЯТИ ДРУГА

Я хочу рассказать вам о самом скорбном событии, которое не так давно пережила латиноамериканская литература,— о смерти нашей великой поэтессы Габриэлы Мистраль. Я хочу немного рассказать вам о жизни Габриэлы Мистраль и объяснить, почему я говорю именно о ней, когда подчеркиваю, что мне не дают выступать в Латинской Америке. Я очень скорблю о том, что не смог произнести прощальную речь на ее похоронах в Сант-Яго.

Всем известно, что мы были с ней большими друзьями. Еще в юности, в моем родном Темуко, когда она была директрисой лицея, а я шестнадцатилетним студентом, она познакомила меня с произведениями великих русских писателей. Эти писатели были для нас в то время неиссякаемым источником познания, радости, печали и страдания. Она впервые познакомила меня с Достоевским и Чеховым. Габриэла Мистраль ставила русский роман, пожалуй, выше всех произведений этого жанра в мировой литературе.

Мы с ней часто встречались в различных странах земного шара. Ей, как почти всем чилийцам, нравилось путешествовать по свету; объясняется это географическими особенностями Чили, страны, напоминающей остров, отрезанный от мира песками Атакамы, льдами Антарктиды, высокими хребтами Анд и волнами Тихого океана...

Когда она вернулась из своего последнего путешествия, уже мертвой (умерла она в Нью-Йорке), правительство Чили устроило ей торжественные похороны.

В течение всей жизни Габриэлы Мистраль власти всячески ее преследовали: то лишали ее скромной пенсии, то отказывали в заграничном паспорте, для нее был закрыт доступ на страницы официальной печати. Но когда она умерла, все сразу изменилось: торжественные похороны, траурная процессия, протянувшаяся на несколько километров. Выступил с речью ректор университета, говорил кто-то от имени правительства, то есть представители тех кругов, которые преследовали поэтессу при жизни. Но ее давнишнему другу, тому, кто в какой-то степени представлял поэтические традиции страны, не разрешили сказать прощальное слово. Этим другом я считаю себя. Я не имел возможности выступить на похоронах Габриэлы Мистраль и потому сейчас пользуюсь возможностью рассказать о моем необычном и большом друге.

Габриэлу Мистраль, возможно, не знали многие советские читатели, особенно молодые. Поэзия Габриэлы Мистраль несет груз многих поколений со свойственными им приступами отчаяния. Ее поэзию можно сравнить с большой чашей, в которую века отложили всю горечь действительности. Ее поэзия была действительно чашей с горьким напитком. Жизнь поэтессы в какой-то степени объясняет грустный, печальный характер ее стихов. Рассказывают, что в молодости она полюбила железнодорожника. Но он трагически покончил с собой, пустив на полной скорости локомотив под откос. И вот, когда она ждала любви, ей пришлось лицом к лицу встретиться с ужасной смертью. Впоследствии печаль часто вторгалась в ее жизнь, но трагедия ее молодости породила так называемые «Сонеты о смерти» и другие поэмы, собранные в книге «Скорбь»,

являющейся одним из лучших поэтических произведений на испанском языке. Это книга о грусти, книга, полная страсти, книга хоть и в немалой степени отмеченная отрицательными чертами, но в то же время наделенная несомненными положительными качествами; наряду с грустными мотивами в ней налицо также и желание преодолеть боль. Таково, например, знаменитое стихотворение «Босые ножки», посвященное детям-сиротам. Около 40 лет назад на конкурсе поэзии три сонета о смерти принесли Габриэле Мистраль — тогда скромной и неизвестной сельской учительнице — лавры первой премии. Позже Мистраль прочно заняла свое место в мировой литературе, ей была присуждена самая высокая награда на Западе — Нобелевская премия по литературе.

Габриэла Мистраль — натура очень сложная, это человек с душой, отягощенной прошлым, и вместе с тем охваченный страстным желанием заглянуть в будущее. Многие годы она писала не только стихи, но и замечательную прозу. В ее прозе меньше противоречий, меньше пессимизма, меньше обращения к прошлому. В своих прозаических вещах она много места уделяет своей родине — Чили. Когда она касается будущего, ее волнует проблема сохранения мира, тема труда простых людей нашего континента, защита индейцев от притеснений, защита бедных и борьба трудящихся за свои права; ее интересует труд замечательных гончаров и текстильщиков нашей индейской Америки. Она всегда вдохновлялась неустанным трудом этих людей, которые давно обитают на нашей земле, но не могут выразить свои мысли и желания на понятном всем нам языке. Лишь в рисунке тканей, художественных изделиях да в изумительных скульптурах они выражают стремления своей души. И Габриэла Мистраль привлекла своей прозой внимание общественности к этому вдохновенному безыменному труду, к положению индейцев в Америке...

Габриэла Мистраль отличалась среди латиноамериканских литераторов и человеческими качествами и широтой интересов. Она интересовалась всеми важными проблемами культуры, к которой относилась всегда очень серьезно. Она была подлинно неподкупной натурой. Даже находясь в Соединенных Штатах, она при всем уважении к американскому народу, американской науке указывала на все то дурное, что имеется в этой стране; ей не нравились захватнические устремления США, особенно по отношению к нашей Латинской Америке, та алчность, с какой США взирают сейчас на весь земной шар. Она болезненно переживала все это. Уважая все то хорошее, что дала миру североамериканская цивилизация, Габриэла Мистраль вместе с тем никогда не признавала американской доктрины установления господства над народами мира. Она не вмешивалась в вопросы политики, но всегда выступала в защиту мира во всем мире. На конгрессе сторонников мира в Мехико мне выпала большая честь прочитать ее письмо, обращенное ко всем сторонникам мира.

Я уже говорил, что она писала прекрасную прозу. Она написала замечательную ста́тью, которую я считаю самым сильным из всего того, что создано в Америке в области публицистики. Я имею в виду ее статью «Проклятое слово», посвященную борьбе за мир. Слово «мир» — священное слово в Советском Союзе, в лагере социализма, в странах народной демократии и среди людей доброй воли всех стран. Однако слово это преследуется в нашей Америке. И вот Габриэла Мистраль написала чудесную статью, назвав ее «Проклятое слово». В этой статье она рассказала между прочим и о том, как была изгнана из влиятельного органа крупных банкиров Чили «Эль меркурио» за то, что осмелилась написать о мире.

И когда она умерла в Нью-Йорке, на чилийский народ обрушилось большое горе, будто огромная скала сорвалась с Кордильер и рухнула с семитысячной высоты прямо на сердце народа Чили, будто тень легла на небо родины.

Смерть Габриэлы Мистраль — большая утрата для литературы моей страны и для всей литературы испанского языка. В моей стране много поэтов, много поэтов есть во всей Америке, но трудно поверить, что может когда-нибудь еще родиться у нас поэтесса такого огромного таланта и такой большой души.

Мы услышим еще прекрасные голоса, услышим и песни повеселее, но этот голос безвозвратно утерян и навсегда умолк.

Пабло Неруда

ГИМН ДЕРЕВУ

Хосе Васконселосу

Брат-дерево, когтями бурыми
впился ты в землю, в сон
природный,
а лоб, пренебрегая бурями,
в упрямой жажде неба поднял.

Учи меня чтить всеми силами
и шлак, и ил — мою природу,
но чтоб при этом не забыла я
про синий край, откуда родом.

Ты посылаешь проезжающим
издалека предупрежденье
широкой тенью освежающей
и кроной — знаком
возрожденья.

Так о моем существовании
в пустыне, на́ море, на суше
пусть говорит мое влияние
на человеческие души.

Ты созидатель без конца:
ты — слив и яблок набуханье,
ты — лес строителя-творца,
ты — ветерка благоуханье,
листва — защитница певца,
свирели нежное дыханье,
ты — приручeнная камедь,
смолы чудесное теченье,
костер и крыша, пух и медь
и мелодическое пенье.

О, дай мне силу плодотворную,
чтоб раздавать свое богатство,
чтоб мысль и сердце
непокорные
вместили мир, вступив с
ним в братство;
чтоб не были мне утомительны
работа, труд, концы, начала,
чтоб никакая расточительность
меня вовек не истощала.

В тебе я слышу лишь украдкой
сердцебиенье бытия,—
смотри, как в светской
лихорадке
остаток сил теряю я.

Дай мне покой и равновесье,
и мужественный идеал,
что в мрамор эллинский
и в песню
дыханье божества вдыхал.

Нет о тебе вернее слова:
ты женской силы торжество —
любая ветвь качать готова
в гнезде живое существо.

Одень меня листвой большою,
какою — скажут без труда
те, кто в лесу людском и с бою
не взяли ветки для гнезда.

Любых широт свободный
житель,
свершаешь вечно тот же труд,
как слабых сильный
покровитель,
благотворитель и приют.

Душа моя, под каждым ветром
сквозь детство, старость,
радость, боль
будь на любовь такой же
щедрой,
и нужной, и простой, как соль.

СТЫДЛИВОСТЬ

Когда ты смотришь на меня, красивой
я становлюсь, как под росою травы,
и не узнают стати горделивой
моей, когда сойду к реке, купавы.

Мне стыдно губ печальных, кожи бледной.
Надломлен голос мой, колени тощи.
Ты посмотрел и ты пришел — и бедной
себе кажусь и жесткою на ощупь.

Ты не найдешь и камня в темной нише,
чтоб свет так обходил его с рассвета,
как женщину, чье пенье ты услышал
и на нее взглянул глазами света.

Я молча отвернусь, чтоб не узнали
прохожие о выпавшей мне доле
по блеску глаз — за ними звезды встали,—
по жестам рук, опущенных дотоле.

Настала ночь. Роса приходит к травам.
Смотри подольше и люби нелживо.
Пусть завтра же, сойдя к реке, к купавам,
от поцелуев стану я красивой!

РЕБЕНОК ОСТАЛСЯ ОДИН

Услышав тихий плач, свернула я с дороги
и увидала дом, и дверь его открыла.
Навстречу — детский взгляд, доверчивый и строгий;
и нежность, как вино, мне голову вскружила.

Запаздывала мать — работа задержала;
ребенок грудь искал, она ему приснилась,
и начал плакать... Я к груди его прижала,
и колыбельная сама на свет родилась.

В окно открытое на нас луна глядела.
Ребенок спал уже; и как разбогатела
внезапно грудь моя от песни и тепла!

А после женщина вбежала на крыльцо,
но, увидав мое счастливое лицо,
ребенка у меня она не отняла.

ПРИЛЬНУВ КО МНЕ

Тела моего кусочек,
выношенный в глубине,
словно зябкая пушинка,
спи, дитя, прильнув ко мне.

Куропатка спит и слышит:
клевер ходит в тишине;
что́ тебе мое дыханье,
спи, дитя, прильнув ко мне.

Ты — дрожащая травинка,
жизнь страшна твоей весне;
от груди не отрывайся,
спи, дитя, прильнув ко мне.

Радости я потеряла —
содрогаюсь и во сне.
На руках моих спокойно
спи, дитя, прильнув ко мне.

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Твое лицо, как тень, на дни мои ложится.
Ты в синей кофточке, и щеки обгорели.
Была ребенком я в краю, где мед струится,
а ты за плугом шла, взрыхляя новь в апреле.

В трактире пил вино из грязного бокала
мужчина пьяный тот, что дал тебе ребенка,
и память о стыде тебя огнем сжигала,
но зерна из руки лились струею тонкой.

Когда пришел январь, ты хлеб для сына жала,
а я тебя в тоске глазами провожала,—
ты в дымке слез моих была еще чудесней.

Грязь на ногах твоих я целовать готова:
у светских женщин нет нигде лица такого;
доныне тень твою я провожаю песней.

«НОНКА»

Рис. Хосе Санча

Ивайло Петров

Нонка

ПОВЕСТЬ

Авторизованный перевод с болгарского М. Михелевич и Б. Ростова

О МОЕЙ ПОВЕСТИ

«Нонкина любовь», так называется книга в болгарском издании,— моя первая повесть. Она родилась, как первая любовь, неожиданно и стремительно. С волнениями, разочарованиями и надеждами. Поэтому мне трудно рассказать, как я ее писал.

Повесть сначала была напечатана в газете «Народна младеж» в конце 1956 года. В первоначальном варианте не было нескольких последних глав. Я рассчитывал дописать их по мере опубликования повести в газете. Но случилось иначе. Перед сдачей первой главы в набор я просмотрел ее еще раз. Мне показалось, что она очень плохо написана. Я написал ее заново. То же самое произошло со следующими главами. Оказалось, что первый вариант повести меня не удовлетворил. Редакция печатала повесть по мере того, как я передавал ей рукопись. Количество колонок в газете начало уменьшаться до трех или четырех, а были дни и недели, когда в газете не печаталось ни строчки повести. Я не мог писать по главе в сутки и был в отчаянии и смятении.

Я искренне сожалел, что согласился на такую рискованную работу, и просил товарищей из редакции сообщить читателям, что печатание повести приостанавливается. Работники редакции протестовали, сердились и в свою очередь сожалели, что согласились на такое «несерьезное предприятие». Протестовали и читатели. Каждый день в редакцию поступали десятки и сотни писем: «Почему не печатаете повесть каждый день? Это недобросовестно с вашей стороны». Нетерпение читателей поддерживало меня. За пятьдесят дней я написал почти новую повесть и на пятьдесят первый, наконец, мог заснуть спокойно.

Не прошло и полугода, как повесть вышла отдельной книгой. Сейчас я смотрю на нее трезво и нахожу в ней немало недостатков. Но мне кажется, что я уже не смогу их исправить. Пусть остается в таком виде.

Судя по письмам, которые я получил, большинство читателей полюбило Нонку и невзлюбило Петра. Некоторые говорят, что он не только не понимает нового времени, но что он реакционер и враг. Как могла Нонка со своей чистой и пламенной душой полюбить такого человека? Но сам я его люблю, и мне хочется его защитить. Я представляю себе Петра честным, трудолюбивым и прямым. Он хранит в своей душе вековую любовь к отцовской земле и верность нравам своих дедов. С тем же усердием, с каким Петр трудился на своей земле, он работает и в кооперативе. Петр, гордый и честолюбивый, страдает от непорядков, которые неизбежны в первые годы становления новых кооперативных хозяйств и в причинах которых он не всегда правильно разбирается.

В новое хозяйство входят крестьяне разного имущественного положения, с различными привычками и работоспособностью. Между ними устанавливаются новые отношения. Бедняки вошли в кооператив с радостью; некоторые из середняков, особенно более зажиточные, вошли в кооператив под влиянием новых условий в стране.

В первые месяцы и годы новое хозяйство напоминает встревоженный пчелиный улей. Одни довольны, другие разочарованы новым порядком работы, третьи готовы оставить коллектив. В кооперативе все должны трудиться и жить, как братья, но

разве можно достичь этого за год или два? Петру часто кажется, что члены кооператива никогда не полюбят общественное хозяйство, как свое. Он не может воспринять и новых устанавливающихся семейных отношений. Это огромное заблуждение Петра оказывается роковым для его личного счастья. Но Петр не потерян для нового общества. Жизнь его еще многому научит. Он пройдет через огонь большой и глубокой социальной революции, которая совершается в Болгарии, и, я уверен, найдет свое место и счастье. Не будет ничего удивительного в том, что он, как честный трудящийся человек, сможет когда-нибудь стать председателем своего богатого социалистического хозяйства. Я верю в него. Он будет одним из любимых героев моей будущей повести.

Что сказать о Нонке? Не смею даже пожелать ей счастья: оно у нее есть. Она его выстрадала во имя свет светлого будущего, и никто никогда не отнимет у нее этого счастья.

София, ноябрь 1957 г.

Ивайло Петров

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Первый снег, легкий, пушистый, привел всех в веселое недоумение. Все говорили: денек-другой полежит, а больше не продержится, не время ему еще. Да и в поле работы полно. Под пар не все запахали, тут и там виднелись неубранные стебли кукурузы и подсолнуха. Солнце купало побелевшую равнину в мягких своих лучах с грустной, но нежной улыбкой, предвещавшей тихую и спокойную осень. Скинув с плеч тяжкий труд летней страды, люди ждали бабьего лета в надежде на скорый отдых и пошучивали: «Зима перепутала расписание, но как увидит, что ее здесь не ждут, возьмет да повернет назад».

Только животные и птицы разгадали коварные намерения зимы. Петухи невпопад кукарекали среди ночи; поросята бродили по дворам, подбирая отбросы и солому; зловеще каркая, большими стаями кружили над селом вороны, а журавли днем и ночью тянулись на юг. И старики — эти мудрые предсказатели погоды — тоже не ошиблись. Им случалось и на Димитров день* видеть снег в наших краях; натянув на себя тулупы и ямурлуки **, собирались они у ворот и, раздирая глотки тяжелым табачным кашлем, сплевывая на чистый снег, пророчествовали:

— Теперь как пить дать не отступит зима, будь она неладна. Того и гляди до самой Пасхи протянется!

А на другой день ударил сухой морозец и снова выпал снег, синеватый и твердый, как морская соль. Раскинувшаяся в ленивой дремоте равнина так и застыла, предчувствуя лютую зиму. Манящие степные просторы, обагренные яркими красками осени, потускнели и слились с неприветливой, серой, бескрайней далью.

Золотые листья осыпались с деревьев не в тихой осенней печали, не со смиренной и сладостной скорбью прощались они с жизнью. Суровый северный ветер с варварской жестокостью оборвал их, налетел лиходеем на поля и дворы. Пригибал до земли поникшие ветви, сметал с пригорков снег и засыпал им ложбины, свирепо завывал в печных трубах, вражьей рукой стучался в окна и двери...

Но всему на свете приходит конец. Вдоволь набесновавшись, буйный северный гость вдруг затих и исчез где-то за Дунаем. Вернется он лишь для того, чтоб возвестить весну.

Теперь началась настоящая зима с ее спокойным и тихим однообразием. У нас в Добрудже такую зиму называют капканом. Не только дороги и заборы, но и целиком дома — из тех, что пониже, — заносит снегом.

* 8 ноября.

** Шерстяной плащ, накидка.

В соседние села доберешься с трудом, да и то лишь в санях, запряженных парой сытых коней. Мужчины во дворах и на улицах целыми днями расчищают лопатами прорытые в снегу ходы, глубокие, как окопы. Ходы ведут к самым важным местам — к колодцам, лавкам, читальне.

Погода в такое время стоит мягкая. Морозец легкий, приятный, и молодежь днем расхаживает без верхней одежды. Но солнце и не проглянет — серое, словно нелуженый таз, висит опрокинутое над селом небо.

Лучше всего по вечерам. Как только начинает смеркаться, небо очищается, на синевато-зеленом своде трепещут крупные добруджанские звезды. Тишина. Даже собаки не лают: рассядутся у дверей кухонь и ждут, когда отужинают хозяева. Изредка пролетит стая ворон, но и те не каркают, озабоченные поисками теплого ночлега. Сорвется с ветки ком снега, прозвенит колокольчиком — и снова тишина. Кажется, вдохни поглубже да крикни — на другом краю света услышат...

В такой тихий январский вечер, когда хозяйки уже собирали к ужину, вернулась со свинофермы усталая и веселая Нонка — дочка дяди Колю. Увидев ее разрумянившиеся на морозе щеки и полные снега ботинки, тетка Колювица ахнула и запричитала:

— Ты что это, девка, сама пришла?

— Нет, скорым поездом прикатила! — отшутилась Нонка, разуваясь за дверью.

— Тебе бы только озорничать! — ворчала тетка Колювица.— Где ж это видано: в такой час да одной-одинешеньке девке полем идти? Срамота да и только! Ты бы задал ей жару! — мигнула она мужу.

Дядя Колю лежал на лавке в жилетке, в толстых шерстяных носках. Это был живой, подвижной человек — ни минуты, бывало, на месте не усидит. Если не находилось никакой работы по дому, он примется расчищать снег во дворе, починит хлев, где держали Колювы пяток овец, а не то отправится в правление кооператива взглянуть, как идут дела, да перекинуться словечком-другим с людьми. А как садилось солнце, дядя Колю возвращался домой и растягивался на лавке. Иногда любил он прилечь и, опершись на руку, смотреть на своих домашних, собравшихся вместе, слушать их веселый гомон да забавляться с внуком, которого назвали Колю в честь деда. Курил дядя Колю свою цигарку с таким удовольствием, что при каждой затяжке даже прижмуривал глаз. Тетка Колювица не упускала случая придраться к нему за страсть к курению. «Проглоти ее, проглоти цигарку, что ж ты ее только мусолишь!» — ядовито подзадоривала она и хватала табак с таким видом, будто собиралась швырнуть в печку. Но свою угрозу она никогда не приводила в исполнение, и дядя Колю был совершенно спокоен. Когда жена подмигнула, чтобы он задал Нонке «жару», дядя Колю приподнялся, крикнул:

— Вот я тебе сейчас задам! — и, не выдержав, показал в улыбке все свои зубы, мелкие, как рисовые зерна.

Сын Петко и сноха захохотали, улыбнулась и тетка Колювица, но, не желая сдаваться, продолжала ворчать:

— Невеста уже, а от самой фермы одна ходит. Пропади она пропадом, эта ферма, занесло ее в этакую даль!..

— Будет ругаться! — уже всерьез проговорил дядя Колю.— Никто твою дочку не украдет. Не дитя малое.

— То-то и оно, не дитя! Люди что скажут?

— Ничего не скажут. Где ты на целом свете такую дочку найдешь?— он почесал свои густые поседевшие волосы, затянулся еще раз и ласково поглядел на Нонку, отогревавшую руки возле печки.

Ни с того ни с сего Нонка подлетела к матери, обняла и закружила вокруг себя, да так, что тетка Колювица выронила на пол миску, которую держала в руках.

— Пусти, озорница! — отбивалась она, притворяясь рассерженной, но в конце концов рассмеялась. — Потому-то я и хочу, чтоб ты дома сидела. Когда ты дома, на душе веселее!

Нонка схватила племянника, подкинула его, принялась раскачивать. Маленький Колю запищал от радости, все вокруг рассмеялись. Дом снова наполнился веселым гамом.

Сели ужинать. Нонка наскоро поела и ускользнула в другую комнату. Там она достала из сундука и разложила на кровати свои наряды. Надела темно-синюю плиссированную юбку, приложила к груди зеленую блузку. Прищурившись, поглядела в зеркало, подумала и бросила блузку на кровать. Не понравилась ей и темно-красная: и рукав не так вшит и цвет к синей юбке не подходит. Наконец примерила белую — и решила, что для сегодняшнего вечера эта, пожалуй, будет самой подходящей. Остановилась опять перед зеркалом и до того себе понравилась, что даже показала язык той смуглолицей, с длинными черными ресницами девушке, что глядела из зеркала на нее.

Скрипнула дверь, и в комнату вошла Рачето.

— Нона, до чего ты сегодня хороша! — всплеснув руками, проговорила она с искренним восхищением. — Как увидит тебя Петр Пинтезов, совсем голову потеряет.

Нонка зарделась и, чтобы скрыть смущение, обняла Рачето. Нахохотавшись вволю, подружки вышли из дому и, взявшись за руки, пустились бежать по улице. Тетка Коловица крикнула им вдогонку, чтоб береглись, не простудились.

Не раз бывала Нонка на вечерах, но никогда так не волновалась, как сегодня. Снежные сугробы, залитые золотым светом уличных фонарей; музыка, доносящаяся из громкоговорителей; мороз, приятно пощипывающий щеки; крупные, словно вишни, звезды, разбросанные по небу,— все представлялось ей необыкновенно красивым. Сердце билось в смутном предчувствии счастья. Она смеялась и болтала с подружкой, но мысли были заняты другим. «Придет ли Петр? — спрашивала она себя, хотя отлично знала, что он там будет.— Что если он подойдет и пригласит танцевать? И вообще, какой он? Что он за человек?» Когда его взяли в армию, она была еще девчонкой, слыхала только, что сын Пинтезовых служит где-то на границе. Потом он демобилизовался, его сразу назначили бригадиром. Работал он хорошо, его хвалили, однажды про бригаду даже написали в газете. Вот и все, что знала Нонка, и, может быть, никогда б не подумала о нем, если б однажды Рачето не сказала ей:

— Нона, а Петр Пинтезов заглядывается на тебя. Как ни встретит, все о тебе расспрашивает, приветы передает.

С тех пор, стоило подружкам встретиться, Рачето заводила разговор о нем.

— Опять тебе привет.

— От кого? — спрашивала Нонка, и румянец разливался по ее лицу.

— От Петра, от кого же еще. Ах, Нонка, позавчера целых полчаса меня на улице продержал. И так и сяк мялся и заикался, а под конец все-таки выложил: «Передай, говорит, привет твоей подруге. Почему она так редко приходит в село?» — «Дела у нее, говорю». — «А что, спрашивает, на вечер она придет?» — «Может, и придет, отвечаю».— «Пускай обязательно приходит!» — «Видно будет, говорю». Что, Нона, не нравится он тебе, что ли? Лучше его во всем селе нету. Только серьезный он больно... По правде сказать, я его даже немного побаиваюсь. Видела я однажды, как вышел он из себя, не поладил с кем-то из бригады. Мамочки мои, весь ощетинился, желваки под кожей перекатываются, глаза сощу-

рил, так и сверлит ими, так и сверлит. Ты его остерегайся, Нона, опасный он, по-моему, человек.

— Да он мне вовсе и не нравится! — ответила Нонка.— Я с ним двух слов не сказала, видела раз, да и то издали. Слышала, важничает он очень.

Так говорила Нонка, но стоило подружке не передать ей привета от Петра, и она целый день ходила невеселая, а по вечерам все думала и думала о нем. Петр представлялся ей таким, каким видела она его издали,— тонким, стройным, с вьющимися светло-каштановыми волосами. Она, казалось, даже слышала его голос, ощущала ласку его взгляда, а в тревожных снах ей виделись тайные свидания.

Концерт в клубе уже начался. Нонка и Рачето на цыпочках пробрались в дальний угол зала и сели в последнем ряду. Когда программа кончилась и занавес опустился, к ним подошел Яцо — толстощекий, коренастый парень с огромными ручищами, добродушный, веселый и работяга каких мало. Он хорошо пел и был душой всех вечеров, в пьесах ему всегда доставались комические роли. Как только заиграли первый вальс, он схватил Рачето за руку и вытащил на середину зала. Сжав в своих могучих объятиях, он закружил ее, словно перышко, выкрикивая:

— Эй, берегись! Берегись, ноги оттопчу!

Другие парни и девушки тоже вышли в круг, и начались танцы.

Нонка смотрела на танцующих и никак не могла освободиться от смутного предчувствия, которое весь день держало ее в напряжении. Чтобы рассеяться, она решила подойти к сцене, где собралась группа молодежи, но в это время увидела, что к ней направляется Калинко. Он медленно пробирался вдоль самой стены, низко опустив голову, с опаской, будто приближался к запретному месту. Нонке сразу вспомнилось их первое знакомство. Калинко был свиноводом в соседнем селе. Прошлым летом пришел он к ним на ферму под вечер, снял кепку и, комкая ее в руках, застенчиво улыбнулся:

— Слыхал я, будто ваша ферма самая лучшая во всей околии, хочу поучиться.

Дедушке Ламби он сразу пришелся по душе. Как и всякому охотнику посудачить, деду нужны были слушатели, а лучшего, чем Калинко, нельзя было и пожелать. Старик важно водил его по ферме и с чувством превосходства посвящал в тонкости выращивания свиней, а потом начинал рассказывать какую-нибудь из своих нескончаемых забавных историй, которые Калинко почтительно выслушивал до конца, проявляя невиданное терпение. Но больше всего покорила дедушку Ламби музыка: Калинко пел и играл на аккордеоне так проникновенно, как может играть только талант-самородок, о котором говорят «дар божий». Сколько раз на глаза старика навертывались слезы, когда он слушал грустные, волнующие песни Калинко! Сколько раз убаюкивали Нонку волшебные звуки его аккордеона! А как красив был Калинко! Черные, как вороново крыло, волосы, светло-синие глубокие и чистые глаза, по-детски наивная улыбка, тихий, бархатный голос и нежная душа.

Часто стал наведываться Калинко на ферму. Пропадал там часами, уходил иногда заполночь. Вскоре догадалась Нонка, что вовсе не интерес к работе, не россказни дедушки Ламби привлекают его, а она сама. В каждой его песне, в каждом взгляде чувствовалась невысказанная любовь; и бывали минуты, когда он, казалось, готов был признаться. Нонка не знала, как себя с ним держать. «Почему я не могу его полюбить? — порой спрашивала она себя.— Красивый он, хороший, милый, а не лежит к нему душа». Молчаливое ухаживание Калинко мучило ее. Разговаривая с этим тихим, красивым парнем, она всегда испытывала какую-то странную неловкость, словно в чем-то виновата перед ним. Глядя, как робко

подходит он к ней, Нонка мгновенно поняла, что в этот вечер Калинко решил признаться в любви...

Кто-то сел на стул слева от нее, и она повернулась, чтоб посмотреть, кто это. Это был Петр. Нонка мельком заметила белый воротник его сорочки, ярко-красный галстук и поспешно отвернулась. Много раз переживала она в своем воображении эту встречу, знала, что будет волноваться, но не ожидала, что ее охватит такое смятение, запылает голова, перехватит дыхание, потемнеет в глазах. Танцующие пары, разноцветные бумажные гирлянды, украшавшие зал, большие, яркие плакаты по стенам — все слилось в одно пестрое пятно, и она ничего перед собой не видела. «Какая я жалкая! Отчего я трепещу, словно лист, перед этим парнем!» — корила она себя, чувствуя, как горят и дрожат руки.

— Здравствуй, Нонка! — сказал Петр.

— Здравствуй! — ответила она чужим голосом и хотела посмотреть на него, но не решилась.

— Как поживаешь?

— Спасибо. Хорошо.

Петр наклонился, и его дыхание обожгло ее.

— Ты чего отбилась от всех, одна сидишь? Я, кажется, помешал твоей встрече с тем парнем? Он к тебе, что ли, направлялся?

— Да нет. Не знаю...

— Ну, тогда я посижу возле тебя, поговорим,— и, придвинувшись ближе, спросил: — А ты разве не танцуешь?

— Танцую, но... рано еще...

— Хороший сегодня вечер,— проговорил Петр.— А ты что-то редко бываешь в селе.

— Бываю, когда свободна.

Петр спросил, как дела на ферме, затем, слово за слово, заговорил о своей службе в армии, о темных, страшных ночах, когда ему приходилось стоять в дозоре. Нонка слушала, но не могла отделаться от смутного, тяжкого чувства, которое угнетало и сковывало ее. Она была поражена спокойствием, с которым держался Петр. «Как он спокоен, словно сто раз со мной говорил, словно я уже в его руках!» — подумала она и даже обиделась. Петр на мгновение умолк, заглядевшись на сцену. Только тут Нонка осмелилась взглянуть на него. В линии носа с легкой горбинкой, как и в плотно сжатых губах, было что-то резкое, властное, даже хищное. «Какой он твердый, непреклонный!» — в ней шевельнулось необъяснимое чувство гордости, что он именно такой.

Они пошли танцевать. Сначала она не слышала музыки и угадывала ритм лишь по движениям Петра, не слышала его слов, только чувствовала горячее дыхание. Ей казалось, что она уносится куда-то в сладостном, чудесном сне.

Вечер окончился поздно. Ночной мороз стягивал кожу на разгоряченном лице Нонки, покрывал инеем усы Петра. Молча шли они домой. Шаги звонко отдавались в светлой тишине ночи. Дойдя до Нонкиных ворот, они остановились. Взволнованная Нонка не знала как быть — постоять еще или сразу проститься и уйти.

— Когда мы теперь увидимся? — спокойно спросил Петр.

Острый и холодный блеск его глаз кольнул ее, и она ответила неопределенно:

— Не знаю. При случае...

Она отступила на шаг, но Петр неожиданно схватил ее за руку повыше кисти и с силой притянул к себе. Нонка успела отвернуть лицо, но колючее, ледяное прикосновение его усов обожгло щеку. Она отскочила на самую середину двора и, стараясь сдержать бешеное биение сердца, крикнула:

— Спокойной ночи! Спасибо, что проводил!

Петр с минуту постоял у ворот и, не ответив, пошел вниз по улице. Нонка долго прислушивалась к затихающим шагам, а сердце все стучало, стучало...

Нет тебе больше покоя, девичье сердце! Ветер ли зашепчет в хлебах, жаворонок ли зальется в синем небе, зашумит ли река под ветвями ив — ты все будешь волноваться, сердце, замирать от счастья, томиться в сомнениях и догадках! Не смежить вам теперь в тихом сне своих черных ресниц, милые девичьи глаза! Ночи станут долгими, бесконечными, подушка твердой как камень, звезды станут его глазами, а лунный свет — его лаской.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Подул южный ветер, сразу потеплело. Толстый снежный покров растаял, расползся, как ветхая рубаха, обнажив истомленную грудь земли. Сквозь тяжелую, свинцово-серую пелену туч проглянул неясный лик солнца. Южный ветер, такой тихий и кроткий, с ненасытной жадностью поглощал последние оледеневшие остатки снега.

Однажды тетка Колювица проснулась чуть свет. Она умышленно неловко заворочалась в постели, желая разбудить мужа. Но тот, как нарочно, спал непробудным сном, чуть приоткрыв рот и посвистывая носом тонко и протяжно, словно там сверчок поселился. Раздумывая, как бы разбудить дядю Колю, она приподняла голову и посмотрела в окно. Стекла сверху донизу были покрыты широкими мокрыми полосами. Она встала с постели и посмотрела во двор. Лежала густая, плотная мгла. С крыши падала капель. Сквозь щели в окне проникал кисловатый запах сырого дерева и влажной земли. Тетка Колювица опять юркнула под одеяло и принялась настойчиво звать:

— Колю! Да Колю же!

— А! — прохрипел сквозь сон дядя Колю и закашлялся. — Чего тебе?

— Снег стаял.

— Чего, чего?

— Ночью, говорю, весь снег стаял.

— Ну и пускай тает.

— Не к добру это. Пшеница вымерзнет.

— Не вымерзнет! — ответил дядя Колю все еще сквозь сон.— Если такая погода продержится...

— То ли продержится, то ли нет. А как прихватит стужа, тогда...

— Постой, дай поспать, чего ты растарахтелась, как пустая бочка!

— Рассвело уж, до каких пор можно спать,— проговорила тетка Колювица. Ей хотелось рассказать свой сон, да она не знала, как начать.— То ли от погоды, то ли еще от чего проснулась я ни свет ни заря и вот верчусь, глазами хлопаю.

— Я и не слыхал, как ты ворочаешься,— нехотя пробормотал дядя Колю.

— Да я старалась тебя не разбудить. Знаешь, стоит в груди ком, душит да и только. Опять сны страшные видела, не приведи господь в другой раз увидеть...

Она умолкла, выжидая, но дядя Колю не ответил. Тогда тетка Колювица легонько толкнула его и приникла губами к самому уху.

— Господи, ну и сон же! — и она попыталась усмехнуться.— Снилось мне, Колю, будто Нонку нашу украли. И так она кричит, так кричит — сердце разрывается. Петр схватил ее, Петр Пинтезов. Она плачет, вырывается, а он смеется. Совсем измучил меня, чтоб его черти взяли.

— И как, увел он ее? — спросил дядя Колю.

— Увел, будь он неладен! Уволок, как волк овечку.

— Вечно тебе такое привидится, чему сроду не бывать! — сиплым голосом огрызнулся дядя Колю и зевнул.— Что ни старее, то дурее! Нашла что во сне увидеть, луковая твоя голова!

Тетка Колювица обиженно замолчала. Как заблудившийся во тьме путник, она искала дорожку к сердцу мужа. Она знала его нрав и не осмеливалась говорить в открытую. А нрав у него был такой: сказал—как отрезал. Хоть и захочет отказаться от принятого решения, а на попятную не пойдет. Всю душу себе вымотает, ходит, сопит, а не признается, что ошибся. Такой уж он, ничего с ним не поделаешь. Несколько лет назад старшая их дочь Мина без памяти влюбилась в Желязко Иванова, прямо помирала от любви. А отец уперся — ни слезы, ни просьбы не помогли,— отдал ее за Димитра, теперешнего их зятя. Мина привыкла к мужу, но тетка Колювица знала, что в сердце дочери все еще тлеют угольки прежней любви. И сейчас сама Мина, когда случится ей быть среди подружек, говорит: «Ой, девушки, выбирайте себе мужа по сердцу, потом назад пути нет».

Не хотела тетка Колювица и младшей дочери жизнь калечить. Нонка была красивей старшей, смышленей, но и своенравней. Никогда не посоветуется с отцом, с матерью, все по-своему решит. В прошлом году сказала: «Пойду работать на свиноферму!» — никто ей и возразить не посмел. Да и что была за ферма — название одно: пять-шесть захудалых свиней в одном сарае, покормить да напоить их — только и всего, в самый раз для деда Ламби работа. А Нонка разошлась: и новую ферму ей построй, и то купи, и это сделай. Правление кооператива не знало, куда от нее деваться. В селе только и разговору было: наша свинарка то-то сделала, наша свинарка с тем-то поругалась... Тетка Колювица, что ни день, принималась умолять: «Доченька, сидела бы ты дома! Брось этих свиней, чтоб им пусто было, займись собой, ты ведь уже невеста; вон у людей дочери... Неужели в кооперативе не нашлось другой работы? Про тебя вся деревня судачит!»

Тетка Колювица говорила, а Нонка только посмеивалась и делала все по-своему. Отец, вместо того чтоб отчитать ее, довольно улыбался. «Давай, Нона, давай, такая ты мне и нравишься! Будет время, люди тебе в ножки поклонятся».

И то сказать, председатель Марко, как встретит тетку Колювицу, каждый раз говорит: «Дай бог тебе здоровья, тетка, какую дочку вырастила. У нее прямо все горит в руках». Да и все в один голос говорили о ней с одобрением. Слушала тетка Колювица, как дочь нахваливают, и таяла от удовольствия. Но вместе с радостью свалилась и новая забота. Подросла Нонка, заневестилась, а норовит все делать по-своему. Того и гляди споткнется, да потом всю жизнь промается, все глаза проплачет. Замужество — дело такое: ошибешься — не поправишь, стисни зубы и терпи. Тетка Колювица глаз с Нонки не спускала, старалась разузнать, не встречается ли она с кем. А с тех пор, как начала Нонка ходить на посиделки, тетка Колювица примечала, какое платье она надела, когда домой возвратилась, весела или встревожена. Непокорный Нонкин нрав пугал мать. Возьмет увяжет ночью вещички в узелок да убежит с кем-нибудь.

Долго прислушивалась и присматривалась тетка Колювица, теряясь в догадках, пока однажды, с месяц назад, Рачето не проговорилась, что Нонка влюбилась в Петра Пинтезова. В шутку ли сказала Рачето или всерьез, расспрашивать тетка Колювица побоялась, но с тех пор успокоилась. Парень — лучше и желать нельзя! Она и так и эдак прикидывала — выходило, что он ей по душе. Семья его в почете, и отец и мать— люди хозяйственные. Во двор ли заглянешь, в дом ли войдешь — все честь по чести прибрано, все на своем месте. А парень весь в родителей:

представительный, разумный. Только из армии вернулся — бригадиром сделали. Самый подходящий жених, со скрытой радостью думала тетка Колювица, только не знала, как завести разговор с мужем, как заранее его подготовить.

— Так ведь это сон, не наяву же. Ты и рад ни за что ни про что наброситься на человека,— проворчала она.

— Не можешь сна порядочного увидеть — не суйся! — отозвался дядя Колю и, откашлявшись, добавил: — Рано нам о таких делах думать. Дитя она еще, невдомек ей все это.

— Как же! — приподнялась на подушке тетка Колювица. — Какая девка вымахала, а все невдомек! Только и знает, что на вечера бегать. На ферме освободится — и прямо в клуб. Ясное дело, там со всего села парни собираются. Как бы, думаю, не завлек ее кто. Разве поймешь, что у девки на уме.

— Так она и завлеклась! Ты, гляди, при ней не болтай, а то надоумишь, пожалуй.

— Очень мне нужно! Я только тебе... Вот и подросла у нас дочка! — с нежностью проговорила тетка Колювица. — Скоро, бог даст, девятнадцатый пойдет. Того и гляди, кто-нибудь в нашу дверь постучится. К ней каждый посватается, во всем селе такой не сыщешь.

— Верно, второй такой нет! — согласился дядя Колю. Нонка была его любимицей, он всегда и во всем становился на ее сторону, гордился, что она похожа на него. Что скажет — сделает. Голова на плечах есть. Но до сих пор дядя Колю не замечал, что Нонка стала взрослой. А ведь правду сказала жена, постучит завтра кто у ворот — и придется расставаться с дочкой. Люба была ему Нонка, милее всех детей. Но разве молодость остановишь? Она свое возьмет. Его тоже разобрало любопытство, не вскружила ли Нонка кому-нибудь голову? Мать, небось, кое-чего разузнала, неспроста на всякие сны намекает.

— Уж не приискала ли она себе кого, а? — спросил он.

Тетка Колювица только того и ждала. Но сразу всего не выложила, решила начать издалека.

— Иван Керезов, говорят, за ней увивается.

— Кто? Этот квелый? От ворот поворот!

— И Недялко-тракторист, — приврала тетка Колювица.

— И этот мимо! — рассердился дядя Колю. — Всем им красная цена — пятачок пучок. Я свою дочь за таких не отдам.

— Почему? Недялко вовсе не плохой парень, Колю. Его и за работу хвалят.

— Ну и зря хвалят! — дядя Колю разозлился не на шутку.— Ты ее построже держи, если я что услышу, тебе первой голову оторву.

— Она девушка неглупая, с кем попало не свяжется, а там — кто ее знает! — в притворном раздумье проговорила тетка Колювица. — Вчера Рачето мне говорит: «Ну, тетя, скоро, наверно, на свадьбе потанцуем!» — «Это на чьей же?» — спрашиваю.— «На Нонкиной».— «А кто жених?»— «Петр. Знала бы ты,— говорит,— до чего он сохнет по Нонке».— «А она как?» — спрашиваю. — «И она, тетя, и она-а!»

Сама испугавшись своей лжи, тетка Колювица умолкла. Молчал и дядя Колю, заслушавшись, как поет весенняя капель.

Потом спросил:

— Это какой Петр? Пинтезов, что ли?

— Он самый.

Тетка Колювица увидела, как дрогнули усы дяди Колю, побежали по щекам морщинки. Его улыбка придала ей смелости, она тихонько добавила:

— Петр парень неплохой.

— Ты уже пригляделась? — осадил ее дядя Колю.

— Слова тебе сказать нельзя! Слава богу, свой, деревенский, знаем друг друга. Парень хоть куда, но, конечно, дело ее. Рачето говорит: «Тетя, он у нее на сердце, он, больше никого». Я ей говорю: «У нее на сердце, может, и он, а вот у отца, может, кто другой».

Дядя Колю понял, куда клонит жена. Положив руки под голову, он долго вглядывался в синеватый квадрат окна.

— Я ей мешать не стану. Она не то что старшая, поумнее будет. Парень и впрямь неплохой. Но, по совести, не лежит у меня душа к этим Пинтезовым. Бирюки они. Ходили мы со старым Пинтезовым как-то на пристань — за всю дорогу слова не проронил. Молчит, как пень. Не то чванится, не то еще что. Нет, не люблю я таких людей.

— Да и много ли от слов капиталу наживешь! Сын не в отца пошел.

— Что верно, то верно. В работе он вроде дельный.

— По правде сказать, Колю, — разоткровенничалась тетка Колювица, — нравится мне этот парень. Не ошибется Нонка, если пойдет за него. Ты как думаешь?

Не решился дядя Колю расспросить, как далеко зашло у Нонки с Петром. Однако понял он, что любят они друг друга. Ревность сжала сердце. Горько ему стало: «Выходи дитя, выкорми да вырасти — и отдай чужим людям. Да еще какому достанется, один господь бог знает. Хотя бы этот Петр. Так посмотреть — вроде все хорошо. Но ко двору ли им Нонка? У нее душа открытая, чистая, как ясное небо. А Пинтезовы — люди хмурые, у них каждое слово на вес золота. Чужой она будет у них». Дядя Колю понимал, что мать передаст Нонке каждое его слово, и не знал: то ли говорить, то ли нет. Не хотелось ему огорчать Нонку, не хотелось, чтобы она думала: «Вот оно что, выходит, он отцу не по нраву».

— Неволить ее не стану! — проговорил он наконец, подавив сомнения. — Насчет старшей я, было дело, слово свое сказал. Но тогда времена были другие, и я другой был. Вот и все.

Он уставился в потолок и умолк.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Больше двух недель прошло с того вечера, а Нонка с Петром так и не встречались. Старик Пинтез где-то простудился и теперь сидел у печки, накинув короткий тулупчик на плечи, и молчаливо что-нибудь делал: лущил кукурузу для кур, сколачивал какой-нибудь расшатавшийся стул или чинил порвавшийся недоуздок. Вся тяжелая работа по хозяйству легла на плечи Петра. Он таскал матери воду из колодца, колол дрова, расчищал снег перед домом, кормил и поил скотину. И в ТКЗХ * случалась кой-какая работа, бригадиров все чаще стали созывать на совещания, которые иногда затягивались до полуночи.

В свободный вечер Петр бежал в клуб, оттуда — на посиделки, но Нонки нигде не было. Несколько раз вечерами выходил он к околице, думал, дождется ее, вглядывался в сгущавшиеся синеватые сумерки, но напрасно.

Нелегко было Петру решиться пойти на ферму. Из самолюбия он пытался себе внушить, что Нонка вовсе не избегает его и только глубокий снег да работа на ферме мешают ей бывать в селе. Как-то вечером, проходя мимо Нонкиных ворот, Петр неожиданно увидел ее. Она стояла в освещенных сенях дома. Пришла, видимо, кружным путем, словно подозревая, что он поджидает у околицы. И в этот вечер Нонки не было на посиделках. От него ли пряталась или по дому были какие дела?

* Трудовое кооперативное земледельческое хозяйство.

Чем ближе подходил он к ферме, тем сильней становилась тревога: что если Нонка встретит его холодно и безразлично?

В тесном коридорчике фермы его встретил дедушка Ламби, в белом халате, из-под которого виднелись домотканые штаны. За ним, в глубине коридорчика, стоял высокий, худой парень со светло-синими глазами. Петр сразу его узнал. Это был Калинко, свиновод из Житницы, который в тот вечер, в клубе, не сводил с Нонки глаз.

— Добрый день, дедушка Ламби! Зашел спросить, нет ли у вас поросенка для продажи, да вот... — начал было Петр, но старик оборвал его на полуслове, укоризненно покачав головой и указывая рукой на дверь:

— Странные вы люди, ей-богу! Никак не научитесь входить на свиноферму. Идут себе, понимаешь, как в хату. Не видишь ты разве, что снаружи корытце стоит с дезинфекцией. Не ворон ведь поить мы его поставили. Окуните сапоги в дезинфекцию, постучите в дверь и подождите, пока вам откроют. А вы знай прете напролом.

— Извини, дедушка Ламби! — проговорил Петр, сконфузившись не столько от ворчанья старика, сколько оттого, что, может быть, Нонка где-нибудь поблизости и слышит, как его отчитывают. Да и Калинко улыбался какой-то заговорщической, насмешливой улыбкой. «А этот свинарь чего ухмыляется?» — подумал Петр, и что-то больно кольнуло его в сердце. Ему стало не по себе, он понял, что попал в глупое положение.

— Ну, полно, будет кричать-то, ничего страшного не случилось! — проговорил Петр тихим, глухим голосом.

— Как же не кричать, милый человек! Добро бы ты один такой был. А то ведь сколько сюда народу ходит, и каждого учи. Так-то вот... — тенорком пропищал дед Ламби.

Петр нахмурился и пулей выскочил вон, изо всей силы хлопнув дверью.

Нонка в это время была в свинарнике. Услышав за стеной голоса, она выскочила в коридор и из-за плеча дедушки Ламби увидела спину какого-то человека в полушубке, быстро шагавшего к воротам.

— Кто это был, дедушка? — спросила Нонка, но еще прежде чем он успел ответить, узнала Петра.

Она почувствовала, что щеки заливает румянец, и убежала к себе.

Нелюбезный, даже враждебный прием озлобил мнительного, самолюбивого Петра. Он с неприязнью вспоминал то грубую выходку старика, который выставил его за дверь, уж, конечно, не без ведома Нонки, то молчаливую, самодовольную улыбку Калинко.

* * *

Погода испортилась. Снег больше не шел, но поднялся холодный ветер и замел все пути-дорожки. К вечеру ветер стихал, и люди ходили в гости друг к другу, на гулянки и посиделки.

Тоскливо и одиноко бывало Петру по вечерам. Не радовали его веселые песни и танцы на посиделках, а он все-таки продолжал на них ходить. Множество чувств теснилось в его сердце, жадная молодость томилась по любви и ласке. Время от времени отправлялся он к Рачето взглянуть, нет ли у нее Нонки, но с полпути поворачивал обратно. Упрямая пинтезовская гордость тянула назад. И случилось так, что снова оказалась на его пути Марийка.

Давняя, но непрочная дружба связывала с нею Петра со времен его службы в армии. Он часто бывал у нее на посиделках в считанные вечера коротких своих отпусков. Ему нравился ее веселый, беззаботный характер, сладки были тайные поцелуи, которые она дарила с безогляд-

ным легкомыслием. Уезжая на далекую заставу, где он отбывал службу, увозил Петр с собой веселую, беззаботную девичью улыбку, а воспоминания о тайных поцелуях согревали одинокое солдатское сердце. Марийка писала длинные, задорные письма. Они приходили регулярно, и Петр привык к ним, они стали ему необходимы. Он тоже писал, но сдержанно и редко, с оглядкой. Ему нечего было ей сказать, и, кроме того, опасался он, как бы письма не попали в чужие руки.

Вскоре Марийка призналась, что любит его. В каждом письме, в каждой строчке она, с присущей ей бесстыдной откровенностью, требовала от Петра любви, а белые поля страничек были испещрены алыми отпечатками ее сочных и жадных губ.

Сердце Петра не принимало этой пламенной страсти. Холодно и спокойно отвечал он на Марийкины письма, пытаясь все обернуть в шутку. Он боялся более серьезных отношений, считая Марийку женщиной легкомысленной. В ее красоте было что-то привлекательное и порочное. В глубине души он испытывал необъяснимый страх перед этой красотой, способной довести до беды. Он даже стыдился, что между ним и Марийкой существует какая-то связь. Боясь, что в селе узнают об этой связи, решил он оборвать ее раз и навсегда. Он не писал Марийке до самого конца своей службы. Но, вернувшись после демобилизации домой, сам, первый, отыскал ее. Он не спрашивал себя, что снова привело его к ней после столь длительного молчания. Не спрашивала и Марийка. В это самое время на одном из молодежных собраний повстречал он Нонку. Она сидела как раз напротив, и он, взволнованный, долго смотрел на нее. С тех пор черные Нонкины глаза с длинными ресницами, смуглое лицо, стройная фигура не выходили у него из головы. «Она!» — шепнул ему какой-то внутренний голос, голос сердца...

Марийка и на этот раз приняла и простила его, как блудного сына. Обрадовалась, не знала, как угодить, одаряла улыбками, весело щебетала. Не упрекала его за увлечение Нонкой, а только с простодушной, спокойной уверенностью сказала:

— Я знала, куда б ты ни пошел, что бы ни сделал — все равно вернешься ко мне. Каждого тянет туда, где его поймут и утешат...

Слова эти поразили Петра, он уловил в них какой-то смутный, тайный смысл — то, что всегда пугало его.

«Странная женщина! — с неясной тревогой думал он.— Добрая она или просто легкомысленная? Неужели и впрямь одного меня любит и будет любить до могилы, как писала когда-то? Отчего она такая спокойная, не ревнивая, словно опутала меня какой-то сетью и уверена, что, стоит только ей захотеть — и может притянуть к себе?»

Он не мог найти ответа на эти вопросы. Какое-то странное безволие, обычно ему не свойственное, овладело им. Он видел, что отношения с Марийкой заходят все дальше, что об этом неминуемо узнают в селе, но продолжал бывать у нее.

Как песок медленно и неуклонно оседает на речное дно, так постепенно в глубине его сердца улеглась глухая тревога. Ее вытеснила чувственная страсть.

Прошел месяц, второй. Петр часто виделся с Марийкой, привыкнув к встречам и близости с ней. Ее ласки, такие искренние и страстные, кружили голову, словно крепкое старое вино. Домой он возвращался за полночь, с пересохшим ртом и опухшими веками, засыпал со сладостной усталостью пьяного, и всю ночь снилась ему... Нонка.

Подошло время сева. Бригаде Петра был отведен участок у рощицы акаций. Однажды Петр отправился в село за газетами и, получив их, пошел обратно. По обе стороны дороги застенчиво зеленела первая весенняя травка. Над коричневым бархатом пашен дрожал теплый воздух.

Петр шел, насвистывая и с рассеянной улыбкой окидывая взглядом поля. Он был в легком пиджаке, без шапки. Солнце, хоть и не сильно, но усердно припекало спину, а лицо обдувало прохладной свежестью весны, и под расстегнутой рубахой пробегал ласковый, приятный озноб.

Когда он поравнялся с рощей, откуда ответвлялась дорога на ферму, навстречу ему из-за акаций вышла Нонка. Она оказалась так близко, что Петр был застигнут врасплох. Если б он заметил ее издалека, то, наверно, вспомнил бы о том, как его выпроводили с фермы, о долгом, обидном Нонкином молчании и, едва поздоровавшись, гордо прошел бы мимо. Но все произошло слишком неожиданно... Он протянул ей руку. Сердце так сильно колотилось, что он не мог с ним совладать, топтался на одном месте, бормотал что-то несвязное и не сводил с Нонки глаз. Прежнее мучительное чувство, которое он долго подавлял, нахлынуло с новой силой. Заметив, как Нонка взволнована и смущена, он понял, что она тоже его любит. Вмиг отлетели все сомнения, его охватило неудержимое желание обнять ее и поцеловать. А она молчала и дрожащими руками то завязывала, то снова развязывала концы косынки... Только раз, быстро и словно удивленно, взглянула на него и сказала:

— Тороплюсь я. Мне нужно в село, агроному по телефону позвонить.

Петр отступил в сторону, уступая ей дорогу.

Не успела Нонка и шагу сделать, как вспомнились ей долгие бессонные ночи, когда она мечтала об этой встрече, противоречивые чувства и сомнения. В своих затаенных девичьих мечтаниях она любила Петра задолго до того, как в первый раз увидела вблизи, а после вечера в клубе окончательно отдала ему свое сердце. Взбудораженная первым чувством, она несколько дней ходила сама не своя и думала лишь о том, когда снова увидится с Петром. Именно тогда и закралось в ее душу неясное, неотвязное сомнение: вдруг Петр не любит ее вовсе? Она вспомнила суровое и, как ей показалось, безразличное выражение его лица в тот вечер, когда сама она так волновалась, и дерзкую самоуверенность, с которой он вызвался проводить ее до дому. Ей думалось, что Петр — человек гордый, с большим самомнением, ухаживает за ней только из мужского тщеславия и не ответит взаимностью на ее искреннее чувство. Мысль о неразделенной любви оскорбляла ее гордость. И когда Рачето намекнула, хоть и довольно туманно, насчет тайной связи Петра с Марийкой Кутевой, Нонка решила подольше не показываться в селе. Знала, что стоит ей только встретиться с Петром, она влюбится в него еще сильней, и тогда пути назад не будет. Теперь, сделав движение, чтобы уйти, она ощутила, как сердце сжалось в страшном предчувствии, что она потеряет Петра навсегда. «Глупая! Я ведь люблю его, зачем же я ухожу?» — горько укоряла она себя, как вдруг почувствовала, что у нее темнеет в глазах. Словно во сне, вспоминалось ей потом, как Петр вдруг обнял ее за плечи, как положила она свою пылающую голову к нему на грудь, как вырвалась из его объятий и бегом, в слезах, кинулась назад, на ферму...

Дед Ламби присел на лавочке покурить да погреться на мартовском солнышке. Не успел он докурить цигарку, как увидел, что по дороге бежит Нонка, а из рощи вышел какой-то мужчина и направился к участку, где с утра работала бригада. Дед Ламби приложил руку козырьком к глазам, узнал Петра Пинтезова. «Этот разбойник что-то, видать, натворил»,— с беспокойством покачал он головой и еще издали крикнул Нонке:

— Ты чего вернулась, Нона?

Нонка поправила косынку, попыталась улыбнуться.

— Так просто, дедушка...

— Как это «так просто»? Ты погляди на себя...

— Змею увидела на дороге. Большую такую! Вот и испугалась...

— Змею? — притворно удивился дед Ламби. — Какие змеи об эту пору, милая! И муравьев не видно, а ты — «змея»!

— А я почем знаю? — ответила Нонка и, пряча лицо, заторопилась к себе.

— Выпей маленько водицы, чтоб сердце отошло. В эту пору змею увидать, можно сказать, не к добру! — бросил вдогонку старик и снова запалил свою цигарку, которая успела погаснуть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Свиноферма находится в самом красивом уголке земель нашего кооператива, в Брестаке. От села до нее километра два. Сначала дорога пересекает речушку-безымянку, одну из то и дело пересыхающих добруджанских речек, на которую житель гор и не взглянет, а для добруджанца, не избалованного влагой, и она благодать. Украшая однообразный пейзаж равнины, легконогой девчонкой мчится речка напрямик через поля и луга, но у самого села ей преграждает путь высокий холм. Плутовка-река обегает его и готова снова мчаться вперед, как вдруг, словно утомившись, течет дальше лениво и тихо. Прозрачные ее воды, утихомирившись, то окрашиваются красноватым отсветом золотистых песчинок, то веселят взор многоцветным отражением берегов. Век на нее гляди — не наглядишься, не наслушаешься тихого журчания, особенно по ночам, когда луна и звезды сходят, чтоб окунуться в прохладной воде. Там, где река пошире, перекинут деревянный мостик. Подпорок у него, что ножек у сороконожки, но особенно на них не надейтесь: иной раз они вдруг неожиданно отваливаются и можно полететь в воду.

Если с вами ничего такого не случится, считайте, что вы в Брестаке. Когда-то был тут целый лес красавцев-вязов, но его вырубили. Уцелели только два вяза-исполина, застывшие стражами по обе стороны поляны. На каждом из них гнездятся аисты. Осенью птицы со всем своим выводком улетают на юг, а весною возвращаются на старое место только две пары. Никто не знает, кто возвращается в родное гнездо — дети или родители, но родословную аистов ведут у нас еще с прадедовских времен. Эти кроткие, задумчивые властители добруджанского неба — живые свидетели истории не только нашего села, но и всей многострадальной Добруджи. Поэтому они у нас в особом почете.

Кроме вековых вязов с гнездами аистов да тучной травы, упоительного воздуха и бескрайнего синего неба, нет в Брестаке других достопримечательностей. Но наши односельчане воздавали должное красоте этих мест. Много лет никто не косил в Брестаке и не пас скот. Облетали лепестки алых маков, высыхали буйные травы, тосковала до поздней осени в одиночестве пахучая ромашка. Наши крестьяне собирались на поляне только по большим летним праздникам. В густой тени вязов садились за общую трапезу, отдыхали, толковали о том о сем, молодежь танцевала посреди поляны хоро. На пасху густая трава покрывалась пестрой скорлупой крашеных яиц. Теперь в Брестаке празднуют Первое мая и Девятое сентября *.

Прошлой весной, когда на вязах только-только набухли почки, а ромашки еще не надели свои белые венки, появились в Брестаке трое: председатель нашего кооператива Марко Велков, ветеринарный врач Райков и секретарь партийной организации Иван Гатев. Они постояли посреди поляны, записали что-то, потом пошли к реке и долго о чем-то спорили. Спустя несколько дней в Брестаке начали строить свиноферму. Марко,

* 9 сентября 1944 г. — день освобождения Болгарии.

что ни день, навещал каменщиков, наблюдал, как идет работа, и приговаривал: «Наша свиноферма должна стать самой лучшей во всей околии! Знали бы вы, какого нагоняя нам дали в комитете партии за то, что мы еще не выстроили новой свинофермы!»

Ферма вышла на славу. Ее оштукатурили, побелили, оборудовали по всем правилам, обнесли забором и оставили местечко для небольшого фруктового сада. Построили также две комнаты для свиноводов. Когда все было закончено, перегнали свиней из старого свинарника, и жизнь на ферме началась. Тут-то и выяснилось, что наши свиноводы, дед Ламби и Нонка,— не только люди хорошие, но и работники стоящие. О Нонке и говорить нечего. Слава о ее делах шла по всей околии. Но и дед Ламби, даром что ему шестьдесят, оказался стариком работящим и умелым, хотя до крайности самолюбивым. У этого тщедушного, говорливого человека с тонкими усиками и хитрыми черными глазками привычка при ходьбе подскакивать. Его большая овечья шапка всегда сдвинута набекрень, правда, не столько от лихости, сколько из-за небольшого физического недостатка: в детстве соседская собака отхватила ему ухо, шапка и сползает влево. Он был одинок и поэтому сильно привязался к Нонке. Сначала, правда, все было по-иному. Совместная их работа началась с недоразумений.

Дед Ламби тогда был единственным свиноводом в нашем кооперативе. Сын у него погиб молодым в Отечественную войну, обе дочери были выданы замуж в дальние села, старуха — то ли от тоски по сыну, то ли от болезни — лет шесть назад умерла. В ту пору в селе организовывали сельскохозяйственный кооператив. Помыкался дед Ламби денек-другой в опустевшем своем домишке, а на третий день отправился в правление. Поглядел, какая там суета, оживление, как люди вступают в кооператив, сдают скот в общественное пользование, и почувствовал себя совсем одиноким и никому не нужным.

Войдя в правление, он не сразу заговорил с председателем. Приткнулся за дверью и, только когда народ разошелся, придвинулся к столу. Хотя они с Марко были соседями, дед Ламби почтительно, словно перед прежним околийским начальником, сдернул с головы шапку и спросил:

— А со мной, пропади я пропадом, что делать думаете?

Марко был чем-то занят и не расслышал.

— Со мной-то, говорю, что делать думаете? — повторил старик, часто моргая.

— С тобой? — переспросил Марко. — Собакам бросим.

— От меня, можно сказать, собаки, и те откажутся.

— Будет тебе, дед Ламби, в чем дело, говори?

— Что говорить? Остался я один-одинешенек и норовлю, словно кукушка, в чужое гнездо залезть. Ты мне ответь: таких, как я — у кого и силы не те, и земли своей нету,— вы таких к себе принимаете? — дед Ламби опустил голову и стал пристально рассматривать свою палку.

— Больно рано ты в старики записался, дед! — пошутил кто-то, все засмеялись.

— Ничего, ты еще в дело годишься, — сказал Марко и дал ему подписать заявление о приеме в члены кооператива.

Не прошло и месяца, как деда Ламби назначили свиноводом. Дали ему пять тощих маток, одного кособокого борова и сказали: «Вот присматривай».

Эта должность пришлась деду Ламби по вкусу, главным образом тем, что показалась нетрудной. Велика ли хитрость ходить за свиньями?

Остальные члены кооператива волновались, спорили, ссорились. Одни крестьяне, вспотев от долгих раздумий, решались вступить в товарище-

ство. Другие, растерянные, злые, требовали обратно свою скотину и инвентарь. В это время дед Ламби спокойно замешивал свиньям корм, поил их, а присматривать — они сами за собой присматривали.

Свиноферма была просто-напросто утопавшим в грязи круглым сараем, сплетенным из дубовых прутьев и крытым кукурузными стеблями. Свиньи целыми днями барахтались в грязи, а проголодавшись, просовывали головы сквозь прутья, оглашая весь двор хрюканьем.

— Будто звери лютые! Попадись им — на куски разорвут! — говорил дед Ламби, наливая в корыто пойло. Никто в его дела не вмешивался. Иногда заглянет к нему Марко, посмотрит через забор на грязных свиней, спросит:

— Как, слушаются они тебя?

— А чего им меня не слушаться? Задам им корму, они, можно сказать, нажрутся и рады. Вот, правда, грязи многовато. Кажется, чистишь, чистишь, а она, словно на дрожжах, всходит. Но ведь свинья — она без грязи не может.

Заглядывала к нему и Нонка. Полюбуется на поросяток, поболтает со стариком и уйдет. Как-то однажды Нонка постояла у забора, посмотрела на поросят и спросила:

— Дедушка, возьмешь меня к себе в помощницы?

Дед Ламби, занятый в это время починкой забора, воспринял Нонкины слова как шутку.

— Ручки перепачкаешь, женихи любить не будут,— сказал он и, оглядываясь, не нужно ли еще где подправить ограду, спросил:

— Ну как там, отмолотились уже?

— Отмолотились. Но ты все же ответь, берешь меня в помощницы или нет? — настаивала Нонка.— Больно мне по душе эта работа.

И так она это сказала, проклятая девчонка, что дед Ламби понял — не шутит она. Старик уже слыхал, что в некоторых деревнях теперь за свиньями и прочей скотиной ухаживают женщины, и подумал: «Бьюсь об заклад, что у этой то же самое на уме». Вспомнил он, что Нонка повадилась сюда с самой весны. При мысли, что она займет его место, сердце у него сжалось, но выпроводить Нонку он не мог. Да и что толку? Придет к председателю, потребует, чтобы ее поставили свинаркой, а тот возьмет и поставит!

— Охота тебе, девка, возиться со свиньями,— как бы между прочим, но несколько заискивающе проговорил он.— Это работенка для таких, как я. И мне на старости лет хлеба кусок, и кооперативу польза: не надо молодых от дела отрывать.

— Нет, дедушка, неверно это. Свиноводство — дело очень важное. Наш кооператив может выстроить такую свиноферму, каких ни у кого вокруг нету. И место подходящее есть — Брестак.— Она внимательно оглядела животных, нахмурилась и, словно про себя, сказала: — А здесь не ферма, а помойная яма.

Ох, и разобиделся тогда на нее дед Ламби! Стащил с головы шапчонку, долго и внимательно разглядывал подкладку, потом ехидно прищурился и сказал:

— Ты бы взяла да выстроила новый свинарник!

— Почему я? Кооператив выстроит.

— Все может быть...— и старик, взяв топор, без всякой надобности стукнул раза два по забору.

А Нонка, словно нарочно, продолжала:

— Выращивать свиней — дело не простое. Вот вчера прочитала я в одной книжке...

Дед Ламби подскочил, как ужаленный, и подступил к Нонке, протянув свои заскорузлые руки:

— Мои книжки, девушка, вон где! Коли б я книжки читал, я бы в попы пошел, а не в свинопасы.

Нонка смутилась, не зная что сказать. А старик не унимался:

— Ишь, какая языкатая выискалась! Над старым человеком смеяться вздумала? Вот ты для чего тут вертелась, словно лиса, можно сказать, вокруг курятника? Критику наводить? Еще молоко на губах не обсохло, а туда же — критиковать!

Он зажмурился и так яростно подтянул штаны, что Нонка чуть не расхохоталась. Это разозлило деда еще больше.

— Духу твоего чтоб здесь не было! Слышишь? А не то...— и, повернувшись спиной, торопливо зашагал по двору.

Нонка так и осталась стоять на месте — смущенная, растерянная. Потом догнала его и сказала:

— Хочешь не хочешь, дедушка, а правление меня назначило сюда. С завтрашнего дня приступаю. Не веришь — спроси председателя.

Дед Ламби запустил руку в глубокий карман штанов, вытащил коробочку с крепким табаком и только после того, как хорошенько затянулся, упавшим голосом спросил:

— На мое место, выходит?

— Почему на твое? Тебе в помощницы.

Старик с грустью посмотрел вокруг и опять затянулся. Нонке стало жаль его, и она с участием сказала:

— Правление, дедушка, запланировало вырастить в будущем году двадцать свиноматок. Одному тебе не справиться. Будем работать вдвоем.

— Раз правление приказывает, мое дело подчиняться. Подчиняюсь, ясно? — подавив обиду, проговорил дед и пошел к складу.

Так началась их совместная работа. Первое время дед Ламби тяжело переживал назначение помощницы. Он привык быть сам себе хозяином и не желал, чтобы в его дела совались. Но это еще полбеды, с этим можно примириться. Больше всего боялся он, как бы Нонка вовсе не оттеснила его от работы. Девка она шустрая, проворная. Тогда придется ему возвращаться в одинокую свою хатенку и там одному доживать век. А какое житье одному! Он уже успел привязаться к этим свиньям, чтоб им пусто было! Даже вечером, вернувшись домой, не переставал думать: какого корма им завтра дать, где что почистить в свинарнике, как вылечить захворавшего поросенка... Позабыл про свое одиночество, зажил, как люди, и — на тебе! Вызовут его в правление и скажут: «Ты, мол, уже стар, пора дать дорогу молодым, а твое дело теперь отдыхать да полеживать». Так он и сдохнет один-одинешенек в пустой заброшенной хате.

Первые дни дед Ламби ни к чему не притрагивался, хоть руки и чесались поработать. Слонялся по свинарнику, что-то бормоча себе под нос, стараясь не показывать обиды. Иногда даже усмехался, но это скорее походило на всхлипывание. Когда Нонка спрашивала деда о чем-нибудь, его так и подмывало сказать: «Чего спрашиваешь? Ты ведь у нас шибко грамотная, книжки читаешь!» Но он с достоинством молчал. Одна-единственная надежда теплилась в его душе: рано или поздно девчонка сама сбежит из свинарника. «Ходить за свиньями с такими белыми ручками — это не вязать или, к примеру, за прялкой сидеть. Пусть пригонят еще двадцать голов, тогда мы ее голубушку, спросим, легко ли свиней выхаживать. Тогда и я брошу это дело, пускай правление выкручивается как знает».

Когда поблизости случался народ либо председатель заходил взглянуть, как управляется новая свинарка, дед Ламби, усмехаясь и не выпуская изо рта цигарки, изрекал тоном опытного мастера, передавшего дело в верные руки:

— Молодая! Кровь кипит, как у резвого козленка. Куда нам до нее! Гнилой пень, можно сказать, и на дрова не идет. Где нам за молодыми

угнаться, товарищ председатель,— со значением добавлял он, поглядывая на Марко.

Прежде чем строить новую ферму, правление пригласило на совещание обоих свиноводов. Материалы уже были доставлены, спорили только, где поставить ферму. Вначале совещание шло спокойно, но под конец страсти разгорелись. Заместитель председателя Тодор Кутев настаивал, чтобы строить ферму у самого села. «Если строить далеко,— доказывал он,— придется выделять коня и телегу для ее обслуживания, а это для кооператива убыток. Общественный скот следует держать поближе, чтобы люди видели, как и что».

Большинство правления соглашалось с Тодором главным образом потому, что не хотели губить такое красивое место, как Брестак. Против высказались только председатель, Нонка и бригадир животноводов Дамян. Мнение большинства брало верх, когда опять попросила слова Нонка. Она говорила быстро и взволнованно, отвечала на все вопросы так находчиво и разумно, что ей не могли ничего возразить.

— Кооперативное хозяйство,— сказала она,— строится не на год и не на два, а на сто лет вперед. Бай Тодор, как говорится, лев* на ветер кидает, а стотинку* в руке зажимает. Жалко ему, видите ли, телеги для фермы. Да ферма сто раз окупит этот расход и сколько доходу принесет! Одной пшеницей и кукурузой нам трудодни не повысить, а животноводство дает верный доход. Предлагаю выстроить ферму на пятьдесят свиноматок, чтобы года через два не пришлось приниматься за строительство нового помещения. Самое удобное для этого место — Брестак.

Не знаю, какое впечатление произвела Нонкина настойчивость на других, но дед Ламби, глядя, как она воюет с правлением, призадумался и сказал:

— Помяните мое слово, мороки с ней не оберешься.

К Нонкиным затеям он относился по-прежнему безучастно. Помогал ровно столько, чтобы не говорили, что он сидит сложа руки. Нонка ни разу и не просила его помочь, все делала сама. Но когда решался вопрос, какой пол делать в свинарнике — цементный или из досок, дед Ламби принял Нонкину сторону. Она доказывала, что пол должен быть дощатым, так здоровее для свиней. Но в кооперативе еще с прошлого года остался после стройки цемент, и жаль было тратить деньги на лес. Пришлось Нонке отправиться в околийский комитет партии и земельный отдел. Несколько дней спустя прибыл утвержденный план строительства —в точности такой, какого добивалась Нонка.

Одержать такую победу было нелегко, но главное началось, когда перебрались на новую ферму. Нонка первым делом вымыла все помещение, Дамян побелил стены и перегородки, провел дезинфекцию. Недавно назначенный бригадиром животноводов Дамян вначале неотлучно находился на ферме и работал наравне с Нонкой. Это был молодой, коренастый парень с широкими плечами и кроткими глазами. На первый взгляд он казался тихим и стеснительным, но на самом деле характер у него был настойчивый. В споре о ферме он был на Нонкиной стороне и всегда ее подбадривал:

— Держись! Хорошее ты дело надумала, не отступайся!

Если бы не Дамян, то одной Нонке, неопытной и по молодости лет не внушавшей доверия солидным людям, вряд ли удалось бы уговорить правление построить ферму, как нужно. Когда на ферме все было приведено в порядок, Дамян собрался в село.

— Пора за другие дела приниматься. Если вам что понадобится, дайте знать. Я буду часто наведываться.

---

* Лев — болгарская денежная единица. Один лев равен ста стотинкам.

— Большое спасибо, Дамян! Ты мне очень помог,— сказала Нонка.

Он набросил на широкие плечи пиджак, засмеялся:

— Хорошему делу грех не помочь.

Деду Ламби было неловко перед Нонкой и Дамяном.

И ему не терпелось взяться за работу, но никак не мог он первым пойти на мировую. Иногда, правда, притащит воды с речки, намешает корму или подметет, но все это казалось ему мелким и незначительным. Наконец старик, виновато улыбаясь, обратился к Нонке:

— А мне что делать?

— Отдыхай, дедушка.

— Я, можно сказать, не устал вовсе, Нона, — ее внимание тронуло старика, и он впервые с тех пор, как они стали работать вместе, назвал ее по имени.

— Как не устал! Я всегда, бывало, дивилась, как ты один управляешься.

Дед Ламби не помнил, чтобы он выбивался из сил на работе, но похвала была приятна. Несмотря на твердое намерение держаться поскромней, он заговорил о своих заслугах:

— Да, не легкое дело основать свиноферму. Как говорится, лиха беда начало. А по проторенной дорожке можно и на край света уйти.

Он покрутился между станками, умиленно пошмыгал носом над поросятами и снова обратился к Нонке:

— Ты говоришь — отдохни. Не привычен я сложа руки сидеть. Зря трудодни получать не намерен. Чем-нибудь да помогу тебе.

— Конечно поможешь, как же иначе? — ответила Нонка.— Вот, например, нужно бы смастерить тележку по ширине коридорчика между станками, корм развозить.

— Положись на меня. Будет тебе тележка. Сейчас же иду в мастерскую, и пока не сделают — не отстану! — Старик что было духу помчался в село.

С тех пор Ламби и полюбил Нонку, привязался к ней нежной стариковской привязанностью. А Нонка всегда находила для него ласковое слово, заботилась о нем. Белье ему выстирала «все до последней тряпицы» — как похвалялся он,— сшила новые рубахи, так его обрядила, что дед Ламби сам себя не узнавал. Раздобыв на складе белой материи, Нонка сшила два халата. Надел дед халат, ухмыльнулся и снял: люди, мол, засмеют. Нонка с Дамяном едва его уломали.

— В белом халате, можно сказать, покрасивей будет,— уступил он в конце концов.— Мы ведь тут дело делаем, а не баклуши бьем. Вот оно как.

В сдвинутой набок мохнатой шапке, в халате вид у него был уморительно важный. Чтобы не испачкать халат, он ходил, растопырив руки, боясь к чему-нибудь прислониться. Однако со временем дед привык и стал задирать нос перед теми, кто заходил на ферму. Разговаривал с важностью ученого фельдшера, заложив руки за спину. Лицо его округлилось, складки на щеках расправились. Нонка следила, чтобы он не оставался голодным; за эту заботливость старик еще больше полюбил ее.

— Это теперь не ваша дочка,— говорил он дяде Колю и тетке Колювице.— Нонка теперь моя. Ходит за мной, кормит, и я волоску с ее головы упасть не дам!

Глядя на Нонку, такую красивую да работящую, дед часто гадал, кто из деревенских парней ей по сердцу, за кого она замуж пойдет. Любопытство точило его, а спросить не смел. В тот день, когда он увидел, какой взволнованной вернулась Нонка с полдороги, а в парне, встретившемся ей, узнал Петра Пинтезова, дед Ламби понял — между ними что-то про-

изошло. Ему стало не по себе. Почему не нравились ему Пинтезовы, он и сам не знал, но не хотелось отдавать им Нонку.

Однажды, убедившись, что Нонка в хорошем настроении, дед Ламби приступил к тому, что давно собирался ей сказать.

— Знаю я ее, эту любовь треклятую... Похуже зубной боли будет. Скольким девкам на своем веку дед Ламби головы морочил! Вот оно как. Ничего тебе от меня не утаить... Смотрю я, с некоторого времени ты, можно сказать... с Петром-то Пинтезовым... вроде любовь у вас... А я, Нона, тебе вот что скажу: не по душе он мне. Калинко — тот мне больше по сердцу. Хороший парень, покладистый. С таким проживешь душа в душу. И с лица красив, и нравом кроткий. Ты меня слушай, я в этих делах собаку съел.

— Ну, а мне Петр Пинтезов нравится! — решительно заявила Нонка и вышла из комнаты.

С тем и остался дед Ламби...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Сухую солому подпали, и та не запылает так, как пылали их сердца. В праздники, на вечерах и посиделках — всегда вместе. Сколько ласковых слов сказали они друг другу, сколько пережили счастливых часов!

Но подошло лето, горячая пора полевых работ, и теперь они не могли видеться так часто, как прежде.

Петр за эти дни похудел, осунулся, волосы и усы выгорели, стали цвета пшеницы. Блеск его продолговатых карих глаз выдавал неутомимого, жадного до работы человека. Затемно поднимал он и выводил в поле свою бригаду. Скинув рубаху, поплевав на руки, он принимался за дело наравне со всеми. Глядя на него, вся бригада работала не разгибая спины.

Вечером, когда, вернувшись с поля, полумертвые от усталости, все засыпали непробудным сном, Петр не мог сомкнуть глаз. То ли от напряженного труда, то ли от жары стал он необычайно нервным, взбудораженным. Какая-то беспокойная сила клокотала в его жилах, не давала ни отдыха, ни покоя. Любовная тоска жгла его сердце, как выжигает землю летний зной. Часто выходил он за село и шагал по убранному полю напрямик к свиноферме, кружил вокруг и под утро возвращался усталый, разбитый, так и не повидав Нонки.

Когда Нонка в первый раз заметила его у ограды, она вздрогнула от испуга и неожиданности. Как ни упрашивал он ее постоять с ним немного, она сразу убежала в свою комнатку, боясь, как бы не увидел их дед Ламби. Но Петр стал появляться возле фермы чуть не каждый вечер, подкарауливая Нонку то у забора, то у речки — там, где склонялись над водой темные ивы.

Каждый день Нонка давала себе зарок не выходить вечером из дому, но чуть стемнеет, не находила себе места; чувствовала, как слабеет воля, думала только о встрече с Петром. Она бродила по двору, выискивая какое-нибудь дело, беспричинно улыбалась до тех пор, пока не мелькнет за деревьями силуэт Петра. Тогда в голове ее мигом возникали тысячи способов, как тайком от деда Ламби улизнуть с фермы.

Растревоженная, взволнованная, она с трудом вырывалась из объятий Петра. Настойчивость, с которой он каждый вечер искал встреч с нею, еще сильней распаляла ее любовь, но в то же время в сердце теснился страх перед этими встречами.

Один раз не вышла она на свидание, но потом всю ночь провела без сна. Разве уснешь, когда знаешь, что он ждет тебя с горящим взглядом,

тоскуя по тебе, тебе одной отдав свое сердце! Зачем она его мучает, зачем мучает себя, бежит от своего счастья, от этих упоительных летних вечеров, когда можно сидеть рядом с ним на берегу речки, смотреть в его глаза, слушать его голос.

На другой день подъехали к ферме мужчина и женщина из чужого села. Остановили телегу у ворот; мужчина остался с лошадьми, а женщина вошла во двор. Это была дочка деда Ламби. Сын у них тяжело заболел, не поедет ли дед повидаться с внуком? Старик надел свою антерию * и уехал с ними.

Вечер был теплый, тихий, какими обычно бывают вечера к концу августа, с яркими, немигающими звездами, напоенный сладким запахом свежего сена и созревших плодов. Прозрачные лиловые сумерки лениво раскинулись над полями. В селе замирали последние звуки трудового дня. Петр сидел на берегу речушки, в нетерпении обламывая и бросая в воду сухие веточки. Его бригада обмолотила последний сноп. Он помылся, надел новую рубашку и чувствовал прилив такой бодрости, так тянуло его к Нонке, что он едва мог усидеть на месте. Сквозь темные ветви деревьев светилось окошко Нонкиной комнаты. Вздрогнет желтый огонек в окне, вздрогнет и Петр, ждет, не послышатся ли ее шаги. Вскоре она пришла, запыхавшаяся, улыбающаяся. Петр вскочил, молча подхватил ее на руки и понес под ивы. Усадил на землю и сам сел рядом.

— Дед Ламби уехал, я теперь одна,— сказала Нонка, хотя только что решила не говорить об этом.

Петр крепко обнял ее, повернул к себе. Она смотрела на него, по-прежнему улыбающаяся, а он — затуманенными, невидящими глазами. Как жнец, изнывая от жажды, приникает пересохшими губами к фляге со студеной водой, так Петр прильнул к ее губам.

— Петя, Петя, что ты? — еле слышно проговорила она, задохнувшись, испуганная безумными его ласками.

Когда Петр, как ребенка, опустил ее на землю, она, ощутив холодок травы и глядя на большую яркую звезду, горевшую высоко в небе, думала словно в забытьи: «Что он делает?» Она поняла все, но не было ни воли, ни сил, чтоб подняться и вырваться из его объятий. Прохладная травинка, щекотавшая ее ухо, вдруг, вспыхнув, обожгла ее; голова закружилась... Яркая звезда сорвалась с неба, протянулась длинной серебряной нитью, и все звезды на небе сразу угасли...

Сумерки сгустились, из лиловых стали темно-синими. Речушка вновь принялась будить тишину своим журчанием, вновь зажглись на небе бледные, мерцающие звезды. Ивы в тяжком раздумье, с молчаливым укором низко склонились над речкой. С разметавшимися косами, с вспухшими от поцелуев губами Нонка лежала на руке Петра и гладила его твердые скулы, его волосы, шею. Ей хотелось что-то сказать ему, но к горлу подступил какой-то мучительно-сладостный комок...

Петр лежал на спине, отдавшись сладкой усталости, неподвижно глядя на серебряные огоньки Млечного Пути. Вдруг что-то обожгло его руку. Он обернулся к Нонке.

— Что с тобой? Почему ты плачешь? — спросил он, увидев, как блестят ее глаза.

— Я не плачу...

— Как же не плачешь? — он пальцем стер слезу.— Отчего, скажи?

Она уткнулась в его плечо.

— Молчи, молчи!

— Почему?

---

* Ватная куртка.

— Так...

С фермы донесся чей-то встревоженный голос.

— Мама пришла! — испуганно воскликнула Нонка.

Она вскочила, наскоро, дрожащими руками поправила волосы, блузку и помчалась на ферму. Вбежав в свинарник, она притаилась там. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет. А мать ходила по двору и все тревожней звала:

— Нона! Да Нона же! Ах ты, боже мой, куда это девчонка запропастилась!

Нонка услышала, как мать заплакала в отчаянии. Тогда она вышла из свинарника и отозвалась:

— Это ты, мама?

Тетка Колювица, как была с мешком за плечами, кинулась к ней с другого конца двора и долго еще не могла успокоиться.

— Где ты была?

— Здесь, где мне еще быть? Я спать легла, но только задремала — слышу, поросенок визжит. Я и встала поглядеть, не придавило ли его...

— Неужели ты не слышала, как я звала? Смотрю, свет горит. Вхожу — никого нету, зову — никто не отзывается. Чего только я не передумала!

— Тебе вечно что-нибудь взбредет в голову! — рассердилась Нонка.— Ты заходи, садись, а я сейчас.

Но тетка Колювица не отходила от нее ни на шаг. Куда Нонка, туда и она. Наконец схватила ее за руку и повела в дом.

— Как тут разным разностям в голову не полезть? В этакой глуши одна-одинешенька. Ни души живой вокруг,— говорила она, подталкивая дочь в комнату.— Были мы с отцом на бахче. Видим, дед Ламби едет. «В Сеново,— говорит,— собрался, внучек мой захворал. Нонка у меня сегодня одна осталась». Я и говорю отцу: «Пойду к ней переночую». Принесла тебе гостинцы: два арбуза.

Войдя в комнату, тетка Колювица опустила мешок на пол, достала арбуз. Потом взяла со стола нож и только принялась резать, да вдруг так и замерла с открытым ртом, уставившись на дочь.

— Ты сказала, что спала! Что ж ты только теперь постель стелешь? — спросила она упавшим голосом.

Нонка ничего не ответила. Тетка Колювица заметила, как она, вздрогнув всем телом, сдернула одеяло; заметила ее растрепанные, наскоро прибранные под косынку волосы, измятую блузку, и подозрение пронзило материнское сердце.

— Ты зачем меня обманываешь? — подступив к Нонке, она схватила ее за плечо.— Оставь одеяло, повернись, я на тебя посмотрю.

С той минуты, как мать вошла в комнату, Нонка стояла у постели, то оправляя одеяло, то опять комкая его, не зная, что сказать, что делать, куда деваться. Одна мысль билась в мозгу: только бы мать не увидала ее лица. «Как увидит, сразу поймет. Хоть бы не упасть», — думала она, чувствуя, что все тело у нее горит, колени подгибаются, силы тают. Когда мать схватила ее за плечо, она локтем оттолкнула ее и, словно обезумев, выкрикнула:

— Оставь меня! Что на меня смотреть?

Тетка Колювица выронила из рук арбуз, и тот, затрещав, покатился к дверям.

— Что смотреть? — глухо, со слезами в голосе проговорила она и, переведя дух, исступленно заголосила: — Ах ты, негодница, ах ты, разбойница! Так вот для чего ты здесь поселилась?

— Мама...

Упав на кровать, Нонка спрятала голову под одеяло...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ничто на этом свете не остается в тайне, не осталась в тайне и встреча Нонки с Петром у реки. Старая Пинтезиха проведала обо всем на другой же день. Рассказала ей о том соседка. Сын ее возвращался с поля и, проходя мимо фермы, увидел под ивами какую-то парочку. Он подкрался поближе и узнал Петра с Нонкой...

Пинтезиха только за голову схватилась. Ноги у нее подкосились, дух перехватило. «Ах я, дура старая! Где были мои глаза?»

С тех пор, как Петр вернулся из армии, она часто подумывала о его женитьбе и мысленно перебирала всех девушек в селе, но дочка Колювых ей и на мысль не приходила. Теперь вдруг — словно гром среди ясного неба. Пойдет по селу молва, дойдет до партийной организации — они ведь повсюду нос суют. Того и гляди вызовут Петра, стукнут кулаком по столу, да и навяжут эту свинарку!

Пинтезиха была одна в доме. Старик с утра отправился на мельницу, Петр со своей бригадой был на уборке кукурузы.

Она растопила печь и присела у огня. Смеркалось. Вскоре дрова в печи заполыхали, в кастрюле забулькало. Пинтезиха уставилась на огонь и задумалась. Она была убеждена, что это не любовь, а одно легкомыслие. Девка, говорят, бывалая, хитрая, вечно среди мужчин. Скромная девушка разве выйдет одна в поле в самую темень? Собой хороша, слов нет, но женская красота для мужчин вроде колдовства. Приворожит парня и делает с ним, что захочет. Тот и мать и отца родного позабудет. Петру нужна жена-домовница, чтоб детей народила, хозяйство вела. А эта, верно, в жизни хлеба не испекла, пола не вымела, только и знает, что за поросятами ходить. Возьмешь такую сноху, разве она дома усидит?..

Вспомнила Пинтезиха, как они с мужем в молодые годы обзаводились хозяйством, и сердце ее еще больнее сжалось при мысли, что в ее дом войдет какая-то непутевая девка. Явится на все готовенькое, все добро достанется ей. Старая Пинтезиха любила Петра больше всех своих детей. Само собой, и над дочерьми тряслась — приданое им собрать, замуж выдать, помочь на первых порах. Но Петр был единственным сыном. Ему предстоит заботиться о матери на старости лет, он закроет ей глаза, ему отдавала она бóльшую часть своего сердца. Но любовь ее не проявлялась ни словом, ни лаской — в их доме не приняты были всякие нежности. Так издавна повелось. И свекор ее и свекровь были люди хорошие, но сдержанные и молчаливые. И муж, Димитр, такой же: честный, работящий, справедливый, но строгий и скупой на слова. Пинтезиха свыклась с суровым его нравом и со временем сама стала походить на него. Заботилась о детях, учила их уму-разуму, но воли не давала, не баловала. Пока дочери ходили в невестах, в доме и посиделки устраивали, и песни пели, и танцевали, но все было честь по чести. Она неотлучно сидела с молодежью, следила, чтоб глупостей не натворили, непристойного слова не промолвили. А подходило время ложиться спать, она откладывала в сторону прялку, и это означало, что пора расходиться. Ее дочерям ни разу не случалось задержаться с парнем у колодца или где-нибудь на улице: «Как солнышко сядет, — говорила она, — девице на улице делать нечего».

Одного Петра она не держала в такой строгой узде. Рос он непокорным, упрямым. Иной раз не слушался, своевольничал. Начнет она браниться — Петр взглянет исподлобья, упрется, словно молодой бычок, и молчит. Весь, как есть, в отца! Когда подрос, бросил мальчишеские выходки. Занялся делом, ходил чистый, опрятный. До чего похож на отца в молодости — стройный, толковый да умелый, только не такой молчальник, как тот, и людей не сторонится. Собрание ли какое, вече-

ринка, кружок — он тут как тут. Люди его уважали, девушки стали заглядываться.

Пинтезиха гордилась сыном, радовалась и во всем старалась ему угодить. Чуть износится у него рубашка, она раздобудет денег и купит обновку, чтоб приодеть сынка. Когда он служил на границе, ни одной ночи мать не спала спокойно. Все ее мысли были с ним. Есть ли у него кому постирать, в сухих ли портянках ходит, тепло ли одет? Ведь граница все-таки, мало ли что бывает! Каждый месяц посылала ему посылки с продуктами да из вещей кое-что, чтобы он ни в чем не испытывал нужды. Только когда Петр вернулся из армии, отлегло у нее от сердца. Он стал работать в кооперативе, вскоре его поставили бригадиром. Начал парень хорошеть день ото дня. Прежде, до службы, был он худущий — кожа да кости, а теперь поправился, поздоровел — взрослый мужчина, хоть куда!

Пинтезиха рассчитывала женить его на самой красивой и ладной девушке. Она давно знала, что у Петра что-то было с Марийкой, еще когда он был в армии. Сама Тодорица ей рассказала, Марийкина мать. Это была давняя ее подружка, еще с детства. Они были из одного села, вместе росли, вместе на гулянки ходили. Когда случалось у нее дело в том конце села, Пинтезиха всегда заходила к Тодорице. Та была все такой же проворной и шустрой, какой Пинтезиха помнила ее в молодости. И дочка в нее пошла. Тоже домовница, всегда чистенькая и нарядная, как картинка. Сама себя обшивает, все девушки в селе перенимают у нее фасоны. Глядя на Марийку, белолицую да румяную, говорливую да приветливую, Пинтезиха думала: «Такую бы и взять в жены нашему Петру. И собой хороша, и свекрови угодит».

Поэтому Пинтезиха так опечалилась, узнав, что Петр тайно встречается с Нонкой. Такой ли награды заслуживала ее материнская любовь? Не посоветовался с нею, не попросил благословения, слова не сказал, кого собирается привести в дом матери. Но она любила сына, не могла на него сердиться и во всем винила одну Нонку. Заманила парня. Путалась с этим свинарем, с Калинко, а когда тот ее бросил, стала Петру на шею вешаться. Не бывать этому! Не бывать!

Дверь кухни отворилась. Вошел Петр. Нащупал на стене выключатель, зажег свет.

— Мама, ты что не спишь? — удивился он, увидев, что мать сидит в потемках одна.— Хоть бы лампу зажгла.

— К чему зря электричество жечь? Отца сижу дожидаюсь,— ответила Пинтезиха, вставая.— А ты где был так поздно?

— На собрании.

— Какие собрания по ночам? — она посмотрела на будильник. Было ровно двенадцать.

— Обыкновенное собрание. Мало ли о чем поговорить нужно. Собери-ка поесть, умираю с голоду.

Петр вышел. Слышно было, как он плещется у умывальника перед домом. Вскоре он вернулся, вытер полотенцем мокрые руки, сел за стол. Нетерпеливо барабаня пальцами, следил, как мать наливала суп. Как только она поставила перед ним тарелку, с жадностью набросился на еду, откусывая хлеб большими кусками.

— Ты уже ела, мама? — спросил он с набитым ртом.

— Ела, ела,— ответила Пинтезиха, садясь против него.

— Так чего не ложишься? Отец намелет муки и вернется. Нечего тебе его ждать.

— Не спится что-то. Подожду вот поешь, приберу со стола.— Сказав это, она опустила глаза. Побледнела, губы вздрагивают. Петру показалось, что она сердится на него за что-то, но он тут же забыл об

этом и стал думать о Нонке. Сегодня он не мог пойти к ней, а она, верно, ждала!... Вскоре он совсем забыл, что мать сидит против него, и все думал о Нонке, о вчерашнем свидании у реки. А мать глаз не сводила с него. Следила за каждым его движением, за тем, как он ест, старалась по выражению лица угадать, о чем он думает.

— Ты почему не ешь? — спросила она.

— Я ем,— и Петр, очнувшись, потянулся к тарелке.

— Нет, не ешь, а о чем-то думаешь. О чем?

Петр поглядел на мать, и снова ему показалось, что лицо ее бледней, утомленней обычного.

— Ты что, мама, не захворала ли? Что-то плохо выглядишь.

— Хоть бы и умерла, никто по мне не заплачет. Никому я теперь не нужна,— тихо и жалобно проговорила она, горестно качая головой.

Петр отложил вилку, отодвинулся от стола.

— Что ты говоришь, мать! Как это ты никому не нужна?

— А вот так. Выходила вас, вырастила, теперь я вам только помеха. Женишься ты завтра, так о матери и не подумаешь, все о жене. Мать нужна только до поры до времени, а потом она и плохая, и чужая.

— Тогда я вовсе не женюсь! — засмеялся Петр и, чтобы развеселить ее, пошутил: — Никогда не женюсь! Разве брошу я ради какой-то жены мать родимую?

— Ты уже женился! — сухо прервала его Пинтезиха и опять опустила глаза.— Хорошую жену себе выбрал, что и говорить! И матери, и отцу награда за то, что кормили-поили тебя, заботились.

Она закрыла руками лицо и заплакала.

Смущенный Петр сидел против нее, не зная, что сказать.

— То есть как это женился?

Мать отняла руки от лица. Вид у нее был строгий и решительный, глаза блестели под покрасневшими веками, губы стали почти белыми.

— Ты вчера где был? — бросила она хриплым, дрожащим голосом.— Думаешь, я не знаю? У этой свинарки!

— Ну и что с того? — огрызнулся Петр, чувствуя, как закипает в груди обида.

— Больше ты к ней ходить не будешь!

— Не твое это дело! — закричал Петр и с такой силой стукнул кулаком по столу, что вилка полетела на пол. Смуглое лицо его потемнело, глаза сузились. Он двинулся было к двери, потом вернулся и остановился посреди комнаты.

— Ты, что ли, мне жену выбирать станешь?

Пинтезиха молчала. Она напряженно думала, как быть дальше. В открытую пойти против сына — ничего не выйдет. Тверд, как кремень, не ребенок уже. Ни перед отцом, ни перед матерью головы не склонит. Возьмет да притащит свою Нонку в дом. Лучше сейчас к нему не подступаться. Он одурманен этой девкой... Где бы ни был, куда бы ни пошел, все о ней думает. Для него сейчас никого, кроме нее, на свете нет. Если его разозлить, он может и вовсе из дому уйти. Лучше по-хорошему, добром да ласкою.

— Зачем я буду тебе жену выбирать, сынок, — примирительно проговорила она, скрестив на груди руки. — Коли Нонка тебе по сердцу, будь по-твоему. Хоть завтра приводи ее, слова не скажу. Для того тебя и растила, чтобы мне когда-нибудь подмога была. Но обидно, что не от тебя узнала, а от людей. «Как же так? — думаю.— Ходила за ним, берегла как зеницу ока, а он и не скажет: так, мол, и так, мама, хочу привести тебе сноху». Когда-нибудь сам станешь отцом, увидишь, легко ли от себя родное дитя отрывать.

— Нечего тебе меня отрывать, — сказал Петр. — Я никуда из дому не ухожу.

— Как знать, сынок. Не я, так она тебя от матери оторвет. Женщины — они хитрые. Такие они отродясь. Как замуж выйдет, тут она коготки и покажет. Когда жену выбираешь, смотри в оба. Пока мешок соли с человеком не съешь, до тех пор его не узнаешь. Не торопись, не ходи ты к ней часто. Девушка она красивая, спору нет. Думаешь, не люба она мне? С чего бы это? Не уродина, не калека какая-нибудь. Мы с отцом не сегодня-завтра помрем, свое отжили, а вам с нею жить да жить. Откуда ты знаешь, пара ли она тебе? Я никогда в твои дела не вмешивалась и теперь не собираюсь. Но я тебе мать. Мне всех больнее будет, коли ты ошибешься. Потому и говорю тебе, пока не поздно. Слышала я, люди разное про Нонку болтают. Может, правда, а может, и нет...

— Что люди болтают? — прервал ее Петр, остановившись посреди комнаты.

— Этот Калинко из Житницы вертится там на ферме. Так она с ним...

Петр, хоть и стыдно было ему, рассказал матери, что произошло между ним и Нонкой.

— Ты, сынок, в женских делах не разбираешься, — сказала Пинтезиха с ехидной улыбкой. — Женщина, коли захочет, писаной иконой прикинется.

Петр хлопнул дверью и ушел наверх, в свою комнату, а Пинтезиха нахмурилась и только теперь поняла, что сказала сыну больше, чем следовало.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Лучше человеку лишиться глаза, чем доброго имени.

Позеленел дядя Колю, прослышав о Нонкином проступке. Тетка Колювица не на шутку струхнула. Вспыльчивый, горячий, сорвется, побежит на ферму, да и отколотит дочку, с него станется. Но дядя Колю ни одним плохим словом о Нонке не обмолвился. Как сидел на табуретке, так и застыл, будто окаменел. Немного погодя вышел в сад, ухватился за ветку груши, с горя рванул на себе ворот рубахи и заплакал. Он так верил в Нонку, а она нанесла ему удар прямо в сердце. Но злобы он против нее не чувствовал. Как тут злиться, когда ей самой, бедной, вдвое горше. И работает вовсю, носится взад-вперед, а все не такая, как прежде. Похудела, на лице одни глаза остались. Прибежит иногда вечером, на ходу перекусит чего-нибудь и либо в сад выскользнет, либо спать ляжет. А с утра пораньше вскочит — и прямо на ферму.

В доме делали вид, будто не знают, что произошло у Нонки с Петром. А знали все: и старший брат Петко, и жена его. Знали и молчали. Затаив в душе жестокий стыд, беспомощно ждали, что будет дальше. Так шло время.

Тетка Колювица совсем сдала, кожа да кости остались. Дня не проходило, чтоб она не побывала у Нонки на ферме. Спрашивала, допытывалась, что они с Петром надумали, скоро ли поженятся. И каждый раз возвращалась домой в полном отчаянии. Ничего радостного не сообщала ей Нонка. Это, мол, их личное дело. Когда захотят, тогда и поженятся. Все это тетка Колювица рассказывала мужу, когда они оставались одни, и всю ночь глаз не могла сомкнуть. Какие только мысли не приходили ей в голову! Ну, пускай ошиблась дочка. Это еще полбеды. Вдруг он откажется от нее — что тогда с Нонкой будет! Иной раз тетка Колювица думала: «Пойти, может, к Пинтезовым, рассказать им все, спросить, что собираются делать. Люди ведь они, поймут. А с другой стороны, кто их знает! Любят они нос задирать. Разнесут повсюду, пойдут сплетни — хоть из села беги».

— Что если все-таки наведаться к ним? — обратилась она однажды к дяде Колю.

— К кому это?

— Да к Пинтезовым. Пускай потолкуют с сыном. А то, кто его разберет? Вдруг отвернется и скажет: «Не нужна она мне!»

— Так ведь ты в нем души не чаяла! — напустился на жену дядя Колю. — С ума по нем сходила, словно не дочь выдавать, а сама за него замуж собиралась. Не голова у тебя на плечах, а тыква!

Больно ему было глядеть, как мучается, тает от горя старуха, но не на ком было сорвать обиду.

— Никуда ты не пойдешь! Неужто мы до того дожили, чтобы навязываться?

— Не знаю, что и сказать! Как посмотрю, и ее что-то гложет. Не поладили с Петром, что ли... Скажешь ей слово — огрызается. Нечего, говорю, огрызаться, обвенчались бы поскорее, а то стыда от людей не оберешься. «Нет мне, говорит, дела до людей. Сама кашу заварила, сама буду расхлебывать. Что я, человека убила, что ли?» Вот как отвечает. А ведь мучается, так мучается. На днях застала я ее одну. Сидит на кровати, задумалась. А глаза красные, видать плакала.

— Не может он от нее отвернуться! — с глухой угрозой произнес дядя Колю.— Где это видано — такую девушку обмануть! Женится!

Но и сам он не верил в это. И его точило сомнение. Ходил как убитый; работает, а на душе — словно камень; сторонился людей. Казалось, что позор выжжен у него на лбу и все это видят. А осенние дни потянулись ясные, теплые, точно летом. Роса по утрам — прозрачная, чистая; пока она держится, воздух прохладен.

Дядя Колю работал на огороде. В эту пору, когда пустеют поля, на огородах лучше всего. Овощи все поспели, с реки веет прохладой. Раскинулись огороды в красивом месте, на перекрестке дорог, по которым едут в город из окрестных деревень. Попросишь, и газету из города привезут или еще какое поручение исполнят. У огородников был маленький деревянный барак с двумя рядами нар. В полдень, когда солнце чересчур припечет, они умоются в речке и соберутся в бараке перекусить. Сварят похлебку из капусты с чесноком, испекут перец — чего еще надо? Потолкуют о том о сем, иной газетку прочтет, вздремнут немножко и опять принимаются за работу. Ночевать все оставались на огородах. Домой в село ходили раза два в неделю: бриться да переодеться. Один дядя Колю каждый вечер возвращался домой. Все потешались, что он тащится в такую даль, но он не обижался. «Не беспокойтесь, дойду засветло,— говорил он, собираясь в дорогу.— Завтра, чуть свет, опять приду». Только солнышко сядет, он торопился уйти. Но шел он не прямо в село, а все бережком, бережком да на ферму. Стоило ему увидеть Нонку, услышать ее голос, и усталости как не бывало! Всегда радовался на нее дядя Колю, гордился ею, а как заневестилась — еще дороже ему стала.

Теперь, после истории с Петром, горе камнем легло ему на сердце. Словно и не было прекрасных счастливых дней, словно только во сне привиделись те вечера, когда он, усталый, возвращался с огородов домой, чтобы поболтать с Нонкой, когда радовался он людям, полям, всему миру. Кто похитил у него эту радость, кто посягнул на доброе имя его семьи?

Ночи напролет думал дядя Колю о Петре Пинтезове, и в сердце росла вражда к нему. Если б мог отомстить, глазом бы не моргнул. Но он знал, что Нонка любит этого человека. Иначе разве отдалась бы ему? Такая уж она во всем. Всю себя отдает без остатка. Но иногда дядя Колю и ее осуждал. Почему не узнала человека получше, почему слепо вручила ему свою судьбу? Хотелось расспросить, что они с Петром думают делать дальше. Но, зная, что расспросы смутят ее, мучился и молчал.

Однажды решил он все-таки поговорить с нею: слишком уж наболело на сердце. Случилось, что дома никого, кроме них, не было. Нонка жаловалась, что мало отпускают кормов для фермы, и грозилась отчитать завхоза.

— Ты особенно не задирайся, — неожиданно резко оборвал ее дядя Колю.— Один раз обожглась, смотри в другой раз не осрамись!

Нонка так и замерла посреди комнаты. Побледнела, опустила голову. Постояла, повернулась и пошла к двери.

— Погоди! — сердито крикнул ей вслед дядя Колю. — Не подохнут без тебя твои свиньи. Поди сюда, сядь! — он дрожащей рукой указал на стул.

Она молча вернулась, села против него. Темные, длинные ресницы были мокры от слез.

Защемило сердце у дяди Колю. Вместо того чтобы отругать ее за легкомыслие, он глубоко вздохнул и сказал:

— Зачем, доченька, ты это сделала? Зачем причинила мне такое горе на старости лет?

Нонка уткнулась в его колени. Схватила его руку, поцеловала и заплакала горючими слезами.

— Прости меня, отец, я не хотела тебя огорчить! — Все, что терзало ее, выплакала она на отцовских коленях. — Мы любим друг друга, отец, и поженимся, — сквозь слезы говорила Нонка. — И я его люблю, и он меня, но он хочет подождать со свадьбой, пока родные не подготовятся.

— Не плачь, не плачь! — повторял дядя Колю. Две слезинки выкатились из его глаз и потонули в черных, мягких, как шелк, Нонкиных волосах. — Не плачь, доченька! Я только так спросил. Ведь отец я, мне тоже тяжко. Дело ваше, конечно. Коли любите, поженитесь. Но вижу, ты все чего-то горюешь. Дай, думаю, спрошу...

— Никакого горя тут нету...

— Кто говорит, доченька? Ты только не тревожься. Не готовы к свадьбе? Подождем, отчего не подождать. Не такие мы старые! Так-то. Занимайся своим делом и не печалься.

Было у дяди Колю подозрение, что со свадьбой дело неладно. Услышав от Нонки, что они с Петром любят друг друга, он немного успокоился. Может, и впрямь в этом причина. Пинтезовы во всем порядок любят, не хотят, видно, устраивать свадьбу наспех, а уж сыграть — так сыграть, как в старину водилось. Теперь ведь как делается? Запишутся молодые в совете, гостей пригласят раз-два и обчелся, выпьют по стакану вина — вот и вся свадьба.

Дядя Колю и старухе своей наказал ни о чем у Нонки не допытываться, не соваться в ее дела.

Но прошла неделя, другая, месяц, похолодало, зарядили осенние дожди, отсеялись с озимыми, а о свадьбе ни слуху ни духу. Что ж Пинтезовы? Собираются сватами стать, а глаз не кажут.

Все в доме были встревожены.

На что Петко тихий, застенчивый, и того однажды прорвало.

— Я ему покажу! Я сам поговорю с ним как следует! — с угрозой сказал он.

— Если б можно было криком дело уладить, я бы столько не дожидался, — помрачнев, отозвался дядя Колю. — Ты Пинтезовых не знаешь. Если их разозлить, они повернутся спиной и делу конец. Раз впутались в такую историю, придется еще подождать.

— До каких пор ждать, отец! — воскликнул Петко. — И так по селу шушукаются, что Нонку обманули да бросили. Не могу я такое про родную сестру слышать!

— Верно, отец, люди языки чешут, — вступила в разговор Петковица. — Пускай Петко повидается с Петром, потолкует. Спросит, что он собирается делать. Слыхала я, его мать не хочет брать Нонку в снохи. «У нас, — говорит, — в доме жениха нету. Коли у кого дочь на выданье, пускай ищут в другом месте». Может, Петр не хочет матери перечить?

Тетка Колювица твердила одно:

— Подите спросите, что эти люди думают, а не то я сама к ним пойду. Вот возьму и пойду среди бела дня. Пускай все видят и слышат, не допущу я родное дитя до погибели.

Долго думал дядя Колю, но под конец переломил свою гордость и решил отправиться к Пинтезовым. Тяжело и обидно было выпрашивать мужа для своей дочери, самой красивой и умной девушки во всем селе. Делать нечего. Только не знал он, с кем говорить: с Петром или со старым Пинтезом. Пойти к Петру? Больно он резкий, станет ли слушать? Работник он, слов нет, хороший, но людьми из своей бригады командует, точно они солдаты. Никому спуску не дает. Пойти к старому Пинтезу? Иной раз клещами слова из него не вытянешь. Ты говоришь, а он сверху посматривает и молчит, даже не по себе становится. Вообще человек неплохой: строгий, но справедливый. Лучше, пожалуй, с ним поговорить...

Случилось так, что на другой же день он повстречал старого Пинтеза. Дядя Колю возвращался с огородов, а Пинтез шел с поля, откуда доносилось пыхтение трактора. Это был высокий старик, лет под семьдесят. Хоть он и работал всю жизнь день и ночь, но не сгорбился. Идет прямо, поступь уверенная. Ходит с палкой, но только так, по-стариковски. Его седые усы и брови, молчаливость, умелые руки и всем известное трудолюбие внушали людям уважение. Издалека завидев его, дядя Колю проговорил про себя: «Вот кстати! Сейчас все ему выложу». Но чем ближе подходил он к перекрестку, где они должны были сойтись, тем сильнее охватывало его смущение. А вдруг этот крепкий, молчаливый человек только мельком, словно какой чорбаджия *, взглянет из-под белых своих бровей, нахмурится и пройдет мимо?..

— Добрый вечер, дедушка Димитр, — поздоровался дядя Колю, поравнявшись, и они вместе зашагали к селу.

— Вечер добрый.

— Куда же ты ходил в такую пору?

— К трактористам ходил. Петр занят, так я решил поглядеть, как пашут на его участке. Прошлый год только расковыряли землю, словно кошка лапой.

— А мы сегодня с капустой закончили, — сказал дядя Колю. Пинтез ничего не ответил.

Поправив сползший с плеча ямурлук, он глядел куда-то вперед и шел молчаливо, сосредоточенно, словно никого рядом не было.

— Плохо все же пашут, — спустя некоторое время проговорил он, словно про себя, и опять умолк. Молчал и дядя Колю. Вокруг не было ни души, поле притихло, слышно было лишь, как мягко ступают их резиновые царвули**.

Смеркалось. Солнце спряталось за облако. Судя по пробивавшимся косым и неярким лучам, оно уже опустилось до самой земли. Поля, еще недавно коричневые, с красноватыми полосами, вдруг потемнели, борозды на них слились...

Долго шли дядя Колю с Пинтезом и молчали. Уже и село показалось, а дядя Колю все не мог решиться заговорить. Добро бы человек

---

* Богатей, кулак.

** Крестьянская обувь.

был, который тебя выслушает, поймет. «Одно слово — бирюк! Камень скорей услышит, чем он. А впрочем, отчего не сказать? Стыдиться нечего!»

— Извини, дедушка Димитр, но хочу тебя спросить об одном дельце,— сказал дядя Колю, стараясь говорить спокойно, скрывая смущение.

Пинтез пригладил ладонью усы и пошел медленней.

— Давно собираюсь спросить тебя, да не случалось свидеться,— продолжал дядя Колю и, неизвестно почему, ухмыльнулся. — Молодежь наша, дедушка Димитр, кашу заварила. Дочка моя и твой сын.

— Вот как? — обернулся Пинтез к дяде Колю и остановился.

— Полно, дедушка Димитр, неужто не знаешь? С каких пор хочу с тобой потолковать, да все как-то совестно. Ведь я как-никак отец, больно мне. Ты двоих дочерей выдал, знаешь, каково это. В доме никому покоя нет. Ладно, говорю ей, что сделано, то сделано, перемелется — мука будет. Но девчонка тревожится, не спит, не ест. По совести сказать, мы со старухой тоже беспокоимся. Парень молодой, думаем, горячий, пообещал жениться, а как на это его родные посмотрят? Месяца два, а то и больше прошло. Я решил: стыд стыдом, а надо сказать дедушке Димитру. Ты уж меня извини.

Пинтез опять провел рукой по усам, еще больше нахмурился, белые брови низко нависли над глазами.

— Я об этом ничего не знал,— сказал он, подумав. Потом добавил: — Но беспокоиться вам нечего,— и пошел дальше. Дядя Колю долго с тревогой и недоумением глядел ему вслед.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Пинтез вернулся домой хмурый и молчаливый. Скинул ямурлук за дверью, подсел к печке. Когда отужинали и старуха принялась наматывать пряжу, он, не оборачиваясь, произнес:

— Пора женить сына. Ты там позаботься, приготовь все, что нужно. В будущее воскресенье свадьбу справим.

Старая Пинтезиха уронила клубок с пряжей и удивленно посмотрела на него.

— Когда это ты успел сноху выбрать, что к свадьбе готовишься?

— Не я, сын выбрал,— ответил Пинтез. По суровому его лицу скользнула улыбка.

— Кого, интересно бы знать?

— Дочь Колю, Нонку.

— Мм! — поджала губы Пинтезиха.

— Что мычишь? Не нравится она тебе, что ли?

Та ничего не ответила, только ниже склонилась над пряжей. Но руки ее не слушались. К ней подошла кошка, сладко потянулась и потерлась о колено. Пинтезиха размахнулась и стукнула ее кулаком по голове. Кошка, взвизгнув, метнулась под кровать.

— Зачем бьешь, что она тебе сделала? — прикрикнул на жену Пинтез.

— Пускай не вертится под ногами!

Они замолчали. Старуха долго разбирала запутавшуюся пряжу и, наконец, сказала:

— Нашел себе сноху и радуешься?

— А что не радоваться? Небось, один сын у меня...

— У меня тоже. Потому и не желаю я такой снохи. Моему сыну не свинарка нужна, а хозяйка, чтоб в доме сидела,— и она рассказала все, что слышала о Нонке, да еще и от себя прибавила. Пинтез молчал-молчал да вдруг взорвался.

— Чтоб я этого больше не слышал! Не смей так говорить о девушке! Мне достаточно взглянуть на человека, чтобы знать, каков он. На нее столько парней зарится, потому и болтают всякое. А мне такие, как она, нравятся.

— Подумаешь, свет на ней клином сошелся! Сколько в селе девушек куда лучше! Взять хоть Марийку Кутеву. Давно по Петру девка сохнет. И собой хороша, и хозяйка что надо. А эта что? Вертихвостка, минуты дома не усидит.

Пинтез насупился, под густыми бровями стало почти не видно глаз.

— Наш сын — не дитя малое. Которая по душе, пусть ту и берет. Ему ведь с ней жить. А ты придержи язык и чтоб ни гугу у меня!

Он лег спать, не проронив больше ни слова. Наутро, увидев Петра, он вызвал его во двор и сказал:

— Что ж ты девушку позоришь? Она сердце тебе отдала, а ты мучишь ее. Я этого в моем доме не потерплю!

— Мы с Нонкой поладили, отец, — взволнованно проговорил Петр.— Матери она не по нраву. С каких пор заладила...

— Ты сердце свое слушай, — оборвал его Пинтез. — Что сердце подскажет, то и делай. А на мать не обижайся. Она мать все же, боится, как бы не ошибся ты, потому так и говорит. Ладно, иди по своим делам, а завтра сообщи сестрам, пусть придут, помогут к свадьбе готовиться.

Пинтезиха теперь по целым дням не присаживалась. Мыла, стирала, чистила. Увидев, что не удастся ей оторвать Петра от Нонки и перетянуть на свою сторону старика, она сразу смирилась. Возбужденно хлопоча, носилась взад и вперед по дому, никто ни разу от нее не слышал: «Ох, устала». Еще больше старалась угодить Петру, советовала ему, что и как приготовить для свадьбы, будто никогда и не противилась ей. Только оставаясь одна, она глубоко задумывалась, и две резкие складки полукружиями залегали по обеим сторонам рта.

Пинтез словно помолодел. Хоть семь десятков за плечами, а не привык он сидеть сложа руки. Он и теперь вырабатывал в кооперативе по сто пятьдесят трудодней, а тут и вовсе ему не сиделось на одном месте. Отнес лудить всю посуду, починил столы, стулья и принялся приводить в порядок двор — он был у них хоть и не очень просторный, но ровный и чистый, отгороженный от сада деревянным забором, а со стороны улицы крепкой каменной оградой.

Дом у Пинтезовых был в два этажа. В верхнем — три комнаты и маленький открытый балкончик с парапетом из выцветших от времени буковых досок, с вырезом в виде сердца посредине. Внизу — кладовая с погребом и загон, где зимовал скот. Фасад выкрашен в темно-оранжевый цвет с белыми полосами по углам и вокруг окон. Перед домом — палисадник. Пока дочери не вышли замуж, они ухаживали за цветами, теперь это делал сам Пинтез. Он и сейчас уборку двора начал с палисадника, разрыхлил клумбы, где росли пышно астры и неувядшая еще герань, починил забор, приколотил разболтавшиеся планки, осмотрел каменную дорожку к воротам и, наконец, взялся за метлу. Чем ближе был день свадьбы, тем веселей и разговорчивей становился Пинтез. Однажды вечером за ужином он спросил Петра:

— Новый костюм у тебя для свадьбы есть?

— Есть.

— Поди надень, я посмотрю.

— С чего я стану сейчас наряжаться?

Но Пинтез властным жестом протянул руку к двери.

— Оденься, раз отец велит!

Когда Петр вернулся на кухню в темно-синем костюме, в белой рубашке, повязанной красным галстуком, Пинтез встал, оглядел его и с прояснившимся лицом проговорил:

— Человек один раз в жизни женится, сынок! И одежда у него должна быть красива, и душа чиста!

Подошел Пинтез к сыну, выпрямился, и усы у него дрогнули. Постоял с ним рядом, поглядел, потом размахнулся и, ударив его по плечу так, что Петр покачнулся, захохотал.

— Тьфу, дьявол, до чего хорош!

Пинтезиха взглянула на него исподлобья и вновь склонилась над работой, пробормотав:

— Совсем рехнулся, старый черт, из-за этой свадьбы.

Из соседних сел явились обе замужние дочери, дом наполнился веселым гулом и суетой. В среду утром Пинтез налил в дамаджану * вино, подал ее Петру и сказал:

— Найди себе дружку, пускай обойдет все село и приглашает гостей на свадьбу.

— Что ты, отец! — закричали в один голос дочки. — Кто теперь ходит с дамаджаной приглашать на свадьбу! Засмеют люди.

— Как засмеют? — нахмурился Пинтез. — Что тут смешного?

— Теперь на свадьбу зовут только самых близких, — сказала младшая дочка. — Ты собираешься все село созвать?

— Да вы кто, хотел бы я знать, болгары или турки? — раздраженно проговорил Пинтез, подбоченившись и в упор глядя на дочерей. — Быстро вы забыли отцовские обычаи! Какой же это болгарин без настоящей свадьбы? Потому он и остался болгарином, что такие свадьбы справлял, каких на всем свете не видывали, такие песни пел, каких нигде не поют. Свадьба — ведь это словно второй раз человек родится, потому что она связывает одну жизнь с другой. И справлять ее надо так, чтоб потом до старости было что вспоминать! Вот как вспомню я прежние свадьбы, на которых доводилось гулять, так и теперь еще душа радуется. Какое было веселье, какие песни пели! Чем больше есть у человека хорошего, о чем вспомнить, — тем полнее его жизнь. А нынешним молодым и вспомнить нечего, вот почему так легко им оборвать узы, которые их соединяют... Я свадьбу своего сына справлю так, как учили меня дед и отец, и вы мне не перечьте!

— Ладно, это все хорошо, да чем ты людей-то встретишь? — отозвалась Пинтезиха. — Время ли сейчас пиры закатывать? Неизвестно, какой еще трудодень в этом году выйдет.

— В это дело не только деньги, душу вложить надо! — проговорил Пинтез и вышел.

Как старик задумал, так и сделал. Позвал соседского паренька, повязал ему руку белым платком и послал по селу созывать гостей на свадьбу.

— Начнешь от первого дома, — наказывал ему Пинтез, — и иди до конца. Коли вина не хватит, не возвращайся. Где оно кончится, в том доме тебе дамаджану и наполнят. Таков обычай.

Кто не любит свадеб! Но у нас в селе стоит людям заслышать про свадьбу — летят, как мухи на мед! Работать — работают до седьмого пота, а веселятся — пыль столбом и дым коромыслом! И вино в наших краях, хоть и свое, местное, а другим не уступит. Мертвого на ноги поставит. Отхлебнешь глоток — резанет по горлу, как бритвой, слезы так и брызнут из глаз, а потом разольется огнем по жилам и до самых пяток проберет.

---

* Оплетенная бутыль для вина.

Раз попробуешь — не оторвешься! А как опорожнишь кувшин, так будь у тебя сто печалей — все улетят, и следа не останется, распахнется душа, словно добруджанское поле, почуешь в себе силу молодецкую, и, кажется, были бы крылья — полетел по белому свету!

Такое трехлетнее вино хранилось у Пинтеза. Когда Петр привел молодую из сельсовета, встал старик перед домом и прокричал:

— Эй, люди добрые! Двух дочерей отдал я в чужие дома, а теперь и в мой дом сноха входит. У кого руки-ноги есть, спускайся в погреб, выкатывай бочку вина! Поставим ее здесь, и кто меня уважает, пускай пьет и знает, что старый Пинтез сегодня сына женит!

Гости кинулись к погребу, подняли бочку и на руках вынесли на середину двора. Пинтез угощал каждого, кто приходил. Не ожидали у нас, что Пинтез закатит такую свадьбу, знали, какой он бережливый и нелюдимый. Все поглядывали на него с веселым любопытством. В другое время мало кому случалось обменяться словечком-другим с этим высоким, суровым и молчаливым человеком, а теперь все запросто шутили с Пинтезом. Как у всякого, кто не привычен к вину, у него после первых двух-трех стаканов голова пошла кругом и язык развязался.

А гости все прибывали, казалось, все село собралось. Во дворе началось хоро. Наконец пришли дядя Колю, тетя Колювица, Петко с женой. Пинтез встретил их с полной чашей вина в руках.

— Добро пожаловать, сватушки! Заходите! Пейте на здоровье! Пусть бог вам пошлет всего хорошего за то, что такую дочь вырастили!

Сваты пили по очереди. Первым дядя Колю, за ним остальные. Потом Пинтез повел их в дом. Пинтезиха встретила гостей на пороге, одетая в темное платье с цветастым фартуком. На сухом ее лице застыла заранее приготовленная улыбка. Засуетилась, усадила сватов и сама села рядом с теткой Колювицей. Просторная комната, где принимали гостей, была оштукатурена и выкрашена в светло-синий цвет, на полу расстелены новые дорожки. Предусмотрительная хозяйка вынесла прочь все лишнее, остались только два ряда столов, покрытых пестрыми домотканными скатертями, уставленных стаканами, тарелками и горками нарезанного хлеба.

Вошли Петр и Нонка — оба нарядные, красивые и счастливые. Тетка Колювица вскочила и кинулась к Нонке, словно целый год ее не видала.

— Ох, Нона! — всхлипнула она и притянула к себе, будто желая защитить от кого-то.

— Ну вот, опять запричитала, — прикрикнул на нее дядя Колю, но и у него голос дрогнул. — И любят эти бабы пореветь, сват, — повернулся он к Пинтезу. — Дочь от нее в двух шагах жить будет, а она все свое...

— Мать ведь, от сердца отрывает, сват, — сказал Пинтез. — Будь то хоть царские палаты, матери все равно тяжко. Ведь в чужой дом отдает...

Пинтезиха не проронила ни слова, только облизнула тонкие губы.

Разложили по тарелкам угощение, наполнили стаканы вином. Тут явился сияющий дед Ламби. Его приход внес еще большее оживление.

— Пинтез! — еще с порога закричал он. — Готовь-ка мне местечко рядом с тобой. Посмотрим, как ты меня отблагодаришь. Сноху я тебе дал, точно ягодку, можно сказать!

— Милости просим, место приготовлено, — ответил Пинтез.

Выпив две-три чарки, дед Ламби дал волю языку:

— Я про это дело давно, можно сказать, пронюхал! — начал он. — Еще когда Петр повадился кружить вокруг фермы, словно волк вокруг овчарни, я сказал себе: неспроста этот парень тут вертится.

— Что же ты не устерег овечку? — сказал кто-то, и все рассмеялись.

— Я-то сторожил, да она сама убежала.

Опять раздался общий смех.

— Ну, думаю, коли судьба танцевать у Пинтеза — что ж, станцуем, нам только царвули покрепче подвязать! Ваше здоровьице! — Дед Ламби выпил, вытер рукавом тонкие свои усики и крикнул: — А что, гайды* разве тут нет? Я ведь сюда, можно сказать, танцевать пришел!

Нежные, мелодичные звуки гайды расшевелили гостей. Они подняли стаканы, зашумели, кто-то ударил кулаком по столу. Лица раскраснелись, в хмельных глазах блеснули искры буйного веселья. Гайдарь, тоже весь красный, как глиняный кувшин, от натуги и выпитого вина, заиграл ученицу **.

— Где молодая? — послышались голоса.— Пускай спляшет ученицу со свекром!

— Верно!

— Здесь она, здесь!

— Ну, молодая, не ломайся!

Нонка, стесняясь первой выйти в круг, пряталась за спины гостей, но, когда все принялись ее просить, встала перед свекром и пустилась в пляс. Ее окружили, хлопая в такт в ладоши, громко восхищались ею.

— Словно не по земле ступает! — приговаривали женщины.

Пинтез был на седьмом небе от счастья. Детская, безмятежная улыбка озаряла его лицо. Он смотрел на сноху влажными от слез глазами и приговаривал:

— Дай бог тебе здоровья, сношенька, чтоб ты, как роза, цвела в моем доме!

После танца Нонка поцеловала ему руку. Он склонил к ней седую свою голову и сказал:

— Прими, сношенька, теленочка от меня в подарок. На счастье.

Тут и дед Ламби подскочил, словно двадцатилетний.

— Целуй, Нона, руку! От меня тебе поросеночка. Так-то вот. Чем мы хуже Пинтеза!

И посыпались подарки.

С другого конца стола поднялся Марко Велков, председатель кооператива, постучал вилкой по тарелке, как на собрании, и гул голосов затих. До тех пор никто ни разу не видел его навеселе, и когда он начал заикаться, все засмеялись — и сам он засмеялся.

— Весело мне сегодня, товарищи... Одним словом, значит... правление кооператива преподносит молодоженам стол.

Потом Яцо, в вывернутом наизнанку пиджаке, с раскрашенным, как у клоуна, лицом, принялся показывать фокусы. Сунет руку в карман кому-нибудь из гостей — и вытащит вдруг какой-то нож, у другого достанет из уха сигарету.

— Теперь тише! Петковица петь будет! — закричали сидевшие в углу женщины.

Петковица, сноха дяди Колю, застенчиво опустив глаза, отговаривалась:

— Не умею я петь, пускай кто-нибудь другой...

— Будто мы тебя не слыхали. Словно соловушко поешь! — наперебой говорили женщины.

— Давай «Русанку»!

— Спой «Сватал Караджа Гергину».

— Позабыла я, пусть лучше Иванка споет, — отказывалась Петковица, смущенно улыбаясь и закрывая лицо рукой, но уже откашливаясь. Это означало, что петь она будет — надо еще немного попросить. Все приготовились слушать, но она не начинала.

---

* Народный музыкальный инструмент.

** Национальный болгарский танец.

Дядя Колю, сидевший до сих пор молча, медленно повернулся и спокойно, но не без гордости произнес:

— Ты спой, сноха! Про Богдана.

Петковица, еще больше покраснев, отняла руки от лица, уставилась в одну точку, вздохнула и запела:

Задумал Богдан жестокий,
Богдан — чорбаджия,
Сложить лиходей задумал
Башню высокую
Из гайдуцких голов молодецких...

Ее нежный голос взлетел высоко-высоко, а потом плавными переливами спустился вниз и понесся вдаль, жалуясь и тоскуя.

...Возвел он стены высокие,
Купол на них поставил,
А одной головы не хватило.
Думает Богдан, гадает,
Чью бы голову с плеч срубить,
Удалую-лихую, самую молодецкую.

В глазах дяди Колю сверкнули слезы. Пинтез глубоко задумался, а дед Ламби растроганно бормотал:

— Э-эх, из человеческих голов башню строить!

— Капиталист, шкуродер! — проворчал Иван Гатев, партийный секретарь. — Народную кровь...

— Замолчи, дай послушать, что дальше! — шикнула на него какая-то старуха.

Можно ли было спокойно слушать такую песню! Задумал Богдан срубить голову храброму воеводе Радану. Послал молодую жену свою, сестру Раданову, в горы, чтоб позвала брата в гости. Радан колеблется, а сестра его успокаивает:

Радан, братец родимый,
Мне ли учить тебя?
Рука у тебя молодецкая,
А в руке сабля гайдуцкая!

Склонился на уговоры Радан и спустился с гор. Заперся с ним Богдан в своих палатах и стал его потчевать. Целую корову съели, бочку вина выпили.

Все слушали затаив дыхание. Замерли, не шелохнутся. Давно погасли в пепельницах недокуренные цигарки, синеватые облачка дыма медленно плыли над притихшими гостями.

Богдан-богатей уже поднимается из-за стола и берет нож, чтоб убить Радана...

Оборвалась песня. Все головы разом повернулись к Петковице.

— А дальше что? Убили его?

Она засмеялась и, тряхнув головой, запела:

Ой ты, Радан, храбрый Радан!
Как вскочил тут наш Радан на ноги,
Да как вынул саблю острую,
Саблю острую да верную.
Как отсек он Богдану голову
И поставил на башню высокую.
И стоит та башня высокая,
А на ней голова чорбаджийская.

Глубокий вздох облегчения вырвался у всех. Подняли гости недопитые стаканы, чокнулись, но долго еще все находились под впечатлением

песни. Страшное видение башни, выстроенной из гайдуцких голов, леденило души.

— Эй, гайдарь, ты что, уснул, что ли? Песни — дело хорошее, а вот сыграй-ка теперь ученицу! — закричал Яцо, готовясь к танцу.

Гайдарь только этого и ждал. Вздохнула гайда раз, другой, загудела, рассыпались задорные звуки ученицы, и вернулось былое веселье. Яцо скинул пиджак, засучил рукава и обвел всех взглядом:

— Кто со мной?

Тут выступил дед Ламби и оттолкнул Яцо в сторону.

— Ты, парень, потом станцуешь! — и, выпятив грудь, крикнул: — Выходи, Пинтез!

— Вот это да! — зашумели гости. Все смотрели на Пинтеза, не веря, что он пойдет танцевать.

Пинтез только молча усмехался.

— Ах ты, такой-сякой! Я тебе сноху дал, от сердца, можно сказать, оторвал, а ты... Пока не спляшешь со мной, с места не сойду!

И в доказательство дед Ламби с силой ударил оземь своей мохнатой шапкой.

Пинтез не заставил себя долго упрашивать. Улыбаясь, он медленно поднялся и встал против деда Ламби. Шум затих. «Пинтез танцевать собрался», — пробежал говорок. Все вытягивали шеи, чтобы получше видеть.

Пинтез подбоченился, достал из-за пояса белый платок, взмахнул им и, продолжая улыбаться, начал танцевать. Щупленький дед Ламби, почти вдвое ниже его ростом, то подскакивал петушком, то вертелся вокруг, то пускался вприсядку, покрикивая:

— Ходи веселей, Пинтез! Да ты ногой топни!

Пинтез плыл в танце, только слегка поводя плечами, спокойно и сдержанно, как танцуют все степенные старики. Словно о чем-то задумавшись, он наклонял свою седую голову, а мысли его, казалось, были где-то далеко-далеко...

К полуночи в доме стало тесно, хоро водили уже во дворе. Нонка с Петром отделились от всех.

Была прохладная, светлая осенняя ночь. Дул ветер. В саду шелестели акации, роняя на землю сухие листья.

— Ты не простудишься? — спросил Петр, положив руку Нонке на плечо.

Она прижалась к нему, обняла и сказала:

— До чего мне хорошо с тобой!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Как солнце ранним утром озаряет утонувшее в синеватом сумраке поле, так Нонка осветила дом Пинтезовых.

Пинтезиха и сама была хорошей хозяйкой, но с приходом Нонки дом будто изменился. На другой же день после свадьбы она замазала щели в полу, выстирала дорожки, прибрала в комнатах; покончив с этим, принялась месить тесто. Пинтезиха ходила по дому и краешком глаза наблюдала за снохой. Как справится она с квашней, как замесит тесто, как печь растопит? Когда Нонка вытащила из печи хлебы, Пинтезиха взяла каравай, оглядела со всех сторон и ничего не сказала. Каравай был высокий, хорошо пропеченный.

— Ладно, испекла с грехом пополам — посмотрим, как с остальными делами управится! — пробормотала старуха, и с этой минуты глаз не спускала с Нонки.

Через несколько дней Нонка принялась шить Петру и свекру сорочки, а свекрови — платье из пестрой материи, полученной в приданое. Быстро скроила, уселась наверху и шьет себе да поет. Дня не прошло — все было готово. Со всякой работой Нонка справлялась ловко, быстро и все пела. Наблюдая, как она прибирает, с первого раза запоминает, где что лежит, как спорится у нее любое дело, Пинтезиха не могла ни к чему придраться. Но вместо того, чтобы похвалить сноху, подбодрить теплым словом, она ходила за ней по пятам: схватит какую-нибудь подушку, переложит на кровати и буркнет:

— Вот где этой подушке место, она здесь испокон веку лежала.

Повесит Нонка занавеску — она сорвет ее с окна, нацепит старую.

Нонка только посмотрит, улыбнется и скажет:

— Не так, мама. Сейчас такие занавески вешают, а подушки кладут вот так! — и, смеясь, снова делает по-своему.

Злилась Пинтезиха, что нет повода отругать сноху, хотя бы за какую-нибудь малость. Красота ее и приветливость обескураживали старуху.

«Колдунья! — злобно думала она. — Любого приворожит своей красотой да улыбкой. Петр и старик в рот ей смотрят, рады угодить, чем только могут. Особенно этот бирюк старый! То все молчал, словно воды в рот набрал, а как она появилась, будто бес в него вселился».

Впрямь, не узнать было Пинтеза. Он стал веселым, разговорчивым.

— Очень мне по сердцу пришлась наша сношенька! — приговаривал Пинтез, слушая, как распевает наверху Нонка. — За что ни возьмется, все в руках горит. И стариков уважает. Нынешняя молодежь не больно стариков жалует, а наша сноха — другое дело.

Нонка чувствовала его любовь и относилась к нему с большим уважением. Она всегда вставала, когда он входил в комнату.

— Сиди, молодка, сиди! — говорил он каждый раз. — Мы, старики, только и знаем, что слоняемся взад-вперед. Ты занимайся своим делом, не вставай.

Она не садилась за стол, пока не сядет свекор. С одного взгляда угадывала, чего он хочет. Пинтез только радовался, глядя на нее.

Петр был счастлив. Каждый час, каждую минуту, где бы ни был, что бы ни делал, думал только о Нонке. Кончив работу, он со всех ног бежал домой повидать, почувствовать ее рядом. Иногда казалось ему, что счастье — только сон, и стоит проснуться, как оно исчезнет. Тогда, с тревогой в сердце, он спешил домой убедиться, что Нонка действительно жена его, ощутить теплую ласку ее черных глаз, увидеть нежную улыбку. Нонка тоже жила в каком-то радостном упоении. «Господи, как я счастлива! — думала она, расхаживая по комнате, которую отвели им с Петром.— Все так славно здесь: и комната, и дорожка на полу, и окно. Это потому, что он жил в этой комнате, ступал по этой дорожке, смотрел в это окно. И родителей его люблю, будто всю жизнь прожила с ними вместе. До чего молчалив свекор! Но как внимателен ко мне, как улыбаются под седыми бровями его глаза! Свекровь... Она какая-то хмурая, все дуется, словно на что-то обижена, но зато аккуратная, опрятная и строгая. Свекровь и должна быть строгая. Раз я ее люблю, она тоже меня полюбит!»

Короткий зимний день казался ей бесконечным. Они с Петром находили тысячи причин, чтобы после ужина поскорей уйти в свою комнату. Там было тепло и уютно. Стоило им закрыть за собой дверь, как они бросались в объятия друг другу. А потом, не смыкая глаз, до рассвета мечтали и строили планы будущего. Иногда даже в шутку спорили и бранились.

— Я хочу дочку, — говорила Нонка.

— А я — сына.

— Нет, девочка лучше.

— Если ты родишь девочку, я даже не взгляну на нее, подарю каким-нибудь бездетным. Вот посмотришь...

— Лучше всего двое — мальчик и девочка.

— Это другое дело.

— Девочка будет похожа на тебя, а мальчик на меня.

— Лучше пусть оба будут на меня похожи.

— Почему?

— Потому что, если они в тебя пойдут, станут, пожалуй, свиноводами.

— Ах, ты смеяться надо мной? Противный!

В доме все будто позабыли, что Нонка только в отпуске. Когда она однажды утром собралась идти на ферму, все почувствовали, что дом без нее сразу опустеет.

Петр пошел ее проводить. Выпал первый снежок. День стоял морозный и ясный, ослепительно сверкали на солнце заснеженные поля. Нонка, закутавшись в шерстяную шаль, шла быстрым шагом и оживленно болтала. Петр молчал. Его раздражало, что Нонка так весела. Не доходя до фермы, он остановился.

— Не пойдешь дальше?

— Нет. Ты когда вернешься домой?

— Часам к семи. Может, чуточку опоздаю.

Петр нахмурился и отвел глаза в сторону.

— Мало тебе дня, ты и вечером...

— Ничего не поделаешь, Петя. Нельзя бросать дело на половине.

— Подумаешь, велика важность!

— Не говори так, прошу тебя! Ты всегда говоришь о моей работе с насмешкой.

— Ладно, иди, а то опоздаешь. Поросята, небось, уже плачут, — сказал, нахмурившись, Петр, круто повернулся и, не попрощавшись, зашагал назад.

Во время обеда еще больше было заметно Нонкино отсутствие. Сели за стол, но никто не принимался за еду, будто ждали, что она вот-вот войдет и сядет вместе с ними.

— Не дело это, — наконец сказала Пинтезиха.

— Что именно? — спросил Петр, протянув руку за хлебом.

— Что невестки нет. Месяца не прошло, как она у нас, а уж дома не сидится. Я-то думала, что есть у меня замена...

Ни Петр, ни отец не сказали ни слова, только молча хлебали горячую чорбу, глядя прямо перед собой.

Пинтезиха снова завела:

— Ты бы сказал ей, чтоб дома сидела. Хватит, мол, пусть кто-нибудь другой поработает. Теперь она замужняя женщина, у нее муж, семья, даст бог, скоро дети пойдут.

Пинтез отложил ложку, исподлобья взглянул на жену.

— Раз начала она там работать, негоже бросать. Сколько сумеет, в доме поможет. А ты не надорвешься, коли сама похлебку сваришь. И не суй нос, куда не следует.

Вздохнула Пинтезиха и промолчала.

Нонка вернулась вечером бодрая, веселая и сразу же принялась помогать свекрови. Когда надо было стирать или месить хлеб, она вставала затемно. До свету успевала управиться и вовремя уходила на ферму. Но Пинтезиха все равно была недовольна. С хмурым видом ковыляла она по дому, кое-что делала, словно через силу, кряхтя, и всякий раз, садясь или вставая, жаловалась — то поясницу ломит, то живот болит.

Несколько раз Нонка оставалась ночевать на ферме. Приближалось время опороса, и совестно было заставлять деда Ламби дежурить каждую ночь.

Дожидаясь ее, Петр нервничал, беспокойно бродил по дому. Все его раздражало, ужин казался невкусным, он без конца ссорился с матерью. Потом поднимался наверх и, не раздеваясь, ложился в постель.

Уютно потрескивали дрова в печи, в согретом воздухе стоял приятный запах сырого дерева, спелых яблок и груш, с осени уложенных в ларь. За окном слышался тихий, печальный свист ветра. Когда Нонка бывала дома, завывание ветра звучало для него нежной колыбельной песней, а сейчас пробуждало в душе тревожные мысли. Обаяние, которое излучало все, к чему прикасалась Нонка, спокойная и мягкая тишина комнаты с каждой минутой усиливали в нем чувство одиночества. Он пытался читать, но вскоре, удрученный и рассеянный, отбрасывал книгу. «Будь она неладна, эта ферма! — думал он. — Я хочу, чтоб моя жена была со мной!»

Еще в те дни, когда начиналась их любовь, он задумал оторвать Нонку от фермы, но, заметив, как она привязана к своей работе, не решился ее огорчить. Тогда у него не было уверенности, что она послушается. Теперь, когда женитьба соединила их на всю жизнь, Петр считал, что у него достаточно власти, чтобы заставить жену бросить работу на ферме. Он сделал бы это сразу после свадьбы, если б не партийная организация и правление кооператива. Руководство относилось к Нонке с уважением, было очень довольно ее работой и никогда не упускало случая поставить в пример другим женщинам. Петр знал, что, если он заберет жену с фермы, это ему даром не пройдет. Не хотелось идти на неминуемый скандал, не хотелось объясняться с Марко Велковым и с секретарем парторганизации Иваном Гатевым. Марко Велков был человеком мягким, покладистым, но с Гатевым приходилось держать ухо востро. Он был неуступчив и тверд как кремень. Прежде Гатев был сапожником, и Петр считал, что он не знает, не любит землю, и по всякому поводу вступал с ним в спор. Но другие бригадиры, члены партии, Петра не поддерживали, и кончалось тем, что он оставался в одиночестве. Петр стал требовать, чтобы Нонка сама заявила о желании уйти с фермы. Никто не может заставить ее работать, если она скажет, что хочет после замужества быть в семье.

Еще до свадьбы замечала Нонка, что Петр без уважения относится к работе на ферме, но всерьез они ни разу не говорили. Петр отделывался шуточками, Нонка не находила повода сказать ему, что́ она об этом думает. После свадьбы Нонка сразу почувствовала, что мужу и свекрови ее отлучки из дому неприятны, но не ожидала, что они так скоро примутся ее попрекать. Она решила с самого начала дать понять, что не хочет бросать любимое дело. Свекровь пока что ограничивалась сдержанными, но ядовитыми намеками, а Петр день ото дня становился все настойчивей. По вечерам они долго спорили. Петр часто бывал резок и груб. Его злило Нонкино упорство, но он еще верил, что она образумится. Он боялся, как бы отец не встал на Нонкину сторону и не разрушил его планы. Мать видела, что происходит в душе сына, и исподволь, но настойчиво растравляла рану. Старуха не могла простить Нонке, что та вошла в дом против ее воли и навязалась ее сыну обесчещенной, опозоренной. При всей своей ненависти к снохе она, вместо того чтобы услать ее с глаз долой, хотела держать ее возле себя, стремясь крепче прибрать к рукам. «Плоха ли она, хороша ли, ничего не поделаешь, теперь не выгонишь, — со злобой думала она. — Только не принялась бы хвостом вертеть, бойка больно, все за ворота поглядывает. Того и гляди, опозорит и мужа, и всю семью. Такую жену на цепи надо держать».

Однажды Нонка запоздала. Ждали ее, ждали, поужинали и опять принялись ждать, а ее все нет. Петр нервно перелистывал свои бригадирские записи, прислушиваясь, не раздадутся ли во дворе ее шаги. Потом поднялся к себе в комнату. Немного погодя к нему вошла мать.

— Ты бы сходил, привел жену домой. Боится, верно, сама в такую темень идти, — сказала она, расстилая ему постель.

— Никуда я в такой холод не пойду! — проворчал Петр. — Пускай там ночует. Кто ее просил торчать допоздна.

— Так-то так, но все же, сынок... Не знаю, как быть. Скажешь — плохо, промолчишь — еще хуже. У меня силы уж не те, пора и на лавке посидеть, как свекрови положено. Видно, не судьба мне помощницу в доме иметь. Сноха у нас работящая, ничего не скажешь, да на чужих работает.

Петр молчал.

— Соседки завидуют: вон сколько трудодней ваша сноха на ферме зарабатывает, премии получает. Это все верно, но можно и в другом месте те же трудодни выработать. Хоть в твоей бригаде, плохо ли? Вместе бы работали, вместе домой возвращались. Вы молодые, зачем вам врозь быть, самое время друг на друга радоваться. А сейчас что? Ты — здесь, она — там.

Пинтезиха смолкла и подождала, не обидится ли Петр, но тот промолчал. Тогда она снова принялась:

— Уж не знаю, говорить ли тебе, сынок? Сердись не сердись, а скажу, для твоей же пользы. Такую жену надо на глазах держать. Она словно спелое яблочко — кто мимо ни пройдет, всяк руку протянет. Мало ли о ней болтали, когда она в девках ходила? И теперь начнут. Людям ведь делать нечего. Потому и говорю, забери ты ее с этой фермы, а там дело твое...

Петр не ответил. Бросился на кровать, уткнул голову в подушку...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

С тех пор как выпал снег и дни стали холодные, редко кто из села бывал на ферме. Только бригадир Дамян каждый день наведывался посмотреть, как идут дела, и принести что нужно. Дед Ламби и Нонка за работой не замечали, как бежит время, и только к вечеру присаживались отдохнуть. К этому времени Нонка становилась неспокойной, рассеянной. Спешила приготовить деду Ламби что-нибудь поесть и уходила.

С тяжелым сердцем возвращалась она домой. Ей казалось, что там ждут ее для того, чтобы судить, словно она в чем-то виновата. Робко, нерешительно переступала она порог, будто входила не в дом своего мужа, где предстояло прожить всю жизнь. Нонка не умела притворяться, и больше всего ее тяготило то, что надо было казаться веселой и спокойной перед свекром и свекровью. За ужином она сидела как на иголках и с нетерпением ждала, когда можно встать из-за стола. Через силу разговаривала, улыбалась и видела, что Петр и его мать тоже притворяются и говорят вовсе не то, что думают; понимала, что между ними и ею идет борьба, скрываемая от глаз свекра. «Вот как началась моя жизнь в этом доме...— с затаенной тревогой думала она.— Что же будет дальше?»

Один только свекор относился к ней тепло, по-отцовски. Когда он расспрашивал, как она провела день, что делала, строгое лицо его прояснялось, а в глазах светилась молчаливая, нежная любовь. Нонка не решалась поделиться с ним, рассказать, чего добивается Петр. Она знала, что свекор примет ее сторону, и не хотела быть причиной раздоров в семье.

Неожиданно Петр переменился. Вечером, когда они с Нонкой остались одни, он болтал без умолку, был даже весел и ни словом не обмолвился о ферме. Эта перемена еще больше растревожила Нонку. Она инстинктивно чувствовала, что за этой несвойственной ему разговорчивостью и шутками, за необычной ласковостью кроется злое намерение раз и навсегда отрезать ей дорогу на ферму. Она не выдавала своих подозрений. И так, в обоюдном притворстве, прошло несколько дней.

По утрам, ровно в половине седьмого, Нонка приходила на ферму. Сделав над собой усилие, она старалась улыбнуться и весело здоровалась:

— Доброе утро, дедушка! Все в порядке?

— Так точно! — по-военному рапортовал дед Ламби, сияя от радости, что снова видит ее.— Поросята выспались без происшествий и ждут завтрака.

Нонка была уверена, что скоро придется ей проститься с дедом Ламби, но не хотела раньше времени огорчать его, потому что знала, как сильно он ее любит. Старик ничем не давал ей это понять, но Нонка чувствовала, что ее брак с Петром до сих пор ему не по душе. Если старик узнает, что Петр собирается забрать ее с фермы, он расплачется, как малое дитя, раскипятится и затеет с ним ссору. То же будет и с отцом, если обратиться к нему за советом и помощью. Лучше молчать и самой встретить все, что должно на нее обрушиться.

Вскоре дед Ламби заметил, что Нонка ходит расстроенная, невеселая. Не поет, как раньше, смеется через силу, а когда остается одна, лицо становится грустным и задумчивым. «Еще фаты не сняла, а уже тужит! Не заедают ли ее эти Пинтезовы? — думал старик, печально покачивая головой.— Эх, промахнулась девка, но ничего, может, обойдется...»

Однажды, закончив работу и поужинав, Нонка взялась за книжку и стала читать вслух. Дед Ламби не успел еще задремать, как она вдруг умолкла. Положила локоть на книжку, о чем-то задумалась и долго сидела так, будто в комнате никого больше не было.

— Нона,— сказал дед Ламби,— о чем задумалась?

Она вздрогнула и снова раскрыла книгу.

— Ни о чем, дедушка, так просто...

— Что с тобой, Нона? Скажи мне. Я ведь вижу, что-то у тебя не так. Ты не больна?

— С чего ты взял, дедушка? — засмеялась она.

— Ты от меня не таись. Разве я не вижу? Точит тебя что-то.

— Да ничего меня не точит, дедушка,— проговорила Нонка и снова склонилась над книжкой.

Старик закурил цигарку, задымил и умолк. Тоскливо выл в трубе ветер. Назойливо и хрипло тикал на столе будильник; из свинарника послышался какой-то шум, и снова все стихло. Ничто так не удручало деда Ламби, как молчание. Сидеть с человеком вдвоем и молчать!.. Он слонялся по комнате, подкладывал в печку дров, зачем-то завязывал и развязывал веревки на своих царвулях, потом опять усаживался на кровати и курил. Он отлично видел, что Нонка только смотрит в книжку, а мысли ее далеко; ему хотелось утешить, развлечь ее, но, как назло, ничего не приходило на ум. «Чтоб он отсох, этот язык! — проклинал он себя. — Другой раз начнет молоть, не остановишь, а сейчас, когда нужно хоть одно веселое слово сказать, разогнать тоску, он словно отнялся, негодный!» Но только он это подумал, как, на счастье, его осенило. Он поглядел куда-то в сторону, пощипал усы и спросил:

— Дивлюсь я тебе, Нона! Как это ты читаешь, а губами не шевелишь?

— Про себя,— рассеянно ответила Нонка.

— В уме, значит! Это не каждому дано. В моей голове, например, только сквозняк дует. Теперь пятилетний ребенок уже знает азбуку, а я так и не мог ее осилить. Сама посуди, есть в этой голове мозги или нет. По правде говоря, я с малых лет дурачком был. Все соседские ребятишки давно лопочут, только я один... Два года стукнуло — я молчу. Чего только со мной ни делали, чтоб хоть слово выдавить,— ни в какую. Прошло еще два года, а я все молчу. Все решили: мальчонка немой, таким на всю жизнь останется. Мать то и дело принималась плакать да на бога сетовать: «Господи, мало того, что ты нас нищетой наказал, так еще послал немого мальчонку». Отец — тот меня очень любил. «Одного мне жаль, говаривал он, что поздно сынок наш на белый свет явился». Я ведь в семье самый младший. До меня одни девчонки рождались. И все, можно сказать, благодаря мне родились. Будь я хоть вторым или там третьим, а то ведь восьмой номер. Соседи и то посмеивались: «Наплодили девок полон дом! На всю деревню невест наработаете!» — «Ничего, говорил отец, пускай растут, в хозяйстве все пригодится». Вдруг под конец и я появился. Но мало того, что я восьмерых детей заставил народить при такой бедности,— взял да как назло немым уродился. «Хоть бы единое словечко вымолвил, говорил, бывало, отец, теленка в его честь заколол бы».

Еще два года прошло. Сшила мне мать потури*, вырос я дылдадылдой, а все молчу. Знаками хлеба прошу, все на пальцах объясняю. И вот, Нона, в один прекрасный день, что бы ты думала,— заговорил! Ни с того ни с сего. Отец потом рассказывал: «Строгаю я что-то во дворе, а ты около меня трешься, играешь. Играешь себе, значит, играешь, а потом вдруг обернулся ко мне и говоришь: «Папаня, сделай мне лошадку!» Батюшки-светы! Смотрю я на тебя и ушам своим не верю. А ты опять говоришь: «Сделай мне лошадку, я ее в речке напою». Стукнул, говорит, я себя кулаком по голове: уж не сплю ли, думаю? Так стукнул, что шапка на землю свалилась».

Бросил он топор, кинулся в хату да как заорет не своим голосом: «Жена, наш Ламби заговорил!» Мать не поверила. «Уж не помстилось ли тебе, Добре?» Тут я сам подбегаю и говорю: «Мама, скажи отцу, чтоб он мне лошадку сделал». Мать от радости чуть не грохнулась на землю. Схватила меня на руки и говорит сквозь слезы: «Что же ты, дитятко, столько лет молчал, ведь мы просто иссохли с горя!»

А я отвечаю: «Неохота было разговаривать!»

Нонка, закрыв рот ладонью, вся так и тряслась в беззвучном смехе.

...Под вечер Нонка пошла в село. По белой, бескрайней глади снега медленно скользили вечерние тени и, словно черные караваны из далеких, неведомых стран, устало ложились в долине. Пустынная, гнетущая тишина стояла над полем. Солнце еще не село, но два облака, как два огромных седых утеса с золочеными вершинами, заслоняли его. Нонка шла по тропинке, опустив голову, подавленная, печальная: ее терзала неотвязная мысль, что их с Петром разделяет что-то темное, страшное и счастье омрачено.

Солнце проглянуло сквозь щель между облаками, и Нонке показалось, что оно смотрит, прищурившись, и дразнит серый, хмурый вечер. Эта мальчишеская выходка солнца напомнила Нонке ее детские годы. Вот она играет во дворе со своим братом Петко; поссорятся из-за чего-нибудь, он бросится за ней, а она скорей в дом, накинет щеколду и, по-

* Крестьянские шаровары.

чувствовав себя в безопасности, примется его дразнить. Потом приоткроет дверь, увидит, что он надулся, и, чтоб еще больше ему досадить, скорчит рожицу и покажет язык...

Милые воспоминания детства успокоили ее. «Глупая я, зачем думать о плохом? Я счастлива, чего мне еще надо?! — повторяла она про себя, глядя вокруг посветлевшим взором.— Как хорошо, красиво! Какой тихий и теплый вечер, как лукаво улыбается за облаками солнце, а ночь все никак не догонит его. Только протянет руку — оно тут же скроется!»

Нонка вошла во двор, задыхаясь вбежала по ступенькам, открыла дверь и еще на пороге встретилась с ледяным взглядом свекрови.

— А мы уж решили, что ты и сегодня домой не явишься!

Сели к столу и молча принялись за еду. Петр сидел сердитый, все было не по нем: недосолено, хлеб черствый...

— Готовлю как умею, — обиженно ворчала Пинтезиха. — Не нравится? Что ж, у тебя жена есть...

У Нонки кусок застревал в горле. «Какие черствые и холодные люди!— в который раз думала она.— Вот если б сидела я с отцом и матерью, с братом и невесткой, как бы они расспрашивали меня сейчас о ферме, как обрадовались бы мне!» И представилось ей: возвращается она с фермы, еще с порога принимает ее в свои теплые объятия отчий дом. Мать приласкает, спросит: «Что, доченька, не замерзла?» —и усадит к печке. Отец, сидя на лавке, курит, ласково смотрит на нее и поглаживает поседевшие свои волосы. Потом придут брат с невесткой, а маленький Колю бросится ей на шею. Принимают ее, как самую дорогую гостью, и все спрашивают: «Нона, как поживаешь? Нона, не голодна ли?» Поужинают, отец снова усядется на лавку, опять закурит и скажет: «Ну-ка, сноха, спой нам песню. Покушали, теперь послушаем. Спой мою любимую, про гайдука Стояна!» Петковица поет, а он улыбается, на глазах слезы. Милый отчий дом!..

После ужина Петр поднялся наверх. Нонка убрала со стола и принялась было мыть посуду. Свекровь оттолкнула ее, закатала рукава и сказала:

— Иди отдохни!

— Мама, дайте я вымою!

— Отдыхай, я сказала! — строго буркнула Пинтезиха и склонилась над тарелками.

Нонка как побитая отошла от нее; сняла с вешалки шаль и выбежала на крыльцо. Облокотясь на перила, долго вглядывалась она в густые сумерки, окутавшие двор и сад. Заскрипела калитка, послышался кашель свекра. Нонка, вздрогнув, метнулась в сени и, прижимая к груди шаль, поднялась к Петру. Увидав Нонку, Петр обернулся к шкафу и стал торопливо рыться в ящиках, делая вид, будто разыскивает что-то очень нужное. Сердито перебирая всякие мелочи, он нечаянно столкнул на пол глиняную вазу.

— Вот беда! Как же это я? — проговорил он сквозь зубы и наклонился собрать осколки.

— Ничего, купим другую.

— Хорошая была ваза.

— Хорошая,— повторила Нонка.

Эта пустяковая ваза совершенно не интересовала обоих, но они продолжали говорить о ней, складывать по кусочкам, разглядывать.

— Мы купили ее на ярмарке, в Сеново. Помнишь?

— Помню. Продавец просил десять левов, я давал восемь.

— А потом ты мне ее подарил.

— Неужели нельзя склеить?

— Как же теперь склеишь?

Они легли, продолжая говорить о вазе, вспоминая, как они купили ее, как несли в село и боялись разбить. Когда вспоминать стало не о чем, умолкли. Оба чувствовали, что в этом молчании есть что-то притворное и вымученное. Петр положил руку под голову и сказал:

— С завтрашнего дня ты на ферме работать не будешь. Хватит!

Он ожидал, что Нонка станет возражать, как всегда, когда заходил об этом разговор, но она молчала.

— Так значит... завтра останешься дома.

Нонка подняла голову с подушки, села.

— Петя, давай поговорим еще раз! — взволнованно сказала она.— Подумай хорошенько, прежде чем решать.

— Я думал! — проговорил Петр сухим, хриплым голосом.— Пойми, мне не то обидно, что ты на ферме работаешь. Не в моих привычках труда стыдиться. Но не хочу я, чтоб моя жена каждый день, дождь ли, мороз ли, тащилась через все поле одна. Когда я отбывал службу в армии,— продолжал он, — пришлось мне быть во многих местах Болгарии. В поле, куда ни глянь, все женщины работают. Сядешь в трамвай — вожатый женщина. Видел я женщин шоферов, комбайнеров. Прошлую осень ездил я как-то в город. Выпал уже первый снег, холодина, замерз я в телеге. Смотрю, посреди дороги трактор стал, а около него молоденькая девушка лет восемнадцати-девятнадцати. Вся вымазана в масле, жалкая, посинела от холода. Дело к ночи, темнеет, а она одна дрожит посреди поля. Остановил я телегу: «Ты что, спрашиваю, стоишь тут, девушка?» — «Вот, говорит, поломка, помощник мой пошел за деталью в город, и до сих пор его нет».— «Садись, говорю, на телегу, довезу до ближайшего села, а то замерзнешь!» — «Как же я машину оставлю?» — отвечает, а сама плачет! До сих пор не могу без жалости вспомнить об этой девушке. В городе — в ресторанах, парикмахерских, магазинах — одни мужчины работают, в тепле и уюте. Вот ты и скажи мне, какие жены, какие матери выйдут из этих девушек? Есть ли большее унижение, чем заставить женщину работать на тракторе, на комбайне и не знаю там где еще, чтоб она стала похожа на черта, утратила женскую свою красоту да при всем том еще рожала и воспитывала детей?

— Сама жизнь того требует, иначе нельзя,— ответила Нонка.— Наши матери только и знали, что дом да семью. Но тогда, например, с нашим селом никакого сообщения не было, а теперь автобус, и кондуктор — женщина. Отчего ей не выполнять эту работу, раз она ей по силам? И раньше женщины всякую работу делали, только для своей семьи: она тебе и швец, и жнец, и в дуду игрец; и все равно в поле наравне с мужчинами работали. Так отчего им в кооперативе не работать? — Нонка натянула на себя одеяло, прислонилась спиной к стене и, немного помолчав, продолжала: — Не знаю, довольны ли женщины, о которых ты рассказываешь, тем, что стали трактористками и шоферами. Мне хорошо на ферме. Почему я к ней привязана, не расскажешь. Но человеку всегда радостно сознавать, что он оставил какой-то след в жизни. Для других эта ферма, может, ничего и не значит, а для меня значит много. Я работаю на ней с шестнадцати лет. Когда пришла туда, это был грязный сарай, а теперь чистая, красивая ферма, на которой работают в белых халатах. Приведи меня туда с завязанными глазами, я найду, где что лежит, потому что сама, своими руками расставила все по местам, во все вложила кусочек сердца. Мне и в голову не приходит сомневаться, должна я там работать или нет, и никто до сих пор так со мной не говорил...

— А я не могу не говорить,— отозвался Петр,— потому что ты мне жена. Раз ты моя жена, значит должна быть со мной вместе и дома и в поле, как мои мать с отцом всю жизнь.

— Разве я не хочу быть с тобой? Но обидно бросать любимое дело ни с того ни с сего. Признаться, я еще кое-чего побаиваюсь, только до сих пор говорить не решалась. Думала, ты обидишься.

— Чего же это?

— Как вошла я в ваш дом, поняла, что твоя мать не любит меня. Я и до свадьбы слышала, что она настроена против меня, а теперь сама убедилась. Я всячески стараюсь ей угодить, а она все равно недовольна.

— С чего ты взяла? — вздрогнул Петр и приподнялся. Зная, как мать противилась его женитьбе на Нонке, он опасался, как бы обе женщины не возненавидели друг друга. Случись это — жизнь в доме станет невыносимой. — Мать у меня строгая, такой уж у нее характер. Но сколько б она тебя ни любила, все равно тебе не забыть, что она не родная мать, а свекровь. Просто вы еще чужие друг другу, но так всегда бывает поначалу, когда входят в чужой дом. Что говорить! Мы с тобой — и то не всегда можем друг с другом столковаться, чего же требовать от старухи? К тому же, как говорится, в каждом монастыре свой устав. Привыкнешь. Роди ей внука, станет он резвиться около нее, увидишь, как подружитесь, вас тогда водой не разольешь.

— Хотела бы я, чтоб было так, Петр,— с облегчением вздохнула Нонка.— Я понимаю, что рано или поздно придется дома остаться, но пусть этот день наступит попозже, а до той поры мы со свекровью, может, и привыкнем друг к другу.

— Об этом не беспокойся! — Петр опустил голову на подушку.— Все обойдется. Завтра оставайся дома, а я сам схожу заберу твои вещи.

— Нет, Петя. Я должна еще месяц-два поработать на ферме. Не могу я бросить старика одного.

— Ни единого дня!

— Но как же...

— Ты слышала, что я сказал? — со злостью закричал Петр.— И не о чем больше разговаривать!

Нонка отвернулась и ничего не ответила...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

На следующее утро Нонка поднялась бледная, усталая. Умылась и принялась готовить завтрак. С Петром они и словом не перемолвились. За ним прислали из правления, он наскоро поел и ушел, ничего не сказав, только пристально поглядев на нее. Нонка прибрала в комнатах, взяла все что нужно и спустилась во двор. Свекр доставал из-под снега дрова и складывал под навес.

— Уже уходишь, дочка?

— Да, отец.

— Ты сегодня припоздала? — Пинтез выпрямился и поглядел на небо.

Нонка улыбнулась через силу.

— Ну как, опоросились твои свиньи?

— Со дня на день ждем.

— Вот и славно. Смотри, чтобы все было хорошо.

На ферме дед Ламби встретил ее, сияя от радости. Утром Зорница принесла двенадцать поросят, все до одного живы-здоровы. Спасибо, Дамян зашел спозаранку, подсобил.

Нонка надела халат и вошла в свинарник. Дамян устилал ящик мягкой соломой и тоже был весел, его серые глаза радостно улыбались.

— Поздравляю, Нона!

Она заглянула в бокс. Зорница лежала, зажмурив глаза, и тихонько похрюкивала. Поросята, словно обезумев от голода, яростно сосали. Все

были одинаковые, беленькие, с розовыми мордочками. Нонка схватила одного из поросят и поцеловала. Дед Ламби с Дамяном засмеялись.

Вдруг сильно хлопнула наружная дверь. Дед Ламби вышел посмотреть, кто там.

— Посмотри, Нона, кто пришел! — закричал он из сеней.— Наконец-то к нам заглянул. Милости просим!

— У меня все-таки жена здесь, — послышался раздраженный голос.

Увидев Дамяна, Петр замешкался на пороге, в глазах метнулся зеленоватый огонек. Нонка смущенно подала мужу стул, а дед Ламби совсем некстати бубнил за его спиной:

— Словно зарекся сюда ходить. Не жалуешь ты нас, можно сказать. Садись, в ногах правды нет...— тут он взглянул на Нонку и осекся.— Ты что так побледнела? Что с тобой?

— Забирай вещи и пойдем! — глухо произнес Петр.

Дед Ламби с Дамяном переглянулись, Нонка отступила назад.

— Пошли!

Нонка начала собираться, руки у нее дрожали.

— Так вот зачем ты явился? С фермы ее забирать? — напустился дед Ламби на Петра.— Иди-ка отсюда! Ишь, какой хозяин выискался! Сию же минуту уходи, не расстраивай ее понапрасну.

Петр взглянул на него, зло сощурив глаза.

— Не лезь не в свое дело!

— Ты на меня не рычи! — не отступался старик.— Вот пойду пожалуюсь Марко и Ивану. В партию пожалуюсь. Будешь знать, как забирать у нас работника.

— Иди куда хочешь! Хватит брехать.

Тут вступился и Дамян, не проронивший до сих пор ни слова:

— Не дело ты делаешь, Петр.

— Это моя забота.

— Не только твоя.

— Я сюда за женой пришел, а не за твоими советами.

Дамян медленно поднялся и подошел к Петру.

— Сейчас Нонка нам особенно нужна, мы не можем освободить ее от работы. А там посмотрим.

В глазах Петра опять блеснул зеленый огонек. Он хрипло откашлялся и сказал:

— Своей женой можешь командовать, а моей я сам распоряжусь. Понятно?

— Слушай, парень...— Дамян тяжело шагнул к нему.— Никто твоей женой не командует...

— Петя! — в испуге закричала Нонка и встала между ними.— Что вы в самом деле! Будет вам! Пойдем!

Петр резко повернулся и вышел.

* * *

Старый Пинтез лущил кукурузу, готовя корм для кур. Когда Нонка с Петром вошли, он поднял голову, посмотрел и спросил:

— Что, дочка, пришлось сегодня потрудиться? Вид у тебя усталый.

Нонка отвернулась в сторону и всхлипнула.

Пинтез бросил початок в миску.

— Да ты никак плачешь,— и, обернувшись к жене, спросил: — Что случилось?

— Почем я знаю! — ответила та, притворяясь встревоженной.— Кто их разберет, о чем они дорогой ссорились.

— А ты что молчишь? — обернулся Пинтез к сыну.— Что с нею, говори!

Петр словно не слышал, опустился на табуретку и прикрикнул на Нонку:

— Будет хныкать!

— Вот возьму я кочергу! — сердито рявкнул Пинтез и привстал с места.— Отвечай, когда отец спрашивает!

— Чего ты разошелся? У нас с ней свои дела.

— Какие такие дела? До слез женщину доводишь!

— А вот такие. Я велел ей уйти с фермы, а она нюни распустила.

— Как это уйти? Она работает...

— Работать везде можно...— вставила Пинтезиха.

— А ты помалкивай, тебя не спрашивают!

Пинтез остановился посреди комнаты и с минуту стоял неподвижно. Его густые белые брови низко нависли над глазами, усы подрагивали.

— Оторвать человека от любимого дела — что сердце у него вырвать,— тихо, словно про себя, проговорил он.— Не плачь, дочка. Сегодня вечерок отдохни, а завтра пойдешь на ферму. И отныне...

— Никуда она не пойдет! — прервал его Петр и пошел к двери.

— Стой! Ты куда? — властно остановил его старик.— Это ты с отцом так разговариваешь? Я сказал — с завтрашнего дня...

— Мало ли что ты сказал. А я говорю, дома будет сидеть — вот и весь разговор.— Петр вобрал голову в плечи и смотрел отцу прямо в глаза злым, упрямым взглядом, точно разъяренный бык.

Впервые почувствовал старый Пинтез, что в доме есть еще один хозяин, что кончилась его отцовская власть. Что-то сдавило сердце, он задохнулся, протянутая вперед рука медленно и бессильно опустилась.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Тетка Колювица первой узнала новость. Она случайно зашла к Пинтезовым, и Нонка, грустная, расстроенная, сказала, что Петр больше не пускает ее на ферму. По правде сказать, тетка Колювица не очень опечалилась. Сочувственно поохала для виду, но по дороге домой вздохнула с облегчением. «Слава богу, будет жить дома, как все люди. А то с этими поросятами света белого не видит».

Дядя Колю куда-то собирался, стоял уже в дверях.

— Ну, как там сваты? — спросил он.— Нона сегодня домой не приходила?

— Пришла и больше не уйдет.

— Куда не уйдет?

— На ферму. Петр не пускает.

— Работать не пускает? — изумленно переспросил дядя Колю.— А она что?

— Что она? Будет дома сидеть.

Дядя Колю побледнел. Сдвинул назад фуражку, вытер выступивший на лбу пот.

— Что ты расстраиваешься? Не бог весть что случилось, — забеспокоилась тетка Колювица.— Из-за всякого пустяка кипятишься, а потом жалуешься, что сердце колет. Вот и хорошо, будет дома жить. Пускай теперь кто-нибудь еще...

— Дурья твоя голова! — вне себя закричал дядя Колю, замахнувшись на жену. Равнодушие, с которым она отнеслась к этому известию, еще больше взбесило его. Задыхаясь от гнева, он искал слова пообиднее, не мог найти и только твердил: — Дура, дуреха! — Он шагал по комнате,

отшвыривая все, что попадалось под ноги. В конце концов гнев его немного утих. Он закурил и стал смотреть в окно.

— Господи, совсем спятил. Раскричался как полоумный,— проговорила тетка Колювица, почувствовав себя в безопасности.

— Как не кричать? Человек твоей дочери жизнь губит, а ты за него вступаешься. Зачахнет Нонка без фермы, как цветок без воды.

— Ничего он не губит...

— Что ты своим бабьим умом понять можешь! Только и знаешь охать да ахать. С той минуты, как Нонка вошла в эту семью, нет мне покоя! Чуяло мое сердце! Сегодня на ферму не пустили, завтра еще что-нибудь выдумают.— Дядя Колю снова натянул старый потертый тулуп, который он в гневе сдернул и бросил на лавку.— Хлебнем мы горя из-за нашего зятюшки! Рано он когти свои показал!..

Он захватил с собой палку, чтоб отгонять собак, и направился к дому Пинтезовых. Со времени Нонкиной свадьбы он был у них только дважды, а те ни разу не переступали порог его дома. Породниться породнились, а держались врозь, словно чужие. Тревожился дядя Колю за Нонку.

Он знал, что Пинтезиха с самого начала была против нее, старуха сварливая, заносчивая, поедом будет Нонку есть. «Может, хоть Петр другим человеком окажется, заступится за жену, не даст в обиду!» — утешал он себя раньше. Но оказалось, что яблоко от яблони недалеко падает.

Всю дорогу думал дядя Колю, как подступиться к Петру, вразумить его, но, отворив дверь, увидел в комнате председателя кооператива и партийного секретаря и понял, что ничем своей дочке помочь не сможет. Судя по всему, Марко и Иван Гатев давно сидели здесь, и разговор шел неприятный: вид у обоих был взволнованный, а в комнате полно табачного дыма. Старый Пинтез сидел, опустив голову, на краю кровати, рядом, поджав губы, устроилась с прялкой Пинтезиха. Петр и Нонка стояли смущенные.

Дядя Колю оставил палку за дверью, сел на стул и проговорил:

— Я, кажется, перебил на самом интересном месте?

— Мы все сказали,— ответил Марко.— Послушаем теперь Петра.

— И я свое сказал, бай Марко. К чему повторять?

Марко наклонился вперед.

— Знаешь, парень,— мы тебя уважаем и ценим. Какой смысл объяснять тебе то, в чем ты не хуже нашего разбираешься? Отпусти Нонку на ферму, и на этом покончим, не будем людей смешить. Признаться, не ожидал я от тебя такого. Считал, что ты относишься к кооперативу честнее.

— Я честно отношусь к кооперативу, бай Марко,— сказал Петр.

— А поступаешь нечестно! — вспыхнул Гатев, и громкий, резкий голос его словно вспугнул облачка дыма, повисшие над головой.

— Срываешь работу свинофермы, а кооператив ухлопал на нее такие средства! В конце концов существует устав; уж коли ты вступил в кооператив, изволь его выполнять. Если каждый будет делать, что вздумается, от кооператива ничего не останется. Стоит председателю и другим бригадирам решить что-нибудь — ты всегда против, на все у тебя особое мнение.

— Если решение неправильное, как могу я с ним согласиться? — хмуро ответил Петр.

— Выходит, ты умнее целого коллектива?

— Ничего я не умнее, но коллектив — это люди, а люди могут ошибаться.

— Сейчас мы, выходит, тоже ошибаемся, когда уговариваем тебя отпустить жену на ферму? — крикнул вконец разозлившийся Иван.— Неправильное у тебя отношение и к общественному труду, и к женщине. Тебе бы чалму на голове носить.

Петр исподлобья посмотрел на него, и лицо его густо покраснело.

— А тебе и чалму надеть не на что.

Гатев, оскорбленный, разгневанный, вскочил со стула и направился к двери.

— Идем, Марко! Не о чем нам разговаривать с этим мелкобуржуазным пережитком!

Когда шаги их затихли, в комнате наступило тягостное молчание. Дядя Колю курил одну цигарку за другой, пуская клубы дыма. Ему стало жарко; он распахнул тулуп и обернулся к Пинтезу:

— Не нравится мне это дело, сват!

Пинтез поднял голову, искоса взглянул. В глазах его были беспомощность и стыд за все, что произошло в доме.

— И мне не нравится, сват! — со вздохом сказал он, и усы его задрожали.— До того дожил, что у себя в доме своего мнения сказать не могу.

Он хотел что-то добавить, но махнул рукой и вышел. Нонка, всхлипывая, выбежала за ним следом.

Защемило сердце у дяди Колю, когда он увидел Нонкины слезы. Хотелось ему как следует отчитать зятя, да что толку? Он и родного отца ни во что не ставит, лучше уж молчать. Только переругаются, а потом все на Нонкину голову обрушится. Однако не вытерпел и, уходя, с укором произнес:

— Одно скажу: неправильно ты делаешь!

— Правильно или нет, а дело сделано! — усмехнулся Петр.— Ты скажешь, что я не уважаю жену, ее работу. Неверно это. И не слушай Гатева. Он привык других учить уму-разуму, а у самого ума не больно густо. Заучил из газеты два-три слова и знай твердит. Чуть что наперекор скажешь, он тут же: «Контра, мелкобуржуазный пережиток!» Заладил одно и то же...

Пинтезиха опустила прялку, которую до сих пор старательно вертела, чтобы показать, что она ни во что не вмешивается, облизнула губы и деланно засмеялась:

— Мы для Нонкиной же пользы стараемся, сват. Чтоб жила здесь, с нами. Ты свое сделал — выходил ее, вырастил. Теперь она наша, наш хлеб будет есть, теперь мы ей отец с матерью.

Дядя Колю поглядел на ее желтое, высохшее лицо, и отвращение горячей волной захлестнуло его. «Вот кто Нонку поедом ест», — подумал он, и, как ни хотел сдержаться, слова сами сорвались с языка:

— Я ей отец, и больно мне смотреть, как вы мое дитя до слез доводите! — срывающимся голосом проговорил он.— Имейте в виду, если вы ее обидите или еще что... Все село знает, какой я вам ее отдал...

Он схватил палку и, не попрощавшись, выбежал за дверь, чувствуя, что теперь не будет Нонке житья в этом доме.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

С тех пор как Нонка ушла с фермы, она только один раз, тайком от Петра, побывала там. Дед Ламби, увидев ее, чуть не расплакался.

— Позабыла ты нас, доченька, позабыла! — печально приговаривал он, суетясь вокруг Нонки, заглядывая ей в глаза.— Мы тут с Дамяном мыкаемся вдвоем. Как жена его умерла, упокой господи ее душу, он отказался от бригадирства и пришел работать на твое место. Ну, а ты как?

— Хорошо, дедушка,— проговорила Нонка; в глазах ее блеснули слезы.

Она обошла ферму, обо всем расспрашивая, и, наконец, собралась уходить.

— Погоди, Нона, побудь еще немного! Скоро Дамян вернется, ты

и с ним бы повидалась, — взмолился дед Ламби, когда она двинулась к воротам.— Он, бедняга, чуть выдастся свободная минутка, все о тебе вспоминает.

Дед Ламби за это время похудел, как будто меньше ростом стал. Шапка у него была по-прежнему сдвинута набок, но без былой лихости. И халат грязный — не то что раньше. У него был вид отчаявшегося человека.

— Привык я к тебе, разрази меня гром, и все тут. Ну да ладно, была б ты жива-здорова — это самое главное.— Он проводил Нонку до самой рощицы и все болтал без умолку.

Отойдя шагов на сто, Нонка оглянулась: старик стоял посреди дороги, как сиротливое, одинокое дерево. В душе шевельнулось нежное чувство, ее потянуло обратно на ферму, где провела она столько тревожных и радостных дней. Не хотелось возвращаться домой; идти бы одной по полю, предаваясь тихой, безутешной грусти... Таяли в небе прощальные лучи заходящего солнца, неуверенно зажигались и гасли первые звезды. Теплый вечерний ветерок нежно и ласково, как дыхание любимого, скользил по лицу. Отныне будет она жить, как бескрылая птица; вместе с девичьими годами окончились и все ее радости. Это чувство, зревшее где-то глубоко в сердце, вспыхнуло вдруг с такой силой, что она испугалась и побежала в село. «Нет, нет! — твердила она себе, задыхаясь. — Я сделаю так, что буду счастлива! Я сама построю свое счастье. Оно во мне самой, в моем сердце!»

С той поры она больше не ходила на ферму, и воспоминания о ней стали вянуть, как цветок без воды. Она взяла в свои руки всю работу по дому. Ранним утром, пока все еще спали, доила корову, разводила огонь и готовила еду. Если надо было стирать или печь хлеб, она вставала среди ночи и успевала выйти на работу в поле наравне с соседками. От тяжелого труда она не похудела и не подурнела, наоборот, стала еще красивей. Стройный стан ее округлился, а на локтях появились маленькие смуглые ямочки. Прежними остались только одни глаза — огромные, черные, с темными ресницами, и независимый взгляд. Свежесть и привлекательность, отличающие молодую женщину, еще больше приковывали к ней взоры.

«Пинтезовы свою сноху словно медом кормят!» — говорили люди, глядя на нее.

Нонке было приятно слышать это, замечать на себе восхищенные взгляды. Она сама видела, что хорошеет, и чувствовала, что в ней происходит какая-то внутренняя перемена: робкая девичья стыдливость сменяется зрелостью взрослой женщины, день ото дня все жарче разгорается в ней внутренний огонь. Петр упивался ее красотой, но эта красота будила в нем ревность. Они работали теперь в одной бригаде, и он ни на шаг не отходил от нее, не пускал одну на собрания, не разрешал задерживаться на улице.

Глядя, как увлечен Петр своей женой, Пинтезиха терзалась ревностью и с затаенной злобой думала: «Ишь, глаза блестят, как у кошки! А что толку? Год прошел, а все еще не тяжела. То ли болезнь у нее какая, то ли вообще не родит!» Когда соседки нахваливали сноху, она строго поджимала губы, и никто не мог понять, гордится она снохой или недовольна.

Нонка постоянно чувствовала на себе холодный взгляд свекрови, но не боялась ее так, как прежде. Разгоревшаяся страсть зрелой женщины словно придавала ей силы и жизнерадостность. Она говорила себе: «Сделаю так, чтобы свекровь ни в чем не могла меня укорить». Возвратясь с поля, поливала огород, рыхлила землю в палисаднике, наводила порядок в доме.

Так прошел год. Пошел второй...

Петр сильно изменился за это время, стал еще крепче и шире в плечах. Черты лица стали резче — это придавало ему суровую мужественность. Люди постарше, помнившие Пинтеза в молодости, говорили, что Петр похож на него как две капли воды: и походка та же, и характер — упрямый, настойчивый.

Петр и прежде был горяч и требователен в работе, а теперь стал еще беспокойнее и придирчивее. Каждое утро поднимался до свету и шел от дома к дому, созывая свою бригаду. Кое-кто даже злился на него за это.

Иногда бригадир слышал, как за его спиной недовольно ворчали:

— Ишь, оглашенный, ровно на себя работает.

— Выслуживается, из кожи вон лезет, чтоб медаль получить.

Эти разговоры оскорбляли Петра. Он давал себе зарок не принимать их близко к сердцу, ни с кем не вступать в перебранку, но выдержки хватало лишь на один день. Он не выносил работы спустя рукава, выхватывал из рук лодыря мотыгу и сильными, яростными взмахами показывал, как надо работать.

— Не ковыряй землю, копай как следует!

Однажды в перерыв подсел к Петру Христо Коев, закурил и сказал:

— Смотрю я, как ты за работу болеешь. О всякой малости беспокоишься.

Христо был человек лет под пятьдесят, крепкий и работящий. Петр никогда не слышал, чтобы он был чем-нибудь недоволен, точно так же, как никогда не видел его веселым, смеющимся. Он был добросовестен и трудолюбив, как пчела. Разговорчивостью не отличался, и поэтому все, кто сидел вокруг, насторожились: что-то он скажет? Бай Христо словно засмущался, замялся, но все-таки продолжал:

— Так вот, значит... Расскажу я тебе, Петерчо, одну историю. Возвращаюсь я, значит, на днях с сынишкой из Сеново. Простыл у меня малый, к доктору его возил. По дороге встречаем, значит, этого, который ездит, лимонадом торгует, не знаю, как его звать. У мальчонки моего внутри все горит, и, как завидел он бутылки с лимонадом, начал просить: купи, мол. Остановил я телегу и кричу: «Дай-ка бутылочку, сынишка у меня больной». Подает он мне бутылку. «Сколько стоит?» — спрашиваю. Я на лекарства потратился, в кармане всего пятьдесят стотинок. «Шестьдесят стотинок», — говорит. «Сколько?!» — «Шестьдесят». Вскипел я и швырнул бутылку ему обратно. «Не стыдно тебе?» — говорю. А он смотрит и улыбается, подлая душа. Так-то... Вот какая история.

Бай Христо, не ожидая ответа, отвернулся; цигарка дрожала в его руке.

— Да что тут говорить, бай Христо! — подхватила Тана Черная, высокая костлявая женщина, с сильными, широкими, как лопаты, руками и языком, острым как бритва. Все, что другие не осмеливались высказать правлению или начальству, эта выпалит, глазом не моргнет. От загара она стала еще черней, чем обычно, и, казалось, еще более некрасивой. — Ты спроси, как мы концы с концами сводим. Второй год как послали сына учиться в город, а не можем для него лишнего лева выкроить.

— Ладно, будет тебе лазаря петь! Не так уж тебе плохо,— отозвался Юрдан Гочев, комкая в ладони горсть рыхлой земли и мягко улыбаясь.— Привыкли хныкать по всякому поводу.

— Ты партийный, потому так и говоришь! — раздраженно накинулась на него Тана.— А сколько мы в прошлом году получили на трудодень? По шесть левов.

— И шести не будет...

— За шесть левов целый день работать! Позор!

— На себя пенять надо, а кооператив тут ни при чем,— сказал Юрдан.— Работаем спустя рукава, словно не на себя, а на чужого дядю, да и организация, конечно, хромает.

— Так наладьте вы ее, эту организацию. От кого же это зависит, как не от вас? Восьмой год работаем, а вы все никак организацию не наладите.

— Не все сразу, тетя Тана,— вмешалась и Нонка.— Трудностей много...

Петр взглянул на нее исподлобья, и она замолчала.

— Конечно, есть трудности, да разве они понимают? Им чтобы все само собой, как по маслу шло. Разве не видите, сколько государство тратит на строительство!

— Это мы знаем. Ты государство сюда не припутывай.

— О нас речь идет.

— Разве государство заставляет устанавливать одинаковые нормы, какая б ни была работа? У нас, к примеру, работа тяжелая, у других куда легче, а норма одна. Они труда вкладывают меньше, а трудодней получают больше. Спрашивается, где справедливость?

— Ну что ж, возражайте, критикуйте! На то и годовые собрания существуют.

— Жди-дожидайся этого собрания!

В сторонке горячо, до хрипоты, спорили несколько мужчин.

— Трудодень падает, потому что на строительство деньги ухлопываем! У нас в него полтора миллиона вложено. Ты что, ослеп, не видишь?

— Это все так, но зачем, спрашивается, хлев для овец отгрохали почище иного дворца: из кирпича, на каменном фундаменте. И хоть бы по-людски сделали, а то поставили его на северную сторону, так что овец холодным ветром обдувает.

В самой крайней группе, где сидели вместе и мужчины и женщины, спор перешел в перебранку.

— По старым временам плачете, как я посмотрю!

— Никто не плачет, а говорим, чтоб был порядок и справедливость.

— Ну да, как же, по кулакам соскучились.

— А что кулаки — людоеды, что ли?

— Вот, вот, давно спину не гнули!

— А то мы теперь мало гнем!

— Да что с ним говорить! Он сто декаров *земли имел, сам кулаком был. Теперешние порядки ему, конечно, не по нутру.

— Да, имел, не отказываюсь, — громко кричал кто-то. — Ну и что? Я сам, вот этими руками работал, а не отлеживался. А ты чужих коров пас и полеживал где-нибудь в тенечке.

— Знаем мы, как ты сам работал. Ишь, брюхо отрастил! Словно кабан.

Петру надоело слушать все это, он вскочил, схватил мотыгу и начал работать. Поднялись вслед за ним и остальные, принялись копать, но крик по-прежнему не прекращался. Такие яростные споры то и дело вспыхивали в бригаде, к ним уже привыкли. Работают спокойно день, два, а то и неделю, разговаривают, даже шутят между собой, но стоит кому-нибудь заворчать, как тут же поднимается галдеж, споры, ссора, и долго еще потом косятся люди друг на друга, выискивая повод сцепиться. Тяжело было Петру видеть, как они взвинчены, с каким недоверием относятся друг к другу. «Разве они когда-нибудь заживут одной семьей? — часто думалось ему.— Восьмой год работаем вместе, а согласия все равно нет. Неужели и дальше так будет?» — спрашивал себя Петр и не находил ответа.

* Декар — 0,1 га.

Прежде он над этими вопросами не задумывался. Старался только, как бы от других бригадиров не отстать, вовремя отчитаться перед правлением, да чтоб у самого совесть была чиста. Кое-что, конечно, и раньше беспокоило его, но он быстро забывал об этом, был занят больше сердечными делами. А когда женился, отдался своей бригадирской деятельности со всей страстью настоящего хозяина. В сердце пробудилась и разгорелась та могучая, неодолимая любовь к земле, которая отличала всех Пинтезовых. Шагая по широкому полю, он упивался запахом пашни, и сердце его наполнялось восторгом и благоговением. Он чувствовал, что земле нужен его самоотверженный труд, и готов был отдать ей всего себя. Но чем больше силы ощущал он в руках, тем чаще вспыхивали у него стычки с правлением и другими членами кооператива. Ему казалось, что они относятся к земле не как хозяева, а как чиновники и администраторы. Вместо того чтобы твердо и уверенно вести дело, тонут в разных планах и директивах. В прошлом году уродилась невиданная кукуруза, а руководство считало, прикидывало, суетилось и упустило время: кукуруза погнила под дождем и снегом. В другой раз стали сеять культуры, которые в наших краях не родятся,— лишь бы только выполнить спущенные сверху планы; наспех, не продумав как следует, принимались строить какие-нибудь помещения — и все это ложилось на плечи членов кооператива. Петр из себя выходил от злости и, будучи по характеру резким, несдержанным, ссорился с руководителями кооператива, называл их бюрократами, настраивая их против себя. Они уверяли, что не обижаются за критику, однако видели в Петре человека, недовольного порядками в кооперативе. Петр чувствовал себя угнетенным, подавленным. «Не хозяин я этой земле — вот в чем все дело! — в отчаянии говорил он себе. — Руки у меня связаны. Не дают работать, как сердце подсказывает». Много забот и неприятностей причиняли Петру и люди из его бригады. Какие они недружные! Одни довольны, другие недовольны, растерянны... Как они неспокойны, встревоженны! Петру не верилось, что когда-нибудь эти люди будут работать радостно, сообща. Он ни с кем не делился этими печальными мыслями, даже с Нонкой, знал, что при всем ее уме она не поймет его. Она сочувствовала ему, но в то же время упрекала за маловерие... Это слово Петр особенно ненавидел, потому что Иван Гатев то и дело называл его «маловером» и «контрой». Нонка говорила, что в кооперативном хозяйстве не может не быть трудностей, но все это позабудется в один прекрасный день, когда люди станут получать за свой труд достаточно и привыкнут добросовестно трудиться на общей земле. Петру было неприятно, что она с такой легкостью решает вопросы, волновавшие его; казалось, что она наивно, по-детски смотрит на жизнь. «Женщина остается женщиной»,— говорил он себе и не хотел вступать с нею в споры, поверять ей свои мысли.

С некоторого времени он чувствовал, что между ним и Нонкой выросла какая-то невидимая преграда, которая мешала открыть ей душу, рассказать, что его тяготит. Этой преградой было отсутствие у них ребенка. Сначала он надеялся, что скоро станет отцом, но на третий год после свадьбы начал терять надежду.

Петр не представлял себе семьи без детей. Прежде он не замечал деревенских ребятишек, а теперь невольно стал с нежностью засматриваться на них; приятно было глядеть, как они носятся по улице, с вымазанными рожицами, непоседливые и крикливые, как воробьи.

Каждый вечер ждал он, что Нонка положит голову ему на плечо и, счастливая, взволнованная, признается, что у них будет ребенок. Но ждал он напрасно. Только все с большей преданностью и каким-то отчаянием отдавала ему Нонка свою любовь.

Подозрение, что она обречена на бездетность, со временем переросло в тяжкую муку, которую он скрывал от нее. Казалось ему, что если Нонка узнает, как хочет он иметь ребенка, оба будут страдать еще больше, жизнь станет совсем невыносимой. Исчезло то трепетное ожидание, с которым он прежде возвращался домой. Не радовали ни уют, созданный Нонкой, ни ее заботы и ласки. Он спешил поскорее уйти из дому в поле. Там, среди ровных, бескрайних далей, душа его проникалась тихой, безмятежной радостью.

Однажды утром вышел он пораньше, посмотреть, как идет пахота, и, шагая по извилистым тропинкам, залюбовался восходом. Солнце медленно заливало небо багрянцем. С каждым мгновением горизонт все больше светлел. Кусты, деревья, пашни, подернутые прозрачной фиолетовой дымкой, постепенно обретали свои подлинные краски. Солнце поднималось все выше, весело разбрасывая золотые стрелы лучей по пробудившейся земле. Могучая стихия дня начинала свою работу. Оставляя за собой синеватые облачка дыма, быстро бегал по полю трактор. Стук мотора разносился далеко вокруг.

Петр шел большими шагами, оглядывая поля, и ему казалось, что земля раскрывает свои объятия не ласкам солнца, а ему, Петру, хозяину этих просторов. Как всегда, оказавшись среди полей, он ощутил в душе какое-то странное опьянение. «Эх, земля, земля!» — тихо шептал он.

Дойдя до участка своей бригады, он достал из кармана рулетку, с которой никогда не расставался, и измерил глубину борозды. Она едва достигала восемнадцати сантиметров, вместо положенных двадцати четырех. Борозды были кривыми, неряшливыми, края участка, где трактор заворачивал, вовсе не запаханы.

Петр двинулся по борозде, дрожа от гнева, и с каждым шагом все яростней вскипала в нем злость. Трактор бежал ему навстречу легко и, казалось, беззаботно — это еще больше разозлило Петра. Он поднял руку и закричал:

— Стой!

Тракторист выглянул из кабинки.

— Чего тебе? Некогда.

— А ну, вылезай! Вылезай, говорю!

Тот неохотно подошел, не выключив мотора.

— Либо перепахивай все заново, либо убирайся ко всем чертям! — гаркнул на него Петр.— Разве это пахота?!

— А что же?

— Ничего! Поскреб землю, точно кошка лапой!

Тракторист покачал головой, скривился:

— Я, друг, не с тобой договор заключал, а с кооперативом. Понятно? Если я по пять декаров в день пахать буду, с голоду помру. У меня есть план, я обязан его выполнить.

— И не стыдно тебе? За наш счет план гонишь! Иди выполняй свой план в другом месте.

— Это уж мое дело. Моя работа всем нравится, один ты такой выискался.

Петр изменился в лице. Он нагнулся, схватил горсть земли и швырнул трактористу в лицо.

Тот, выплюнув землю, попятился и грубо выругался. Вне себя от ярости Петр влепил ему пощечину.

— Я на тебя в суд подам! — кричал ошарашенный тракторист, в испуге отступая от него.

— Посмотрим, кто на кого подаст! — прохрипел Петр. — Бюрократ! Землю нашу поганишь? Не будешь пахать как надо, комиссию вызову!

Тракторист вывел машину на край участка и после некоторого колебания начал работу заново.

Петр постоял, поглядел и направился к селу, все еще хмурясь. «Не могут без палки!» — думал он, но в душе раскаивался, что ударил тракториста.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Тракторист не подал в суд и никому не стал жаловаться, но в селе прослышали о пощечине. Члены кооператива, особенно из бригады Петра, судачили об этом случае, приукрашивая его всякими выдумками, так что Петр стал притчей во языцех. Нонке неприятно было слушать разговоры о своем муже, стыдно за него. Как-то вечером, возвращаясь с поля, она сказала Петру:

— Зачем ты делаешь так, чтоб люди над тобой смеялись?

Петр сердито молчал. Его уже отчитывали и в союзе молодежи, и в правлении, да и сам он жалел о своем поступке.

— Как можно ударить человека? — не успокаивалась Нонка. — Ну, ошибся он — проверят, если нужно — накажут. А ты — как чорбаджия...

Петр вздрогнул. Только теперь Нонка заметила, как исхудал и побледнел он за последнее время. Он поглядел на нее, злобно прищурившись, и закричал:

— Хватит! Не учи меня! Можно подумать, ты у нас без изъяна!..

Нонка поняла его намек и уныло опустила голову. Сердце ее сжалось.

— Я знаю, о чем ты говоришь, но что я могу поделать! — сказала она и заплакала.

— Знаешь, так молчи! — сухо ответил Петр.

Он шел быстрым и крупным шагом, Нонка едва поспевала за ним.

Холодный вечер спускался на поля. Откуда-то доносился скрип телег, слышались протяжные крики. От полей, черневших по обе стороны дороги, веяло холодом и грустью. Над дорогой, терявшейся в синеватой мгле, пролетели запоздалые ласточки, был слышен мягкий, едва уловимый шелест их крылышек. Нонке стало еще грустнее. «Он ненавидит меня!» — говорила она себе, и эта мысль камнем давила ей сердце.

За всю дорогу они больше не взглянули друг на друга, не проронили ни слова. Обоим было неловко, словно было сказано что-то такое, чего никогда не следовало говорить. Ни у него, ни у нее не хватало смелости продолжить начатый разговор. Оба понимали: так долго скрываемая горестная догадка, что у Нонки не будет детей, стала страшной, неотвратимой явью. С этого вечера пролегла между ними черная тень, погасившая их страсть.

Петр видел, что Нонка тоже мучается, но не было в его душе нежности, чтоб утешить ее, не приходили больше слова, которые говорил он в первый год после их женитьбы. Нонка чувствовала себя виноватой перед ним и его родителями. Свекровь и раньше ее не любила, а теперь начала ко всему придираться. Ходила за ней, как тень, и злорадно старалась на каждом шагу задевать ее. Нонка сдерживалась и, только оставаясь одна, плакала долго и безутешно.

Ранней весной Петр пережил еще одну неприятность, которая тяжело отразилась на его семейной жизни.

Бригаде Петра предстояло засеять сто декаров хлопка. Еще зимой он советовался с агрономом насчет подготовки семян, тогда же попалась ему в руки книга по хлопководству. Книга была толстая, и Петр не осилил ее до конца, просмотрев только страницы, где говорилось о сроках сева для различных районов. В книге было сказано, что хлопок — культура капризная и многие кооперативы, особенно в Северной Болгарии, не могли добиться хороших урожаев главным образом потому, что не сея-

ли вовремя. Петру это запомнилось, и он каждый день выходил проверять состояние почвы. Снег едва сошел, земля была холодной и влажной. Петр все подготовил, людей держал начеку. Как-то Марко Велков вызвал его в контору и велел приступать к севу.

— Рано, — сказал Петр. — Солнце пригревает, но почва еще влажная. Семена могут померзнуть. Я прикинул, сеять надо числа пятнадцатого апреля.

Марко Велков посмотрел на Ивана Гатева, который сидел у окна и курил.

— Что ж делать? У меня намечено начинать с завтрашнего дня.

— И начнем, — отозвался Гатев сквозь густое облако дыма. — Нечего дожидаться пятнадцатого, вчера еще сведений требовали.

— Погибнут зря семена, — сказал Петр. — Я вчера был в поле, проверял почву.

— И я только что оттуда. Что ни час — теплей становится, завтра будет поздно. Хлопок не терпит, когда много влаги, но и сухой земли не любит.

— Давайте агронома спросим!

— Агронома сейчас нет. Вызвали на конференцию в Софию,— сказал Марко, нерешительно почесав в затылке.— Приготовься и завтра приступай, тепло уже.

Петр встал, нервно покусывая кончики усов, перекинул через плечо свою бригадирскую сумку. Он регулярно проверял температуру почвы и был убежден, что сеять рано.

— Не будем мы завтра сеять, бай Марко, — решительно произнес он. — Нельзя рисковать.

— Нет, будешь сеять! — вмешался Иван Гатев, и в глазах у него блеснули злые огоньки. — В соседних селах еще вчера начали.

— Это их дело. И без того хлопок в наших местах плохо родится,— сказал Петр.

— Нечего разговоры разводить. Раз тебе приказывают, ты обязан сеять! — Иван Гатев встал, принялся расхаживать по конторе.

Петр, направившись к двери, раздраженно сказал:

— И горсти семян не брошу. Я с агрономом советовался, в книжке читал...

— Послушай! — закричал ему вслед Иван. — Ты что, опять наперекор? Хватит, надоело! С тобой одним приходится скандалить. Кто бы что ни сказал, он все наоборот.

— Я такие приказы выполнять не стану! Загубить сто декаров земли? Не дам!

— Погодите, друзья! — вмешался Марко, видя, что они сцепились и вот-вот разругаются не на шутку.

— Нечего тут ждать! — разъяренно закричал Гатев и стукнул кулаком по столу. — Такие, как Петр, все дело назад тянут. Думают, что у себя, на своем поле работают. Каждый норовит, чтоб все по нему было. Хозяйство у нас коллективное, общее, но сто человек не могут командовать. Я сколько раз толковал и опять говорю: натерпишься ты горя со своим характером. То ему взбредет в голову жену с фермы сорвать, то тракториста изобьет, а сейчас, видите ли, сеять отказывается. А потом ходит и болтает, что мы бюрократы, ни черта не смыслим в сельском хозяйстве.

— Человек, понимающий в сельском хозяйстве, не станет сеять на ветер. Ты только о плане хлопочешь, а до людей тебе дела нет.

— Ишь ты! Вот кто у нас, оказывается, о людях заботится! — резко обернулся Гатев и, глядя на Петра в упор, подошел к нему вплотную.— Хочешь, чтоб мы твоим мелкобуржуазным сознанием жили, да?

— Ну, и мне на твои мозги надеяться нечего! — хрипло бросил Петр и быстро пошел к двери.

Через несколько дней Петр был отстранен от руководства бригадой. Он не предполагал, что с ним поступят так несправедливо. Ему казалось, что правление хочет только проучить его, направить на путь истинный, как говорил Иван Гатев. Но когда он увидел, что его бригада вышла в поле и начала сеять хлопок без него, сердце его сжалось от боли. Он понял, как сильно привязан к работе и людям. Все прежние заботы и стычки, которые так злили его, показались ничтожными по сравнению с муками, которые он испытывал теперь. Он и не пытался просить, чтобы его вернули на прежнюю должность, и из самолюбия говорил, что ему так даже лучше, спокойней — знай себе работай. Но на душе было тяжело. Он и теперь часто вставал ни свет ни заря и по старой привычке отправлялся созывать людей. Но, опомнившись, возвращался назад, сгорая от стыда и унижения. Что-то надломилось в нем, пропало желание работать.

За неделю Петр исхудал, лицо вытянулось, одни скулы торчали. Все его раздражало, он ссорился со всеми по пустякам и не выносил ни малейшего противоречия.

То, что у Нонки не было детей, мучило его теперь еще сильней, еще больней уязвляло его мужскую гордость. «Не родит она, не принесет мне в дом радости!» — думал он, и горько становилось при мысли, что он так и не испытает отцовского чувства...

А Нонка хорошела день ото дня, как бы наперекор его страданиям. От ее стройной фигуры веяло здоровьем, в глазах сверкали огоньки. В улыбке таилась печаль — это делало ее еще привлекательнее. В сердце Петра боролись любовь и ненависть к этой покоряющей красоте. Он то тянулся к ней, то отталкивал ее с безжалостной холодностью.

Нонка чувствовала это тягостное раздвоение и, сама измучившись, не знала, как утешить его. Она не радовалась теперь своей красоте и в минуты отчаяния думала: «Лучше бы я была уродиной, но зато матерью!» В доме она была как чужая. Хмурые взгляды Пинтезихи сковывали ее. Почувствовав, что ничем не сможет угодить свекрови, Нонка отдалилась от нее еще больше. Только свекор по-прежнему дарил ее своей сдержанной и трогательной любовью, угождал ей чем мог, всячески старался ее порадовать. Найдя спелый арбуз на бахче, сорвав первое яблоко в саду, он угощал ее прежде всех. Но и Пинтеза точила какая-то боль. Нонка замечала, что он иногда сидит в уголке, глубоко задумавшись, и чаще ссорится со старухой.

Тяжко, холодно стало Нонке в доме, куда она принесла столько светлых девичьих надежд. Она старалась поскорей уйти на работу, в поле, где было ясно, просторно и радостно. А в свободные дни, чтобы заглушить чувство одиночества, принималась усиленно хлопотать по дому. Потом уходила в свою комнату и целые часы проводила там одна. Как-то раз она сидела и шила, но вдруг отбросила шитье в сторону. Ей захотелось сейчас же, немедленно пойти на ферму! Как безумная выбежала она из комнаты. Петр с отцом ушли по делам, а свекровь возилась внизу в кухне. Нонка прошла через сад, вышла за околицу — и прямо на ферму. Почти три года не была она здесь, где все так мило и дорого ее сердцу! Два вяза с гнездами аистов, которым она обрадовалась, как ребенок, тихое журчание речушки, к которому она так любила прислушиваться, незатейливые шутки деда Ламби и доброе его сердце, умная и тихая беседа Дамяна, который всегда был к ней добр и внимателен, — все, что наполняло смыслом и счастьем ее жизнь в девичьи годы...

Домой она вернулась, когда стемнело. Петр встретил ее на пороге.

— Где ты была?

— На ферме.

Он посмотрел удивленно и ничего не сказал, а свекровь пробормотала себе под нос:

— Негоже женщине в такую темень одной по полю идти.

Нонка не ответила. Как скажешь им, что здесь она задыхается от муки, что, только когда выберется из этого дома, легче становится на душе.

Через неделю она снова наведалась на ферму и не скрыла этого от Петра, тот стал кричать на нее. Внизу было слышно, как ссорятся они в своей комнате. Пинтез вошел в дом, прислушался и спросил:

— В чем дело? Чего он опять крик поднял?

— Из-за фермы, чтоб ей пусто было, — ответила Пинтезиха. — Шляется туда, словно что там забыла!

Пинтез крякнул, пошел было к дверям, но вернулся, мрачный и задумчивый. Последнее время он не мог найти себе покоя. Слушая, как ссорится Петр с молодой женой, видя, как холодно с ней обращается старуха, он страшился, что поселится в его доме ненависть. Больше всего пугал его крутой нрав сына. Петр стал злым, вспыльчивым, грубым. Бывало, слова наперекор не скажет, а теперь ощетинился, все ему не так.

«Обиделся, что сняли с бригадирства. Но ведь тут с умом надо, криком ничего не добьешься, — думал Пинтез. — Пройдет время, снова назначат. Таких тружеников, что за землю болеют, земля сама позовет. Люди сейчас на распутье — одни вперед тянут, другие назад. Потому так и получается. Но все до поры до времени. Времена меняются, меняются и люди. Взять хоть меня. Когда сдавали свою землю в кооператив, думал, помру с горя. Ведь полоску к полоске подбирал, кровью своей и потом полил. А вот пережил. Трудно, конечно, да что поделаешь? Против жизни не пойдешь. Вот чего Петр никак не поймет, зелен еще. Зло свое на Нонке срывает... А ведь им жизнь вместе жить. Неужели не видит, что она пуще его мучается. Не послал ей господь ребенка, что ж — из дому гнать за это? И без того тяжело у нее на душе. Дорога земля, дорого хозяйство, но ничего нет на свете милей и дороже близкого человека. Оттолкнешь его от себя — и его потеряешь, и сам пропадешь».

Все это Пинтез не раз высказывал Петру, но тот не обращал внимания. Стоял, смотрел куда-то в сторону, словно в тягость ему был этот разговор. А на другой день снова принимался за свое: за столом молчит, будто воды в рот набрал, матери грубит, ложку на стол швырнет, если еда не по вкусу. Пинтез бессильно сжимал кулаки, а сердце теснила досада. Он видел, что и старуха грызет Нонку, сживает со свету.

Пинтезиха все больше озлоблялась против Нонки, считая ее виноватой во всем. Чем старательней работала Нонка, тем больше досадовала старуха, не зная, к чему придраться.

Как-то дождливым осенним вечером мужчины привезли продукты, выданные кооперативом, сложили их в кладовую и опять ушли.

Пинтезиха уселась у печки, повесила на шею толстый моток шерсти и принялась вязать. За окном дул ветер, лил холодный осенний дождь, и от этого кухня казалась теплее и уютнее. Нонка зажгла лампу и принялась готовить ужин. Как обычно, когда они оставались вдвоем, обе молчали, каждая занималась своим делом. Вдруг Нонка зацепилась за что-то ногой.

— Потише, нитку порвешь! — проговорила Пинтезиха и подняла клубок.

Нонка не заметила, что именно вяжет свекровь, и снова углубилась в работу, а Пинтезиха пробормотала:

— Вы, молодые, не догадаетесь приготовить, что нужно.

— Что ты сказала?

— Не догадаетесь, говорю, приготовить загодя все, что нужно. Когда я была молодой, и я... А уж после, когда родила...

Только теперь Нонка увидела, что свекровь вяжет детские чулочки. Кровь бросилась ей в лицо.

— Нечего смущаться, нечего, — певуче протянула Пинтезиха, изо всех сил стараясь ласково улыбнуться. — Вон ведь, третий год пошел, как поженились, пора и о детях подумать. Так у людей делается. Пока молодые, легче детей растить. Ты уж скажи Петру...

«Вот проклятая!» — подумала Нонка, задыхаясь от ненависти и муки.

— Зачем ты так говоришь?

— Молчу, молчу! — обиженно заворчала Пинтезиха. — Не хочешь, не рожай, хоть век в девках ходи. Я ей добра желаю, а она сердится!..

Нонка вышла во двор, прислонилась к стене у амбара и горько заплакала. Холодный осенний ветер швырял ей в лицо мокрые листья, пронизывал до костей, налетая ледяными порывами. Спустилась темная, непроглядная ночь, на цепи тревожно выла и рвалась собака. Нонка глухо рыдала, прижавшись к стене амбара. Злобный намек свекрови ее глубоко обидел.

Вдруг послышались шаги. Она вздрогнула и метнулась под навес.

— Кто там? — крикнул Петр и подошел к амбару.

— Я.

— Чего ты здесь стоишь? — спросил Петр, удивленный и встревоженный.

Нонка вся дрожала от холода.

— Да что случилось, говори же!

— Твоя мать обидела меня, — пожаловалась Нонка.

— Чем?

Она прижалась к нему, обняла дрожащими руками.

— Петя, прошу тебя, позволь мне вернуться на ферму! Твоя мать ненавидит меня! Не могу я так жить, не могу...

— А ты поменьше обращай на нее внимания. Что со старухи взять?

— Как тут не обратишь? Принялась сегодня вязать детские чулочки. «До каких же пор, говорит, будешь в девках ходить? Рожать пора!» Зачем она так говорит! Я сама из-за этого мучаюсь. — Нонка положила голову ему на плечо и снова зарыдала. — Я вижу, как ты страдаешь, что у нас до сих пор нет ребенка. Стыдно мне, но что я могу поделать!

Петр молчал. Нонка ждала утешения, теплого слова, но он сухо сказал:

— Пойдем, простудишься!

И повел ее в дом.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Подошли новогодние праздники. Село оживилось. В лавке все время толпился народ, по улицам торопливо пробегали девушки с коромыслами через плечо, молодежь каждый день собиралась в клубе украшать зал к новогоднему вечеру. Дети гурьбой с громкими криками отправлялись в лес по глубокому снегу. К вечеру они возвращались с окоченевшими ногами, посиневшими от мороза носами и сбрасывали у порога охапки кизиловых веток. Матери для порядка бранили их, а сами радовались свежим веточкам с набухшими почками, которые приносили в душные кухни аромат далекой весны. Оборвав кизиловые почки, они клали их в тонко раскатанное тесто для пирогов.

Очень любила Нонка новогодние праздники. Когда она была маленькой, всегда завидовала мальчишкам: счастливые, они могут ходить колядовать по селу, поздравлять с Новым годом ударом кизиловой веточки,

получать за это подарки! По целым ночам не спала, ждала прихода колядчиков. Одежда, в которую были наряжены парни: вышитые рубашки, тонкие алые пояса, черные шапки, украшенные метелками кукурузы, белые обмотки, перевязанные черными шнурами, — все это казалось ей сказочно прекрасным. Однажды — Нонке тогда было лет десять — колядчики пришли к ним уже под утро, с осипшими голосами. Мать и отец успели уснуть, старший брат сам ушел колядовать. Нонка первая услышала «котов». Обычно, пока колядчики поют, двое ребят поменьше идут будить хозяев в следующем доме, мяукая под окнами. Поэтому их и называют «котами». Нонка соскочила с кровати, закричала: «Мама, колядчики идут!» Дядя Колю и тетка Колювица поднялись встречать их. Колядчики запели, а сами все на дверь поглядывали, торопясь успеть в другие дома. Однако тетка Колювица не спешила подать им украшенный просвиркой пирог. «Хочу, — сказала она, — чтоб вы еще песню спели для нашей дочки». Певцы стали отказываться, но вожак вышел вперед и сказал: «А где ваша дочка? Дайте сперва поглядеть на нее». Вожаком был тот самый Дамян, который теперь стал бригадиром животноводов. Сильный, красивый, такому только и быть вожаком! Тетка Колювица вытолкнула Нонку вперед, а Дамян погладил девочку по голове и обернулся к парням: «Для такой красавицы самую лучшую песню споем». И завели они Вивдину песню. Редко пели ее — это была большая честь для той, ради кого ее исполняли. «Ой Вивда, Вивда, красавица Вивда...» Нонке запомнилось, как парни пели и посматривали на нее, а Дамян погладил ее черные косички и сказал: «Видишь, какую мы тебе красивую песню спели? Вот и ты, как вырастешь, станешь такой же красавицей!»...

Новый год и теперь представлялся Нонке в образе красавца юноши в роскошных одеждах. Он пролетает по морозному звездному небу, он везде: в поле, в белых снежных сугробах, в метели. Летит он медленно-медленно, чтобы явиться в село ровно к полуночи. И когда люди пьют в его честь и поздравляют друг друга, он, невидимый, смотрит на них и одаряет всех счастьем...

Выпадет ли счастье и на Нонкину долю?

Она хлопотала по дому, мыла, убирала, готовясь к празднику, но уже без той детской радости, с которой обычно встречала Новый год. В доме было глухо и мрачно, словно никто в семье не ждал праздника. Мужчин по целым дням не бывало дома. Придут, поедят и тут же уходят. Свекровь в своих толстых шерстяных чулках молчаливой тенью бродила по дому. Ее крупное желтое лицо совсем вытянулось, из-под черного платка выбивались реденькие седые косицы, на которые Нонка не могла смотреть без отвращения. День ото дня росла в ее сердце ненависть к старухе, отравившей первые, лучшие годы ее замужества. С трудом выносила она ее суровые, подозрительные взгляды, с досадой выслушивала ворчливые наставления.

Около полудня свекровь взяла противень с калачами и пошла угощать соседей. Сразу словно светлее стало в комнате. Нонка облегченно вздохнула. Она подошла к окошку и поглядела на улицу. Снег крупными, пушистыми хлопьями неслышно ложился на синеватые сугробы. «Я как птица в клетке! — подумала Нонка, глядя, как весело спешили по улице люди. — Праздник идет, а на душе у меня безрадостно. Хотела я относиться к свекрови с уважением и любовью, как к родной матери, поверять ей свои радости и печали, но она не любит меня, ненавидит. Хотела я заниматься любимым делом — запретили. Покорилась я, из любви к Петру покорилась. Теперь свалилось на меня новое горе, и даже Петру не могу пожаловаться».

В сенях послышались шаги.

— Ты дома, Нона?

Нонка, узнав голос матери, бросилась навстречу.

— Решила зайти к тебе повидаться. Послезавтра Новый год, дай, думаю, скажу Нонке, пусть приходят с Петром, вместе праздник встретим, — говорила тетка Колювица, подавая Нонке завернутые в платок три большие айвы. — Возьми, полакомься. С каких пор для тебя берегу, а ты все не идешь. Дел, что ли, много?

— Садись, садись, мама, — подала ей стул Нонка. — Каждый день собираюсь, да все никак не вырвусь.

Тетка Колювица села, не сводя с дочери глаз.

— Ты словно бы похудела, дочка.

— Да нет, тебе кажется.

— И побледнела.

— Ах, мама, что ты меня разглядываешь?

— Сядь-ка, посиди со мной, не вертись! И глаза у тебя красные. Не таись от матери, скажи: что с тобой?

— Да нет, ничего... Вечно ты, мама...— голос у Нонки дрогнул, к глазам подступили слезы, руки бессильно опустились, и тайная, невысказанная мука внезапно прорвалась.

— Доченька моя! — воскликнула, изменившись в лице, тетка Колювица и склонилась над Нонкой. — Будет, будет, не плачь, не горюй,— испуганно бормотала она, сама заливаясь слезами.

— Ох, мамочка милая, не спрашивай! — всхлипывая, говорила Нонка. Айва упала с ее колен и покатилась по полу. Лицо стало мокрым от слез.

— Кто же тебя? Кто тебя так? — выпытывала тетка Колювица.

— Свекровь...

— Чем ты ей не угодила?

— Ребенок... Из-за ребенка это...

— Ишь ты! — тетка Колювица покачала головой, задумалась. — А Петр как? Тоже?

— Не знаю... Да и он...

Успокоившись немного, Нонка обо всем рассказала матери.

— Чтоб ее чумой унесло! — проклинала Пинтезиху тетка Колювица.— А Петр что же? Как же он ей рот не заткнет?

Они не слышали, как отворилась дверь и на пороге показалась Пинтезиха. Увидев обеих в слезах, она поняла, что сноха жаловалась матери, и, позеленев от злости, процедила сквозь зубы:

— Доброго здоровьица, сватья.

— И тебе того же, — ответила тетка Колювица, смущенно улыбнувшись.

Пинтезиха поставила пустой противень за печку и направилась к двери, но споткнулась о валявшуюся на полу айву и, пнув ее ногой, тоненьким голоском протянула:

— Что, жаловалась сноха на злую свекровь?

Нонка сделала матери отчаянный знак, чтоб та молчала. Но тетка Колювица, наклонившись вперед и часто-часто моргая, хрипло крикнула:

— Да, жаловалась! Еще б не жаловаться! Ты ведь ее, сватья, словно на медленном огне поджариваешь!

Пинтезиха побелела как полотно, но и словечка не обронила в ответ. Тихо отворила дверь и вышла.

Немного погодя тетка Колювица уже бежала по улице. Даже домой не зашла, а направилась прямо к Ивану Гатеву.

Весь день, до самого вечера, Нонка со свекровью словечка друг другу не сказали, точно онемели обе. Вернулись мужчины. В молчании, как всегда, поужинали и улеглись спать. На другой день — то же самое. Нонка была как на иголках, каждую минуту ждала, что свекровь затеет

ссору. Но старуха молчала, словно ничего не случилось, только складки вокруг рта стали еще глубже. К концу дня, когда поднялось тесто, Нонка принесла сухую солому и затопила печь. Пинтезиха подошла, хотела взять у нее из рук кочергу. Нонка невольно отпрянула.

— Дай сама растоплю! — сказала Пинтезиха. — А то опять матери нажалуешься, что я тебя на огне поджариваю.

Нонка нагнулась, взяла охапку соломы и бросила в печь. Свекровь снова схватила кочергу и что было силы потянула к себе.

— Вон ты, оказывается, какая! Зло в себе копишь! — шипела она, стараясь отнять кочергу. — Не нуждаюсь я в твоей помощи. И без тебя жила — не тужила. А ты сиди себе посиживай, как барыня. У людей снохи уже по двое ребят народили, а тебе бы только о чужих свиньях думать...

— Дочка, отдай ты ей кочергу! — закричал Пинтез. Он стоял на пороге и все слышал. Обе женщины, смутившись, уронили злополучную кочергу на пол. Пинтез подошел к ним, сердито бормоча что-то себе под нос, поднял кулак и стукнул старуху по спине. Та даже присела и заскулила:

— Бей, бей, старый черт!

Пинтез ударил ее кожаным недоуздком, оказавшимся в руке, а Пинтезиха нарочно сама подставляла спину и, глядя ему в глаза, повторяла:

— Бей, бей, чтоб у тебя руки отсохли!

Нонка стояла как вкопанная. Ей хотелось закричать, убежать, но она не могла ни вздохнуть, ни пошевелиться. Пинтез вытолкал старуху за дверь и, отдышавшись, не глядя Нонке в глаза, взволнованно произнес:

— Прости, дочка. Грешно на старости лет руку на человека поднимать... Ну, ладно, занимайся своим делом...

И тяжелые его шаги заскрипели по снегу...

* * *

В это время Петр возвращался домой, раздумывая, где встречать Новый год — в клубе ли, с молодежью, или у Нонкиных родителей. Когда он проходил мимо правления, дверь отворилась и громкий голос Ивана Гатева словно хлестнул его по спине:

— Петр, зайди на минутку!

Стряхивая снег, Петр старался догадаться, зачем позвал его партийный секретарь. С тех пор как его сняли с бригадирства, они с Гатевым не обменялись ни единым словом, только косились друг на друга: Петр не забыл обиды, наоборот, невзлюбил Гатева еще больше. Сто декаров хлопка, из-за которых весной вспыхнул спор, и впрямь вымерзли, не дав урожая. Но Иван Гатев, виновник всей этой истории, и не заикался о том, чтобы восстановить Петра в прежней должности. Петр продолжал надеяться, что теперь он снова станет бригадиром. Только эта надежда заставила его с волнением войти сейчас к секретарю.

Иван Гатев был одет по-праздничному и чисто выбрит.

— Ты оказался прав, ничего с хлопком не вышло, зря загубили сто декаров земли, — сказал Гатев с кислой усмешкой.

Петр ничего не ответил, только вздрогнул. «Верно отец говорил, что сами меня позовут», — подумал он.

Гатев закурил, выпустил через ноздри дым и, глядя куда-то в сторону, проговорил:

— Но об этом деле мы в другой раз потолкуем. Сделаем из этого выводы. Правильно будут критиковать нас товарищи. — Он нахмурился и помолчал, словно не зная, как продолжить. — А вот что у вас за нелады в семье? — наконец произнес он.

Петр почувствовал, как лицо его заливает краска.

— Кто тебе сказал? — спросил он чужим, изменившимся голосом.

— Это неважно...

— Нет, скажи!

— Кто сказал, тот и сказал. На хвост соли ему не насыплешь. Я и сам замечаю: Нонка здорово переменилась. Прежде была совсем другим человеком, а теперь... На собрании ее не увидишь, записали в кружок — не ходит. Почему?

— По дому занята, — ответил Петр. Ему показалось унизительным давать Гатеву объяснения. — Никто не имеет права вмешиваться в мои семейные дела!

— Никто пока и не собирается. Но как секретарь я обязан высказать свою точку зрения,— раздраженно заговорил Иван.— Мы не потерпим, чтоб муж и свекровь заедали женщину за то, что она еще не родила ребенка. Такое отсталое отношение к женщине недопустимо в нашем социалистическом обществе. За это мы дадим по рукам.

Петр сгорбился, вобрал голову в плечи, словно его закидали камнями. Кровь бросилась в голову, на лбу выступил пот. Не говоря ни слова, он тяжело повернулся к двери и вышел.

Стемнело, зажглись фонари, говорило радио, по улицам торопились люди — кто со свертком, кто с бутылью вина в руках, — громко, оживленно разговаривали, желали друг другу весело встретить Новый год.

Чтобы ни с кем не встречаться, Петр свернул в переулок. Его не покидало неприятное чувство — словно проникли в самое его сердце и подглядели сокровенные тайны, не предназначенные для чужих глаз. Обидно было, что людям стали известны тщательно скрываемые семейные неурядицы. Оскорбленное самолюбие жгло его. «Как могла Нонка пойти жаловаться партийному секретарю?!» — без конца спрашивал он себя, медленно шагая по темному переулку. Все внутри у него горело, мокрая от пота рубаха противно липла к телу. Он глубоко дышал, жадно вбирая широко открытым ртом леденящий морозный воздух. Кто-то преградил ему путь. Это была Марийка. Лицо ее, обрамленное темной шалью, светилось, словно месяц, глаза блестели. Она пыталась улыбнуться, но губы только слегка дрогнули, приоткрыв на миг белые зубы.

— Как поживаешь? Давно я тебя не видела! — робко проговорила она, схватила его руку и начала страстно целовать. — Измучилась я, Петя, любимый мой! Не сердись на меня, не гони. Только посмотрю на тебя — и уйду.

Петр чувствовал прикосновение ее теплых губ, но не хватало сил отдернуть руку.

— Что ж ты молчишь, не спросишь, как я живу? Каменный ты! — усмехнулась она сквозь слезы. — Нет больше веселой твоей Марийки. Высохло мое сердце, как скошенная трава, любимый мой! Пишу мужу письма, а сама молю бога, чтоб он никогда не возвращался. Хоть бы его там убили на учениях!

Марийкины слезы обожгли ему руку.

— Не надо, что ты!

— Пускай, так мне легче...— сказала Марийка и улыбнулась.— Все равно погибшая моя жизнь.

Послышались чьи-то шаги, из-за угла показались люди.

— Скажи мне хоть слово! Хоть одно словечко!

— Уходи, — и Петр, повернувшись, пошел обратно.

Он вышел на край села. Голова горела, кружилась, руку жгли Марийкины слезы. «Бесстыжая», — думал он, но поглядел в опустевшее темное поле, и ему стало жаль ее. Ведь и у нее в душе так же пусто и одиноко. Печальные мысли сменились воспоминаниями... Маленькая комнатка, укромный, уютный уголок. Марийка, расцветшая от любви, нежно

гладит его руки, волосы и говорит: «Вот, полюбила я тебя, а теперь что со мной будет?» Он молчит, не смеет взглянуть ей в глаза, прячет лицо на ее груди. «Не хочу я ничего знать, — говорит она. — Я люблю тебя, и этого мне довольно...»

Он остановился, очнувшись, и только тогда заметил, что зашел далеко в поле и идет чуть не по пояс в снегу. Он повернул назад, по своим следам, и, увидев праздничные огни в домах, еще больнее ощутил свое унижение. «Вот оно как выходит. Моя жена обращается за помощью к коллективу, — со злой иронией подумал он. — Мол, надо помочь Петру Пинтезову. Не ладится у него семейная жизнь. У жены нет ребенка, и он со своей матерью за это ее со свету сживают. Такое отсталое отношение к женщине недопустимо. Еще, чего доброго, поставят этот вопрос на правлении или на собрании союза молодежи. Всякие умники будут учить меня, перетряхивать мои семейные дела на глазах у всего села. Нет, мы еще с тобой поговорим, разлюбезная моя женушка, поговорим как следует!»

Домой он пришел мрачный. Все уже сидели за столом, ждали его. Ни мать, ни отец даже не подняли глаз.

— Ну, дочка, разливай вино, — сказал Пинтез, подавая Нонке дамаджану.

Та наполнила стаканы.

— Ну, будем здоровы!

— Будьте здоровы, отец!

Петр с неприязнью следил, как мать пальцами запихивала в рот куски пирога и противно чавкала. Раздражало его и сопенье отца, который, причмокивая, потягивал вино. Нонка молчала и едва притрагивалась к еде. «Мать у меня, конечно, язва, но и эта тоже хороша... Надумала под самый Новый год идти жаловаться на мужа и свекровь! Ну, погоди у меня!» — Петр поел, встал из-за стола и пошел к себе. Вскоре поднялась туда и Нонка.

Петр сбросил пиджак на стул. Нонка повесила его на вешалку и спросила:

— Ты что сердишься, Петя?

Он стоял у окна и наматывал на палец край занавески.

— Выходит, плохо тебе со мной и с моими родителями, тяжко в нашем доме?

Нонка не ответила.

— Что ж молчишь?

— Ах, Петя, ни к чему этот разговор в праздник, под Новый год!..

— Нет, ты скажи, чем тебе плохо у нас?

Нонка села на кровать, подперев рукой голову.

— Говори же!

— Что тут говорить, Петя? Мало ли об этом говорено?

— Чего ты хочешь? Чем ты недовольна?

— Чем? — Нонка вздохнула и проговорила с отчаянием: — Я в этом доме, как рабыня. Когда я была девушкой, не думала, что все так будет... Руки у меня словно связаны, душа скована. Не могу я так... Твоя мать относится ко мне, как к прислуге. Смотрит исподлобья, за каждым шагом следит. Ненавидит меня. И в твоем сердце тоже холод...

— Так... А когда я тебя попрекал, что у нас нет детей?

Нонка, побледнев, сказала:

— Ты не попрекал, но ты молчишь. Знаешь, что мне еще тяжелей твоего, а ни словом не утешишь. Как чужой...

— Что еще?

— Чего же еще... И без того хватит. Слова приветливого в этом доме не услышишь.

— Так! — Петр обернулся к Нонке. — Ты думала, как мы поженимся, все пойдет по-твоему? Как скажешь, так и будет? Не на таких напала! Пришла в наш дом, изволь жить по-нашему. Не велел ходить на ферму — надулась. «Руки, видите ли, ей связали, душу сковали!» Я тебе муж, где велю, там и будешь работать. Мать старуха спросила, когда ты ей внука родишь, так ты ее возненавидела! И пошла плакаться по чужим людям, словно у тебя мужа нет!

— Никому я не плакалась, никто мне не может помочь.

— Будто! А к Гатеву кто ходил жаловаться?

Он медленно подступал к Нонке, лицо перекосилось от злобы.

— Теперь по всему селу пойдут болтать, что Пинтезовы сноху замучили.

Сухой, твердый взгляд Нонки еще больше разозлил его. Он размахнулся и ударил ее по щеке. Она сделала движение, чтобы подняться, но Петр еще раз ударил ее, и она, пошатнувшись, упала на кровать.

— Так изобью, чтоб в другой раз помнила! Я тебя научу, как мужа, семью перед людьми позорить!

Долго ходил он по комнате, задыхаясь от злобы. Нонка молча глотала слезы. Потом встала, накинула шаль и вышла в сени. Из окна комнаты стариков желтый сноп света тянулся через двор к амбару. Все так же неслышно шел снег, и Нонке казалось, что снежинки падают только в полосе света. Она прошла через двор, оглянулась, плотнее закуталась шалью и вышла за ворота. Пустынная улица, занесенные снегом дорожки усилили ее страх и тоску. «Что я делаю? — спрашивала она себя, торопливо шагая к родному дому. — Люди веселятся, встречают Новый год, а я... Может, вернуться?»

Горе теснило сердце. Она была одна, совсем одна в эту белую новогоднюю ночь.

...А Петр неподвижно лежал на кровати, уставив глаза в потолок. Ему стало холодно, руки и ноги закоченели, и он решил лечь под одеяло. Но, начав раздеваться, вдруг спохватился, что прошло слишком много времени с тех пор, как Нонка вышла из комнаты. «Наверно, спустилась вниз, в кухню, или к старикам зашла и сидит там, мне назло, — подумал он. — Ладно, вернется, никуда не денется». Он лег, но на душе было неспокойно. Снова оделся, вышел в сени, прислушался и, не услышав Нонкиного голоса, спросил из-за двери:

— Мама, Нонка у вас?

— Нет, — ответила мать.

Петр встревожился. Вспомнил он, как Нонка тряслась, словно в лихорадке, мучительно глотая слезы, и ему показалось, что в ее молчании были отчаяние и решимость. «Вдруг она упала где-нибудь в сугроб и не может подняться», — подумал он и бросился на поиски. Спустился в кухню, поглядел во дворе, за сараем — Нонки нигде не было. Вдруг он заметил на дорожке, что вела к воротам, свежие следы и двинулся по ним. Следы привели его к дому Колювых. Остановившись у ворот, он долго смотрел на пробивавшийся сквозь плотно занавешенное окошко свет.

«К своим ушла! Что там у них сейчас происходит? — думал он. — Все, наверно, собрались встречать Новый год и дивятся, почему Нонка прибежала одна. А она плачет и рассказывает, как все получилось...»

Хотелось ему ворваться в дом и увести ее, но он знал, что все разом накинутся на него, станут отчитывать, попрекать, а этого он не мог бы вынести. «Хороша жена! Вот как она меня любит! Чуть повздорили — и помчалась к своим! Чтобы все видели, все знали, что она от мужа сбежала. Незачем мне за ней ходить. Сама придет, если захочет».

Что-то теплое и влажное коснулось его руки. Он вздрогнул и увидел

собачонку, которая с радостным визгом увивалась у его ног. Только тут он заметил, что стоит без шапки, в одной рубахе, и, поеживаясь от холода, повернул к дому.

У стариков в окне еще горел свет, и хотя он знал, что Нонки там нет, отворил дверь с какой-то надеждой. Сейчас он увидит ее. Она еще сердится, но посмотрит на него своими огромными черными глазами и все простит. Они пойдут вместе к себе, приласкают друг друга. Никогда больше он ее не обидит, пылинке не даст на нее упасть...

Отец лежал в кровати, но еще не спал. Мать возилась у печки. Увидев Петра в снегу, растрепанного, с посиневшим от холода лицом, она удивленно воскликнула:

— Батюшки мои, куда ты ходил?

— Что случилось? — приподнялся в постели Пинтез.

— Нонка сбежала! — ответил Петр.

Мать всплеснула руками, Пинтез так и затрясся.

— Как сбежала? Куда?

— К родителям, куда же еще!

— Почему?

— Спроси у матери.

Пинтез как безумный забегал по комнате и, схватившись за голову, закричал:

— Чтоб вас черти забрали! Выжили из дому мою милую сношеньку! Чего стоишь, как истукан! Беги скорей, верни ее!

Петр не двинулся с места.

— Ты слышал, что я сказал! — с угрозой закричал Пинтез и, схватив кочергу, бросился на сына. — Убирайся с глаз, пока я тебе башку не проломил! Чего ты, как лютый зверь, на нее накинулся, не грех ли в божий праздник с женой ссориться? Тьфу! Иди, не то я сам пойду, приведу ее!

Но Петр пошел к себе. Всю ночь он не сомкнул глаз. Подушка казалась жесткой, как камень; одеяло жгло, точно крапива; голова разламывалась, а ночи не было конца. Время от времени слышались веселые голоса — люди расходились из гостей. Пропели первые петухи, синеватые стекла окон стали блёднеть. Завизжала в сенях собачонка, словно кому-то обрадовалась.

Петр вскочил и прильнул к окну. «Идет!» — Сердце у него замерло... Но во дворе никого не было.

Светало...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

...Нонка открыла отяжелевшие веки и увидела у изголовья мать.

— Это ты, мама?

— Я, доченька, я. Ты что-то говорила во сне, — озабоченно сказала тетка Колювица.

Нонка очнулась, соскочила с постели. В комнате было тепло, уютно. Запахло крепким табачным дымом — вошел дядя Колю и протянул дочери руку.

— Желаю тебе счастья, Нона. Была б ты жива да здорова, а все остальное обойдется.

Пришли Петко с женой и сыном и тоже поздравили Нонку с Новым годом.

— А ты что же нас не поздравляешь? — спросил дядя Колю внука.— Ну-ка, таши кизиловую ветку, поздравляй деда.

Маленький Колю выбежал в соседнюю комнату, принес кизиловую веточку и, легонько ударив деда по спине, выпалил одним духом:

— С Новым годом поздравляю, много счастья вам желаю!

— Расти большой на радость деду! — сказал дядя Колю и подарил ему двадцать левов.

— Поцелуй дедушке руку! — подтолкнула сына Петковица.

Маленький Колю сконфуженно поцеловал деду руку и зарылся головой в материнскую юбку.

— Ступай теперь, всех остальных поздравь! — сказала мать.

Когда дошла очередь до тети Ноны, старая Колювица не выдержала и всхлипнула.

— Распустила нюни! — цыкнул дядя Колю. — Что за баба! Люди праздник встречают, а она сырость разводит!

Ему тоже было грустно, но он прикидывался веселым, чтобы не огорчать дочь.

— Кто бы говорил! — накинулась на него тетка Колювица. — Всю ночь глаз не сомкнул! Цигарку изо рта не выпускал, дымил, словно труба! Кричать всякий умеет, а вот что делать будем? — она поглядела на Нонку, которая сидела, опустив голову, и добавила: — Гостя надо угощать, а мужа прощать!

— Ах, вот как? — взорвался дядя Колю. — Ишь ты! Я тебя хоть раз за всю жизнь ударил? Сколько мы вместе прожили, сколько горя пережили — поднял ли я когда на тебя руку? Для того ли я Петру дочь отдал, чтоб он бил ее да чтоб свекровь ее поедом ела? Не будет этого! А то я так его трону, что у него, подлеца... прости меня, господи!

— Ну и ну! Не грех тебе зятя эдак честить?

— Не зять он мне! — разошелся дядя Колю. — Индюк он надутый, вот кто!

Тетка Колювица присела к Нонке, стала ее ласкать, желая сгладить резкость старика.

— Не слушай его, Нона, не слушай, детка. Опомнится — по-другому заговорит.

— А ты зачем защищаешь этого хулигана, мать? — отозвался Петко, весь красный от злости. — Сама разве не видишь, что Ноне невмоготу у этих людей? Будь я на ее месте, ноги бы моей у них в доме больше не было!

— Вот и я скажу, — добавила Петковица, улыбаясь Нонке. — Кто он такой, чтоб ее бить? Пускай она у нас поживет, пока он образумится...

Тетка Колювица всплеснула руками и запричитала:

— Да вы рехнулись, что ли? Поговорили бы, посоветовали ей, как полагается отцу и старшему брату, а вы...

— Полно, раскричались, как на базаре! — сказал дядя Колю, немного успокоившись, и сел. — Тут охами да ахами не поможешь. Ты хочешь, — обернулся он к тетке Колювице, — чтоб Нона вернулась? Ладно. А если они ее снова в оборот возьмут? Много я думал об этом и понял: не может Нона жить с этими людьми, и все тут! Я и раньше так думал, но... полюбили, поженились — делать нечего. Я этих людей знаю и вот что скажу. Дело здесь не в пощечине. Со зла у каждого может рука подняться... Дело в том, что Пинтезовы из одного теста слеплены, а мы из другого. Нона среди них — словно белая ворона. Она всю душу свою вложила в эту ферму, из ничего какую красоту сделала, а они это ни во что не ставят. «Домой, и все тут!» Раз человек не чует, что у тебя в душе творится, добра от него не жди, другом он тебе не станет. Вот я и говорю — подожди, Нона. Ты умная, способная, руки у тебя есть. С какой стати тебе кланяться им? Пускай они в затылке почешут, призадумаются — тогда посмотрим. Вот мое мнение, а ты, конечно, делай как знаешь. Но потом не говори: «Не помог, мол, мне отец советом».

Все молчали. Только маленький Колю бегал по комнате, разбрасывал

деньги, подаренные дедом, и снова их подбирал. Оказавшись у окна, он уткнулся носом в стекло и вдруг закричал:

— Мама, к нам кто-то идет!

Петковица вскочила, распахнула дверь и покраснела.

— Сват идет!

Все как один растерянно поднялись, не зная что делать.

— Вы, пожалуй, идите отсюда, — отослал дядя Колю Петко и снохе, — мы сами потолкуем.

Тетка Колювица, силясь улыбнуться, встретила Пинтеза в дверях.

— Заходи, сват, заходи!

Пинтез отряхнул с царвулей снег и тяжело переступил через порог. Остановился посреди комнаты, скинул шапку. Лицо у него было серое, измученное, глаза глубоко запали.

— Пошли тебе бог здоровья, сват!

— И тебе того же! Добро пожаловать! — не глядя на него, протянул руку дядя Колю.

Тетка Колювица потянулась было помочь ему снять ямурлук, но он, покачав белой головой, глухо проговорил:

— Не стоит, сватья. Я ненадолго,— он откашлялся, дрожащей рукой провел по усам и потупил глаза.— За снохой пришел...— голос его осекся, и он замолчал.

Дядя Колю побледнел и никак не мог зажечь цигарку. Наконец произнес:

— Не знаю, что сказать, сват. До того дело дошло, как ни поверни — все плохо. Пришел за снохой, говоришь? А коли я ее не отдам?

— Как это не отдашь? Она ведь наша. Ну, обидели мы ее, по глупости своей обидели, но она простит, она хорошая. Больно мне, что так случилось.

— И нам больно, сват. Мы еще подумаем, как быть. Ты, конечно, хорошо сделал, что пришел. Но где же зять? С ним поговорить хочу. Он пусть придет.

Пинтез поднял глаза на Нонку.

— А ты как, Нона? Неужто не вернешься, доченька?

Нонка вспыхнула и отвернулась.

Пинтез открыл рот, но что-то перехватило ему горло. Он надел шапку и двинулся к двери. На пороге снова остановился, как бы собираясь сказать что-то, да так ничего и не сказал. Дядя Колю молча проводил его до ворот.

Когда они остались одни, тетка Колювица подсела к Нонке поближе.

— Послушай, доченька! — начала она, но слова застряли у нее в горле. Что может она посоветовать дочке? Все знали, что плохо жилось Нонке у этих людей, но тетке Колювице и в голову не приходило, что можно уйти от них. А Нонка ушла. Ну, скажем, останется она здесь — лучше разве будет? Виданное ли дело молодой женщине да при живом муже одной век вековать? Пусть возвращается к мужу, а там — что бог даст. Ударит ее муж — стерпит, обидит свекровь — смолчит. Такова женская доля. На чужих работать, чужой хлеб есть, с чужими людьми жить. И она принялась убеждать Нонку вернуться. Нонка выслушала ее и сказала:

— Дай подумать, мама!

— Что тут думать! И времени нет, вон светает уже, день начинается, и к вам гости заглянут, и к нам. Как ты людям в глаза посмотришь, доченька? Иди, иди в добрый час. За плохим всегда следом хорошее идет.— Она взяла Нонкину руку и прижала к груди.— Коли страшно, я с тобой пойду.

— Я сама...

Нонка подошла к окну и посмотрела на улицу. Все вокруг засыпал чистый, пушистый снежок. Небо серое, пасмурное, но облака плывут высоко. Можно даже угадать, где солнце: там небо светлей и прозрачней. На улице не видно ни людей, ни скота, будто все живое засыпал снег тяжелым своим покровом. Этот белый мертвый простор испугал Нонку, ей показалось, что дорогу к дому Петра замело навсегда. Как же ей идти? Как ее встретят? Вспомнились ей вечные раздоры со свекровью, тревожные дни, бессонные ночи, которые провела она, глотая слезы; вспомнился вчерашний вечер, и душу сковало холодом. Как она пойдет туда одна? Нет, пусть Петр придет за ней! Навязываться она не станет.

— Иди, детка! — снова вздохнула тетка Колювица.

— Нет, не пойду! — ответила Нонка, взяла веник и принялась подметать.

— В уме ли ты?

— В уме, в уме-е! — закричала Нонка.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Каждый день, каждый час, каждую минуту Петр ждал возвращения Нонки. Тяжело и мучительно было это ожидание, особенно в первые дни. Он целыми днями валялся у себя в комнате — голодный, неумытый, обросший, осунувшийся. Неприятно было видеть стариков, говорить с ними. Когда мать приносила поесть, он сердито хмурился и ворчал. Она оставляла еду у постели и выходила. Петр через силу пытался проглотить что-нибудь. Снова и снова начинал он обдумывать положение, в котором оказался, принимался лихорадочно строить планы, как вернуть Нонку. Он представлял себе, как вечером войдет в дом к Колювым, сурово поздоровается и скажет: «Идем». Она покорно поднимется и пойдет за ним. Но с какой стати он должен идти за нею? Она ведь жена ему и, если любит, сама вернется. Она не позаботилась о мужниной чести, не посчиталась с тем, что покрыла их семью позором...

Старый Пинтез места не мог себе найти. Глядя на Петра, он просто выходил из себя.

— Лежи, лежи! Вместо того чтобы за женой пойти, он под одеялом киснет.

— Не твое дело!

Горько и обидно было старику слушать дерзкие ответы сына, но не имел он прежней власти над ним.

— Больно загордился — не доведет это до добра,— огорченно покачивал он головой. — Натворил дел, теперь стыдно людям в глаза взглянуть. Ждешь, чтоб тебе за ручку жену привели? Не дождешься.

А мать Петр просто выставлял за дверь. Как-то она вошла к нему и, увидев нетронутую еду, сказала:

— Опять ничего не ел. Так и заболеть недолго.

— Хватит, уходи отсюда! — огрызнулся Петр.

Пинтезиха выпрямилась и тихонько проговорила:

— Не кричи. Встал бы да привел ее. Пускай вернется. Прощения у нее попросим, руку поцелуем, в ножки поклонимся. Пусть у меня язык отсохнет, если я ей хоть одно плохое слово скажу! — Вытерев рукой слезы, она добавила: — Было время, я тоже со свекровью не ладила, и меня муж учил, но чтоб я такое сделала...

— Теперь расхныкалась, а прежде рада была в ложке воды утопить ее! — Петр приподнялся в постели.— Твоя доброта яйца выеденного не стоит! Из дому выгнала, а теперь богородицей прикидываешься! Уходи отсюда!

Пинтезиха съежилась, боясь, что Петр и ее ударит, и на цыпочках вышла из комнаты, бормоча посиневшими губами:

— Ухожу, ухожу! Опять мать во всем виновата!

Так прошла неделя.

Однажды утром Петр услышал шаги: кто-то прошел через сени и постучался к старикам. С бьющимся сердцем вскочил он с кровати: ему почудилось, что это брат Нонки Петко. Он быстро оделся, но не успел выйти из комнаты, как на пороге появился, улыбаясь, звеньевой Илия Радков.

— Ты что, спишь еще? Пошли на собрание!

— Какое собрание? — нахмурился Петр.

— Отчетное, годовое. Забыл, что ли?

— Ничего не забыл. Как раз записывал тут...

Илия посмотрел на стол, потом перевел взгляд на заспанное лицо Петра и, спрятав улыбку, сказал:

— Хорошо, тогда я подожду.

— Как хочешь, только у меня еще всякие дела есть,— солгал Петр.— Хочу выступить на собрании, так нужно набросать кое-что...

Илия ушел.

«Нашли время собрания устраивать! — ворчал Петр, обуваясь.— Как это я забыл! Этот болтун разнесет теперь: лежит, мол, и думать забыл о годовом собрании!»

Хуже всего было, что и Нонка, скорей всего, будет там. Они работали в одной бригаде. Кто знает, вдруг придется ему говорить о ней или ей о нем. Как они посмотрят в глаза друг другу после всего, что произошло?! Как можно вести себя, словно чужие, когда они муж и жена?! «Хоть бы Нонка не пришла на собрание! — подумал Петр.— Хоть бы заболела, что ли!».

Он нарочно задержался и пришел, когда собрание уже началось. Тихонько проскользнув в зал, Петр снял кепку и занял свободное место у самой стены. Марко Велков уже читал свой доклад. Рядом с ним, в президиуме, сидели двое мужчин и две женщины. Петр узнал только Ивана Гатева, остальных не разглядел. Он не смел поднять глаз, не решался посмотреть, кто сидит рядом, кто впереди. Притворялся, что внимательно слушает доклад. На самом деле до него доносились лишь обрывки фраз. Он ощутил вдруг страшную усталость. Собравшись с духом, он стал всматриваться в последние ряды, где сидели женщины. Нонки среди них не было, ему стало как-то легче. Но в это время одна из женщин обернулась, внимательно оглядела его и наклонилась к подругам. Женщины одна за другой стали оборачиваться к Петру и о чем-то шептаться.

— Теперь перейдем к третьей бригаде! — осипшим голосом выкрикнул Марко Велков и потянулся к стакану с водой.

Пока он пил, по залу пробежал тот шумок восклицаний и шепот, которыми члены кооператива встречали оценку работы каждой бригады. Петру показалось, что зал зашумел потому, что пойдет речь именно о его бригаде и что докладчик произнес «третья бригада» подчеркнуто громко, словно с насмешкой. Докладчик сделал несколько глотков, а в голове Петра успело промелькнуть множество тревожных мыслей. А вдруг Нонке придет в голову встать и рассказать обо всем? Петр не видел Нонки, но его не покидало чувство, что она здесь, в зале. Она теперь огорчена, обижена; возьмет да и выложит от начала до конца все, что ее мучает. И люди будут на ее стороне, потому что уважают ее. Нет, лучше бежать отсюда пока не поздно!

— Третья бригада плохо справлялась с работой,— продолжал, между тем, докладчик.— Плохо было и с организацией труда, и с дисциплиной. Хорошо работала бригада только до апреля, пока бригадиром был Петр Пинтезов.

— Если он хорошо работал, чего ж вы его с бригадиров сняли? — выкрикнул кто-то из середины зала. Большинство поддержало: «Верно, за что человека обидели?»

— Это из-за хлопка.

— Так ведь прав-то оказался Петр!

Марко Велков приложил палец к строке, на которой остановился, и ответил:

— Имейте терпение, дойдем и до этого вопроса.

Он снова наклонился над докладом и, сказав еще несколько слов о работе бригады, приступил к характеристике Петра: работящий, способный, справедливый, но иногда много на себя берет.

Люди оборачивались, отыскивая взглядом Петра. Ему вдруг стало невыносимо душно.

Когда объявили перерыв, у него словно гора свалилась с плеч. В дверях он столкнулся с кем-то и, подняв голову, встретился взглядом с Нонкиным отцом. Петр невольно кивнул головой и как-то глупо улыбнулся. Но дядя Колю только сурово посмотрел на него и отвернулся. По этому холодному взгляду Петр понял, что родные Нонки полны ненависти к нему. Он вышел на улицу, где нетерпеливые курильщики оживленно обсуждали доклад. Петр не посмел присоединиться к ним, отошел в сторонку. Никогда он не чувствовал себя таким одиноким, не испытывал такой неловкости на людях. После минутного колебания он пошел вниз по улице, но на половине пути издалека увидел женщину с коромыслом на плече. Это была Нонка. Он узнал ее походку, ее красную косынку. Нонка шла легко и быстро, придерживая коромысло одной рукой. Все яснее различал он черты ее лица: брови, глаза, те черные глаза, что смотрели на него когда-то открыто и ясно, полные любви, смуглый лоб с тонкими бровями и алые губы, что шептали ему ласковые, нежные слова. Петр остановился посреди дороги. Ноги у него подкашивались. Нонка, по-видимому, не заметила его, но когда поравнялась и подняла глаза, шарахнулась в сторону. Петр схватился за коромысло.

— Погоди, куда торопишься?

Она вся съежилась. Румянец сбежал с лица, губы вздрагивали, как у испуганного ребенка. Рука, которой она придерживала коромысло, тоже дрожала.

— Ну как, довольна теперь? — произнес Петр, глядя на ее побледневшее лицо.

Нонка отвела глаза в сторону и молчала.

— Довольна, что сбежала от мужа и выставила его на посмешище перед всем селом? — спросил Петр. В голосе его звучали раздражение и уязвленная гордость.

Он думал, что Нонка, увидев его, расплачется и первыми ее словами будут слова раскаяния. Но она молчала. Глаза были сухими, лицо, хотя и смущенное, выражало твердую решимость. Это еще больнее задело гордость Петра, и вместо того, чтобы самому покаяться, он с обидой и неприязнью произнес:

— Ошибся я в тебе! Ты просто-напросто вертихвостка!

Он еще надеялся, что Нонка с покорностью горячо любящей жены молча схватит его за руку и пойдет за ним.

Но она только посмотрела ему прямо в глаза и побелевшими губами тихо, но твердо и, как ему показалось, холодно, отчужденно проговорила:

— И я в тебе ошиблась!

И ушла.

Эти слова укололи его больнее самых острых шипов. Он смотрел ей вслед и с ужасом думал, что она выбросила его из своего сердца.

— Постой! — крикнул он и, услышав свой беспомощный голос, почувствовал себя глубоко несчастным и униженным. Злоба словно пощечиной обожгла лицо, и, весь дрожа от волнения, он еще раз крикнул ей вслед:

— Стой, я тебе говорю!

Нонка шла не оборачиваясь.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

И снова пришла весна. За одну ночь стряхнули с себя снег деревья; с почерневших, исстрадавшихся ветвей полились прозрачные слезы облегчения. Воздух наполнился сладким запахом влаги, с юга подул теплый ветер. Небо прояснилось и открыло необъятные дали. Все оживилось. Веселый гомон воробьев возвестил приход весны. Они пригладили взъерошенные перышки и с утра до позднего вечера оглашали своими криками дворы и сады.

Ночью пела капель. Послушаешь эту тихую монотонную песню, помечтаешь всласть и уснешь крепким, спокойным сном. И приснится тебе синее, как фиалки, небо и зеленые поля. Среди полей — расцветшая груша, на ее ветвях поют птицы. Мимо вьется длинная, бескрайняя дорога, а вдоль дороги густые хлеба. Идешь с непокрытой головой, широко распахнув рубаху, размахивая руками, касаясь спелых колосьев. Хочется идти далеко-далеко, но стоит, поддавшись легкой усталости, присесть на мягкую, пестрящую цветами межу и вдохнуть запах хлебов и трав, как забудешься в сладких мечтах, а над тобою высоко в небе зальются в любовном восторге жаворонки.

...Сладко уснешь, если на душе у тебя спокойно. А если на душе мрак, если в сердце тоска, разве уснешь под эту песнь капели? Хочется встать, выйти в темную ночь и идти, идти, не разбирая дороги, ни о чем не думая. Но куда пойдешь? Куда убежишь от своего горя? Оно вошло, проникло в тебя, как пропитывает землю талый снег.

Так проводил ночи Петр, без сна, в каком-то забытьи. А утром спешил на работу, радуясь, что вырвался из черных объятий ночи. Дел в кооперативе было много. Поначалу Петр чувствовал себя чужим в бригаде, но мало-помалу вошел в колею: «Чего стесняться! — говорил он себе.— Я не украл, не убил. Я могу ссориться с женою, разойтись с ней — это дело мое!» Он пытался уговорить себя, что случившееся не настолько трагично и постыдно, чтобы люди чуждались его и смотрели на него свысока. Но любовь к Нонке мучила его с прежней силой, в особенности когда он оставался один. А он был почти всегда один. Петр сторонился людей, думая, что они судачат о нем на каждом углу и с затаенным любопытством ждут, что будет дальше. Он и раньше был мнителен. и самолюбив, а теперь стал еще и подозрителен. Казалось ему, что вся бригада неотступно следит за тем, как он работает, куда ходит, с кем встречается, что все шушукаются за его спиной и ждут, когда он споткнется. По разговорам и взглядам он догадывался, что люди сочувствуют Нонке, а его осуждают. Это заставляло Петра еще больше сторониться их.

Вскоре правление отменило прежнее решение и назначило его бригадиром. Но это не обрадовало Петра. Он больше не ощущал в себе того запала, той страсти к работе, которая прежде не давала ему покоя, заставляла вставать на заре и звать людей в поле. Он выполнял свои бригадирские обязанности и был по-прежнему строг и взыскателен, но в этой строгости было что-то мрачное, гнетущее. Всякая неурядица теперь не только раздражала, но и озлобляла его. Часто вместо дружеского совета с языка невольно срывалось бранное слово или грубость. Однажды

поссорился он с лучшим работником бригады — Костадином Бозуковым. Петр по старой привычке пошел с утра поднимать людей на работу. Костадин стоял во дворе, о чем-то задумавшись.

— Иди запрягай, повезешь семена на участок, — закричал ему Петр.

Костадин не шевельнулся. Стоял, засунув руки в карманы, и смотрел на Петра невидящими глазами.

— Слышишь, что ли? — еще громче закричал Петр, полагая, что Костадин нарочно прикидывается глухим.— Вынь руки из карманов и не возись, время не ждет.

Костадин сдвинул на затылок кепку и сказал:

— Ты что-то большим чорбаджием стал! Кричишь, приказываешь, будто мы у тебя на поденщине!

Петр проглотил обиду, хотел уйти, но не успел сделать и нескольких шагов, как Костадин бросил ему вдогонку:

— Надулся и ходит командует! Губернатор нашелся!

Петр обернулся и закричал:

— Ты чего языком мелешь? Если ты такой умный, становись на мое место и командуй!

— Ты думаешь, что незаменимый? — насмешливо улыбнулся Костадин, показывая два ряда белых зубов.— Такими, как ты, хоть пруд пруди.

— А таких, как ты, и вовсе словно собак нерезаных!

— Легче на поворотах! — и Костадин снова лихо сдвинул кепку на затылок, точно ему доставляло удовольствие дразнить бригадира.— У людей в глазу соринку замечаешь, а у себя бревна не видишь!

Этот намек взбесил Петра. Уже не владея собой, он заорал:

— Заткнись ты, цыганская рожа!

У Бозуковых в роду все были смуглыми, и в селе закрепилось за ними прозвище «цыгане», хотя их так не называли в лицо.

— Убирайся вон отсюда,— крикнул Костадин.— Чтоб ноги твоей в моем доме не было, понятно? Сам ты цыган, не знаешь, где у тебя жена!

Петр до того кипел от злости, что даже не заметил, как зашел не на ту улицу.

После ссоры с Костадином ему казалось, что и остальные члены бригады смотрят на него косо. Не слушались его, как раньше, вступали с ним в спор, выискивали повод, чтобы его покритиковать. Работа была ему в тягость, он ходил подавленный, считая себя несправедливо обиженным. Ему не с кем было поговорить по-человечески. Если бы кто-нибудь подошел к нему, он был бы рад поделиться своей болью и облегчить сердце, но не находилось человека, который захотел бы его утешить. Все сторонились его. Дома было то же самое. Он не разговаривал ни с отцом, ни с матерью. Придет, поест наскоро и все норовит либо вообще уйти из дому, либо забраться в свою комнату и лечь. Нонка и ее родные не давали о себе знать, словно считали его мертвым. После встречи на улице Петр понял, что Нонка может вернуться к нему только если он пойдет, поклонится ее отцу. И как ни тяжело было ему поступиться своей гордостью, он все же решил поговорить с дядей Колю. Если надо, руку ему поцелует, прощения будет просить, умолять, потому что дальше так жить невыносимо. Ни одной ночи не мог он уснуть спокойно, слова хорошего ни от кого не слышал, куска хлеба в охотку не проглотил, с тех пор как они расстались. Но в тот же день дядя Колю сам случайно зашел в правление кооператива, как раз когда там был Петр. Отворив дверь, увидел его, остановился на пороге и спросил:

— Здесь председатель?

— Нету,— ответил Петр и встал.

Не успел дядя Колю затворить за собой дверь, как Петр догнал его.

— Отец, погоди маленько.

Дядя Колю обернулся, и оба стояли так друг против друга на самом пороге.

— Что тебе?

— Хочу поговорить с тобой о... нашем деле, о...— запинался Петр.

— Чересчур поздно опомнился! Нет у меня с тобой никаких дел! — отрезал дядя Колю и быстро зашагал прочь.

Петр отшатнулся, побелел как полотно, постоял посреди конторы, потом сел за стол и уронил голову на руки.

* * *

Отправился как-то Петр в поле. Прошел слух, что на нижнем участке, у речушки, вода может затопить посевы. Петр дошел до участка, убедился, что посевам ничто не угрожает, и пошел назад. Земля на невспаханных полях намокла, густая грязь прилипала к его резиновым царвулям. Солнце припекало, Петра мучила жажда. Дойдя до двора кооператива, он завернул к ближайшему коровнику попросить воды. Постучался, и, едва услышал в ответ женский голос, что-то ударило его в сердце. Он хотел уйти, но было поздно. Навстречу ему вышла Марийка, зардевшаяся, смущенная.

— Заходи, заходи! Я... что ж ты стоишь в дверях? Заходи! — приглашала она, улыбаясь одними глазами.

— Да нет, не войду — грязный я. Дай мне напиться, помираю от жажды,— сказал Петр и сдвинул со лба кепку. Пока Марийка ходила за водой, он злился на себя: надо же было, чтоб постучался он именно в ее дверь... «Ты знал, что Марийка здесь, поэтому и постучался! — упрекал его голос совести.— Ты нарочно пришел к ней!»

«Повернуться и уйти — неудобно. Напьюсь и уйду»,— думал он, беря кружку с водой.

— Налить еще?

— Налей.

Выпив вторую кружку, он глубоко вздохнул и вытер рукавом губы.

— Куда это ты ходил, что так уморился? — уже без смущения спросила Марийка и улыбнулась.

— На нижний участок.

— В такую даль? Присядь, отдохни немножко!

— Да н-нет, я...

— Садись, садись! Ты словно боишься войти. Я ведь людей не ем! — Марийка взяла стул и поставила его посреди комнаты.

Он вдруг ощутил тяжесть от выпитой залпом воды, да и Марийка приглашала так настойчиво, что Петр вошел. «Только на минуту,— сказал он себе.— Через минуту встану и уйду». Марийка уселась на узкой кровати напротив него, скрестив на груди руки. Она была все так же хороша, лицо такое же нежное, а глаза — прозрачно-синие. И улыбка прежняя — теплая, милая, дразнящая.

— Как поживаешь, Петя? — тихо и участливо спросила она.

— Как видишь! — неохотно ответил Петр.

Марийка прикусила губу, помолчала и снова заговорила:

— Не подошли вы друг к другу с Нонкой. Ты виноват или она?..

— Оба.

— Плохо дело. Да вот и я с моим...

Петр понял, что Марийка сейчас начнет жаловаться, и поднялся.

— Ты что торопишься, Петя? Посиди еще немножко! — Марийка кинулась к нему, загородила дорогу, жадно заглядывая ему в глаза.— При-

ходи опять! Я всю неделю дежурю, а в обед здесь никого не бывает, я одна. Приходи, прошу тебя!

«Все такая же прилипчивая,— думал Петр, идя по дороге.— Лучше подальше от нее!» Но через несколько дней снова заглянул на скотный двор. «Поболтаю с Марийкой, рассеюсь немножко и уйду. Нечего дичиться людей, жить одиноким волком». Он осмотрел волов, числившихся за его бригадой, перекинулся словом со скотниками и, крадучись, вошел в коровник. Марийка стояла в другом его конце, держа в руках ведро с молоком. Она вытерла руки о фартук и проговорила:

— Все в порядке, товарищ бригадир.

— Вижу, вижу,— отозвался Петр, с преувеличенным интересом разглядывая коров.

Марийка наклонилась, взяла ведро, которое поставила было на землю, и прошептала:

— Входи, я одна.

Петр постоял еще немного в коровнике, оглянулся и, убедившись, что поблизости никого нет, вошел к Марийке. Фартук она успела снять, встретила его в новой синей кофточке. На этот раз Марийка пригласила его присесть на кровать и сама села рядом. От нее пахло одеколоном.

— Уж не ходил ли ты опять в поле?

— Нет.

Марийка деланно засмеялась, а потом вдруг умолкла и опустила голову.

— А помнишь, Петя, как мы раньше встречались. Я тогда...

— Было дело! — сухо оборвал ее Петр.— Было, да быльем поросло!

За дверью промычала корова, и снова все стихло. В широком солнечном луче лениво плавали бесчисленные пылинки, где-то на улице поскрипывал водосточный желоб. Марийка повернулась к Петру, глаза ее были полны слез.

— Быльем, говоришь, поросло, а я ничего не забыла. Все помню, все. Ох, унес ты тогда мое сердце! Измучил меня.— Она положила голову ему на плечо и обняла его.— Сколько ни стараюсь забыть тебя, а не могу. И замуж вышла, в чужой дом ушла, а все не могу... Слава богу, что мужа в армию взяли, глаза б мои его не видели. Противен он мне!..

Когда Петр шел к ней, он без конца повторял себе, что делает это из-за одиночества; стоит лишь ей заговорить о любви, он немедленно встанет и уйдет. Но когда она положила заплаканное лицо к нему на плечо, не хватило сил ее оттолкнуть. С мучительной раздвоенностью он вдруг ощутил, как его осиротевшее, изголодавшееся по женской ласке сердце согрела нежность, покорившая его волю. Кровь вскипела в нем, в неожиданном страстном порыве он притянул ее к себе...

— Нет, нет! Сюда могут войти! — прошептала она.— Приходи вечером к нам на сеновал, я буду ждать тебя.

В коровнике послышались голоса, Петр вскочил и вышел на улицу. Голова у него кружилась.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Прежде, до встречи с Петром, Нонка еще надеялась, что, увидевшись, они объяснятся и помирятся. Так или иначе, а помирятся. Она с волнением представляла себе эту встречу, много раз переживала ее во сне и готова была все простить, помириться со свекровью, только бы положить конец тяжкой разлуке. Она верила: Петр хочет того же, и когда они встретятся, он возьмет ее за руку и поведет домой. Но гордость Петра, его холодность развеяли эту надежду; она еще раз убедилась, что Петр не способен ее понять. Домой она вернулась в полном отчаянии,

сознавая, что отныне примирение невозможно. Несколько дней она была словно каменная, безучастна ко всему и ко всем. Никто не мог ее утешить. Сочувствие домашних только тяготило ее. Мать обращалась с ней, как с тяжелобольной, брат и невестка смотрели, как на человека запутавшегося и беспомощного. Только отец подбадривал ее и советовал опять приняться за работу на ферме. Он был так зол на Пинтезовых, что и слышать не хотел о возвращении к ним Нонки.

— Видеть их не желаю! — кричал он. — На позорище меня перед всем селом выставили, стыдно людям в глаза смотреть. На черта мне сдалась такая родня? Знать их не хочу! Если Нона думает вернуться к ним — силой держать не стану, но я ей тогда больше не отец.

Тетка Колювица плакала, руки заламывала, умоляла утихомириться. Петко с женой были на стороне дяди Колю. Все в доме были взбудоражены, то и дело вспыхивали споры.

Нонка знала, что только работа может успокоить ее, но стыдилась выйти в поле вместе с бригадой. Как они будут с Петром целый день вместе, рядом? Как он станет с ней обращаться? Вдруг вздумает унизить перед людьми? Пойти снова работать на ферму она не решалась, боясь совсем оттолкнуть Петра от себя. Но оставаться дома было еще тяжелей, и однажды утром она решила — будь что будет, она выйдет на работу. Оделась, пошла к правлению и на первом же углу столкнулась с Марийкой.

— Хочу тебе сказать кое-что! — шепнула Марийка.

Нонка остановилась и задрожала, предчувствуя недоброе. Марийка подошла ближе, лицо ее было мертвенно-бледно, глаза потуплены.

— Не думай обо мне плохо, — начала она, до крови кусая губы. — Не от хорошей жизни заговорила я с тобой... Я полюбила его до того, как вы узнали друг друга. И с тех пор мы с ним близки...

Нонка задохнулась, что-то больно стиснуло грудь. Деревья на той стороне улицы поплыли перед глазами, словно раскачиваемые сильным ветром. Она почувствовала, как холодеют руки и кровь отливает от сердца. Марийка схватила ее за руку; Нонка хотела вырваться но силы оставили ее.

— Прости меня! — проговорила Марийка срывающимся голосом, задыхаясь. — Тяжко мне говорить тебе это, но что делать! Если ты любишь его, вернись к нему. А если не любишь, отдай его мне, не губи мою жизнь! — Марийка закрыла лицо руками и вся затряслась от рыданий.

Ее плач вывел Нонку из оцепенения. Она попятилась и, глядя на плачущую Марийку, повторяла:

— Я больше не люблю его. Не люблю. Так и скажи ему!.. Не люблю! — и с каждым шагом чувствовала, как вся холодеет и ноги подкашиваются. Когда добралась до дому, ощутила такую страшную боль, что даже плакать не смогла.

— Отец, — сказала она на другое утро, — я решила снова пойти на ферму. Сегодня же.

— Верно, дочка. Чего лучше! Марко еще на днях говорил: «Пускай, мол, идет работает. Ее место за ней».

Брат Петко и его жена были того же мнения, но мать воспротивилась. Она понимала: если Нонка вернется на ферму, ее разрыв с Петром станет окончательным. Тетка Колювица не могла примириться с этим и все надеялась, что они опять заживут вместе.

— На что тебе эта ферма? От нее, проклятой, все и пошло.

— Лучше помалкивай! — сказал дядя Колю. — Куда свой нос ни сунешь, вечно все напутаешь. Нонке там самое место.

Он тоже понимал, что, вернувшись на ферму, Нонка навсегда порвет с Петром, и хотел именно этого. Пусть она уйдет в работу, успокоится,

а там все наладится само собой. Она еще молодая, без мужа не останется. Лучше совсем без мужа жить, чем с таким, как Петр.

Нонка собралась и отправилась на ферму. Пока она шла по селу, была спокойна, но когда вышла за околицу и на нее повеяло теплым весенним ветерком, когда взглянула на широкое, пробудившееся от зимнего сна поле, горько стало у нее на сердце. Зачем она идет на ферму? Если Петр узнает, он не посмотрит больше в ее сторону.

— Вернусь! — проговорила она. Шаги ее стали медленными, неуверенными.— Вернусь — может, и счастье мое вернется. Начну работать в бригаде, мы с Петром будем каждый день видеться. Поговорим, помиримся. Люблю его, жить без него не могу!

Все вокруг навевало сладкие и мучительные воспоминания о первой поре их любви. Вот тут, в рощице, они встретились и в первый раз поцеловались... Здесь, по-настоящему, и началась их любовь...

Она вся отдалась этим счастливым воспоминаниям, как умеет отдаваться им только чистая, любящая душа. Нонка остановилась, обессилев от волнения. В роще, где тишина была ласковой и спокойной, как чистая совесть, где тонкие, стройные акации устремились к небу в доверчивой надежде, где душа упивалась свежим весенним дыханием леса,— стояла Нонка, покоряясь нежному зову воспоминаний.

В нескольких шагах от дороги лежал поваленный ствол старой акации. Нонка свернула к нему, присела, и, верно, потому, что вдохнула терпкий запах мертвого дерева, горькая безнадежность и глубокое отчаяние вновь пронизали ее.

«До чего я глупая! О каком возвращении думаю, на что надеюсь! Он теперь с другой, он не любит меня!»

Она услышала чьи-то шаги и обернулась. На дороге стоял Дамян и удивленно смотрел на нее.

— Ты что тут делаешь? — спросил он.

— Так, присела отдохнуть, — ответила Нонка. — Устала, трудно идти по такой грязи.

Ей показалось, что Дамян понял, отчего она сидит в рощице одна. И она смутилась, даже не привстала, а продолжала сидеть, как прежде, обхватив руками колени.

— Я тоже порядком устал. Ну и грязища! Липнет, проклятая, как тесто.

Дамян отряхнул царвули и сел на другой конец ствола. Нонка повернулась к нему. Он был в куртке из грубого домотканого сукна и темно-синей фуфайке, из-под которой виднелся чистый воротник сорочки. От ее взгляда не ускользнуло, какой он чистый и опрятный, хотя больше года как овдовел; она знала его доброту, скромность и вдруг ощутила теплое чувство к этому человеку. То ли потому, что горе теснило грудь и ей необходимо было с кем-нибудь поделиться, то ли потому, что она испытывала к Дамяну безотчетное доверие, Нонка без утайки, словно близкому человеку, рассказала ему обо всех своих тревогах.

Дамян молчал. Широкое, скуластое, доброе лицо его было задумчиво. Он потупил глаза и отвернулся, словно ему стало неловко оттого, что он узнал о чужой беде. Нонка поняла это и не жалела, что излила душу. «Какой хороший человек», — подумала она и добавила:

— Потому я и присела здесь, хотела еще раз все обдумать...

— Много горя выпадает человеку в жизни, Нона. Камень — и тот бы не выдержал. Нельзя поддаваться беде, думать о плохом, надо верить в будущее. Вот я, к примеру, остался один, с ребенком на руках. Тяжко, слов нет, а что поделаешь? Прежнего не вернешь... Жизнь прожить — не поле перейти. За плохим всегда следом идет хорошее.

— Верно,— задумчиво подтвердила Нонка.

Дамян опять помолчал, потом добавил:

— Может, у вас еще все наладится. Не принимай так близко к сердцу.

— Кто знает! Четыре месяца прошло, а мы по-прежнему врозь,— сказала Нонка. — Он ведь такой... Трудный у него характер.

— Да, характер трудный, я знаю. Это я понял еще в тот вечер, когда он пришел забирать тебя с фермы. Тогда еще подумал: вам не так просто поладить, больно вы разные. Он знать не хочет, в какое время мы живем. Мне вот пришлось и поденщину испытать, на хозяина спину гнуть, чужую землю пахать. А он? Все у него есть! И дом, и работа, и кусок хлеба. С жиру бесится. Люди боролись за то, чтоб по-новому жизнь пошла. Чтоб у каждого была работа по сердцу. А он назад тянет. Нельзя так.

Нонка слушала рассудительную речь, и все легче становилось у нее на душе. Ее решение — вернуться на ферму — теперь окрепло. «В трудную минуту, — подумала она, — Дамян и дедушка Ламби мне всегда помогут».

Она почувствовала себя уверенней; одиночество уже не тяготило ее, как прежде.

Дамян поднялся, Нонка пошла с ним рядом.

— Я теперь фермой занялся. Бросил свое бригадирство. Попросил Марко освободить меня. Не могу всюду поспевать, да и за ребенком присмотр нужен. Мать старуха совсем плоха. Как потеплеет, буду брать мальчонку с собой, пусть играет, возится, все-таки на глазах... Как дед Ламби тебе обрадуется! Чего дело ни коснись, он все о тебе вспоминает.

Дед Ламби встретил их у ворот. Нонка издалека увидела его расплывшееся в улыбке лицо.

— Гляжу, можно сказать, и диву даюсь, что это за женщина идет с Дамяном, — проговорил он, улыбаясь во весь рот. — Потом смотрю: да ведь это наша Нона! Разрази меня гром, если не она! По походке тебя узнал, так-то вот!

Он похудел, одряхлел, но глаза светились радостью.

— Добро пожаловать, Нона! — приветствовал он ее, суетился вокруг и все спрашивал, как это она надумала заглянуть к ним.

— С вами пришла повидаться, дедушка. Ведь и я тоже когда-то здесь работала,— сказала Нонка.

— И хорошо сделала, доченька, что пришла. На днях заходили к нам агроном с врачом, осмотрели поросят и говорят: давайте им побольше таминов.

— Чего им давать?

— Таминов, говорят, им давайте.

— Витаминов, дедушка, а не таминов, — засмеялась Нонка. Рассмеялся и Дамян.

— А я почем знаю, как они там называются. Еще говорят, нужно поросятам зеленого вееру...

Нонка с Дамяном переглянулись и захохотали. Давно Нонка так от души не смеялась.

— Зеленый конвейер это называется, дедушка,— еле выговорила она.

— Не могу я эти вещи запоминать, да и только! С пустой головы какой спрос? А она у меня, проклятая, насквозь пустая, только ветер, можно сказать, свищет. Так-то вот.

Вдоволь насмеявшись, Нонка объяснила ему, что такое зеленый конвейер.

— Надо бы, Нона, чтоб ты осенью к нам пришла, подсобила.

— Я уже тут, дедушка. Пришла...

— Да ну?! — закричал дед Ламби, остолбенев. — А ты меня, часом, не обманываешь?

— Не обманываю, дедушка, зачем мне обманывать? Насовсем пришла.

— Ох, — с облегчением вздохнул дед Ламби и перекрестился. — Вот и слава богу, доченька, слава богу.

Дамян ласково поглядел на Нонку, но она не заметила его взгляда...

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

С тех пор как Нонка вернулась на ферму, будто сама жизнь возвратилась туда. Поля вокруг буйно зазеленели, вязы до самого неба протянули раскидистые свои ветви, речушка разлилась и бежала буйная, беспокойная, а молодые саженцы во дворе принялись и зацвели. Потянулись тихие, солнечные весенние дни, когда природа расцветает бурно, с жадностью порывистой юности.

Дед Ламби словно помолодел. Пожелтевшее, осунувшееся его лицо порозовело, он стал еще говорливей и веселее. Нонка снова принялась заботиться о нем, и он опять молодецки заломил мохнатую свою шапку и заважничал. Переменился и Дамян. После смерти жены он стал замкнутым, молчаливым, а теперь потеплело у него на сердце. Крепкий, статный, он так работал, что любо-дорого было смотреть. Ранним утром приходил он на ферму с маленьким своим сыном Маринчо, оставлял его играть во дворе и входил в свинарник, тихонько насвистывая.

Нонка мало-помалу успокоилась. Ей хотелось все на ферме переделать по-своему, и она по целым дням носилась без устали. Дамян не отходил от нее ни на шаг. Нонка стала замечать, что он заботится о ней больше прежнего, и все старается чем-нибудь порадовать. Он угадывал, что ей нужно, раздобывал и сам приносил на ферму: то какой-нибудь ящик, то безмен, электрическую лампочку, лопату или другую необходимую в хозяйстве вещь. Однажды он притащил для Нонки пружинную кровать — унес ее из конторы. Все, что удавалось ему добыть, он передавал Нонке в собственные руки, кротко и добродушно улыбаясь.

— Принимай, Нона! Новый инвентарь.

Однажды он принес будильник и вручил его Нонке.

— Твоя старая развалина отказывается работать.

Нонка была тронута. Когда она переживала свое горе и чувствовала себя особенно одинокой, доброе отношение Дамяна успокаивало ее и доставляло искреннюю радость. Они так привыкли работать вместе, что понимали друг друга с полуслова. Она готовила корм — Дамян разносил его по станкам, он косил люцерну — она собирала ее в стожки, потом они вместе перетаскивали их на ферму. Вечером, если Нонка не оставалась на дежурстве, они вместе уходили в село.

Если Дамян не приходил иной раз на работу, она до самого вечера поджидала его. Спокойный, тихий, разумный, он заполнял пустоту ее жизни. Она привязалась и к его сынишке. Это был худенький, тихий мальчуган, в ветхой одежонке, росший без материнского глаза. В свободное время Нонка обшивала его, мыла. Маринчо тоже привязался к ней. По утрам, как только они с отцом входили во двор фермы, он от самых ворот кричал:

— Тетя Нона, где ты?

Нонка брала его на руки и целовала.

Постепенно воспоминания о жизни с Петром начали бледнеть. Все чаще думала она, что их жизнь, такая счастливая и такая горькая, была лишь обманчивым сном. Но вечером, стоило ей остаться одной, закрыть глаза — и Петр снова вставал перед ней, с прищуренными глазами, суровый, гордый, властный и любимый. И тогда она понимала, что прочно завладела ее сердцем мучительная и безысходная любовь к Петру. Она

забывала об его измене, забывала обо всем и мысленно обнимала его с трепетом чистой любви. Но наутро, освободившись от вероломного очарования сна, она вновь обретала способность мыслить трезво и ясно, и уже не любовью наполнялось сердце, а горькой обидой. Медленно и болезненно затягивалась рана, но все же затягивалась.

Калинко снова стал приходить на ферму. Он и раньше, когда Нонки здесь не было, время от времени навещал деда Ламби, а теперь стал захаживать чаще. За три года он возмужал, но, хотя черты лица его стали резче и сам он изо всех сил старался выглядеть твердым и решительным, кроткие глаза по-прежнему излучали мягкое сияние. Нонку и до замужества тяготило его молчаливое и настойчивое преследование, а теперь она и вовсе не знала, как себя держать с ним, понимая, что он приходит на ферму ради нее. Ей было стыдно перед Калинко за то, что она причинила ему столько страданий, но его неизменная, безграничная преданность трогала ее, как трогает любовь страдающего, беспомощного ребенка.

Однажды вечером Калинко пришел со своим аккордеоном. Дед Ламби и Нонка сидели на скамейке, Дамян еще не вернулся с мельницы. Дед Ламби, как всегда, очень обрадовался Калинко, подвинулся, освободив ему на скамейке место, и принялся тараторить без умолку. Наговорившись, он обернулся к Калинко и сказал:

— Ну, будет болтать, сыграй-ка лучше да спой! Так-то вот!

Калинко держал аккордеон на коленях и, казалось, только и ждал, пока дед Ламби выговорится. Перекинул через плечо ремень, растянул мехи.

При первых же звуках Калинко просиял от счастья, что Нонка услышит песню, сочиненную для нее одной. Но только запел он, как сразу проникся тоской этой песни, лицо его стало мечтательным, глаза заволокло слезами. Он не пел, а говорил, тихо, задушевно, мягким своим голосом:

Три года, три черных года,
Как покинула меня любимая.
Три года, три черных года,
Как забыла обо мне любимая!
А-ах!..

— А-ах! — тяжело вздыхал вслед за ним аккордеон, так безнадежно, словно в нем было спрятано живое сердце, вобравшее в себя всю человеческую тоску.

Комок подкатил Нонке к горлу, и она с трудом сдержалась, чтобы не расплакаться. А Калинко пел о речушке, журчание которой он слушал каждый вечер, об ивах, которые одни понимали его печаль и утешали его. А в конце песни с восторженной и трогательной преданностью он обещал любимой, что будет любить ее до тех пор, пока течет через поле эта речка...

— Ах, разрази тебя гром! До слез довел! — ласково проговорил дед Ламби и принялся тереть пальцем глаза.

Калинко опустил аккордеон на колени, улыбнулся и ничего не сказал. Все трое молчали, покорившись грустному обаянию песни.

Солнце, между тем, незаметно село. Прозрачный сумрак лег на поля, стайка горлиц вилась над ивами, отыскивая местечко поудобней для ночлега, слышался мягкий шелест их крыльев. Воробьи, целой стаей слетевшиеся к рощице и поднявшие гомон на все поле, тоже умолкли.

— Засиделась я сегодня, — сказала Нонка и встала.

— Оставайся ночевать здесь, — попросил ее дед Ламби.

— Нет, пойду, надо взять кое-что дома.

— Тогда Калинко проводит тебя.

— Я и одна дойду. Еще рано.

— Нечего тебе одной идти. Вставай, Калинко. Проводишь ее, потом опять сюда возвращайся.

Калинко поднялся со скамейки еще раньше, чем дед Ламби обратился к нему.

— Пойдем через поле, — предложила она.

— Пойдем,— согласился Калинко.

Его песня еще звучала в ее ушах, бередила душу. «Зачем я его мучаю? — думала она.— Почему не скажу прямо, что не могу его полюбить? Он поймет меня, и мне станет легче». Но слыша прерывающееся его дыхание, зная, как страдает он от смущения, Нонка испытывала к нему жалость и не решалась так жестоко оттолкнуть от себя.

Чтобы нарушить тягостное молчание, она обычным, дружеским и шутливым тоном проговорила:

— Как ты переменился, Калинко! Совсем другим стал, даже усы отрастил.

— Человек меняется... Только сердце у него остается таким же.

Он снова умолк. Они прошли еще немного, и Нонка остановилась.

— Дальше я пойду одна.

Калинко, словно испугавшись, что она уйдет навсегда, быстро заговорил:

— Нона, я пришел сегодня, чтобы поговорить с тобой... Я знаю, как ты измучилась, и может быть, мои слова огорчат тебя, но...

Нонке надо было прервать разговор и уйти, но она медлила, опустив голову. Ее пугало это признание в любви, и в то же время ей хотелось услышать его. А он тянулся к ней, и она видела блеск его глаз. «Убегу, сейчас убегу!» — говорила она себе, но неведомая сила приковала ее к месту.

— Ты знаешь, что я люблю тебя, Нона! — проговорил Калинко и посмотрел на нее с решимостью отчаяния. — Три года прошло, как ты замуж вышла, а мне и в голову не приходило подумать о другой. Когда ты радовалась своей семейной жизни, радовался и я. Радовался, что ты счастлива. Когда ты страдала, страдал и я...

Он положил руку ей на плечо и говорил быстро, бессвязно. Нонка стояла ошеломленная. Она хотела уйти от него, но ноги словно вросли в землю. Она чувствовала, как дрожит рука на ее плече, и подумала: «Господи, что я делаю! Зачем стою и слушаю его, почему не скажу, чтоб он замолчал! Ведь я не люблю его!» Но его чистая, бескорыстная любовь согревала ей сердце. Она стыдилась своей слабости, но не находила в себе сил воспротивиться ей.

Калинко наклонился, приблизив к ней свое лицо. Нонка очнулась и побежала к селу.

Над полем сгустились сумерки, только огни села дрожали вдали, как светлячки. Нонка спотыкалась, падала, снова бежала, испуганная своей слабостью.

— Петя, милый, спаси меня! Не позорь, не оставляй одну! Помоги, возьми меня, я одна...

Не понимая, как и зачем, она вдруг оказалась у ворот дома Пинтезовых. Улица была пуста, во дворе никого не было. В окне кухни горел свет. Она открыла калитку и вошла во двор. Из сеней донесся голос Пинтезихи:

— Беда мне с этой свиньей!

Нонка остановилась. Голос свекрови ударил ее, словно камнем. Ей стало страшно. «Что я здесь делаю?» — опомнилась она и повернула назад, потерянная, убитая.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Подоспела пора жатвы, и все село лихорадочно закипело, как всегда бывает перед уборкой урожая. Двор кооператива походил на пчелиный улей. В одном конце осматривали и готовили инвентарь, в другом — сооружали площадку для скирд, в третьем — строили навес для летней кухни. В правлении было шумно и оживленно. Марко Велков с бригадирами уточняли планы, спорили, как подвозить воду, как охранять снопы, проверяли состав бригад. Дымили трубы мастерских, звенели последние удары по наковальням. Дребезжали телеги, неистово ревели моторами грузовики, поднимая над селом облака пыли.

В домах творилось то же самое. Хозяева торопились поскорей покончить с неотложными домашними делами — во время жатвы домой приходишь только ночевать. К вечеру ненадолго выходили постоять у ворот. Все разговоры вертелись вокруг уборки. Кто-нибудь приносил с собой пучок колосьев, и все обступали его, чтобы посмотреть, поспели ли хлеба.

Только у Пинтезовых было глухо и пусто, словно пронеслась над их домом буря и перевернула все вверх дном. Старуха бродила по дому и по двору, закутавшись в черный платок, не смея показать на улицу сморщенное, желтое, как дыня, лицо. Чувствуя себя виноватой в бегстве снохи, она держалась тише воды, ниже травы. Только в сухих глазах ее тлела неутоленная злоба. Еще больше, чем прежде, тряслась она над Петром, докучая ему своими заботами, а он был груб и невнимателен к ней до жестокости. Радостная суматоха, предшествовавшая уборке, только раздражала Петра, он еще больше отдалялся от людей. Единственным близким ему человеком была Марийка со своей безумной чувственной любовью. В те вечера, когда она не дежурила в коровнике, Марийка шла на сеновал и там, забравшись в сено, поджидала Петра. Он приходил точно в условленный час, но со смятенной душой. Запах старого сена и ее безумные ласки одурманивали его больную душу, он возвращался домой, точно пьяный, с помутившейся головой, с утихшей на время болью. Опомнившись, он решал больше никогда не ходить к Марийке, но на другой день одиночество опять приводило его на сеновал.

Не одно одиночество влекло его к Марийке. Ее самоотверженная любовь и покорность пробуждали в его сердце ответное чувство. Много раз, тайком пробравшись через чужие плетни, сидя с нею рядом, слушая ее тихий, страстный шепот, он думал, что любовь к Нонке не принесла ему ничего, кроме страданий. Женись он на Марийке, жизнь его была бы спокойней и счастливей. Вспоминая, сколько раз она своими ласками облегчала его страдания, сколько жертв принесла ради него, он и в самом деле начинал испытывать к ней любовь и тосковал, если несколько дней не виделся с нею.

Однажды, обнимая его, Марийка сказала:

— Говорят, у Нонки что-то с Дамяном...

Петр не сумел скрыть волнения. Марийка почувствовала, как задрожали его руки, и пожалела о своих словах. Она была уверена, что Петр вырвал Нонку из сердца и выслушает новость равнодушно. Но он отодвинулся от Марийки, а потом поднялся. Напрасно уговаривала его Марийка побыть еще.

— Ох, не любишь ты меня! Все о ней думаешь,— говорила она со слезами на глазах. — Почему ты молчишь, Петя? Скажи хоть одно словечко, а потом можешь даже убить, мне все равно!

Петр вырвался из ее объятий и ощупью добрался до двери.

На другой день разнеслось по селу, что вернулся муж Марийки и выгнал ее из дому. На душе у Петра стало еще неспокойней. Домой он приходил мрачный, почернел, подурнел. Иногда старый Пинтез, не сдержавшись, выговаривал ему:

— Что не побреешься? Бородищу отпустил, словно каторжник!

— Это мое дело! — отвечал Петр и хлопал дверью, а старик грустно глядел вслед и беспомощно покачивал седой головой.

«Вон куда зашло! — думал он. — Слова ему не скажи, отца ни во что не ставит. Того ли заслужил я на старости лет!»

Он бродил по двору или по саду, присаживался где-нибудь, погруженный в невеселые думы. Глядели на него люди и не верили, что таким стал тот самый Пинтез — крепкий, работящий, представительный старик, который внушал всем невольное уважение. Теперь он выглядел совсем немощным, словно подтачивала его какая-то болезнь. Глаза глубоко запали, лицо осунулось. Ему было совестно показываться на людях, и он еще больше замкнулся в себе. По природе молчаливый и необщительный, он особенно тяжело переживал семейные неурядицы. Со старухой он ничем не делился, считая ее виноватой в уходе Нонки, а с Петром и хотел, да не мог говорить.

«Так больше нельзя! — однажды сказал себе Пинтез и решил еще раз пойти к снохе. — Попрошу ее вернуться. Я к ней, как к родной дочери, относился, свекор я ей все-таки. Она хорошая, послушает меня».

Он накинул на плечи антерию и направился к ферме. Переливались и шелестели спелые хлеба. Пинтез остановился на краю поля. Колосья зашумели еще сильней; толкая друг друга, они тянулись к нему, ласково гладили руки, словно хотели что-то сказать. Он снял шапку, перекрестился и долго глядел в бескрайнюю ширь. От души отлегло, он ожил, кровь веселей побежала по жилам, а золотистые волны пшеницы быстро катились к нему, словно хотели затопить. «Все уладится. Нонка вернется, и заживем мы опять, как прежде!» — подумал он, надел шапку и, ободренный, зашагал к ферме.

У самых ворот он столкнулся с дедом Ламби. Тот тащил мешок свежей травы.

— Доброго здоровья, Димитр! Ты к нам?

— К вам, к вам.

— Милости просим.

— Хочу сноху повидать. Здесь она?

— Здесь,— и дед Ламби показал в глубь двора.

Нонка играла с каким-то мальчуганом, убегала, пряталась за деревцами, а тот догонял ее, протянув ручонки.

— Нона, иди сюда! — позвал дед Ламби. — Свекор пришел, — и, подняв мешок, направился к свинарнику.

Пинтез вошел во двор и остановился. Как ни старался он сохранить спокойствие, руки его дрожали.

Нонка была босиком, с непокрытой головой, с растрепавшимися от беготни волосами. Приход свекра был для нее неожиданностью; увидев, как похудел он и сгорбился, как глубоко запали его глаза, она смутилась и испугалась.

— Здравствуй, дочка! — сказал Пинтез, грустно улыбнувшись.

Нонка наклонилась и поцеловала ему руку.

— Вот, пришел проведать... Значит... Дай, думаю... — запинался старик.

— Может, в дом зайдешь, отец?

— Зайду, зайду, дочка, только потом. А сейчас...

В это время к ним подошел мальчуган и ухватился за Нонкину юбку.

— Чей это? — спросил Пинтез.

— Дамяна, — ответила Нонка и сказала мальчику: — Иди, иди поиграй. — Но мальчонка не отпускал ее юбку.

Пинтез сунул руку в карман, достал маленький ножик с деревянной рукояткой и протянул мальчику.

— Иди играй. Видишь, какой красивый ножичек дедушка тебе дарит,— опять сказала Нонка, и обрадованный мальчуган помчался по двору.

— Пришел, дочка, поговорить с тобой, — произнес Пинтез, когда они остались одни. — За этим и пришел.

— Что ж здесь стоять, зайдем в дом, — снова пригласила Нонка.

— Нет, лучше тут. Или пойдем туда, за ворота.

Они вышли и стали у забора.

— Пришел просить тебя, дочка, чтоб ты вернулась, — взволнованно сказал Пинтез. — Так дальше нельзя. Не жизнь это.

Нонка скрестила на груди руки, опустила глаза. Она уважала и любила этого молчаливого, справедливого человека, понимала его горе, но не знала, как утешить.

— Не плачь, детка, не плачь,— сказал он, увидя в глазах ее слезы.— Слезами горю не поможешь. Если б за тем дело стало, я бы больше всех плакал.— Но тут его голос осекся, и глаза тоже заволокло слезами.— Так дальше нельзя. Ты вернешься — все уладится.

— Не знаю, отец! Не знаю, что тебе сказать. — Она вытерла слезы и, задумавшись, посмотрела в поле.

— Нечего тут знать, детка. Кто старое помянет — тому глаз вон. Если семья разрушена и жизнь разбита, что у человека остается? Обидели мы тебя, грех на душу взяли, но ты уж прости. Должна простить. Да и времена сейчас такие, что люди места себе не могут найти. Что вчера представлялось правильным, сегодня оказалось неверным. Брат с братом ссорятся. Вчера жили под одной крышей в согласии, а теперь каждый своему богу молится... И Петр с толку сбит, вижу я. От того все и пошло. Молод еще Петр, где ему знать, что после грозы снова солнышко выглянет. Тоскует он по тебе, сам не свой ходит. Потому я и говорю — возвращайся. Простишь его, и опять заживете, как раньше.

— Что это будет за жизнь, если даже и вернусь, — в раздумье проговорила Нонка. — Измучилась я, отец!

— Вернись, дочка, вернись, милая! — взмолился Пинтез, и глаза его снова наполнились слезами. — Ты мне как родная была, гордился тобой. Нет нам без тебя жизни, так и знай. Все у нас кувырком пошло. С тех пор, как ты ушла — доброго слова в доме не слышно. Ради меня хотя бы воротись, утешь старика. Вернешься — словно солнце в мой дом войдет.

Не хватило у Нонки духу отпустить старика ни с чем, и она уклончиво ответила:

— Я подумаю, отец.

— Подумай, дочка, подумай и завтра приходи! — обрадованно проговорил Пинтез, в его глазах мелькнула надежда. — Увидишь, как хорошо заживем, словно ничего и не было!

Нонка на прощание снова поцеловала его руку, проводила немного и долго смотрела вслед, пока высокие хлеба не скрыли его...

Когда она вернулась на ферму, Дамян, взяв сына на руки, собирался идти домой. Нонка подошла прямо к нему и забрала у него Маринчо.

— Он сегодня будет у меня ночевать. Останешься со мной, Маринчо, а?

Мальчик обвил ее шею ручонками. Дамян улыбнулся доброй улыбкой, его загорелое лицо прояснилось.

— Охота тебе такую обузу на себя брать, Нона. Он тебя за ночь несколько раз разбудит, спать не даст.

— Ничего, ничего. Сегодня я тебе его не отдам!

— Воля твоя.

Нонка отнесла мальчика в свою кровать и прилегла рядом.

Она смотрела на спящего ребенка, ощущала его тепло, и какое-то сильное, неведомое ей чувство завладело ею. Дрожащей рукой раскрыла она одеяло, чтобы еще раз испытать удовольствие укутать ребенка, прижала его к своей груди и замерла, чувствуя, как душа наполняется спокойной и нежной радостью.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

В этот год тоже была объявлена «всеобщая мобилизация для штурма урожая», как воинственно выражался Марко Велков. В уборочные бригады зачислили всех служащих, мастеров, работников ферм. На торжественное предуборочное собрание пришло множество народу. Пришли со свинофермы и Нонка с Дамяном. Когда они вошли в клуб, зал был полон. Оба застеснялись, потому что впервые вместе появлялись на людях. Хорошо, что Рачето и Яцо оказались у самых дверей и, подвинувшись, освободили им место рядом. Нонка и Рачето давно не виделись и, обрадовавшись друг другу, принялись оживленно шушукаться. Дамян и Яцо тоже разговорились.

Между тем, народ все прибывал.

Обычно на таких собраниях деловые вопросы не обсуждались, к этому времени все уже бывало решено. Это были собрания торжественные, созывавшиеся по традиции, чтобы люди встретились, побеседовали между собой и повеселились перед предстоящей страдой.

Но на этот раз в повестке дня, кроме приветственного слова председателя и выступлений бригадиров с обязательствами в срок закончить уборку, стоял еще один вопрос.

Правление кооператива только накануне узнало из газет о скоростном методе вязки снопов и решило обсудить возможности внедрения этого метода. Слово взял Иван Гатев.

Поздравив членов кооператива с началом жатвы, он стал объяснять суть нового метода.

— Группа вязальщиков состоит из четырех человек, — рассказывал он. — Один подает жгуты, второй связывает, двое других подают охапки сжатых колосьев. Когда первый вязальщик устанет, его сменяет тот, кто готовил жгуты, и так они меняются через каждый час. По такому методу советские колхозники вязали по девяносто снопов в час, то есть девятьсот снопов за десять часов, что составляет около шестидесяти пяти наших копен*. Есть у нас желающие испытать этот метод, товарищи?

Как всегда, когда предлагалось что-то новое, непривычное, члены кооператива молчали, никто не решался высказаться определенно. Самые лучшие вязальщики у нас в селе вяжут за день от силы сто сорок снопов, и теперь каждый прикидывал, сколько же можно связать по новому методу; все принялись обсуждать, споря между собой. Иван Гатев добавил, что для четырех вязальщиков девятьсот снопов — это не предел; если дело пойдет и они будут вязать по два снопа в минуту, то за десять часов сложат восемьдесят пять копен.

Кто-то из середины зала выкрикнул, что на бумаге ничего не стоит и восемьдесят пять тысяч копен сметать. Собрание зашумело.

— Что думают бригадиры? — спросил Марко Велков, вставая.

Никто не отозвался.

Тогда Марко стал вызывать по именам.

— Иван Колев здесь?

— Здесь.

— Твое мнение?

---

* В Болгарии копна складывается крестообразно по 13, 17 или 21 снопу в каждой.

— Выделю одну четверку на пробу.

— Хорошо. Отправь их с вечера, пускай переночуют в поле и заранее заготовят жгуты. Петр Пинтезов здесь?

Петр хриплым голосом отозвался из глубины зала, но Марко Велков не расслышал, приложил ладонь к уху и крикнул:

— Ты чего это там прячешься? Говори громче! Испробуешь в своей бригаде новый метод?

— Испробую, — сказал Петр. По собранию пробежал шепот и сдержанный смех. Петр сел было вместе с другими бригадирами, но когда увидел, что Нонка и Дамян вошли вместе, сердце его заколотилось, и он пересел в самый последний ряд, забился в угол, не смея ни шевельнуться, ни посмотреть вокруг. Он слышал об отношениях Нонки с Дамяном, но надеялся, что это сплетня. В глубине души он верил, что Нонка любит его, Петра, будет любить всю жизнь и никогда не подумает о другом. Эта вера поддерживала его в самые тяжелые минуты после их разрыва. Сейчас, увидев Нонку с Дамяном, он почувствовал себя беспомощным, убитым. «Если б не было с нею рядом другого, — думал он с какой-то тихой и безнадежной примиренностью, — я бы подошел к ней, попросил прощения, и она вернулась бы ко мне. А теперь? Теперь уже поздно. Не любит она меня!..»

Собрание, между тем, продолжало шуметь. Нетерпеливый Яцо говорил Дамяну:

— Давай сколотим такую четверку. Мы с тобой вязать будем, а Нонка и Рачето подавать.

— Отчего не попробовать? — согласился Дамян.

Яцо поднялся.

— Товарищ председатель, прошу слова.

Марко кивнул.

— А что, можно этот метод применять по-семейному?

Все обернулись к нему, засмеялись.

— Прошу председателя прекратить смешки в зале, потому что я желаю высказаться, — сказал Яцо с серьезным видом и даже нахмурился.

Хохот усилился.

— Как это «по-семейному»? — спросил председатель.

— Я, скажем, буду снопы вязать, а жена жгуты готовить. Пригласим для компании еще одну парочку.

Снова взрыв хохота.

Петр пробрался вдоль стены и вышел из зала, до крови обкусывая ногти. В дверях клуба он столкнулся с Марийкой.

— Кончилось собрание?

Петр, не ответив, прошел мимо. Она пошла за ним.

— Подожди, мне нужно тебе что-то сказать.

Он сделал несколько шагов и вдруг резко обернулся.

— Что тебе надо?

Марийка взволнованно, тяжело дышала. Грудь ее порывисто подымалась. Лицо побледнело, вокруг глаз темнели круги.

— Видеть тебя, Петя, надо,— сказала она с вымученной улыбкой.

— Чего на меня смотреть! — сухо произнес Петр, глядя на нее сощуренными глазами. Он двинулся вперед. Марийка догнала его. «Зачем я иду с ней? Почему не прогоню?» — думал Петр, но молчал, словно не было сил ни говорить с ней, ни ссориться.

Тихий и безмятежный закат посыпáл село золотой пыльцой, горел в стеклах окон. Возвращалось с пастбища стадо, у загонов блеяли овцы. Около ворот сидели старики и старухи, по улицам бегала детвора.

— Что молчишь, Петя? — спросила Марийка, когда они свернули в глухую улочку.— Я ради тебя ничего не пожалела. Муж, как собаку,

избил меня и выгнал.— Она заплакала.— Дома все на меня косятся. Я думала, мы с тобой поженимся...

— То есть как это поженимся? — остановился Петр. Досада судорогой свела лицо.

Марийка схватила его руку, стиснула до боли. По щекам ее катились крупные слезы, в лице не было ни кровинки. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами и вся дрожала.

— Петя, не бросай меня! Я помру с горя. Да и ты только измучаешься. Давай поженимся. Нам обоим станет лучше... Она теперь с другим, она не любит тебя и никогда к тебе не вернется, как и я не вернусь к мужу. Почему нам с тобой не быть вместе?

Петр мрачно уставился на изгородь, где затеяли драку воробьи. Заходящее солнце играло, поблескивая, на их крылышках. Сады тонули в тени, а за ними, словно желто-красные скатерти, расстилались поля пшеницы, касаясь краями лилового неба. Там, в золотой догорающей дали, виднелись синеватые силуэты двух вязов, за которыми находилась ферма. Петр остановил на них свой взгляд и процедил сквозь зубы:

— Не будет того, что ты задумала. У меня есть жена.

— Нет у тебя больше жены, Петя, нету...

Лицо у Петра потемнело, на щеках обозначились глубокие впадины.

— Нет, есть! Я верну ее! — глухо произнес он и пошел вверх по улице.

* * *

Побывали бы вы у нас в Добрудже в пору жатвы! Встали бы рано поутру и вышли в поле! Тишина. Отяжелевшие от росы колосья еще досыпают последний сон. Проснувшиеся раньше всех жаворонки стремительно носятся над густой пшеницей. Слышны голоса перепелок — неутомимых певцов летних ночей.

Восток пламенеет невидимым огнем пробудившегося солнца, алое зарево гасит последние звезды. Солнце восходит медленно и торжественно. Поля встречают его радостной улыбкой созревших, посеребренных росою хлебов. Подует легкий ветерок, стряхнет росу и снова утихнет. Налитые колосья выпрямляются, призывая людей к мирному, благодатному труду. По дорогам затарахтят телеги, шум голосов и звуки песен разнесутся по бескрайнему простору равнины.

Как влюбленная девушка в ожидании первой ласки, трепещет Добруджа в это тихое утро жатвы, раскинувшись в счастливой истоме среди золотых своих даров.

Нонка с Дамяном вышли в поле еще до свету. Дамян перевязал себе колени и локти толстой шерстяной материей, чтобы не поранить о стерню, надел старую соломенную шляпу. Нонка повязалась белым платком. Она несла узелок с едой, а Дамян — воду в маленьком глиняном кувшине. Шли молча. Их следы отпечатывались на мягком бархате дороги. С затаенным волнением оглядывала Нонка золотистую равнину, на душе у нее было светло и радостно. Хорошо, что рядом шел широким, уверенным шагом Дамян, сладко замирало у нее сердце, когда он нечаянно касался ее плечом.

Яцо и Рачето уже были на месте. Они выдергивали стебли покрупнее, чтобы плести жгуты. Нонка и Дамян оставили еду у межи и присоединились к ним. Наготовив жгутов, сложили их под грушей, с той стороны, куда к полудню придет тень, побрызгали водой и присели перекусить. Тут прибыл со жнейкой смуглый Костадин Бозуков и с ходу принялся за работу. Когда жнейка накидала два-три ряда колосьев, вязальщики поднялись. Яцо выпрямился и окинул взором их огромный участок. Он тоже обмотал колени и локти повязками, поплевал на руки и закричал:

— Не робей, друзья, ничего страшного нету!

Женщины наваливали перед ним охапки колосьев. Он встал у сжатой пшеницы, прижал ее локтем, перехватил жгут с другой стороны, потом придавил сноп коленом, стянул его, еще раз примял коленом, легко перекинул и связал. Подняв сноп высоко над головой, он поклонился.

— Поздравляю вас с первым снопом, товарищи! Запевайте! Что не поете? — обратился он к женщинам и, не дожидаясь, затянул сам:

Затужила-заплакала золотая нива,
Затосковала по жнецам-молодцам...

С другого края участка, куда пришли остальные вязальщики, закричали, замахали шапками. Отозвались и с дальнего поля у рощицы, где жала бригада Петра. Песня понеслась по полю.

Солнце поднялось и начало припекать. Стерня стала колючей, жесткой и больно кусалась, цепляясь за одежду. Ясная синева неба поблекла, а бескрайняя равнина сияла и ширилась. Хлеба лежали укрощенные, поникнув колосьями, в воздухе трепетал жгучий зной. Как разъяренный богатырь, набрасывался Яцо на груды сжатой пшеницы, связывал большие, увесистые снопы. Рубашка его взмокла от пота. Через час его сменил Дамян. Он был также силен и ловок и тоже вязал огромные, тяжелые снопы. Нонка и Рачето, тихо переговариваясь, подавали охапки пшеницы.

К полудню в поле неожиданно появился улыбающийся дед Ламби в неизменной теплой шапке.

— Пришел поглядеть, как тут мои жнецы управляются,— сказал он. — Чуть не все село жать вышло, так и мне, можно сказать, не сидится. Остановился я у одного снопа, хотел поднять, да никак не мог под жгут пальцы просунуть, до того крепко связан.

— Значит, подходящий снопик, дед?

— Вполне.

— А ты бы такой мог связать?

— Неужто нет? Мы небось на своем веку и почище снопы вязали! — обиделся старик.

— Тебе веревки не сплести, не то что сноп связать. Вот поросятам похлебку подавать — это ты можешь,— поддразнивал его Яцо.

— Это я-то? Когда я, парень, снопы вязал, тебя еще на свете не было! — Дед Ламби поглядел в сторону женщин и подмигнул. — Я раз девушку в сноп увязал, не то что! Она как раз впереди меня жала. «Жни быстрей, Пена,— кричу,— не то тебя в сноп увяжу».— «Куда тебе!» — говорит. Как я ее схватил, как стянул жгутом, чуть у нее глаза на лоб не вылезли. Вот я какой был! А ты думал? То-то.

Нонка и Дамян, привыкшие к его россказням, тихонько усмехались, весельчак Яцо громко хохотал и продолжал поддразнивать старика:

— Не больно я этой сказке верю, дед. Вот если хоть один сноп свяжешь — целый трудодень свой тебе отвалю.

Дед Ламби хлопнул шапкой оземь, подтянул штаны и произнес:

— А ну, дайте сюда жгут!

Яцо навалил перед ним несколько охапок.

— Еще давай, еще!

Яцо подбавил.

— Теперь отойди в сторонку и учись, как надо снопы вязать!

Все побросали работу и, улыбаясь, смотрели на деда. Даже Костадин Бозуков остановил жнейку и глядел, поблескивая своими белыми зубами.

Дед Ламби еле-еле дотянулся до другого конца жгута и, подпрыгивая, начал уминать сноп коленом.

— Так его! Гоп! Еще раз! — вскрикивал Яцо при каждом его прыжке. — Держись, дед, как бы чего не случилось. Так его!

Дед Ламби в последний раз поднатужился, но сноп покатился, и старик перекувырнулся через него. Связка развалилась, и пшеница с головой засыпала деда.

Яцо гоготал на все поле. Дед Ламби выбрался из-под снопа, отряхнулся и, часто моргая, принялся оправдываться:

— Я нарочно упал, посмешить вас хотел.

Он снова напялил свою шапку, поболтал еще немного и ушел.

Солнце клонилось к закату. Это время — самое лучшее для жнецов. Вечерняя прохлада разгоняет зной, колосья становятся мягче. Девушки запевают песню, мужчины лихо работают, как одержимые. Где-то тарахтит комбайн, стараясь в одиночку сжать больше, чем все жнецы вместе. Солнце ближе и ближе клонится к земле; усталое, красное, оно с каждой минутой становится все огромнее. Лучи его тянутся через всю равнину, достигая остывшего на востоке неба.

Когда зарево заката угасло, часть жнецов потянулась к селу. Притихло поле. Только песнь перепелок да стрекотание сверчков трепетно отдавались в ночи. Пахло спелым зерном. Зажглись на небе звезды.

Наши четверо вязальщиков решили ночевать в поле, чтобы ранним утром, по холодку, довязать оставшиеся снопы. Сметав копны, поужинали. А после ужина Яцо и Рачето присели у одной из копен и запели вместе:

Говорил Иван Дуде:
Дуда моя, Дуда любимая,
Не сбылись слова наши заветные,
Что сказали мы с тобой друг другу
Вечерком, над рекой, у мельницы...

Нонка и Дамян сидели у соседней копны, прислушиваясь к песне.

Дамян положил руку на плечо Нонке. Она взяла его руку в свою, хотела снять ее, но потом тихонько прижала к плечу.

Спев еще одну песню, Рачето и Яцо умолкли и вскоре задремали.

Прохладная летняя ночь приняла в свои объятия поле, истомленное трудом и зноем дня, и оно уснуло, убаюканное мерным стрекотанием сверчков. Крупные, задумчивые звезды спустились ниже. Время от времени доносились голоса других заночевавших в поле жнецов; словно заблудившись, проносились в темноте птицы и исчезали в ночи.

Нонка и Дамян не спали.

— Привык я к тебе, словно всю жизнь вместе прожили, — сказал Дамян и еще сильней сжал ее плечо рукой. — Давай поженимся, Нона. Обоим нам довелось в жизни горя хлебнуть. Поэтому нам теперь должно быть хорошо.

— Подождем, Дамян, подумаем, — ответила Нонка, но сердце подсказывало, что они с Дамяном никогда не расстанутся.

— Чего еще думать? Человек должен сам создавать свое счастье. Никто ему готовенькое не принесет.

Дамян медленно, крепко обнял ее и поцеловал. Она покорно коснулась губами его губ, по щекам хлынули слезы...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Как поздняя осень высушивает листву на деревьях, так горе иссушило сердце Петра.

Томительны и бесконечно длинны были дни, темны и горестны ночи. Все больше тосковал он по Нонке. Каждую ночь виделась она ему во сне — то близкая, родная, то чужая и далекая. Сколько раз порывался он идти к ней, но страшное сомнение возвращало его с полдороги. Вер-

нется ли она, если правда то, что говорят о них с Дамяном? Эта мысль не давала ему ни минуты покоя. Молчаливый, возвращался он домой, не дерзил отцу, не бранился с матерью. Вечерами уходил в сад, подолгу стоял там, опершись о дерево, и возвращался лишь к полуночи. Пинтезиха тенью ходила за ним, поджидала, когда он поднимется к себе наверх, и, сложив на груди руки, со слезливым смирением умоляла:

— Не терзай ты себя, сынок! Сходи, попроси ее еще раз, может, уговоришь — вернется.

Петр молчал и мрачно глядел под ноги.

Пинтез совсем сдал. Бесцельно бродил он по двору, дряхлый, сгорбившийся, иногда застынет посреди двора, углубившись в свои думы или покачивая седой головой, тихо разговаривает сам с собой...

Знойные летние дни отгорели, и пепельно-голубое небо опять заблистало яркой, веселой синевой. Поля поблекли и опустели. Дворы вновь наполнились кукурузными стеблями и соломой, и с крыш домов улыбались тыквы. Утро заставало повсюду легкий налет изморози. Деревья тихо, как слезы, роняли листву. По голым полям пополз густой белый туман. Полили дожди, и редкими стали погожие деньки.

Переломилась гордость Петра, перегорел огонь его ревности. Со странным спокойствием, которое наступает после опустошительной бури, он заглянул в свою душу и увидел, что там осталась одна только любовь, пусть опаленная горькими сомнениями и му́кой, но неувядшая и сильная. Снова стал он ходить вокруг фермы. Останавливался поодаль где-нибудь в поле либо в рощице под акациями и подстерегал Нонку. Каждый вечер Нонка с Дамяном вместе возвращались в село. Затаив дыхание, глядел он им вслед, пока не скрывались за садами, и возвращался домой, содрогаясь от ненависти к Дамяну.

Так было трижды. Когда в четвертый раз отправился Петр к роще, желтые листья акаций ковром устилали землю, издавая тягостный запах сырости. Темные густые облака нависли над полями, словно в тяжкой, безутешной тоске. Начался дождь...

Наконец на дороге показалась Нонка. Петр вздрогнул. Он срывал веточки акации, нервно грыз их и не сводил с Нонки глаз. Она приближалась спокойным легким шагом. Когда она оказалась шагах в десяти от него, Петр преградил ей дорогу. Нонка остановилась и выронила узелок, который несла в руках. Потом нагнулась, подобрала его и выпрямилась. Петр подошел ближе. Дождь хлынул сильнее, серыми прутьями захлестал по лицу. Они стояли и смотрели друг на друга... Где-то вдали загрохотал гром, яркая молния прорезала небо. Петр протянул к Нонке руки, схватил ее за плечи. Она смотрела на него спокойно и несколько удивленно. Петр тряхнул ее, наклонился к ней. По ее лицу стекали струйки воды. Но глаза были сухими.

— Я пришел... за тобой, Нона!

Она покачала головой и только теперь громко, навзрыд заплакала.

— Не могу я вернуться, не могу...— проговорила она, содрогаясь от рыданий.

Тут только Петр заметил на ее бледном, омытом дождем и слезами лице темные пятнышки, увидел, как распухли губы. Что-то с силой ударило его в сердце, и он, как безумный, отскочил назад.

Нонка низко опустила голову, словно поклонившись ему, и пошла к селу. Петр, схватившись рукой за грудь, постоял мгновение, затем бросился вслед за нею, догнал, схватил за плечи и повернул к себе.

— Идем домой!

Она высвободилась и снова пошла вперед.

Вскоре густая сетка дождя скрыла ее.

Тудор Аргези

Стихи

Перевод с румынского Н. Стефановича

К ЗВЕЗДАМ

Когда вещают правду страницы древних книг,
Что из плевка и глины ты некогда возник,—
То, значит, расплатился ты щедро за глумленье:
Червям и человеку запрещено мышленье.
Творец, который создал лужайки и листочки,
Тебя навеки запер в бездушной оболочке.
Ты должен был безмолвно сносить свои страданья,
Ты мог быть только камнем, лишенным пониманья,
Чтоб вдруг среди желаний, усвоенных от века,
Не прорвалась внезапно природа человека.
Ты должен был остаться сплетеньем сухожилий
И только покоряться в беспамятстве, в бессилье.
И не было бы места вопросам и задачам —
Они бы заменялись желаньем жеребячьим.
Но взлетом человека, его зарею ранней
Был первый миг мышленья — раздумье, пониманье.
Иегова, иль дьявол, весь мир создавший разом,
Не знал, что вдруг возникнет ему враждебный разум.
Зажгли внезапный пламень, столкнувшись, боль и случай:
Он выше всех законов, прочней скалы могучей.
И вот прообраз некий познанья и свободы
Стада не растоптали и не размыли воды.
Теперь вперед свободно иди, не замечая,
Как вьются тучи гнева, как воет буря злая.
Тебя принудить к вере не властна ярость молний:
Твой долг — борьба с богами, и ты его исполни!
Тебя они повергнуть стремятся в грозном бое,
Чтоб у тебя похитить сокровище святое.
Ведь ты прорвался к звездам всему наперерез
И там звезду решился похитить у небес.
Рука твоя, коснувшись запретного предела,
Схватив огонь небесный, мгновенно обгорела.
Но сумрак озаряет теперь звезды сверканье:
Победою увенчан ты в первом же восстанье.

1955

ДЛИННА ДОРОГА

К нам из Жиу длинен путь...
Пламя в печке не раздуть —
И нигде идущий мимо
Не увидит струйки дыма.
В доме хлеба ни ломтя...
Плачет мать, кричит дитя.
В селах, в слякоти осенней,
Только дряхлых привидений
Бродят сумрачные тени,
И по всей округе дальней
Веет ладан погребальный.
Молока лишилась мать —
Что же ей младенцу дать?
Нет его и у коров...
Голод мрачен и суров.
Пусты высохшие груди.
Так и звери, так и люди...
Все собаки околели.
Старцы дышат еле-еле:
Им недолго жить осталось.
Гнев томит тебя и жалость.
Все загублено, отпето...

О отчизна, ты ли это?

1943

ПЕСНЯ

Я тщетно защищался и выбрался из боя.
Изломано, разбито мое копье стальное.

Меж нами — земли, воды и нет числа преградам,
Но мы повсюду вместе, и ты со мною рядом.

И по любым дорогам, всегда, во все края —
Ты следуешь за мною, о спутница моя!

Когда же мне напиться в пути не удается —
Ты черпаешь мне воду ладонью из колодца.

Или, раскрыв одежды, мечтаешь, может быть,
Меня не из колодца, а грудью напоить.

К источнику склоняешь ты голову свою,
Чтоб вместе пить со мною искристую струю.

Повсюду пребываешь подобно легкой тени,
Тебя лучи разносят и запахи растений.

Полны твоим молчаньем все шорохи, все звуки,
Они в молитвах, в бурях, в словах любви и муки.

Меж нашими скорбями потеряна граница.
Ты в том, что умирает, и в том, что вновь родится.

Далекой оставаясь, ты — рядом, ты — со мной...
О вечная невеста, тебе не стать женой!

1927

ПЛУГ

Кто изобрел тебя, о плуг?
Ты человеком создан не затем ли,
Чтобы взрывать равнин сухие земли
И чтобы расцветало все вокруг?

Но чьи же руки землю бороздят?
Кто первый на рассвете вышел в поле,
Межами разделив его раздолье?
Кто угадал, что хлеб насущный свят?

Кто под дождем, топча густую грязь,
Во мгле холодной разрезал впервые
Равнин нетронутых пласты сырые,
Надеясь, проклиная и молясь?

Ждет урожая бедный человек.
Он пашет, жнет, в бразды бросает семя...
Он в радость обратил и это бремя —
И потому прославился навек!

1927

СТЕНДАЛЬ В 1824 ГОДУ

Портрет, приписываемый художнику Ж. Б. Викару.

ПИСЬМА И ЗАМЕТКИ СТЕНДАЛЯ (АНРИ БЕЙЛЯ)

К 175-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Перевод с французского и комментарии Я. Фрида

1. Надпись на полях книги французского моралиста XVIII века Вовенарга, изданной в 1806 г.

Из всех бедствий, какие могут обрушиться на нацию, наихудшее — иностранное нашествие.

2. Из „Размышлений о „Духе законов" Монтескье", написанных А. Бейлем совместно с его другом Луи Крозе в годы Империи

В наше время, когда военное исступление достигло такой степени, что каждый, кто не солдат,— ничто, мы видим, как люди, которых можно считать не связанными с народом, занимают места также и в [гражданской] администрации.

3. Из письма Полине Бейль[1]

Берлин, 28 мая 1808 г.

...Четыре года назад, живя в Париже, я имел одну пару дырявых сапог, мерз зимой и часто сидел без свечей. Здесь я важное лицо: я получаю много писем, в которых немцы именуют меня «монсеньер»; высокопоставленные французы зовут меня «господин интендант»; приезжие генералы являются ко мне с визитом; я получаю прошения, пишу письма, сержусь на своих секретарей, присутствую на парадных обедах, езжу верхом и читаю Шекспира; но в Париже я был счастливее. Если бы можно было перенести свою жизнь, как шашку на доске, куда хочешь, я бы снова отправился к Дюгазону[2] — поучиться декламировать, повидать Мелани[3], я был влюблен в нее, и меня невероятно огорчало, что мой редингот неважно выглядел. Когда она отказывалась принять меня, я уходил в библиотеку, читал и, наконец, вечером совершал прогулку в Тюильри, где иногда завидовал счастливцам. Но сколько восхитительных мгновений бывало в этой несчастной жизни! Тогда я жил в пустыне, где мне время от времени попадался источник; теперь передо мной стол, на котором тесно тарелкам, но у меня — ни малейшего аппетита!

Это монотонное существование, быть может, сменится другим: предполагают, что мы вскоре выступаем — карать Австрию за все ее дерзо-

[1] Полина Бейль — сестра Анри Бейля.

[2] Ж.-А. Дюгазон (1746—1809) — известный артист Комеди франсез, у которого Бейль в 1804—1805 гг. брал уроки декламации.

[3] Мелани Гильбер — артистка, в которую был влюблен Бейль.

сти; я-то, я не из *тех, кто* гадает и предполагает. Я нисколько не желаю, чтобы началась война, и, если бы мог, тысячу раз помешал бы начать ее; но поскольку это дело решенное, я буду рад находиться там, где она ведется. Именно там почти всегда можно сказать: «Никогда не увидишь того, что уже видел», и мне порою кажется, что только в этих условиях три четверти людей и вещей перестают быть невыносимыми...

4. Письмо Феликсу Фору[1]

Смоленск, 7 ноября [1812 г.]

Покинув 16 октября Москву для выполнения данного мне поручения, я прибыл сюда 2 ноября после интереснейшего путешествия — ради него одного стоило приехать в Россию. Две прекрасные атаки казаков, неослабевающая уверенность в течение ночи и на следующий день, что будешь убит,— к сожалению, некогда писать. Там не было моих коллег, присутствие которых подавляет все то необыденное в моей душе, без чего я становлюсь постылым самому себе.

Чувствую себя очень хорошо и, вероятно, отправлюсь в *Минск* — покупать[2]. Прощай, скажи моим родным, что я свеж и бодр. У меня хватает времени только чтобы обнять тебя...

Счастливый смертный! как отличается твоя осень от моей! Уверяю тебя, что я не осквернен ни малейшей частицею зависти, напротив, чем будешь ты счастливее, тем менее странной покажется тебе моя система бейлизма, тем сильнее ты полюбишь меня. Поклонись от меня источнику твоего счастья...

5. Из письма Феликсу Фору

Смоленск, 9 ноября 1812 г.

Я снова в этом живописном городе, который и сейчас кажется мне единственным в своем роде. Когда пересекающие его овраги покрыты снегом — эффект еще больший. Морозец — не ниже двух-трех градусов, но так как мы в России, каждому кажется, что он замерз. Мы думаем только о материальных потребностях: иметь или не иметь сапоги, шубу — это не пустяки. В течение двадцати дней я лишен был возможности написать тебе. Бывают минуты, когда мне очень хотелось бы сохранить воспоминания о том, что пережил или видел, но писать невозможно. Сейчас все возвышенное в моей душе вновь подавлено вынужденным пребыванием в обществе — не скажу «такого-то» или «такого-то», — а людей. У меня нет возможности защитить свою душу от всего, что досаждает, и она становится пошлой — вот состояние, в котором имею честь пребывать после того как ночевал рядом с двумя славными малыми на полу небольшой канцелярии, а в соседней комнате так же спали 8 или 10 коллег. Все это не весело, а в особенности, когда имеешь дело с людьми, в которых лишь поверхностный лоск прикрывает раздражение, вызванное материальными трудностями...

Я хотел рассказать тебе о переходе от Москвы до Смоленска. Мною потеряны кое-какие заметки, которые я набросал. А мысль, возникшая у меня ранее, уже не может повториться — она внушает мне отвращение. Одно это путешествие вознаграждает меня за отъезд из Парижа: писатель-домосед и в тысячу лет не догадается о том, что я видел и пережил. Самое интересное произошло 25 и 26 октября[3]...

(Письмо осталось незаконченным.)

---

[1] Ж.-Д.-Ф. Фор (1780—1859) — друг юности Анри Бейля.

[2] Провиант и фураж.

[3] В эти дни отряд Бейля был атакован русскими партизанами.

6. Из наброска статьи (1819)

Обращаясь к Англии, нужно хорошо понять положение рабочих Манчестера — сообщениями об их мятеже были переполнены все газеты летом 1818 года[1].

Эти бедные люди — их сорок тысяч — зарабатывают четыре шиллинга (четыре франка восемьдесят сантимов) в день; вот все, что им могут дать их хозяева. Если бы они платили четыре с половиной шиллинга, изделия английских мануфактур продавались бы на континенте дороже местных изделий. Теперь, по милости тех, кто в 1792 году ввел налоги, чтобы смирить Францию, английский рабочий, трудясь четырнадцать часов в день, *не может* жить на четыре шиллинга. Вот почему из шести человек, которых встречаешь на улицах Лондона или Бристоля, по меньшей мере один получает милостыню у прихода[2]. Возможно ли, чтобы страна, которую гложет подобное злосчастье, располагала временем для развития литературы и искусства? Она гораздо менее близка к счастью, чем Франция, против которой она боролась с видимостью успеха. Она гораздо менее счастлива, чем Италия, где у людей находится время для смеха и аплодисментов Россини. Запомните, что три четверти выдающихся людей любого рода выходит из класса бедняков, не имеющих в Англии ни досуга, чтобы читать, ни денег для покупки книг.

Предположим, что в современной Англии родился смелый гений; вместо того чтобы стремиться стать Шекспиром, он станет, если это будет ему по силам, лордом Эрскином[3] или умрет с голоду на большой дороге.

7. Письмо г. Дюбуа, издателю газеты „Globe"

Париж, 3 ноября [1824 г.]

Милостивый государь,

Хвалы, которыми вы удостоили меня в № 24 «Globe»[4], очень преувеличены, что, пожалуй, не делает их неприятными для самолюбия автора. Мне особенно нравится в них то, что я их не домогался, и наше ремесло литераторов, милостивый государь, было бы менее опошлено, если бы все поступали, как вы и я. Несомненно, среди префектов, среди полковников имеются люди, которые ведут себя так же, как гг. Ансло, Лакретель[5] и другие, но их не знают, а низменные поступки литераторов — у всех на виду.

Все годы я жил в Италии[6], вот что в свое время заставило меня взять имя де Стендаль. Вы видите, какое обхождение приходится претерпевать

---

[1] В 1818 году войска разогнали голодный поход рабочих Манчестера, объявленных мятежниками; в 1819 году войска еще более жестоко расправились с участниками грандиозного митинга в Манчестере.

[2] См. замечательное произведение, озаглавленное «Жизнь епископа Уотсона», написанное им самим. Читая его, видишь, что *в действительности* представляет собою английская аристократия. См. также речи, произнесенные в 1818 г. в Палате общин по вопросу о бедняках. (Прим. Стендаля).

[3] Лорд Эрскин (1750—1823) — известный английский адвокат и либеральный политический деятель.

[4] В № 24 (2 ноября 1824 г.) либеральной философской и литературной газеты "Globe" («Земной шар») было напечатано письмо Байрона, адресованное «барону Стендалю-Бейлю». Редакция газеты утверждала в комментариях к этому письму, что оригинальности и таланта Стендаля хватило бы, чтобы обеспечить успех троим-четверым литераторам.

[5] Ж.-А. Ансло (1794—1854) — бездарный драматург, снискавший милость Бурбонов. Ж.-Ш. Лакретель мл. (1766—1855) — член Французской академии.

[6] Стендаль вернулся из Италии на родину в 1821 году.

г-ну Курье[1]; так как я не обладаю славою этого красноречивого человека, я должен быть более осторожным, чем он. Я был бы обязан вам, милостивый государь, если бы вы, упоминая обо мне, всегда именовали меня *Стендаль*.

По-видимому, «Globe» немного преувеличивает одаренность людей, которые ему нравятся, желая, впрочем, быть беспристрастным. Первая же газета, которая отважится быть такою в течение трех лет[2], будет иметь успех. Публика жаждет правды, многие жители провинции хотят покупать книги и удивлены, когда получают пустячок, выписав иное из сочинений гг. Жуи или Казимира Делавиня[3], об издании которого им объявили в высокопарном тоне. Не знаю, каким образом французская литература выйдет из этого затруднительного положения [причина которого]: *недобросовестность литературных газет*. Одна из провинциальных академий, жертв сего бедствия, должна была бы назначить премию за работу на эту тему.

Бедный Пеллико, первый трагический поэт континента, быть может, через несколько месяцев выйдет из Шпильберга[4]. Ничто не сравнится с нищетой этого великого поэта. Он, вероятно, опубликует десять трагедий, рукописи которых я видел в 1818 году. Следовало бы довести до сведения публики, что «Франческа да Римини» из всего, рожденного итальянским языком, наиболее походит на Расина. Я осмелюсь, милостивый государь, в первую же свободную минуту написать для вашей газеты страничку о Пеллико[5]. Предлагаю вам, проверив, насколько оправданы хвалы, которые Пеллико, как мне кажется, заслужил, опубликовать их. Г-н Угони[6] из Брешии, отличный знаток итальянской литературы, находится в Париже и может дать консультацию о поэтических достоинствах «Франчески» и «Эуфемио да Мессина».

Имею честь быть, милостивый государь, вашим смиреннейшим и покорнейшим слугой.

Стендаль.

8. Из письма Саттону Шарпу[7]

Париж, 15 августа 1830 г.

Ваше письмо, дорогой друг, доставило мне огромнейшую радость. Я не написал ни строки в течение десяти дней; вот оправдание моему запозданию с ответом.

Чтобы вполне насладиться зрелищем этой великой Революции[8], надо слоняться по бульвару. (Кстати, от улицы Шуазель до отеля Сен-Фар, где мы жили несколько дней, приехав в 1826 году из Лондона, нет больше деревьев; их срубили, чтобы соорудить баррикады на мостовой бульвара. А торговцы при этом были очень рады избавиться от них[9].

---

[1] Известный памфлетист Поль-Луи Курье (1772—1825) — республиканец, подвергался преследованиям: в 1821 году его заключили в тюрьму; в 1825 году реакция спровоцировала его убийство.

[2] Газета "Globe" тогда выходила всего второй месяц.

[3] Этьен Жуи (1764—1846) — плодовитый и очень популярный либеральный писатель; Казимир Делавинь (1793—1843) — поэт и драматург-классицист, примыкавший к либералам.

[4] Сильвио Пеллико (1789—1854) — итальянский писатель-патриот, был освобожден из австрийской крепости лишь через шесть лет.

[5] Стендаль вскоре написал небольшую статью о Пеллико, напечатанную в "Globe" № 36, 30 ноября 1824 г.

[6] К. Угони (1784—1855) — итальянский критик, политический эмигрант, с которым Стендаль нередко встречался в Париже.

[7] Саттон Шарп — английский адвокат, друг Стендаля.

[8] Имеется в виду Июльская революция 1830 года.

[9] Как видно, Стендаль, который всегда был рад любоваться деревьями и с каждым годом все более недолюбливал всевозможных буржуазных дельцов, заподозрил владельцев магазинов в ненависти к деревьям — ведь они мешают прохожим разглядывать вывески и витрины!

Не научились ли вы в Англии пересаживать деревья, у которых стволы толщиной с ляжку? Если вы встретите человека, который действительно в курсе дела, возьмите у него точные указания. Дайте нам способ восстановить наш бульвар).

Чем более отдаляешься от *великой недели,* как говорит г. де Лафайет, тем более она кажется удивительной. Такое же впечатление производят колоссальные статуи и Монблан, который более величествен, когда видишь его, находясь в двадцати лье от Женевы, чем когда глядишь на него, стоя у подножья.

Все, что газеты говорят вам, воздавая честь народу, — правда...

...К сожалению, Мериме в Мадриде; он не видел этого единственного в своем роде зрелища, 28 июля на сто человек без чулок и без курток приходился один хорошо одетый. Чернь проявила героизм и была полна благороднейшего великодушия после битвы.

9. Энциклопедия XIX столетия (1835)[1]

(Набросок заметки)[2]

Сегодня утром меня насмешила эта книга, вернее — объявление о ней, заполнившее все газеты. Ничто так не забавляет меня, как усилия, которые предпринимает общество ультра[3] (то есть знать и свящ [енники]), чтобы попытаться ввести в заблуждение общественное мнение, чтобы написать книги, оглупляющие народ, и чтобы постараться затем убедиться в том, что их читают.

Эй вы, господа, приказывайте вешать писателей, разоряйте издателей и книготорговцев, мешайте пересылать книги по почте — вот благоразумное поведение!..

Эти господа заявляют в своем проспекте, что другие энциклопедии «могут лишь порождать сомнения и укреплять равнодушие к религии...»

Вот хитрецы! Эти господа хотят поручить духовен [ству] привить народам мораль покорности и унижения...

...Книга будет превосходно издана, превознесена до облаков всеми газетами, несомненно куплена министром для библиотек, и если Революция — второй том Июльской революции — не запоздает, эта энциклопедия не будет распродана, и чтобы посмеяться, я приобрету на набережной несколько экземпляров ее по двадцать су.

Каждый из подписчиков получит экземпляр; все газеты шумно оповестят об огромном успехе; если найдется, вопреки всякой вероятности и благоразумию, некий человек отважного ума, он напишет об этой мешанине памфлет, подобный «Новому заговору против промышленников»[4] — не знаю, удобно ли мне ссылаться на эту брошюру. Если и не будет критической брошюры, я готов держать пари, что у «Энциклопедии XIX столетия» читателей будет меньше, чем сотрудников, рекламируемых в объявлении, которое я прочитал сегодня утром в «Дебатах»[5]. Половина этих подписчиков мудро предвидит, что «Энциклопедия XIX столетия» будет иметь такое же влияние, как «Энциклопедия» Дидро и Д'Аламбера...

Бросайте писателей в тюрьму пожизненно... разоряйте книготорговцев и издателей, но не открывайте никогда рта и в особенности остерегайтесь писать...

---

[1] 16 декабря 1835 года. В минуту гнева и раздражения (Прим. Стендаля).

[2] Печатается в сокращенном виде.

[3] Ультрароялистов.

[4] Стендаль имел в виду свой памфлет «О новом заговоре против промышленников» (1825).

[5] Реакционная «Газета дебатов» («Journal des Débats»).

* * *

В 1806 году двадцатитрехлетний Анри Бейль был назначен исполняющим обязанности помощника военного комиссара, в 1808 — военным комиссаром. Будучи военным чиновником, он служил под начальством своего родственника и покровителя Пьера Дарю в различных землях Германии.

Бейль оказался превосходным работником.

Он обогащался жизненным опытом, разглядывая вблизи, — как он писал впоследствии, — «многие колеса... огромной машины» — империи и армии Наполеона.

В 1810 году Бейль получает долгожданное повышение — он уже аудитор Государственного совета, чиновник с весьма значительным окладом. Он пишет завещание, в котором поручает друзьям, в случае его смерти, использовать накопленные им к тому времени деньги для учреждения литературной премии. Он удовлетворен тем, что достиг довольно заметного положения в обществе, и всерьез подумывает о баронском титуле.

Но он чувствует себя чужим среди своих коллег — военных чиновников, среди офицеров наполеоновской армии. Его душа не лежит к делу, которому он служит. В те годы, когда Бонапарт уничтожал республиканский строй и прокладывал себе дорогу к трону, Бейль видел в нем тирана. Через несколько лет, в годы Империи, дисциплинированный и исполнительный военный чиновник Анри Бейль, понимая, что император — выдающийся человек, очень критически относится к бонапартизму как к разновидности деспотизма, к наполеоновскому милитаризму, к наполеоновской военщине[1]. Внутреннее противоречие между поведением Бейля-чиновника и отношением Бейля-мыслителя к окружавшей его действительности нередко порождало у него пессимизм; люди — это «обезьяны, разыгрывающие фарсы»,— с горечью писал Бейль своей сестре.

Такие настроения Бейля отражены в некоторых его письмах и заметках.

В 1812 году Анри Бейль после упорных хлопот добился отправления в армию, вторгшуюся в Россию, с бумагами, которые должен был подписать Наполеон. Бейль объяснил в одном письме, почему он, оказавшись в России, решил пройти вместе с армией ее путь: отказ от этого был бы изменой *бейлизму*. Так назвал он свою программу «нравственного воспитания» и овладения жизненным опытом. Она включала в себя и необходимость учиться у французских философов-материалистов; и требования неустанно расширять свой кругозор, узнавать реальный мир, изощрять свою восприимчивость, чувствительность, умение анализировать свои переживания, обретать радость, счастье; и противопоставление «безумств» мечтателей и смельчаков— трусливому, пошлому «благоразумию».

В Государственном архиве древних актов в Москве среди нескольких тысяч писем и документов, перехваченных в 1812 году у французов казаками и партизанами, хранятся письма Анри Бейля из Москвы и Смоленска.

В 1912 году дирекция русских архивов предоставила французскому обществу ветеранов «La Sabretache»[2] копии с 342 писем и официальных документов, в том числе — с одиннадцати писем А. Бейля к отцу, друзьям, сослуживцам; в 1913 году они были впервые опубликованы в сборнике, изданном обществом ветеранов только для своих членов. Среди них были и два помещаемые в этом номере журнала письма, отправленные Бейлем во время отступления наполеоновской армии из России (ГАДА, разр. XXX, д. № 266).

А. Бейлю было поручено обеспечить отступающую армию провиантом и фуражом. Сопровождаемый большим конвоем, он присоединился к транспорту с ранеными, 16 октября покинул Москву и восемнадцать дней добирался до Смоленска; окруженные партизанами, французы едва устояли. Бейль, довольный тем, что сохранил самообладание, столкнувшись с настоящей опасностью, поспешно набрасывает в Смоленске письма друзьям.

Участие в походе 1812 года обогатило опыт А. Бейля; это и имел он в виду, противопоставляя себя писателям-домоседам. Бейль наблюдал поведение людей в драматических обстоятельствах отступления наполеоновской армии. Сам он не избегал

---

[1] И в дальнейшем, демонстративно противопоставляя Наполеона, замечательного полководца, «необыкновенного человека», ставшего «гением деспотизма», — ничтожным реакционерам-мракобесам, которые восторжествовали после крушения Империи и реставрации монархии Бурбонов, Стендаль не раз враждебно высказывался о бонапартизме. Например, в заметке, напечатанной 1 февраля 1825 года английским «Новым ежемесячным журналом» («New Monthly Magazine»), он так охарактеризовал настроения, неотделимые от «политического credo, именуемого бонапартизмом»: «Для нации — презрение, для деспота — преклонение и любовь в сочетании с чрезмерным влечением к армии», в рядах которой было очень много людей «всегда готовых сражаться ради того, что им обещала возможность пограбить и ради того, что называют славой, но никогда не спрашивавших себя — защищают ли они правое дело».

[2] La sabretache — ташка (плоская сумка у гусар).

опасности, уверенный в том, что она и пробуждает величайшую энергию в свободолюбивых народах, и воспитывает людей сильных духом и глубоко восприимчивых. Эта уверенность характерна для воззрений Стендаля. Впоследствии, говоря о том, что фрески Микеланджело «Страшный суд» напомнили ему о «злосчастном отступлении из России», Стендаль утверждал: такое искусство доставляет наслаждение только сильным духом.

Чем же еще обогатил поход 1812 года жизненный опыт Бейля? Прежде всего — неизгладимым впечатлением, которое на него произвела патриотическая стойкость русского народа. Вспоминая в книге «История живописи в Италии» (1817) о событиях 1812 года, Стендаль писал, что он нашел в деревянных домишках России «патриотизм и настоящее величие». Москву в течение двух суток покинули все жители — даже безногие и роженицы; вот «самое удивительное моральное явление в нашем столетии...»; «подобное событие, думается, невозможно даже во Франции». А при первом же соприкосновении с русскими — отметил Стендаль — поражает также их удивительная физическая сила.

В свете этих высказываний глубоко содержательным оказывается замечание А. Бейля в письме Ф. Фору от 9 ноября: «Морозец — не ниже двух-трех градусов, но так как мы в России, каждому кажется, что он замерз». Бейль видел и понимал, что не ранним началом зимы объясняется гибель армии Наполеона. Она стала разваливаться еще до наступления морозов, превращаясь — о чем свидетельствуют другие письма А. Бейля — в скопище грабителей, торопившихся унести свою добычу. Патриотизму и нравственной силе русского народа армия захватчиков ничего не могла противопоставить. Вот почему в этой армии не было стойкости и по отношению к непривычно трудным условиям, в каких она оказалась поздней осенью и зимой 1812 года.

Размышления Бейля-Стендаля о положении рабочих Манчестера частично отражают его представления об условиях, необходимых для развития литературы и искусства: настоящий их расцвет крайне затруднен там, где «бедный класс» невежествен, так как талантливые люди чаще всего выходят из этого класса. Энергию, творческие силы, — писал Стендаль, — в XIX столетии можно обнаружить только в том общественном классе, который испытывает настоящие лишения.

Письмо Стендаля издателю философской и литературной газеты «Globe» показывает, насколько серьезно относился к литературной критике великий писатель, который сказал о себе: «Я слишком горд, чтобы не любить критику». Именно потому, что он относился к ней серьезно, он был и очень требователен к ней, возмущаясь «кружковщиной» и «кумовством» в литературной среде и настаивая на том, чтобы читателям говорили только правду.

Стендаль выполнял свой долг, защищая передовых писателей, преследуемых реакцией, добиваясь, чтобы во Франции переводили трагедии его друга Пеллико — карбонария, узника Шпильберга, «страдальца», как его назвал Пушкин,— и чтобы таким образом была оказана материальная поддержка Пеллико перед его освобождением.

В проспекте «Энциклопедии XIX столетия» Стендаль увидел доказательство активизации реакции в середине 30-х годов. Набросок заметки об этом проспекте свидетельствует о том, что автор «Люсьена Левена» по-прежнему считал клерикалов и ультрароялистов главными врагами французского народа.

Публикуемые в «Иностранной литературе» впервые на русском языке тексты Стендаля дополняют новыми штрихами облик великого писателя Франции.

Чжоу Ян

За развитие социалистического искусства

Опубликованная недавно статья товарища Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа» — важнейший документ наших дней, касающийся вопросов литературы и искусства; в нем подвергнуты решительной критике ошибочные и вредные взгляды на литературу, указан правильный путь дальнейшего развития социалистической литературы. Этот документ имеет огромное воспитательное значение и служит источником вдохновения как для советских писателей, так и для прогрессивных писателей всего мира.

В последнее время в Китае развернулась борьба против буржуазных правых элементов на всех участках идеологического фронта. С необычайной остротой эта борьба проявилась и в литературе. Буржуазные правые элементы в Китае, так же как и реакционные буржуазные писатели и ревизионисты в некоторых странах, зачеркивали достижения социалистической литературы и искусства, нападали на творческий метод социалистического реализма, на руководящую роль партии в области литературы и искусства. В социалистическом обществе, утверждали они, писатель не имеет свободы творчества, не может писать правду, не может вскрывать темные стороны жизни, а может лишь «петь славословия» и создавать произведения, приукрашивающие действительность. Следовательно, продолжали они, социалистическая литература фальшива и не имеет художественной ценности. Совершенно очевидно, что острие таких выступлений направлено не столько против самой литературы и искусства, сколько против социалистического строя и социалистической культуры в целом. Это уже не новый прием.

Решения XX съезда Коммунистической партии Советского Союза, критика культа Сталина, венгерские события, курс «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ», выдвинутый в Китае, — все это среди части буржуазной интеллигенции и нестойких элементов внутри коммунистических партий породило заблуждения и неверные представления, будто бы отныне мы можем отказаться от борьбы на идеологическом фронте и капитулировать перед буржуазной идеологией. Эти люди стали высказывать абсурдные взгляды, направленные против марксизма, против социалистической культуры. Они говорили, что в течение последних двадцати лет советская литература находится в «состоянии застоя» и что социалистический реализм ознаменовал собой ее «перерождение». Эти взгляды и в нашей стране нашли подпевал, утверждавших, что выступления Мао Цзэ-дуна по вопросам литературы и искусства в Яньани уже устарели, а принцип социалистического реализма надо отбросить или пересмотреть. Эти абсурдные теории сейчас полностью разгромлены. Подавляющее большинство писателей и работников искусства Китая твердо убеждено в том, что советская литература — славный передовой отряд мировой пролетарской литературы, а социалистический реализм—новое направление в художественном развитии человечества. Советская литература в процессе своего развития добилась значительных успехов; она, конечно, тоже прошла через ошибки и поражения, и этот ее как положительный, так и отрицательный опыт заслуживает нашего пристального изучения.

Конечно, конкретный путь развития социалистической литературы в различных странах имеет свои отличительные особенности. Но опыт советской литературы — самый богатый и всесторонний; направление советской литературы — это направление развития социалистической литературы во всех странах. Пытаться под флагом борьбы с догматизмом и «культом личности» отрицать и принижать огромные достижения советской литературы, пытаться уничтожить социалистический реализм как творческий метод литературы и искусства — это попытка с негодными средствами. Человечество вступило в эпоху социализма. Отказаться от социалистического направления в литературе этой новой эпохи — значит отказаться от реализма. Мы признаем социалистический реализм лучшим творческим методом и решительно его пропаган-

дируем. Это реализм, открывающий перед человечеством светлые перспективы. «Мать» Горького, «Как закалялась сталь» Островского, «Разгром» и «Молодая гвардия» Фадеева, «Тихий Дон» и «Поднятая целина» Шолохова и другие произведения полностью раскрыли богатства, заложенные в творческом методе социалистического реализма; это книги, правдиво отразившие эпоху, насыщенные высокой идейностью и подлинной художественностью.

Новая китайская литература и искусство со времени «движения 4 мая» 1919 года и в особенности после «Выступлений по вопросам литературы и искусства в Яньани» развивались по социалистическому пути. Советская литература всегда была нашим учителем и другом. Конечно, мы далеки от утверждения, что сегодня достижения нашей литературы уже вполне удовлетворительны. Если мы говорим, что советская литература еще не полностью отвечает нуждам и требованиям народа, то в еще большей степени это относится к положению в литературе нашей страны.

Нужно учитывать, что социалистическая литература еще сравнительно молода. Советской литературе всего пятьдесят с небольшим лет, если считать с 1906 года, когда Горький написал «Мать», а китайской — со времени «движения 4 мая» — неполных сорок. А если заглянуть еще дальше в прошлое — на немецкую социалистическую поэзию, существовавшую еще при жизни Маркса, и на созданный во Франции «Интернационал», то и им также всего лишь около ста лет. Стоит лишь сравнить эти сроки с двухтысячелетней историей литературы феодализма и четырьмя-пятью веками литературы буржуазной, чтобы еще раз убедиться в молодости социалистической литературы. Разве может то, что существует лишь десятки лет, во всех отношениях сразу превзойти то, что существует сотни и тысячи лет?

Но дело не только в этом. Гораздо важнее то обстоятельство, что социалистическая литература — это невиданная доселе литература нового типа, отличная от любой литературы прошлого. В ней все новое: и форма, и содержание, и темы, и герои. Литература прошлого исключительно редко избирала своей темой труд и борьбу рабочих и крестьян. Настоящие труженики, обездоленные, люди в лаптях, в литературных произведениях прошлого не занимали подобающего им места. Сейчас наша литература сделала трудящихся своей главной темой. Это литература не только о них, но и для них. Великих писателей прошлого вдохновляли благородные общественные идеи, духовно они были глубоко связаны с народом. Однако в истории еще не было таких писателей, которые так открыто и сознательно, как наши писатели, были бы связаны в общей классовой борьбе с рабочим классом, с трудящимися, с политикой своей страны. Для нас великие идеи коммунизма тождественны с революционной действительностью. Даже в эпоху подъема буржуазии писатели-реалисты не могли не занять критическую позицию по отношению к этому новому эксплуататорскому классу. А наши писатели искренне, с энтузиазмом стали утверждать и воспевать рабочий класс. Люди прошлого, жившие в эксплуататорском обществе, в своей идеологии, психологии, привычках, характерах и взаимоотношениях неизбежно несли печать индивидуализма. Мы должны теперь писать о новых взаимоотношениях между людьми, выросшими на социалистической почве, об отношениях взаимной любви и дружбы, писать о новых людях, о новых характерах, постепенно сбрасывающих с себя печать старого общества. Самой распространенной темой выдающихся литературных произведений XIX века было столкновение личности с обществом, борьба одиночек и анархический протест; наша литература должна показывать ясные цели борьбы и борцов, тесно связанных с массами. Именно социалистическая литература, как указывает товарищ Хрущев, должна быть орудием коммунистического воспитания народа. Это самая благородная задача нашей литературы.

Буржуазные реакционные писатели и ревизионисты всегда противопоставляют воспитательную роль литературного произведения его правдивости, они ставят знак равенства между правдой и мраком и выводят из этого до смешного абсурдную формулу, что якобы писать правду — это вскрывать мрачные стороны жизни и что вскрывать мрачные стороны жизни — это и значит писать правду. Эта формула, конечно, совершенно неприемлема для социалистической литературы, так как ведет к искажению истинной картины жизни социалистического общества.

В нашем социалистическом обществе прогрессивные явления составляют главное; недостатки, трудности и мрачные явления существуют, но являются второстепенными. В столкновении с силами прогресса они постепенно преодолеваются и уничтожаются. Социалистическая литература должна всесторонне отражать правду жизни, она не может разделять светлые и мрачные стороны жизни и тем более не может считать задачей литературы так называемое вскрытие мрачных сторон жизни. Она должна ярко воспевать свет эпохи социализма, создавать славные образы людей высокой коммунистической морали — это является ее главной задачей; в то же время она должна смело вскрывать и критиковать все отрицательное и отсталое.

Трудность состоит в том, что в обществе светлые и мрачные стороны явлений не столь легко различимы, как в природе. Открыто враждебное и реакционное еще сравнительно легко определить; однако не так просто разобраться в положительном и отрицательном, правильном и неправильном внутри народа. Главное здесь — вопрос платформы. То, что в представлении большинства народа является светлым, — выглядит мрачным в глазах некоторых интел-

лигентов, и наоборот, то, что этим людям кажется светлым, вовсе не является таковым по мнению масс. Людям с мрачной душой все представляется мрачным, поэтому мрак и является для них единственной правдой. Следовательно, мы требуем, чтобы писатель, вскрывая отрицательные явления жизни, во-первых, умел отделять правильное от неправильного, светлое от мрачного; во-вторых, не выпячивал мрачные стороны, не смаковал их: ведь мы вскрываем мрачные стороны жизни не для того, чтобы смаковать их, а чтобы преодолевать недостатки. В наших произведениях могут и должны отражаться трудности и противоречия, недостатки и ошибки, поражения и жертвы, но не для того, чтобы заразить людей разочарованием и отчаянием, а для того, чтобы вдохнуть в них решимость и уверенность. Для этого прежде всего необходима твердая вера писателя в силы народа, его способность видеть явления действительности глазами многомиллионных масс и судить эти явления. Наша литература должна всегда нести в себе оптимизм.

Реакционные буржуазные элементы кричат о том, что в социалистическом государстве не существует свободы творчества. Они придерживаются того мнения, что курс партии на служение литературы трудовому народу ограничивает свободу писателя в выборе материала, сужает сферу этих материалов, а требование подчинения литературы политике, овладения писателями мировоззрением марксизма-ленинизма связывает их мысли, отравляет им вкус к художественному творчеству. Совершенно ясно, что цель этих буржуазных элементов — борьба с партийным руководством в области литературы и искусства, попытка уничтожить руководящую роль и влияние партии на литературу и искусство для того, чтобы вновь свернуть на протоптанную буржуазную дорожку.

Что такое свобода творчества? В классовом обществе не существует какой-то абсолютной внеклассовой свободы. Есть лишь два пути: первый — это самоперевоспитание, целью которого является соответствие субъективных взглядов исторической необходимости, то есть активное, сознательное служение революции, в ходе которого и обретается свобода, и второй — цепляние за прогнившую буржуазную идеологию, воспевание узкого личного мирка и пошловатых переживаний. В этом случае писатель не сможет шагать в ногу со своим народом и эпохой, и ему никогда не удастся ощутить свободу творчества. А требования буржуазных писателей как раз и сводятся к свободе пропаганды и проповеди буржуазной идеологии. В стране социализма такая «свобода» недопустима.

Для писателей и художников, тесно связанных с народом, не существует вопроса свободы или несвободы. Ленин говорил, что социалистическая литература — это литература по-настоящему свободная, так как она стала независимой от капитала и личных интересов. Литература — это часть революционного дела, оружие народа в классовой борьбе. Мысли и надежды народа — это мысли и надежды писателей, и требование служения литературы и искусства революции и политике является для них естественным и очевидным. Товарищ Хрущев говорит об этом следующим образом: «...правдивое освещение жизни с позиций коммунистической партийности является потребностью его (то есть художника.— *Ред.*)) души». Писатели не только не чувствуют, что служение интересам рабочих и крестьян, интересам трудящихся ограничивает их творческую свободу или сужает тематику их творчества, но, наоборот, находят в этом безграничное поле для творческой деятельности, ибо отражение жизни и борьбы трудящихся знаменует собой освобождение литературы от служения узкому кругу общественной верхушки, обращение ее к неисчерпаемому источнику народной жизни. Это то, о чем мечтали и к чему стремились прогрессивные писатели прошлого, то, что смогло осуществиться лишь в нашем социалистическом обществе.

Конечно, писатель и художник должны иметь соответствующую творческую обстановку, такую обстановку, в которой они могли бы радостно и свободно создавать свои произведения. Грубая критика и административное вмешательство в творческий процесс вредны. Нам нужно здоровое общественное мнение и товарищеская помощь писателям.

Курс «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ», рассчитанный на развитие марксистской идеологии и социалистической культуры в ходе свободного соревнования и свободных дискуссий, как раз и гарантирует полную свободу писателя и художника в выборе материала, художественного стиля и выразительных средств. Там, где могут цвести ароматные цветы, трудно предотвратить рост ядовитых трав. Только в результате свободного соревнования ароматные цветы будут расти и крепнуть, а ядовитые травы будут обнаружены и вырваны.

Курс «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ» создает благоприятный климат для свободного расцвета всех цветов. Для того, чтобы эти цветы литературы и искусства буйно зацвели и соперничали в своей красоте, нужно, чтобы их корни глубоко уходили в почву. Корни революционной литературы и искусства должны уходить в толщу широких народных масс. Революционный писатель должен делить труд, радость и горе с рабочими и крестьянскими массами, только тогда он сольется с ними воедино и станет настоящим писателем рабочего класса. Только тесная связь писателя и художника с жизнью трудящихся может дать им неиссякаемый источник творческого вдохновения, дать им возможность создавать произведения, правдиво отражающие жизнь народа и любимые народом. Именно поэтому товарищ Хрущев и подчеркивает необходимость тесной связи литературы и искусства с

жизнью народа, именно поэтому товарищ Мао Цзэ-дун призывал писателей и художников всеми своими мыслями и чувствами полностью и безоговорочно слиться с массами рабочих, крестьян и солдат. Мао Цзэ-дун говорил: «Революционный писатель или художник в Китае, писатель или художник, подающий надежды, должен идти в массы... в самое горнило борьбы... для того, чтобы наблюдать, познавать, изучать и анализировать людей, общество, народные массы, все живые формы жизни и борьбы, весь исходный материал для литературно-художественного творчества. Только после этого можно переходить к процессу творчества».

Длительное сплочение писателя с рабочими и крестьянскими массами в их труде и борьбе является фундаментом социалистического реализма, единственным правильным путем развития социалистической литературы и искусства. Вне этого пути не может быть ни писателей и художников, выражающих думы рабочего класса, ни социалистической литературы и искусства.

Р. Хлодовский

Альберто Моравиа

Сейчас это, пожалуй, самый известный итальянский писатель.

После второй мировой войны Альберто Моравиа приобрел весьма широкую популярность не только в Италии, но и далеко за ее пределами. Произведения Моравиа переведены почти на все языки. О нем много говорят и пишут — и в Западной Европе, и в США, и в странах народной демократии.

Широкая популярность писателя в странах Западной Европы, и особенно в Америке, как известно, далеко не всегда достаточно надежное свидетельство таланта.

Вряд ли это можно сказать об Альберто Моравиа.

Альберто Моравиа не только один из самых известных, но и один из самых одаренных писателей современной Италии.

1

Первое крупное произведение Альберто Моравиа вышло в свет в мае 1929 года. Это был роман «Равнодушные».

Настоящий писатель, даже если он не революционер, всегда в той или иной мере новатор. Первый роман Альберто Моравиа был новым словом в тогдашней итальянской прозе.

В то время в литературных кругах Италии никто уже серьезно не верил в возможность возрождения итальянского романа как жанра высокохудожественной литературы. В двадцатые годы книжные магазины Италии были наводнены одними лишь детективами и «желтыми обложками» иногда весьма утонченной порнографии. Так называемые серьезные писатели Италии предавали роман анафеме. «Хватит, господа, — говорил Джованни Бойне, теоретик эстетской группы «Ля воче»,— хватит романов... Бросим литературу и займемся лирикой».

Несмотря на все старания Муссолини подкупить итальянских писателей крупными поощрительными литературными премиями, итальянскому фашизму так и не удалось создать свою собственную «идейную» и апологетическую литературу. Даже прозаики с билетом фашистской партии в кармане — такие, как Баккелини, Чекки, Бальдини, Кардарелли, — предпочли, подобно итальянским поэтам «герметикам», наглухо замкнуться в башне из слоновой кости и сознательно закрывали глаза на окружающую их действительность. Они занялись филигранной отделкой доступных лишь для избранных «лирических фрагментов» и изящных безделушек так называемой «художественной прозы». Властитель дум итальянской «свободомыслящей» интеллигенции Бенедетто Кроче решительно и безапелляционно объявлял всякое идейно насыщенное художественное произведение, начиная от комедий Аристофана и до романа Мандзони, риторикой, «литературой» и «не поэзией». То, что всякий роман, то есть большое эпико-драматическое полотно — «литература» и уже по самому своему жанру «не поэзия», было признано итальянской критикой чуть ли не аксиомой. Даже такой крупный романист, как Коррадо Альваро, осуждал в 1935 году роман только потому, что он, «для того чтобы держаться, нуждается в композиции, сюжете — арсенале, в известном смысле, условном».

В «Равнодушных» Альберто Моравиа было все то, что запрещала эстетская теория «лирической прозы». Это был настоящий, почти традиционный по своей форме роман. В нем были и острый сюжет, и эпическая объективность, и подчеркнуто драматическая композиция, которой, кстати сказать, молодой итальянский писатель был во многом обязан автору «Идиота».

Многое в области эстетики разделяет нас с Альберто Моравиа. О влиянии на его творчество декадентской литературы придется говорить ниже. В первом романе Моравиа еще не было того художественного мастерства, которое отличает его новые вещи «Презрение» или «Чочару». Но все-таки значение «Равнодушных» для современной итальянской прозы трудно переоценить. Альберто Моравиа вернул итальянской литературе один из основных, но до того мало разработанных в ней жанров: он восстановил в правах итальянский реалистический роман.

2

В 1929 году Альберто Моравиа было всего двадцать два года. Он поднялся до уровня большой европейской литературы как-то сразу, одним мощным рывком, вдохнув в свою первую книгу всю силу гнева и отчаяния лучшей части тогдашнего, исковерканного фашизмом, молодого поколения Италии.

Юному Моравиа не всегда еще хватало жизненного и литературного опыта. Его второй роман «Ложные претензии» (1935) был явной неудачей. Но вышедший в том же 1935 году сборник рассказов «Прекрасная жизнь» содержал превосходные страницы. Не обращая внимания на насмешки эстетствующих критиков, молодой писатель продолжал идти своим путем.

Итальянская критика, как правило, делала вид, что не замечает этого. К концу тридцатых годов о Моравиа стали говорить, как о случайном авторе, выплеснувшем всего себя в свой первый роман.

Разгул расистской кампании 1939—1943 годов изгнал Моравиа из итальянской литературы. У него была отнята возможность печататься даже в тех газетах и журналах, постоянным сотрудником которых он до этого являлся. Критика постаралась о нем забыть. А когда в 1941 году одно из издательств опубликовало сатирический роман Моравиа «Маскарад», рецензенты поспешили объявить его вульгарным детективом: гротескная фигура диктатора слишком уж напоминала об авантюрах Муссолини...

Только в 1944 году, сразу же после крушения фашистского режима в Италии, итальянские читатели смогли познакомиться со сборником «Эпидемия» и с новым романом Альберто Моравиа «Агостино».

Это были интересные книги.

Говорить об Альберто Моравиа только как об авторе романа «Равнодушные» стало уже невозможным.

Роман «Римлянка» (1947) принес Альберто Моравиа мировую славу.

3

Альберто Моравиа — один из немногих итальянских писателей, который остался чужд и цветистой риторике Д'Аннунцио и влиянию школы веристов. У него не так легко отыскать лишнюю подробность, и в лучших произведениях Моравиа, как правило, отсутствуют описания ради описания. Он никогда не кокетничал диалектизмами. Их нет ни в «Чочаре», ни даже в «Римских рассказах», где, кажется, впервые у Моравиа появилось городское арго.

Итальянская критика склонна смотреть на Альберто Моравиа как на писателя, творчество которого сформировалось в стороне от путей развития современной итальянской литературы. Сам писатель тоже, повидимому, разделяет это мнение. Говоря о тех итальянских писателях, примеру которых он следует, Моравиа чаще всего называет имена Боккаччо и Мандзони.

Из европейских писателей XIX века наибольшее влияние на Моравиа оказал Достоевский.

Вульгарное эстетство и формализм, господствовавшие в итальянской литературе двадцатых и тридцатых годов XX века, действительно не оказали почти никакого влияния на молодого Моравиа. Повальное увлечение сюрреализмом также только отчасти наложило свой отпечаток на отдельные рассказы из сборников «Сны лентяя» и «Эпидемия». Моравиа всегда считал, что в литературе «что» важнее, чем «как», и настаивал на том, что большая литература должна ставить насущные моральные проблемы. Это выгодно отличает его от очень многих западноевропейских писателей XX века.

Тем не менее было бы совершенно неправильно полностью отгораживать Моравиа от всей современной ему литературы, в том числе и итальянской. Точно так же, как неверно было бы отрицать воздействие на его творчество и декадентской литературы и всей той современной буржуазной культуры, в атмосфере которой прошло его литературное воспитание. На некоторые рассказы из «Эпидемии», бесспорно, повлиял Кафка. В романах «Агостино» и «Неповиновение» сильно чувствуется влияние Фрейда. А роман «Конформист», справедливо вызвавший тревогу у прогрессивных критиков, многими своими чертами напоминал худшие стороны романов Сартра.

Современная итальянская буржуазная критика склонна преувеличивать декадентские мотивы в творчестве Моравиа и даже выдвигать их на первый план. Еще недавно из всего творчества Альберто Моравиа внимание буржуазных критиков больше всего привлекал его явно неудачный, написанный под сильным влиянием плохо усвоенного Достоевского роман «Ложные претензии». Моравиа исключил этот роман из публикуемого сейчас полного собрания своих сочинений. Но на отношение итальянской буржуазной критики к творчеству Моравиа это никак не повлияло. Связанный с клерикальными кругами итальянский литературный журнал «Фиера леттерариа» по-прежнему рассматривает произведения Альберто Моравиа только в их связи с психоанализом Фрейда. Другие критики тянут Альберто Моравиа к экзистенциализму. В недавно вышедшей работе Инес Скарамуччи «Роман нашего времени (Философия кризиса послевоенного романа)» большая глава, посвященная анализу творчества Альберто Моравиа, так и озаглавлена: «Моравиа между экзистенциализмом и фрейдизмом». И. Скарамуччи видит в Альберто Моравиа чуть ли не предтечу Сартра и объявляет роман «Равнодушные»... «экзистенциалистским романом avant lettre».

Декадентские мотивы не являются в произведениях Альберто Моравиа ни господствующими, ни определяющими основную

линию развития его творчества. Это то, с чем Моравиа борется и что он в последнее время начинает успешно преодолевать. Эта борьба далеко еще не закончена, но Моравиа только что исполнилось пятьдесят лет. Он сейчас в расцвете творческих сил и попрежнему все время ищет новые пути.

О завтрашнем Моравиа гадать бесполезно и незачем. Однако последние произведения Моравиа — и роман «Презрение», и «Римские рассказы», и «Чочара» — дают основания несколько по-иному взглянуть на некоторые стороны его творчества, чем это до сих пор делалось в западноевропейской критике, а вместе с тем и по-новому определить общественное и литературное значение произведений этого крупного современного итальянского писателя.

4

Как у каждого большого писателя, у Альберто Моравиа есть свой мир, свои герои и свой круг проблем. До сих пор мир романов Моравиа был весьма неширок. Для такого таланта он, пожалуй, был даже слишком узок. Крупные общественные и политические события, которыми жила современная Италия, оставались почти всегда за пределами этого мира. Его обитатели не заметили ни Сопротивления, ни борьбы за мир, ни социальных конфликтов послевоенного периода. Они не занимали помещичьи земли, не захватывали фабрики, не участвовали в демонстрациях и не выступали на митингах. Герои Моравиа как бы не жили, а только существовали. Главная героиня романа «Римлянка» прямо говорила, что ей нет никакого дела до политики. О том, что действие этого романа происходит в годы нападения Италии на Абиссинию, читатель может едва догадаться по мимолетным намекам и отдельным деталям. Тем не менее до недавнего времени «Римлянка» была едва ли не самым характерным произведением для Моравиа-романиста. На этом романе стоит остановиться.

Книга чем-то несколько напоминает «Молль Флендерс» Дефо. Это тоже история проститутки, рассказанная ею самой. рассказанная очень просто, иногда даже как-то трогательно наивно, и в то же время устрашающе деловито. Это история о том, как бедная, простая и необычайно красивая девушка Адриана не только превратилась в публичную женщину, но и стала относиться к проституции, как к самой обычной профессии, способной обеспечить ей что-то вроде «приличного существования».

В юности у Адрианы были свои мечты, простые, несколько примитивные, но по-человечески понятные. Ей хотелось жить просто «нормальной жизнью», жить «так, как все». Она мечтала о хорошем муже и чистом, уютном доме. Но жизнь и люди, которым верила Адриана, обманули ее. Первые жизненные уроки научили ее, что «жить, как все», совсем не значит жить так, как она мечтала. Однако это не озлобило Адриану и не вызвало у нее чувства протеста против той действительности, которая убила ее лучшие надежды. Она попыталась приноровиться к этой действительности и жить, никого не обвиняя. Жизнь кажется ей непереносимой, но в то же время она считает, «что никто ни в чем не виноват и что все произошло так, как и должно произойти».

Образ главной героини романа «Римлянка» сложен и весьма противоречив. Польский писатель Мариан Брандыс в книге «Итальянские встречи» рассказывает, что в беседе с ним работница римской табачной фабрики Антония очень резко отозвалась об этом романе Моравиа: у нее создалось впечатление, что Альберто Моравиа сознательно обрек свою героиню на гибель и отрезал ей все пути для возвращения к нормальной жизни.

Работница римской табачной фабрики и явно разделяющий ее мнение Мариан Брандыс во многом правы. Но они увидели лишь одну сторону романа Моравиа. От подобной односторонней и слишком прямолинейной оценки и «Римлянки» и всего творчества Альберто Моравиа очень хотелось бы предостеречь.

«Римлянка» меньше всего напоминает те социально-филантропические романы о проститутках и проституции, которые некогда наводняли литературу западноевропейского натурализма. В своем романе Моравиа отнюдь не обличает проституцию как одну из язв современного буржуазного общества, подлежащих, так сказать, терапевтическому лечению.

Тема «Римлянки» шире.

Трагичность судьбы Адрианы, с точки зрения Моравиа, состоит не в том, что она проститутка, а в том, что она не может подняться над тем обществом, для которого нормальная и нравственная жизнь ничем не отличается от обычной проституции.

В изображении Моравиа — Адриана нормальный, почти что «естественный» человек. Альберто Моравиа, писатель весьма далекий от идей марксизма, еще склонен питать некоторые, так сказать, просветительские иллюзии. Но буржуазная действительность XX века очень обкорнала идеалистические представления о «естественном» и «общечеловеческом». В представлении Моравиа естественно-человеческое ограничивается областью самых простых чувств и ощущений. Главная героиня романа «Римлянка», бесспорно, и искреннее и нравственно чище покупающих ее буржуа. Но, живя только в сфере хотя и искренних, но примитивных чувств, он в своем стремлении к «нормальной жизни» не выходит за пределы чувственности. Одно это делает ее жизнь и не естественной и не нормальной. И Альберто Моравиа, как бы споря с самим собой, очень хорошо показывает это.

Альберто Моравиа показывает также и другое. Адриана живет не на необитаемом

острове и не в чисто условной обстановке сюрреалистического рассказа. Она живет по законам — хотя и не «естественным», но вполне реальным — того мира, в который ей хотелось бы войти. Неправильно видеть в Адриане только девушку из народа. В «Римлянке» еще нет подлинного народа Италии. Героиня наделена писателем некоторыми хорошими и глубоко человечными качествами, но в то же время она уже отравлена ядом мещанской психологии, и чем дальше, тем глубже этот яд проникает в ее сознание. Именно поэтому возвращение к подлинно нормальной жизни становится для Адрианы принципиально невозможным. В этом заложено глубокое осуждение не простой римской девушки, ставшей проституткой, а той действительности, к которой стремится приспособиться Адриана и по моральным законам которой она живет. Отсюда очень двойственное отношение писателя — а также и читателя — к главной героине романа «Римлянка». Альберто Моравиа, подобно Адриане, тоже иногда склонен думать, что в окружающей его действительности все непереносимо. Но вряд ли можно сказать, что ему свойственна философия непротивления, всепрощения и приспособленчества, исповедуемая его героиней.

В «Римлянке» есть один очень характерный для Моравиа-романиста персонаж — буржуазный интеллигент Джакомо. Это бунтарь. Джакомо восстает против того мира, который засасывает Адриану. «Он был воспитан, — говорится о Джакомо в «Римлянке», — культурен, умен, вежлив, серьезен. Но он презирал свой ум и свою культуру только потому, что подозревал, что он обязан всем этим той среде и семье, в которой родился и вырос». На протяжении всего романа Джакомо не устает утверждать, что он презирает и ненавидит людей. «Однако, — как замечает о Джакомо Адриана, — несмотря на всю его широковещательную ненависть к людям, в нем, по странному противоречию, было заложено непреодолимое стремление трудиться во имя того, что он считал благом людей». Это стремление приводит Джакомо в антифашистскую организацию.

Однако Джакомо отнюдь не борец. Если Адриана живет только чувствами, то Джакомо живет в сфере абстрактных, не переходящих в действие идей. Поэтому, когда он попадает в фашистский застенок, ему начинает казаться, что все, во имя чего он готов был бороться, — «только слова», и что страдать ради одного звучания слов так же нелепо, как идти на смерть ради скрипа телеги. Джакомо совершает предательство. А потом кончает самоубийством.

Конечно, Джакомо не типичный итальянский антифашист. Надо думать, Моравиа и не ставил своей задачей показать в «Римлянке» активного борца против фашизма, точно так же, как он не ставил своей задачей нарисовать в этом романе типический характер итальянской девушки из народа; Джакомо не вызывает у писателя даже слабого чувства симпатии. То глубокое презрение к лицемерию буржуазного общества, которым пронизаны и «Римлянка» и все творчество Альберто Моравиа, не имеет ничего общего с анархическим бунтарством Джакомо. Нигилизм и бунтарство Джакомо в изображении Моравиа превращаются в обратную сторону приспособленчества и примирения Адрианы. Это просто отвратительная изнанка того же самого явления. Мир, против которого бунтовал Джакомо, убивает его, потому что в конечном итоге оказывается, что этот «антифашист» не может противопоставить ненавистной ему действительности ничего, кроме мещанского равнодушия и эгоизма.

В чем же автор «Римлянки» видит выход?

Этот роман заканчивается словами надежды. Адриана надеется, что ребенок, который у нее родится, будет жить лучше и счастливее, чем она. Но читателю «Римлянки» было трудно представить, с чем связывает Моравиа эту надежду.

В «Римлянке» не было ни одного положительного героя.

5

Произведения Альберто Моравиа, включая и последний роман «Чочара», очень мало напоминают уже знакомые советскому читателю произведения таких современных прогрессивных итальянских писателей, как Васко Пратолини, Сильвия Маджи Бонфанти и Рената Вигано. Когда читаешь книги Альберто Моравиа, то невольно возникает впечатление, что этому талантливому писателю очень недостает веры в будущее, что он явно переоценивает силу зла и поэтому порой склоняется к слишком пессимистическим выводам.

Однако было бы неправильно полностью отделять творчество автора «Римлянки», «Презрения», «Римских рассказов» и «Чочары» ото всей весьма неоднородной по своему характеру передовой литературы современной Италии, а тем более механически противопоставлять Альберто Моравиа Васко Пратолини или Ренату Вигано.

Альберто Моравиа — писатель чуждого нам мировоззрения. Ему свойственны не только некоторые буржуазные предрассудки, но также и чисто буржуазные предубеждения. Порой это очень сказывается на выступлениях Моравиа как по общественно-политическим вопросам, так и по вопросам, непосредственно связанным с литературой и эстетикой. Можно вспомнить хотя бы сравнительно недавнее его выступление на страницах журнала «Темпо презенте».

Вопросы, на которые пришлось отвечать Моравиа, были поставлены редакцией «Темпо презенте» крайне нелепо, чтобы не сказать провокационно. Не надо быть марксистом и коммунистом, чтобы понять: когда силоновский журнал валит в одну кучу реализм, «неореализм» и социалистический реализм, а затем связывает оценку такого

«реализма» с пресловутой «оттепелью» и событиями в Венгрии — это уже не просто литературоведческая наивность.

Как всякий писатель, Альберто Моравиа имеет свою субъективную точку зрения на литературу и ее историю; иногда она очень существенно отличается от точки зрения литературоведов и критиков. Это естественно. Однако нельзя не заметить, что в данном случае Альберто Моравиа оказался на редкость мало оригинальным. Впрочем, может быть, это-то и характернее всего для его предубеждений и предрассудков. О социалистическом реализме Моравиа говорит как бы с чужого голоса.

С выступлением Альберто Моравиа на страницах журнала «Темпо презенте» легко было бы спорить. Но это увело бы нас слишком далеко от темы. Сейчас нас интересуют не столько малооригинальные высказывания Моравиа по вопросам социалистического реализма, сколько его гораздо более интересное творчество. Творчество Альберто Моравиа это тоже спор: спор писателя с самим собой.

Отделять Моравин-мыслителя от Моравиа-художника, конечно, нельзя. Но вряд ли возможно и слишком прямолинейно отождествлять их друг с другом. Альберто Моравиа очень противоречивый художник. В его недавно изданном и существенно переработанном сборнике «Эпидемия» есть рассказ, который называется «Мамамель и Вузитель». Это очень странный рассказ. Моравиа высмеивает в нем тех твердолобых консерваторов, которые пытаются воскресить уже давно похороненное прошлое; но он смеется здесь также и над теми людьми, которые верят в завтрашний день и стремятся жить будущим своей страны. По мнению автора рассказа «Мамамель и Вузитель», бороться следует только за то, чтобы хорошо жилось сегодня; надо жить, не оглядываясь на мертвецов и не думая о потомках.

Мысль по меньшей мере парадоксальная...

Однако тот же самый Моравиа издевается над живущими одним лишь сегодняшним днем мещанами, для которых слово «мечта» — пустой звук. Тот же самый Моравиа показывает, что отказ от борьбы за лучшее будущее неизбежно приведет человечество к той самой катастрофе, которую уже сейчас готовят ему милитаристы и империализм. В том же самом сборнике «Эпидемия» рядом с рассказом «Мамамель и Вузитель» опубликованы антимилитаристский гротеск «Вечная война» и уже знакомый советскому читателю рассказ «Счастье в витрине».

Мировоззрение Альберто Моравиа, по-видимому, еще очень мешает ему правильно разобраться в том, что он, как художник, видит в общественной действительности современной Италии. В журнале «Темпо презенте», говоря о мыслителях, оказавших наиболее революционное влияние на наше сегодняшнее представление о мире и человеке, Альберто Моравиа назвал имена Карла Маркса и... Зигмунда Фрейда. Для Моравиа они как бы равновелики. Но в то же время в последние годы в своем творчестве Моравиа все дальше и дальше отходит от психоанализа и все последовательнее анализирует психологию своих героев в связи с условиями их общественного существования.

Из этого, конечно, отнюдь не следует, что Моравиа хотя бы в какой-то мере становится марксистом.

Альберто Моравиа принадлежит к тем зарубежным писателям наших дней, творчество которых нередко оказывается гораздо глубже и содержательнее их общественно-политических высказываний и деклараций. Наряду с Моравиа — скептиком и создателем фантастических, а порой и фантастически-надуманных аллегорий из сборника «Эпидемия» — существует еще и гораздо более значительный Моравиа — гуманист и реалист *Этот* Моравиа принадлежит передовой литературе.

В романе «Римлянка» нет положительного героя. Но Альберто Моравиа, несомненно, обладает — хотя и не вполне им самим ясно осознанными — гуманистическими идеалами. Именно поэтому за внешне спокойным и бесстрастным изложением драматических событий этого романа все время ощущается глубокая скорбь писателя о поруганной женской красоте и его негодование против того мира, который даже благородную любовь к людям превращает в слепое и бесцельное человеконенавистничество.

Альберто Моравиа не разделяет с лучшими прогрессивными писателями их веры и политических убеждений, но, в сущности, он ненавидит то же, что и они. Сила художника Моравиа — это прежде всего сила ненависти и отрицания того, что враждебно человеку.

6

Гуманизм Альберто Моравиа несколько абстрактен. Он напоминает гуманизм Луиджи Пиранделло. Любовь Альберто Моравиа к человеку тоже очень часто окрашена в траурно-трагические тона. Но Моравиа не свойственны ни субъективизм, ни нравственный нигилизм Пиранделло-драматурга. Альберто Моравиа был одним из тех немногих итальянских писателей, которые еще в годы фашистской диктатуры выступили против фашизма.

В романе «Равнодушные» ничто, казалось, не говорило о политике. Герои романа как будто даже и не замечали, что живут при фашизме. Им до этого просто не было никакого дела. И тем не менее этот по форме чисто «семейный» роман, с некоторым налетом эротики, был более глубоким осуждением фашистского режима, чем написанный позднее сатирический «Маскарад» и даже откровенный антифашистский памфлет «Эпидемия»: там гораздо более чувствовался Моравиа-реалист.

Когда в 1929 году вышел в свет роман «Равнодушные», одним из первых на него откликнулся известный итальянский критик

П. Панкраци. В его статье чувствовалась растерянность, которую он пытался скрыть за менторски-поучительным тоном. Критик не отрицал того, что в романе Моравиа много правды. «Это правдиво, — писал Панкраци, — тут ничего не скажешь. Но все это принято считать несколько неправдоподобным. Из-за лицемерия? Но лицемерие часто является своеобразной формой морали и гигиены».

Для Моравиа лицемерие всегда было антиморально.

Произведения Альберто Моравиа внесены в знаменитый ватиканский «Индекс» книг, чтение которых запрещено католикам под страхом отлучения от церкви. Не так давно клерикалами был инспирирован судебный процесс по обвинению автора «Чочары» в безнравственности. Тем не менее связанные с современной клерикально-католической реакцией буржуазные критики еще не отказались от мысли причислить Альберто Моравиа к разряду «своих» писателей. В данном случае итальянских буржуазных критиков можно понять. Но вряд ли к их доводам следует слишком прислушиваться. Между экзистенциализмом и фрейдизмом творчество Альберто Моравиа никак не укладывается.

Роман «Равнодушные» появился как раз в то самое время, когда итальянские фашисты всячески рекламировали «семейные добродетели» и демагогически утверждали, будто режим Муссолини укрепил расшатанную «святость семейных устоев». Реалистический роман молодого Моравиа соскоблил глянец ханжества с фашистской пропаганды и показал, что разрекламированная итальянская буржуазная «здоровая семья» столь же гнила, как и породивший ее режим. Это было прежде всего нравственное осуждение фашизма. Но в тех условиях, в которых Моравиа писал роман «Равнодушные», реалистическое изображение распада и разложения обычной итальянской семьи приобретало не только моралистическое, но и общественно-политическое звучание.

Однако в романе «Равнодушные» Альберто Моравиа не только сорвал покров святости с лицемерно защищаемой фашистами «здоровой» буржуазной семьи. Этот роман был нравственным осуждением всего того человеческого поведения, которое сделало фашизм возможным. На это указывало само его заглавие.

Нет, Альберто Моравиа никогда не был равнодушным наблюдателем событий и фактов. В стороне от общественных и политических событий Италии оставался не Моравиа, а его ко всему безразличные герои. И писатель не оправдывал их безразличия: он бросал им в лицо свое презрение.

Несколько лет назад Альберто Моравиа написал роман «Конформист». С художественной точки зрения «Конформист», как уже говорилось, не принадлежит к числу творческих удач Моравиа, но этот роман интересен как возвращение писателя к теме романа «Равнодушные». Тема мещанского равнодушия здесь не только развивается дальше, но отчасти и углубляется. Герой «Конформиста» — это тоже ко всему безразличный буржуа-обыватель, но обыватель, уже превратившийся в откровенного фашиста и политического убийцу. К фашизму Марчелло приводит отнюдь не какие-то там политические «убеждения», а всего лишь стремление приспособиться к окружающей среде и быть «таким же, как все». Равнодушие, как бы говорит всем этим романом Моравиа, порождает конформизм, то есть беспринципное приспособленчество, а это образует ту питательную почву, на которой вырастает развращающее и разлагающее человека зло фашизма.

7

«Конформист» был написан через несколько лет после падения режима Муссолини. Когда Альберто Моравиа обратился в этом романе к уже отошедшей в прошлое эпохе итальянского фашизма, им двигал, по-видимому, совсем не интерес историка. Ни об одном из романов Моравиа, за исключением, пожалуй, «Чочары», нельзя сказать: это Италия тысяча девятьсот такого-то года. Но в лучших его книгах — и в «Равнодушных», и в «Римлянке», и в «Презрении» — есть современная Италия и современная действительность в самом широком значении этого понятия. Однако, конечно, такая, какой ее видит Моравиа с точки зрения интересующих его этических проблем. Конформизм для Моравиа тоже явление прежде всего нравственное, и он осудил его в своем романе, потому что увидел в нем глубоко современное, а не только связанное с режимом Муссолини, зло.

Художественные особенности творчества Альберто Моравиа и основная проблематика его романов в значительной мере определяются тем кругом читателей, для которого он главным образом пишет. Альберто Моравиа говорит на языке, принятом и понятном в этом кругу. Он прежде всего писатель итальянской интеллигенции. Моравиа ставит своей задачей помочь итальянской интеллигенции разобраться в том мире, в котором она живет.

Мир, который изображает в своих романах Моравиа, — не вся современная Италия, но это значительная часть современной Италии. Это тот мир, в котором живет итальянская буржуазия и который она устроила по своему образу и подобию. Моравиа хорошо знает эту среду и ненавидит ее как гуманист. Именно поэтому мир романов Моравиа до самого последнего времени был населен одними лишь равнодушными обывателями.

Персонажи его романов были весьма различны: разорившаяся аристократка Мария-Грация и проститутка Адриана; преуспевающий делец («Равнодушные») и уличный громила («Римлянка») — но это были всегда обыватели. Моравиа как бы говорил

своему читателю: мир буржуазии враждебен человеку, потому что он превращает его в безразличного ко всему мещанина и нравственно порочного «конформиста».

Это главная тема большинства романов Моравиа.

Герои романов Моравиа иногда стремились к личному счастью, но писатель почти всегда приводил их к краху. Это не только бесплодный скептицизм и не просто мизантропический пессимизм, столь характерный для ряда современных буржуазных писателей; это разрушение веры в возможность человеческого счастья как пошлого мещанского благополучия.

Это очень хорошо доказывает роман «Презрение».

«Презрение», пожалуй, еще в большей мере, чем «Римлянка» и «Конформист», — роман психологический. Это портрет среднего итальянского буржуазного интеллигента. Но Моравиа не углубляется здесь в дебри иррационального и подсознательного. В «Презрении» не осталось и следа от фрейдизма «Агостино» и «Неповиновений». Попытка кинорежиссера Рейнгольда интерпретировать Гомера по Фрейду встречает самый активный протест со стороны не только героя романа, но и его автора. Не заметно в романе и того интереса к психопатологии, который неприятно коробил читателя «Конформиста». Главный герой романа «Презрение» Риккардо Мольтени — интеллигент с психикой среднего обывателя. Он не вызывает такого чувства омерзения, как герой «Конформиста», но именно потому, что Риккардо Мольтени лишен патологической исключительности, его образ в романе получился и реалистичнее, и ярче, и типичнее.

Фабула романа «Презрение» довольно проста. В известном смысле она даже традиционна. Это горький рассказ героя о своей тщетной попытке обрести семейное счастье.

В «Презрении» Альберто Моравиа опять вернулся к той форме «романа-исповеди», которую он до этого блестяще использовал в «Римлянке». Введение героя-повествователя в эпико-драматическую структуру «Презрения» позволило Моравиа достичь того гармонического слияния объективно-эпического с лирически-субъективным, к которому тяготеют почти все лучшие образцы современной западноевропейской прозы. Но это значительно усложнило задачу Моравиа-моралиста. Альберто Моравиа не тождествен Риккардо Мольтени. Внешне Моравиа очень объективен: он предоставляет самому герою излагать факты и делать из них выводы. Естественно, что Мольтени не «разоблачает» себя: он считает, что поступал так, как должен был поступать. Мольтени не «осуждает» и свою жену Эмилию: он считает, что ее презрение к нему — только следствие какого-то затянувшегося печального недоразумения, и не может ее разлюбить. Моравиа не делает никаких выводов, но — и в этом проявляется его мастерство художника-реалиста — он подсказывает читателю выводы, идущие вразрез с выводами героя. Художественное и общественное значение романа «Презрение» заключается в тех мыслях и вопросах, которые вызывает этот роман у каждого задумывающегося над ним читателя.

Почему Риккардо и Эмилия не могут быть счастливы? Когда закрываешь роман Моравиа, ответ напрашивается сам собой: потому, что они оба стремятся только к мещанскому счастью, а такое счастье невозможно именно потому, что оно мещанское.

Жена Риккардо, Эмилия, во многом напоминает героиню романа «Римлянка». У нее есть свои «идеалы», но это идеалы мещанки. Так же, как и Адриана, Эмилия больше всего хочет иметь собственный дом. И так же, как у Адрианы, ее любовь к вещам граничит с чувственностью. Эротическая сцена в третьей главе романа и менее натуралистична, чем аналогичные сцены в «Римлянке» и «Конформисте», и художественно более оправдана. Она помогает лучше понять характер Эмилии и особенности отношений между ней и Риккардо. Более того, она тесно связана с общей идеей романа. Эта сцена нужна Моравиа, чтобы показать, во что превращают любовь «идеалы» буржуазного мира.

Мещанские «идеалы» Эмилии очерчены четко и ясно. Все ее поведение очень логично и последовательно вытекает из них. Эмилия любит Риккардо, но еще больше она любит материальное благополучие. Разлюбив Риккардо, она продолжает продавать себя мужу, как проститутка. Она легко может поверить в то, что муж хотел «продать» ее своему продюсеру Баттисте: это вполне соответствует ее представлениям о нормах человеческого поведения и кажется ей даже чем-то вполне естественным. Она бросает в лицо Риккардо: «Ты — не мужчина». Но не только потому, что Риккардо промолчал, увидев, как ее целовал Баттиста. Мужчина для Эмилии — это успех, а успех — это деньги. У Баттисты больше денег, поэтому он, а не Риккардо «мужчина». Поэтому Эмилия смотрит на расхвастав-шегося кинопромышленника Баттисту восхищенными глазами. Поэтому она готова стать его содержанкой. Риккардо Мольтени может убедить жену в том, что он не хотел продавать ее своему продюсеру, но ему никогда не удастся доказать Эмилии, что он такой же «мужчина», как Баттиста.

Риккардо Мольтени — человек более образованный, чем Эмилия. Иногда он высказывает очень правильные суждения о большом и подлинном искусстве, служению которому ему хотелось посвятить всю свою жизнь. Он иронически воспринимает фрейдизм Рейнгольда и очень трезво оценивает Баттисту. Благодаря этому Моравиа, который показывает действительность через восприятие Мольтени, удается создать яркий, почти сатирический образ буржуазного дельца, который тем больше говорит о своей «бескорыстной любви» к искусству, чем большую выгоду собирается извлечь из постановки того или иного коммерческого фильма. Однако всей логикой событий и

внутренней логикой характера своего героя Моравиа заставляет читателя понять, что Риккардо Мольтени не так далек от Эмилии, как это кажется ему самому. Да, Риккардо Мольтени — «культурный человек», а Эмилия — «натура примитивная». Но «культурный человек» Мольтени — такой же обыватель, как и Эмилия. Это — «культурный» мещанин, разменявший на мелочи все то хорошее, что в нем, возможно, было когда-то заложено. Он тоже конформист. И, как это почти всегда бывает у Моравиа, конформизм Риккардо Мольтени тесно переплетается с мерзким мещанским равнодушием к окружающему и окружающим.

В романе «Презрение» есть одна деталь, которая в первый момент может вызвать некоторое недоумение. В начале романа оказывается, что Риккардо Мольтени... коммунист. Моравиа сообщает об этом буквально в двух строках, и сначала это может показаться даже чем-то лишним. Тем более, что сам Мольтени рассматривает свое вступление в партию, как случайный факт. Для развития сюжета романа этот факт не имеет никакого значения. О том, что Мольтени коммунист, никто больше не говорит и не вспоминает, в том числе и сам герой. Но в строгом, почти рационалистическом расположении художественного материала романа «Презрение» нет ничего неоправданного. Заставляя Мольтени рассказывать о том, как и почему он вступил в коммунистическую партию, Моравиа разоблачает его как обывателя, безразличного ко всему. Мольтени считает, что всякий человек руководствуется только личным и эгоистическим интересом. Он уверен в этом потому, что так поступает он сам. Он завидует богатым и обеспеченным людям, и только поэтому его начинает возмущать «общественная несправедливость». Он признается, что одна лишь зависть к людям вроде преуспевающего хама Баттисты толкнула его в ряды коммунистической партии. Мольтени не понимает, как он сам выражается, «той алхимии», которая растворяет личный интерес в общественном. Для него это невероятно и невозможно. И именно поэтому для Мольтени оказывается возможным отказаться от своей, пусть скромной, мечты о театре и принести ее в «жертву дома дырам». Поэтому Эмилия имела основание — и читатель чувствует это — заподозрить Риккардо в том, что он хотел «продать» ее Баттисте. То, что Риккардо кажется трагическим недоразумением, на самом деле — закономерное следствие всего его поведения и характера.

Мольтени считает, что он не заслужил презрения. Но Моравиа думает иначе. Моравиа назвал свой роман «Презрение», а не «Недоразумение», как его, несомненно, назвал бы сам Мольтени. Эмилия говорит своему мужу: «Ты — не мужчина». Она и права и неправа. Риккардо такой же «мужчина», как и Баттиста. В этом-то все и дело. Эмилия была бы права, скажи она: «Ты — не человек». Но это говорит не Эмилия, а читатель, и это ему подсказывает Моравиа. Риккардо Мольтени достоин презрения, потому что он обыватель и интеллигентный мещанин. Поэтому Моравиа приводит его к катастрофе: ко всему безразличный мещанин не может и не должен быть счастлив.

Альберто Моравиа, как уже говорилось, свойственны в некоторой мере и пессимизм и скептицизм. Это наложило отпечаток и на роман «Презрение», и особенно на его развязку. Но значит ли это, что автор «Презрения» полностью разуверился в том, что человек — не мещанин, а человек — может быть когда-либо счастлив? В это трудно поверить. В романе «Презрение» с Моравиа-скептиком успешно борется Моравиа-гуманист и реалист. Именно потому, что Альберто Моравиа верит в человека и любит его как гуманист, он как трезвый, безжалостный реалист изобразил в этом романе буржуазную калечащую человека действительность современной Италии.

8

В нашей критике Альберто Моравиа несколько раз называли «неореалистом» и даже ссылались на личные заявления Моравиа по этому поводу. По-видимому, это основано на каком-то недоразумении. Моравиа решительно отрицает свою причастность к так называемому итальянскому «неореализму».

Думается, что он прав. К реализму Моравиа незачем прибавлять приставку «нео». Есть все основания считать Альберто Моравиа одним из значительных критических реалистов современной зарубежной литературы.

Конечно, критика современной действительности ведется в романах Моравиа в основном с позиций этических. Это в значительной мере обусловлено абстрактным характером гуманизма писателя, всем его мировоззрением, а также и тем, что Моравиа, как моралист, непосредственно обращается к все еще узкому кругу читателей. Это существенно суживает возможности реалистического метода писателя, но это отнюдь не дает основания выводить Альберто Моравиа за пределы современной реалистической литературы. К творчеству Альберто Моравиа, и прежде всего к его роману «Презрение», вполне применимы слова Ф. Энгельса: в тех условиях, когда «роман обращается преимущественно к читателям из буржуазных кругов... роман вполне выполняет свое назначение, правдиво изображая реальные отношения, разрывая господствующие условные иллюзии о природе этих отношений, расшатывая оптимизм буржуазного мира, вселяя сомнение по поводу неизбежности существующего, хотя бы автор и не предлагал при этом никакого определенного решения и даже иной раз не становился явно на чью-либо сторону».

В «Презрении» Альберто Моравиа уделяет большое внимание этическим проблемам, но не сводит все только к ним. Его герои живут отнюдь не в безвоздушном пространстве. Их поведение обусловлено за-

конами того мира, в котором они живут. В этом романе этическая критика еще более тесно, чем в предыдущих произведениях Альберто Моравиа, переплетается с социальной, и это позволяет говорить о дальнейшем углублении критического реализма писателя. Для каждого внимательного читателя романа «Презрение» становится совершенно ясно: в том, что Эмилия и Риккардо несчастны, виноваты, не только они сами, но и то общество, которое, навязав им свои представления и свою мораль, убило в них подлинно человеческие чувства. Это общество олицетворяет в романе продюсер Баттиста: сначала он покупает Мольтени, а потом и его жену. Он топчет их любовь. Вина Риккардо Мольтени в том, что он отказался от борьбы с Баттистой и позволил убить в себе человека. Моравиа не делает никаких положительных выводов. Так же, как и в других романах Моравиа, в «Презрении» нет ни одного положительного героя. Но тем не менее этот роман глубоко поучителен. Судьба Риккардо Мольтени заставляет читателя задуматься над тем, кто и что мешает человеку быть счастливым, а также над тем, каким должен стать человек, чтобы не вызывать к себе чувства презрения.

9

Еще отчетливее и резче, чем в романе «Презрение», черты критического реализма проступают в «Римских рассказах». Возможно, это самое интересное и наиболее значительное из всего, что до сих пор создал Моравиа. Но в то же время «Римские рассказы» — опять-таки очень противоречивая книга. В ней ярче, чем где бы то ни было до этого, стали видны не только сильные стороны критического реализма Моравиа, но и его ограниченность.

В «Римских рассказах» писатель-моралист как бы отошел на второй план. Интеллигент-обыватель перестал быть его основным персонажем. Круг героев Моравиа значительно расширился. В книге Моравиа появился реальный современный Рим, который до этого был едва лишь намечен даже в «Римлянке». Герои «Римских рассказов» бродят по улицам и предместьям сегодняшнего Рима и живут в жалких лачугах Тормаранчо, фанерные крыши которых не могут укрыть их даже от дождя.

Почти все герои «Римских рассказов» принадлежат к так называемым «низшим слоям общества». Несколько новелл этого сборника посвящены преступникам. Пожалуй, в «Римских рассказах» таких новелл даже слишком много. Однако преступники Моравиа, как правило, очень непохожи на профессиональных гангстеров, романтизированных голливудскими фильмами и романами в «желтых обложках». Иногда герои новелл Моравиа крадут книги просто потому, что они неграмотны и не понимают, что кража книг — тоже воровство («Девушка из Чочарии»). Порой их репутация отчаянных громил и хулиганов основана только на анекдотическом недоразумении («Хулиган поневоле»). Это, так сказать, «преступники поневоле». Почти все они прошли через послевоенный «черный рынок», и все они очень хорошо знают, что такое безработица. Над героями «Римских рассказов», как страшный кошмар, висят голод и нищета. Этот голод заставляет некоторых из них думать, что «бедняку ни за что не пробиться в жизни честным трудом и что только удача может помочь разделаться с нищетой» («Очки»). Вот тогда-то они и пытаются «поймать удачу», пробуя продать поддельную античную монету («Римская монета»), сбыть фальшивую ассигнацию («Фальшивая ассигнация») или получить вознаграждение за «находку» ими же украденного пса («Китайская собачка»). Их так задавила нужда, что желание приобрести сапоги превращается в манию, толкающую на шантаж («Гроза Рима»). Иногда им даже кажется, что тюрьма — какой ни на есть, а выход, потому что в тюрьме по крайней мере кормят («Воры в церкви»).

Жизнь исковеркала этих людей, унизила и согнула. Писатель иногда даже переносит безобразие той действительности, в которой они живут, на их внешность. «Герои все с изъяном», — говорит И. Г. Эренбург в своем предисловии к «Римским рассказам».

Альберто Моравиа действительно видит очень мало красивого в современном Риме. С его методами изображения задавленного жизнью человека можно спорить. И все-таки было бы совершенно неверно утверждать, что Альберто Моравиа в «Римских рассказах» находит, или хотя бы ищет, героя среди подонков Рима. Бездельнику, игроку, вору и хладнокровному убийце Натале в новелле «Очки» противопоставлена и его мать — трудолюбивая, доброжелательная к людям портниха Мушмула, и сам рассказчик — рабочий, которому этот «похожий на профессора вор» кажется чем-то очень непонятным и патологическим. Точно так же в новелле «Жизнь в деревне» эгоисту и бездумному прожигателю жизни Аттилио противостоят грубые, но нравственно значительно более полноценные крестьяне Кастельбручато. Основными героями «Римских рассказов» являются отнюдь не «преступники поневоле», а «маленькие люди» трудового Рима: лифтеры, уличные разносчики, шоферы грузовиков и такси, водопроводчики, сторожа. В творчестве Моравиа они появились впервые. Это новые герои Моравиа.

Вряд ли можно утверждать, что «Римские рассказы» ознаменовали какой-либо качественный перелом в творчестве Альберто Моравиа. По своему мировоззрению автор «Римских рассказов», по-видимому, мало чем отличается от автора «Римлянки». Но несомненно, что новый герой потребовал от Моравиа и новых художественных средств.

Углубление критического реализма в «Римских рассказах» происходит не столько даже за счет более тщательного и детального, чем в романах, описания среды

и обстановки, сколько за счет нового авторского отношения к герою. Если даже в таких романах-исповедях, как «Римлянка» и «Презрение», за главным героем всегда ощущался поднимающийся над ним судья-моралист, то в «Римских рассказах» герой-повествователь максимально художественно объективизирован и индивидуализирован. Моравиа здесь уже не описывает героя со стороны и не смотрит на него, так сказать, сверху вниз. Освещая характер изнутри, раскрывая его не только в поступках героя, но и через манеру его речи и мышления, Моравиа достигает в «Римских рассказах» почти чувственно осязаемой рельефности.

Героям «Римских рассказов» не свойственны ни рефлексия, ни приспособленчество достойных презрения «интеллигентных» мещан. В них много подлинной и подкупающей человечности. Герой рассказа «Жребий выпадет тебе» несколько стыдится своей профессии мусорщика, но вряд ли бы он смог понять то омерзительное чувство презрения к самому себе, которое доводит Джакомо из «Римлянки» до самоубийства. Он с глубоким убеждением говорит: «Человек — это не мусор». И это помогает ему жить, даже когда счастье выскальзывает из его рук.

Однако мир, в котором живут герои «Римских рассказов», устроен совсем не так, как им того бы хотелось. Да, они готовы не только на самую тяжелую, но даже самую унизительную работу («Возмездие Тарзана»). Они понимают, что никакой труд сам по себе не может быть унизительным. Поэтому они даже смертью своей готовы протестовать против того, чтобы их труд служил только забавой для подвыпивших богачей и тунеядцев («Паяц»).

Эти «маленькие люди» Рима обладают большим сердцем. Они входят в окружающий их мир добрыми, не веря, что существует зло. Но когда они заболевают и им нужна помощь, то почему-то всегда оказывается, что их лучшие друзья «без денег» («Друзья до черного дня»). И тогда их сердца черствеют. «Голод делает жестоким», — говорит один из них, обманывая фронтового приятеля («Ромул и Рем»).

Но ни один из этих «маленьких людей» не способен на тот чудовищный эгоизм, которым наделены ко всему безразличные обыватели романов Моравиа. Женщина из Тормаранчо, у которой семеро детей, потому что у нее с мужем «нет денег для того, чтобы вечером пойти в кино», может не знать, что в Италии нет больше короля; она может даже в минуту отчаяния решить подкинуть новорожденного младенца в машину богатого синьора; но в конечном счете она окажется нравственно чище и выше и этого синьора и потерявшего человеческий облик, презирающего «толпу» героя романа «Конформист» («Младенец»).

В «Римских рассказах» даже воздух както свежее и чище, чем в романах Моравиа. Здесь легче дышится. Адюльтерная эротика в «Римских рассказах» отсутствует полностью. Это очень характерная черта. И это связано прежде всего с изменением героя Моравиа. Новый герой Моравиа мыслит, чувствует и любит совсем не так, как нравственно порочные мещане его романов.

Герои «Римских рассказов» нередко бывают грубыми. Иногда у них вырывается циничное словечко. Возможно, они даже стыдятся украшать и расцвечивать свои чувства. Их чувства так же просты, как они сами и как та жизнь, которой они живут. И так же человечны. Их любовь проста. Но не примитивна. Под внешне циничным отношением к женщине у героев «Римских рассказов» порой скрывается такое высокопоэтическое и чистое чувство, до которого никогда не могут подняться начитанные и вечно размышляющие о любви мольтени («Сиделка»). И тогда «маленький человек» Моравиа перестает быть маленьким. Его, казалось бы, незначительная судьба вырастает в лучших из «Римских рассказов» до большой человеческой трагедии («Сторож», «Конкуренция»).

Мир, в котором живут герои «Римских рассказов», действительно глубоко трагичен. В нем рушатся не только иллюзии о добре, справедливости и красоте, но даже самые простые и очень скромные желания, стремления и надежды. Почти никому из героев «Римских рассказов» не удается добиться счастья. Иногда призрак его как будто мерцает перед ними, но потом почти всегда оказывается, что это всего лишь фальшивое счастье, купленное на фальшивую ассигнацию. Все они греются только у чужого огня и потом уходят в туман и дождь, подобно Винченцо из превосходной новеллы «Сторож».

Глубокий трагизм, которым овеяны лучшие страницы «Римских рассказов», конечно, не может быть вменен в упрек их автору и никак не может считаться недостатком этой талантливо написанной книги. То, что Альберто Моравиа увидел на улицах и в предместьях сегодняшнего Рима не натуралистическую «прозу жизни», а трагическую повседневность, делает ему честь как художнику. Именно в изображении трагической повседневности сегодняшнего Рима ярче всего проявляется Моравиа — реалист и гуманист. Поднимая повседневный жизненный факт до уровня большой социальной трагедии, художник стирает с него все случайные черты и таким образом достигает не только художественной простоты, но и впечатления непосредственности, жизненной правды. Трагичность судьбы героев «Римских рассказов» делает их почеловечески неизмеримо выше той враждебной человеку действительности, в которой они вынуждены жить, не умея противопоставить ей ничего, кроме своей человечности.

Автора «Римских рассказов» можно упрекнуть не в трагическом ощущении действительности современной Италии, а скорее в том, что это трагическое ощущение иногда ему изменяет. Порой Моравиа снижает сво-

его трагического героя до уровня банального неудачника. Иногда герои «Римских рассказов» отказываются от счастья только из ложного чувства собственной неполноценности («Коротышка», «Старый дурак»). Тогда трагичность их судьбы теряет социальную закономерность и приобретает мистически необъяснимый характер рокового сцепления случайностей. Тогда создается впечатление, что не только герои-рассказчики видят причину своих несчастий в черной кошке или форме носа («Нос»), но и что сам автор «Римских рассказов» склонен приписывать их судьбе роковую безысходность («До свиданья»).

Ярко и убедительно просто воссоздавая трагедию человека в современном буржуазном мире, Альберто Моравиа не подсказывает путей и возможностей ее разрешения. Герои «Римских рассказов» страдают, но не борются. Ни у одного из них нет завтрашнего дня.

В «Римских рассказах», так же как и в романах Моравиа, нет ни одного положительного героя. Но если в его романах это было в какой-то мере оправдано темой и проблематикой, то в «Римских рассказах», где впервые у Моравиа появляется подлинный итальянский народ, отсутствие положительного героя делает картину неполной и не совсем правдивой. Этот герой необходим «Римским рассказам». Он ходит по сегодняшнему Риму. Моравиа, несомненно, видел его и сталкивался с ним. Если Альберто Моравиа не изобразил его в своих «Римских рассказах», то, вероятнее всего, именно потому, что еще недостаточно уяснил его историческую роль в разрешении человеческой трагедии современного Рима.

10

«Римские рассказы» не были только случайным эпизодом в творчестве Альберто Моравиа. В своем последнем романе «Чочара» Моравиа снова обратился к теме народа, которая, по его собственным словам, «всегда питала лучшие традиции итальянской литературы».

Действие романа «Чочара» развертывается в маленьком крестьянском селении Сант-Эуфемия, близ Фонди, в период между 25 июля 1943 года — дата отставки Муссолини и последовавшей за ней оккупации Италии — и так называемым «освобождением» Рима англо-американскими войсками летом 1944 года.

В «Чочаре» много от личного опыта писателя и его непосредственных наблюдений (в 1943—1944 гг. он скрывался от преследования фашистов в тех местах, где происходят основные события романа), но еще больше в книге от раздумий Моравиа над судьбами своей страны и своего народа.

Обращение Моравиа в своем последнем романе к той теме, которая до сих пор является одной из главных тем итальянской прогрессивной литературы, было, по-видимому, отнюдь не случайным. В беседе с итальянским критиком Д. Манакорда о романе «Чочара» (эта беседа была опубликована в журнале «Контемпоранео» 18 мая 1957 года) Альберто Моравиа сказал: «Сопротивление, несомненно, самый значительный период нашей новейшей истории, и он должен был бы получить совсем иное развитие. Однако сегодня в различных кругах ставится под сомнение самое значение Сопротивления, а вместе с ним и требование того реалистического искусства, которое, по-видимому, восходит своими истоками к событиям этого периода».

Роман «Чочара» должен был, по замыслу автора, стать ответом писателя итальянской реакции, предавшей забвению заветы Сопротивления, — ответом писателя-реалиста, сознающего свою связь с народом и поэтому не отделяющего себя от подлинно передовой литературы современной Италии.

Если бы понадобилось определить, какое слово полнее всего выражает основное содержание романа «Чочара», то, пожалуй, можно было бы сказать, что этим словом является очень редко встречавшееся до этого у Моравиа слово — надежда.

Один из героев романа, антифашист Микеле, разговаривая с английским офицером о целях войны против гитлеровской Германии и фашистской Италии, доказывает ему, что одного лишь военного разгрома Германии далеко еще не достаточно. «Люди ожидают, — говорит он, — что они построят новый мир, в котором будет больше справедливости, больше свободы и больше счастья, чем в старом». Микеле считает, что, если в результате войны против фашизма и нацизма такой новый мир не будет создан, это будет означать, что союзники, «по существу, тоже проиграют войну, хотя даже и одержат победу».

Это одна из центральных мыслей нового романа Моравиа.

Лучшие страницы «Чочары» проникнуты надеждой на создание в Италии новой жизни.

Этой надеждой жил в эпоху Сопротивления весь итальянский народ; во имя этой надежды жертвует своей жизнью один из основных героев «Чочары» Микеле, и эта надежда постепенно загорается в душе простой итальянской женщины Чезиры. Это она — главный герой романа. От ее лица ведется повествование, и Моравиа вкладывает в ее уста многие из своих собственных выводов и мыслей.

Создавая образ Чезиры, Альберто Моравиа, по его собственным словам, стремился создать «типический характер среднего итальянца, человека из народа». Несмотря на противоречивость образа Чезиры и его несколько надуманную моралистичность, образ главной героини нового романа Моравиа в целом может быть отнесен к большим удачам этого писателя-реалиста. Образ Чезиры ярок, жизнен, а кроме того, что до сих пор не часто встречалось в произведениях Моравиа, раскрывается в своем постепенном развитии.

В первых главах романа Моравиа Чезира еще отнюдь не итальянская женщина из народа и не ощущает себя таковой. Это —

лавочница. Она живет в том мире, который засосал героиню «Римлянки», — в мире позорного мещанского благополучия, равнодушия, своекорыстия и холодного эгоизма.

Потом война выгоняет Чезиру из Рима. Она бежит от английских бомб в селение Сант-Эуфемия, где первое время мечтает лишь об одном: поскорее вернуться к своей лавке и зажить прежней, то что она называет «нормальной», жизнью.

В этом маленьком крестьянском селении близ Фонди Чезира девять месяцев живет бок о бок с такими же беженцами, как и она. Это тоже лавочники и торговцы, для которых существует только один бог — деньги. Но, несмотря на то, что все они мыслят и говорят точно так же, как до сих пор мыслила и рассуждала она сама, Чезира постепенно начинает чувствовать, сколь чужды ей эти заботящиеся только о собственной выгоде мелкие людишки. «Я, — говорит она, — не могла не испытывать чувство антипатии к беженцам, а особенно к лавочникам, которые наживались за чужой счет и рассчитывали, как только придут англичане, снова заняться тем же самым».

Моравиа показывает, как постепенно происходит перерождение Чезиры или, лучше сказать, ее возрождение: в мещанке и лавочнице Чезире возрождается человечность и человек. Чезира начинает чувствовать себя тем, кем она была когда-то, в годы своей юности, — простой крестьянкой из Чочарии.

В этом возрождении героини нового романа Моравиа нет ничего ни надуманного, ни мистического: оно — результат соприкосновения Чезиры с действительностью и с жизнью итальянского народа. Описания Фонди и его окрестностей сделаны Моравиа с большим мастерством. Это наиболее убедительные страницы «Чочары», и их можно отнести к лучшим достижениям итальянской реалистической прозы. Читатель верит, что эта жизнь — жизнь нищих, обездоленных и уже ни на что не надеющихся крестьян Фонди заставляет Чезиру по-иному взглянуть на все то, что до этого она считала самым важным и самым главным. Читатель понимает, почему к ненависти к войне в сознании Чезиры прибавляется теперь и ненависть к мещанскому эгоизму и равнодушию. И для него не является неожиданностью, когда вслед за этим у Чезиры мало-помалу начинает зарождаться надежда на возможность лучшей и подлинно человеческой жизни — не только для себя, но и для всех тех крестьян, связь с которыми она ощутила, живя в Сант-Эуфемии.

Эту надежду зажигает в Чезире антифашист Микеле.

В «Чочаре» Чезира отзывается о Микеле тепло, но иногда несколько иронически. «Он говорил хорошо только о крестьянах да о рабочих, но, по-моему, он не знал ни тех, ни других». Здесь за спиной героини-рассказчицы очень ощущается автор. Микеле — один из самых спорных и художественно слабых образов романа.

Микеле Феста, конечно, не Джакомо из «Римлянки». Это искренний и убежденный антифашист. Он не поступается своими убеждениями и гибнет, заслоняя своим телом крестьян, которых расстреливают нацисты. Однако Моравиа явно не удается проникнуть во внутренний мир, в мир идей подлинного итальянского антифашиста. Этому мешает мировоззрение писателя. Моравиа заставляет Микеле с одной стороны попросветительски утверждать, что английские летчики бомбили мирные крестьянские селения только потому, что не прочитали Данте, а с другой — проповедовать необходимость возрождения человечества через страдания.

Но вот что характерно и показательно. Помимо немного чудаковатого идеалиста и «христиано-коммуниста» Микеле, изображенного Моравиа, в романе «Чочара» угадывается еще и другой Микеле, о котором автор умалчивает, но присутствие которого читатель все время ощущает. Это тот Микеле, которого любит и уважает Чезира и к мнению которого она очень прислушивается; тот Микеле, беседы с которым заставляют Чезиру понять, что все девять месяцев в Сант-Эуфемии она ждала не прихода союзников, для того чтобы снова заняться спекуляциями на «черном рынке», а Освобождения — освобождения своего народа. Именно это возрождает в ней человека. «Я вдруг поняла, — говорит Чезира, — что тот, кто ждет чего-то вот такого, живет более полной и более истинной жизнью, чем тот, кто не ждет ничего».

Альберто Моравиа наделяет Чезиру свойственным ему самому несколько абстрактным гуманизмом. Но когда в Чезире загорается надежда на освобождение, она начинает говорить так же, как, возможно, говорил бы тот Микеле, которого Моравиа не показал. Чезира слушает грохот пушек, бьющих по отступающим нацистско-фашистским войскам, и ее охватывает благородная ненависть. Чезира говорит: «Думала я о том, что ведь эти равномерные, упорные, однообразные выстрелы гнали прочь и зиму, и страдания, и опасности, и войну, и нужду, и голод, и все те беды, что гитлеровцы и фашисты валили нам на голову в течение стольких лет».

Здесь Чезира становится подлинным представителем итальянского народа. Ей остается сделать один последний шаг, чтобы вступить на тот путь борьбы за лучшее будущее Италии, по которому шли в это время партизаны Сопротивления. Это кульминационная точка романа.

Дальше начинается спад.

Последняя треть романа — это уже книга о крушении надежды Чезиры, Микеле и всего итальянского народа.

Союзники не приносят в Италию освобождения, они несут с собой только войну. Не война, которая теперь ведется, — это уже, как сказал бы Микеле, проигранная война. Вслед за Микеле нравственно гибнет дочь Чезиры Розетта: изнасилованная солдатами, она превращается в распутную девку, отдающуюся первому встречному.

Чезира с ужасом видит, что тот мир лавочников, спекулянтов и мещанского равнодушия, который она научилась презирать в месяцы надежды, вылез из свежей могилы фашизма и снова восторжествовал в «освобожденной» Италии.

Чезиру охватывает отчаяние: она чувствует, что этот мир, помимо ее воли, начинает засасывать и ее. Она теряет всякую надежду на будущее, но в последнюю минуту ее, по воле Моравиа, спасает чувство скорби. На смену надежде на Освобождение приходит вера в Воскрешение Лазаря. С этой верой Чезира возвращается в Рим.

В последней части романа Чезира снова перестает быть простой итальянской женщиной из народа: она становится рупором в большинстве своем весьма спорных идей Моравиа-моралиста.

«Чочара» — очень интересное и очень значительное произведение Альберто Моравиа, реалистическое мастерство которого совершенствуется от книги к книге. Но и в последнем романе главная сила Моравиа в отрицании, а не в утверждении. «Чочара»— прежде всего книга о войне и о тех бедствиях, которые война несет людям. Это хороший антивоенный роман. Но задуманная Моравиа книга о Сопротивлении не получилась.

В «Чочаре» есть страдающий народ Италии, но в нем по-прежнему нет итальянского народа, борющегося за свое будущее. Пожалуй, никогда еще до этой книги, в которой Моравиа вплотную подошел к теме народа, не было так ясно, насколько абстрактно-гуманистическая точка зрения мешает писателю-реалисту изобразить основные процессы современности в их историческом развитии. Для этого требуется реализм более идейный и более глубокий, чем тот, которого придерживается Моравиа.

В. Ивашева

Английский роман пятидесятых годов

(Заметки о некоторых тенденциях в современной английской прозе)

1

Характеризуя состояние английской буржуазной литературы послевоенного времени и, в частности, романа сегодняшнего дня, английская критика — причем критика самых различных направлений — оказывается единодушной в признании ее неблагополучия. Критики и литературоведы в различных выражениях и с различных точек зрения говорят о нигилизме, характерном для подавляющего большинства произведений современных авторов, о их бессодержательности и бесперспективности, а подчас и цинизме. Даже с точки зрения тех представлений, которыми руководствуется буржуазная критика, английская литература последнего десятилетия вызывает тревогу и неудовлетворенность, заставляет говорить об упадке ее или во всяком случае о застое.

Передовые критики Англии прямо говорят о кризисе английской культуры, одним из проявлений которого считают кризис литературы. Этой мыслью пронизана новая книга Джека Линдсея «После тридцатых годов. Английский роман и его будущее»; к такому же выводу приходит Дерек Картен в работе «Англия в 1956 году. Страна на распутье». Картен пишет, что английский роман переживает кризис, что он стал «серым и безжизненным», утратил свои былые достоинства. Это постоянно отмечает и буржуазная печать.

В самом деле, даже те критики и писатели, которые весьма далеки от демократического движения, вынуждены констатировать измельчание английского романа послевоенного времени: большинство писателей топчутся в замкнутом кругу малых тем и незначительных конфликтов, подымают мелкую возню по поводу чувств и переживаний ничем не примечательных людей, очень часто одержимых какой-нибудь манией или пороком, людей морально и физически неполноценных. Все это нашло отражение в таких романах, как «Похмелье» Ангуса Уилсона (1952), в трилогии «Музыка времени» Антони Пауэлла (1951—1955), в романах Лесли Хартли «Друзья мои черти» (1951) и «Посредник» (1953), в очень популярных у «высоколобого» читателя причудливых писаниях экзистенциалистки Айрис Мердок «Под сетью» (1954) и «Бегство от волшебника» (1956) и в ряде других произведений признанных и читаемых в Англии авторов.

В этой связи нам хотелось бы высказать несогласие с Ч. П. Сноу, недавно выступившим на страницах журнала «Иностранная литература» (№ 6, 1957 г.): оптимистическая оценка *всей* английской литературы, которую дает Ч. П. Сноу, вызывает недоумение. В отношении буржуазной литературы она представляется нам просто неверной.

В редакционной статье журнала «Букс энд букмен» от 1 января 1956 года приводятся суждения пяти выдающихся критиков, которые пришли к единодушному заключению, что английский роман в последние годы не только находится в упадке, но становится все менее ярким, все более серым, «отражая разочарование, царящее в мире». «Для того, чтобы увидеть по-настоящему все то, что волнует нашу современность, писатель должен расширить свой кругозор, а не щипать по кусочкам от краев опыта», — говорится в статье.

Английский буржуазный роман последнего времени, за небольшими исключениями, лишен сколько-нибудь широкой общественной перспективы. Романисты в большинстве своем отказываются от изображения общественной жизни и, тем более, от художественного разрешения действительно существенных социальных проблем. Их мастерство — там, где оно проявляется,— направлено на все более детальное и тщательное исследование индивидуальной психологии, которая зачастую переходит в прямой психоанализ. Авторы таких романов никак не раскрывают свое понимание изображаемой ими действительности. Отмечая этот объективизм современного английского романа, прозаик и критик Ф. Ньюби пишет: «Сами художники пытаются оставаться в тени (то есть не высказывать своих суждений об изображаемом.— *В. И.*) главным образом потому, что не имеют тех или других твердых принципов, которые позволили бы им

выступить перед читателем и высказать ему свои мысли».

Широкая картина общественной жизни, на фоне которой развертывается действие в произведениях писателей английского критического реализма начала века, таких, как Голсуорси и Уэллс, или писателей тридцатых годов, таких, как Кронин или ранний Пристли, заменяется у большинства современных английских романистов картиной предельно суженной. Выражением этой суженности нередко выступает нарочитое сокращение времени действия. Если в «Улиссе» Джойса действие укладывалось в одни сутки, то Тойнби ограничивается уже событиями, которые происходят за несколько часов в связи с одним «типарти» («Чаепитие у миссис Гудман», 1947), причем эти события, выдаваемые писателем за значительные и достойные внимания, на самом деле совершенно ничтожны.

«Большинство из тех романов, которые мне приходится читать, очень рассудочны, но не представляют никакого интереса ни для кого, кроме небольшой кучки единомышленников»,— замечает А. Кеттл в одной из своих статей. Слова Кеттла превосходно подтверждаются хотя бы трилогией «Музыка времени» Пауэлла, писателя, называемого критикой «английским Прустом».

В этих романах рисуются тончайшие оттенки психологии людей, принадлежащих к верхним слоям обеспеченной и праздной буржуазии и буржуазной интеллигенции, причем настоящая жизнь современной Англии проходит где-то за пределами их интересов.

Серия романов другого писателя, Хартли, рисует взаимоотношения брата и сестры — Юстеса, ощущающего свою неполноценность, и властной и волевой Хильды. Поведение действующих лиц рассматривается здесь в духе фрейдизма.

Роман Баркер «Невинные» (1947) сводит все проблемы современности к вопросу младенческой психологии, и подобные произведения, изображающие инфантильное сознание, очень типичны для послевоенных лет. Другие авторы обращаются к теме половых извращений. Так, нашумевший роман Ангуса Уилсона «Похмелье» («Hemlock and After»), посвященный чрезвычайно «модной» проблеме гомосексуализма, рисует моральный распад героя-писателя. Рассудочная и сверхутонченная «сатира» Найджела Денниса «Удостоверения личности» обнажает внутренний мир трех ничем по существу не интересных буржуа. Утомительно однообразны и другие подобные им произведения, появившиеся за последние десять-пятнадцать лет, хотя нередко они и удостоены восторженных отзывов буржуазной критики и внимания английского читателя, принадлежащего к верхушке общества.

Большинство известных писателей, выступивших в Англии в послевоенный период или начавших творческую деятельность еще до 1939 года, но сохранивших популярность и после войны, обладают немалым формальным мастерством. При этом всем им свойствен отказ от творческих приемов и художественной техники модернизма, вошедших в литературный обиход в период деятельности Джойса и Вирджинии Вульф (что, впрочем, не исключает связи отдельных писателей, даже крупных, таких, как, скажем, Грэхем Грин, со школой «потока сознания»). Их литературная техника по своему характеру отличается от той, которая преобладала в произведениях писателей «потерянного поколения» и буржуазном английском романе тридцатых годов. Сегодняшние романисты отказываются от изысканной виртуозности Пруста и Джойса в анализе сферы подсознательного и не деформируют объективную реальность. Более того, многие английские литературоведы и критики отмечают интерес английских послевоенных романистов к классике, обращение их к традиции английского романа XIX и даже XVIII веков*. В журнальных обзорах и очерках немало говорится о новой тенденции в английской литературе — тенденции оживления классического наследства.

Утверждения английских литературоведов различных направлений о возрождении английскими писателями пятидесятых годов традиции романа XIX и XVIII столетий, то есть критического и даже просветительского реализма, требуют с нашей стороны очень существенных оговорок. В какой мере реалистичен роман писателей, «уставших» от Джойса и других модернистов и якобы вернувшихся к Диккенсу и Смоллетту, что́ именно заимствуется ими у классиков — таковы вопросы, требующие уточнения.

Нет основания отвергать некоторое влияние классиков (в частности, Диккенса и Смоллетта) на такого молодого писателя, как, например, Эмис, в творческом методе которого большую роль играет юмор. Но это влияние неглубоко, оно сводится лишь к тому, что Эмис осваивает отдельные художественные средства своих учителей. В слоге современных романистов заметно возвращение к манере и даже словарю реа-

* Так, Ньюби в упомянутой выше работе пишет: «Было бы ошибкой полагать, что художественное мастерство — писательская техника — наших романистов стоит на низком уровне; она, может быть, никогда не была столь совершенной; но чем больше приходится читать романов, написанных за последние годы, тем очевиднее становится тот факт, что их авторы отказываются от недавнего прошлого нашей литературы и смотрят назад, обращаясь к классикам. Они ищут образцы уже не в творчестве крупнейших писателей начала XX века, а обращаются к Стивенсону и даже Диккенсу. Они как будто устали от тех литературных ухищрений и сложностей, к которым стремились их непосредственные предшественники».

В редакционной статье журнала «Букс энд букмен», также упоминавшейся выше, отмечается рост популярности романизированных биографий в Англии и все более настойчивое обращение широкого читателя к произведениям классиков английского романа XVIII и XIX вв. Тот же факт отмечается и Картеном, который делает при этом вывод: «Все эти факты показывают, что бо́льшая часть английского народа не поддается лживым уговорам огромной массы декадентских и прочих писателей — антиреалистов Англии и Америки».

листов прошлого столетия. Однако в существенном и главном писатели, подобные Эмису, отделены от представителей критического реализма XIX в. и просветительского реализма XVIII в. стеной ошибочных воззрений и стойких предрассудков, которые мешают им увидеть мир в реальных соотношениях света и теней и отделить значительное от второстепенного. Каковы бы ни были отдельные заимствования, метод современных романистов иной.

Значительной части английских авторов сегодняшнего дня прежде всего чужда та широта охвата жизни в ее многообразных связях и взаимоотношениях, которая была свойственна английским критическим реалистам XIX в. и крупным художникам начала XX в., таким, как Голсуорси, Уэллс или Шоу. Если Голсуорси, а отчасти и Уэллс выступали продолжателями «блестящей школы» в стремлении к художественному познанию жизни всего общества, то мы не видим этого стремления в послевоенных романах А. Пауэлла, Джойса Кэри и даже А. Кронина.

Некоторые из современных английских писателей создали сильные, подчас незабываемые страницы, где самыми разнообразными приемами психологического анализа тонко раскрывается сложная и противоречивая внутренняя жизнь отдельных людей. Большого мастерства в подобном анализе добился безусловно Грэхем Грин. Несомненной художественной силой обладают и психологические зарисовки Сноу — писателя совсем иного художественного почерка.

Различными средствами изображения, вошедшими в обиход зарубежной литературы XX столетия: внутренним монологом и передачей ассоциативного «потока сознания», диалогом с многозначительным подтекстом, лаконичным повествовательным текстом и намеками, придающими значительность и глубину обыденному и, на первый взгляд, незначительному, и многими другими средствами художественной экспрессивности — писатели достигают такого раскрытия индивидуальной психологии, которое производит на читателя впечатление большой глубины. Но в то время как внимание читателя фиксируется на изображении изолированной судьбы того или другого персонажа или группы персонажей, на раскрытии его внутреннего мира — социально типичное не только ускользает, но и сознательно обходится. В большей степени у одних, в меньшей — у других, индивидуальное не только раскрывается в отрыве от жизни общества, но оказывается выключенным из социальных связей, замкнутым и случайным, что крайне обедняет психологический анализ. Характерной чертой подобного воспроизведения жизни оказывается преувеличенное внимание к биологическим процессам и фактам, что приближает роман к произведениям натуралистов, интерес к патологии и аморализм. Даже лучшие из тех романистов, которые признаны буржуазной критикой и широко читаются в Англии, оказываются ограниченными в своем реализме, основную же книжную продукцию Англии нельзя назвать реалистической. Если в произведениях некоторых авторов немало верно схваченных реалистических деталей, тонких наблюдений, касающихся частностей, подчас изощренный анализ душевных переживаний отдельных личностей, то в них отсутствуют существенные обобщения, пропорции реальной жизни нарушаются и картина действительности оказывается в конечном итоге неверной. При этом верные наблюдения над отдельными людьми теряют свою значительность, так как авторы не изображают взаимодействия личности и общества.

Яркой иллюстрацией к сказанному может послужить недавно появившийся роман молодой писательницы Айрис Мердок «Бегство от волшебника» («Flight from the Enchanter»), объявленный английской и американской прессой значительным явлением в английской литературной жизни. Определяющая идея этой книги высказана одним из персонажей: «Действительность — это задача, которая может иметь множество различных решений. И все они верны». Система образов романа должна служить подтверждением декларированного релятивистского тезиса.

Хотя читателю объявляется, что действие происходит в современном Лондоне, оно с успехом могло бы происходить в любом другом крупном городе современного капиталистического мира. За исключением разве лишь одного второстепенного эпизода и некоторых мало связанных с действием романа замечаний писательницы о текущих событиях, ничто не напоминает читателю о том, что речь идет об Англии пятидесятых годов.

Скрупулезно исследует Мердок каждое душевное движение, каждое переживание своих героев — в большинстве своем людей, принадлежащих к обеспеченным классам. В психологическом анализе Мердок достигает порой известного мастерства (как например, в обрисовке портрета больного туберкулезом ученого Соуорда), однако подавляющее большинство тех персонажей, которые подвергаются тщательному и порой тонкому художественному изображению, — люди аморальные, носители страшной патологии (как например, извращенные садисты братья Лузьевич). Заметим при этом, что всякая патология воспринимается писательницей как одно из «решений» сложной жизненной задачи.

Мердок добивается художественной наглядности в обрисовке отдельных эпизодов, однако картина жизни не только беспредельно сужена, но и искажена, поскольку жизни людей, рассмотренных в романе, оторваны от жизни общества.

Занимаясь проблемой гипнотического влияния одного человека на других — в данном случае загадочного богача и гедониста Миши Фокса, «волшебника», на различных более или менее случайно связанных с ним лиц,— Мердок выписывает ряд нарочито изысканных психологических портре-

тов: взбалмошной и праздной девятнадцатилетней дочери дипломата Аннет Кокейн, запутавшейся в личных связях и морально подавленной Розы, порочного шантажиста Кальвина Блика, живущего за счет Фокса, циничных братьев Лузьевич и многих других.

Нельзя отрицать литературное дарование молодой писательницы, вызвавшей к жизни галерею этих персонажей, однако дарование ее, направленное по руслу исследования единичного и часто патологического, оказывается бесплодным, не дает писательнице возможности проникнуть в существо жизни и передать это существо читателю. Роман производит впечатление художественного осмысления скорее душевных болезней, чем реальной жизни и реальных связей между людьми.

Разочарованность большинства английских писателей, как и большей части английской интеллигенции, — факт, который постоянно отмечается передовыми английскими публицистами. Об этой разочарованности говорят прогрессивные публицисты Дерек Картен и М. Хейнеман (в статье, посвященной разбору книги Линдсея об английском романе после тридцатых годов*).

2

Когда мы говорим об английском романе послевоенного времени, и в особенности о романе пятидесятых годов, мы должны подчеркнуть, что речь идет не о той печатной макулатуре, которая экспортируется в Англию из США, не о тех бестселлерах, которые наводняют английский книжный рынок. Сенсационная макулатура американского образца, насыщенная порнографией и уголовщиной, представляет прибыльный бизнес и издается миллионными тиражами. Хотя эта печатная продукция и оказывает немалое влияние на массового читателя, она, по существу, совсем не связана с художественной литературой, а потому не имеет отношения к обсуждаемому нами вопросу. Даже буржуазная критика, говоря о явлениях современной литературы, брезгливо отворачивается от коммерческого чтива и не включает его в круг своего внимания.

С другой стороны, отмечая безыдейность и бесперспективность английского романа последнего десятилетия, мы не говорим — поскольку это выходит за рамки настоящей статьи — о книгах таких прогрессивных писателей, как Олдридж и Линдсей, Шон О' Кейси и Соммерфилд, и ряда других менее известных, но близких им по идейной направленности художников слова. Заслуги этих художников общеизвестны и не раз уже отмечались советской критикой. Приходится, однако, признать, что влияние их на широкого английского читателя пока еще ограниченно.

Рассматривая произведения английских романистов за последние годы, мы говорим в данной статье не о них, а о тех писателях, которые отражают настроения и вкусы рядового буржуазного и буржуазно-демократического читателя сегодняшней Англии.

В статье, опубликованной в свое время в «Иностранной литературе» (№ 4, 1956 г.), Арнольд Кеттл писал: «Водораздел в культурной и литературной жизни сегодняшней Англии (так же, как в экономике и политике) таков: на одной стороне — интересы и духовные ценности тех групп буржуазии, которые хотят продать национальную независимость и смыкаются с американскими империалистами в подготовке новой, «последней» войны против колониальных народов и «социалистической трети мира»; на другой стороне — интересы и духовные ценности народных масс, особенно рабочего класса, который хочет защитить национальную независимость, не допустить войны и расширить свое демократическое наследие». Не разбирая высказывание Кеттла по существу (подобные суждения приходится нередко слышать и от наших критиков), необходимо, однако, помнить, что идеологическая борьба в литературах Запада и в английской литературе больше, чем где либо, чрезвычайно сложна. Реальная картина современного английского романа оказалась бы не только неполной, но и неверной, если бы мы, игнорируя десятки значительных писателей, занимающих промежуточную позицию и не определивших своего места в литературной и общественной жизни Англии, ограничились противопоставлением произведений Олдриджа, Линдсея, Шона О' Кейси, Гвина Томаса, Ал. Бэрона, Соммерфилда и других таким произведениям, как «Гений и богиня» и «Обезьяна и сущность» Олдоса Хаксли или «Возлюбленная» Эвлина Во, не говоря уже о насыщенных ненавистью ко всему прогрессивному человечеству пасквилях «Звероферма» и «1984» Оруэлла.

Надо ли оговаривать, что все эти занимающие промежуточную позицию писатели в процессе своей часто сложной творческой эволюции тяготеют либо к одному, либо к другому из этих двух крайних лагерей.

Однако надо считаться с тем фактом, что английская интеллигенция в течение длительного времени сохраняла и до известной степени сохраняет еще теперь иллюзию интеллектуальной самостоятельности, независимости литературы и искусства от общественных условий и требований времени.

Английская «нелюбовь к теории», на которую указывал Ленин*, далеко не изжита до настоящего времени, хотя упадок британского могущества значительно рас-

* «...пропаганда холодной войны и атомной бомбы в сочетании с провалом политики лейбористского правительства, не осуществившего той перестройки классовой структуры английского общества, которую оно обещало, породила после войны отчаяние и цинизм среди писателей... Пессимистически настроенные и фашиствующие писатели стали выразителями западной цивилизации»,— пишет Хейнеман в «Уорлд ньюз» от 7 июля 1956 г.

* В. И. Ленин «Английский пацифизм и английская нелюбовь к теории», Собр. соч., т. 21, стр. 233.

шатал стойкость предрассудков английской буржуазной интеллигенции.

Грубое наступление американского империализма не только на английскую экономику, но и на английскую культуру, реальная угроза национальной независимости Англии, опасность третьей мировой войны и истребления мира атомным оружием — все это колеблет многие представления английских писателей. Поэты и прозаики Англии, долго мнившие себя «свободными» от воздействия общества, втягиваются в общественную борьбу, о чем свидетельствует хотя бы участие многих из них в писательских объединениях в защиту мира. Все чаще в английской критике, продолжающей пока еще противопоставлять «подлинную», или «чистую», литературу литературе «пропагандистской», начинают звучать новые мотивы, говорящие о постепенном пересмотре английской интеллигенцией своих представлений о «независимости». Даже Ньюби, вступивший в литературу в последние годы второй мировой войны и отнюдь не принадлежащий к художникам демократического лагеря, в упомянутом уже очерке пишет: «Искусство не может существовать без пропаганды... отсутствие у писателей осознанных убеждений ведет к бесплодности литературы или в лучшем случае превращает ее в фиксацию одних неосознанных ощущений».

Романы Алекса Камфорта, который вошел в литературу в начале сороковых годов и занял в ней весьма своеобразную идейную позицию пропагандиста анархизма, с одной стороны, и пацифизма — с другой, вызвали положительную рецензию в литературном приложении к «Таймс» на том основании, что Камфорт в отличие от большинства своих коллег имеет четко выраженную концепцию окружающего мира. Сам Камфорт, высказываясь о литературе, заявил о своей солидарности с критикой, с неодобрением отзывающейся о писателях-«пропагандистах», но в то же время подчеркнул, что преувеличенная боязнь пропаганды в искусстве приводит к забвению простейшей истины: всякое литературное произведение обладает каким-то содержанием, всегда чему-то учит.

Несмотря на нигилизм и ущербность, характерные для творчества многих признанных прозаиков, нельзя не ощутить известных сдвигов в английской прозе за последние годы. Сдвиги эти не надо преувеличивать. Они очень невелики и, проявляясь в творчестве одних — лучших — представителей английской прозы, обнаруживаются как потенциальная возможность в творчестве других.

Английский критик и литературовед У. Аллен справедливо указывает на заметное отличие английской художественной литературы, появившейся после 1950 года, от литературы 1945—1950 годов («Английский роман сегодня», 1955). У. Аллен отмечает нечто похожее на растерянность, царившую в английской литературе первых послевоенных лет, которая теперь сменяется новыми, более или менее четко выявленными тенденциями. В период 1945—1950 годов преобладали авторы с установившейся репутацией, получившие известность до второй мировой войны. Хотя уже начали печататься некоторые молодые авторы, в их творчестве еще не выявились новые тенденции. Констатируемые факты эмпирически верны, однако причину их критик не указывает, а ее следует искать в той новой общественной обстановке, которая сложилась в Англии пятидесятых годов.

«Сегодня, когда борьба за мир становится все более успешной, а движение за независимость народов колоний делает огромные шаги вперед,— писала М. Хейнеман в 1956 году,— наступило время для широкого развития подлинно народной, подлинно человечной литературы».

Обострение англо-американских противоречий, наступление господствующих классов на демократию, суэцкая авантюра вызвали новые настроения в Англии. Характеризуя общественную обстановку в Англии после XXV (чрезвычайного) съезда Коммунистической партии Великобритании, проходившего в конце апреля 1957 года, генеральный секретарь партии Голлан писал: «Назрело время для коренных сдвигов в социалистическом мышлении и сознании английского рабочего класса».

Сдвиги в сознании некоторых английских писателей также очевидны. И все же коренные проблемы современности не стали еще в центр внимания таких писателей, которые по-прежнему стоят на распутье.

Среди тех прозаиков, в творчестве которых судьба отдельной личности связывается с судьбою общества, можно назвать Чарльза Перена Сноу — автора серии романов («Чужие и братья»), рассказанных от имени одного ведущего персонажа, Элиота Льюиса, и рисующих различные общественные круги послевоенной Англии. Роман Сноу «Новые люди» (1954) с большим драматизмом показывает трагедию честных английских ученых, работающих над расщеплением атомного ядра и вставших перед проблемой общественных последствий своих научных исследований. Книга «Новые люди» весьма симптоматична для новых тенденций в английском романе, но вся серия «Чужие и братья» все же не воспринимается как широкое полотно общественной жизни современной Англии.

Нельзя обойти молчанием произведения Джойса Кэри — писателя несомненно честного и даровитого, хотя так и не определившегося до конца жизни, несмотря на долгий творческий путь. Нельзя не упомянуть роман Альфреда Нойса «Дьявол в отпуске» (1956) — сатиру, направленную против гонки вооружения и политики подготовки новой войны, — а также роман Десмонда Стюарта «Неподходящий англичанин».

Подлинно социальные романы, раскрывающие связь личности и общества, удаются лишь тем писателям, которые обладают демократическим, передовым мировоззрением. В этом смысле выделяются произве-

дения Джека Линдсея, давно работающего над серией романов о современной Англии (уже вышли «Весна, которую предали», «Поднимающийся прилив», «Час выбора» и «Жители пригорода»), романы Олдриджа, Соммерфилда, Гвина Томаса и некоторых других прогрессивных писателей. Не все эти произведения удачны в художественном отношении, но они *качественно* отличаются от того, что пишет подавляющее большинство современных романистов Англии, широкой обрисовкой жизни всей страны в ее борьбе и развитии. Однако передовых писателей в Англии пока еще немного. Большинство же английских писателей придерживается той манеры письма, которая лишь кажется реалистической. Они — реалисты в ограниченной сфере мелких наблюдений. Никакое ученичество у Диккенса и Фильдинга не может восполнить пробелов в картине, которая воспроизводится этими авторами. Она начинает соответствовать реальной картине мира только тогда, когда писатели, стоящие на распутье, освобождаются от ложных понятий и представлений, которые загрязняют и затуманивают их видение мира.

Положительные сдвиги в основном потоке английской литературы наиболее явственно выражены в двух группах явлений, которые трудно еще назвать направлениями.

Общественной основой критического реализма в творчестве тех зарубежных писателей, которые хотя и не примыкают еще к лагерю передовых борцов освободительного движения, но отнюдь не солидаризируются с лагерем империалистической реакции, становится протест демократических масс против империализма. В английской литературе, литературе народа, судьба которого в течение длительного периода была тесно связана с судьбой колоний, протест против колониализма красноречиво говорит о сдвигах, происходящих в сознании интеллигенции. Именно в этом вопросе, особенно остром для рядового англичанина, выявляется с наибольшей очевидностью общественная ориентация писателей, пытающихся занять промежуточные позиции между двумя полюсными идеологическими и эстетическими лагерями. Именно в этом вопросе прежде всего испытывается честность и правдивость английского художника.

Глубоко симптоматично появление за последние годы ряда романов, которые в разных формах и с разной силой выражают протест против британского колониализма и симпатию их авторов к народам колониальных и зависимых стран, борющихся за свое освобождение. Наряду с антиколониальными романами Олдриджа, наиболее, может быть, талантливого из английских писателей, связавшего свои творческие задачи с освободительной борьбой английского народа, появилось еще несколько произведений, протестующих против колониализма. В 1955 году выходит «Тихий американец» Грэхема Грина — книга, насыщенная большим реалистическим содержанием и взволновавшая мировую общественность. Показательно, что она принадлежит писателю, который завоевал репутацию мастера психологического анализа, но который стоял сравнительно далеко от общественной проблематики, волновавшей прогрессивно-демократического читателя. Нельзя не сказать, что в романе Грина «Сущность вопроса», написанном в 1948 году, было уже заметно развитие писателя в сторону тех настроений, которые породили «Тихого американца». Образы Скоби, Али и коммерсанта Джузефа в этом романе написаны кистью художника, начинающего не только видеть, но и показывать правду жизни колонии. Более того, интерес к общественным проблемам и конфликтам наметился в творчестве Грина еще раньше, что видно, в частности, в романе 1935 года «Англия меня создала». И все же именно в «Тихом американце» Грин говорит свое веское «нет» бесчеловечной практике колониализма и несправедливых войн.

Грин не одинок в изображении той острой освободительной борьбы в колониях, которая столь характерна для последнего десятилетия. Роман «Речные пороги» (1955) известного журналиста Безила Дэвидсона — острая книга, отличающаяся подчеркнутым оптимизмом, — говорит об уверенности автора в неизбежном крушении колониализма. Протестом против колонизаторов наполнен роман Десмонда Стюарта «Неподходящий англичанин»*. Эти и подобные им произведения, появившиеся в последние годы, заслуживают внимания демократического читателя и требуют пристального изучения со стороны исследователя процессов, происходящих в современной английской литературе.

Другим интересным явлением современной английской литературы, которое свидетельствует о назревающих переменах, надо считать выступление «сердитой молодежи».

«Сердитый молодой человек» — этот своеобразный представитель нового «потерянного поколения» — получил наиболее типологическое изображение в нашумевшей пьесе Дж. Осборна «Оглянись во гневе» (1956). Популярность совсем еще молодого писателя (причем, преимущественно у молодого читателя) свидетельствует о том, что автору удалось передать настроения широких кругов английской молодежи из буржуазно-демократической среды.

В яркой статье, присланной весной 1957 года в «Литературную газету», Джеймс Олдридж с большой горечью отметил растерянность и разочарование, царящие среди английского подрастающего поколения, ко-

* Наряду с антиколониальными романами, в Англии во множестве появляются также произведения, которые иногда откровенно, а подчас очень искусно защищают колониализм, пытаются поднять престиж Британской империи и колонизаторов. Таков, например, роман Ньюби «Пикник в Сахаре» (1955). Особенно показателен написанный в духе некоторых романов Киплинга бестселлер Алека Во «Остров на Солнце», впервые вышедший в 1955 г. и выдержавший уже несколько изданий.

торое считает себя «потерянным», хотя не ощутило даже десятой части того, что выпало на долю людей, начавших свою деятельность в сороковых годах и участвовавших во второй мировой войне. Олдридж видит в настроениях «сердитой молодежи» не только «модный» бунт, но и «приметы времени».

В романе голос «сердитых» прозвучал двумя годами раньше, в первом произведении молодого автора Кингсли Эмиса «Счастливчик Джим», которое с тех пор выдержало восемь изданий и, получив в 1955 году премию Сомерсета Могэма, было объявлено прессой самым удачным романом послевоенных лет. В 1955 году вышел второй роман Эмиса «Это неопределенное чувство». Различные молодые авторы, «сердитые молодые люди» — Джон Уэйн, Томас Хайнд, Питер Тоури, Джон Брейн и Айрис Мердок — причисляются критикой к одному направлению, объявляются выразителями «новой точки зрения на вещи», порывающими с литературными традициями предшествующего литературного периода.

«Сердитые молодые люди» недовольны решительно всем, что их окружает. Они одинаково сердиты на рабочего и на индустриального или финансового магната, на коммуниста и на католического епископа, на социализм и империализм, на продажную и гнилую «культуру» американского образца и на культуру вообще, на любовь и дружбу, на благопристойный брак по расчету и на брак по любви.

Попытка буржуазной критики отмахнуться от бунта «сердитой молодежи», как это делает, например, английский критик Росселли на том основании, что в Англии социальные проблемы якобы уже решены, — очередная фальсификация. Бунт «сердитой молодежи» был бы отнюдь не бесплодным, если бы эта молодежь знала, за что она борется. Бесплодность его в том, что «сердитые» не видят еще той баррикады, на которой им стоило бы умереть», как писала «Дейли уоркер».

Бунтующий мелкий буржуа, который затерялся между рабочим классом и правящей буржуазией и не умеет проявить активность в настоящей борьбе, — явление, в какой-то степени знакомое историку литературы Запада. Еще в десятых-двадцатых годах немецкие экспрессионисты громко протестовали против окружавшей их жизни. Презирая нравы мещанства, ненавидя буржуа, они призывали «бить их в морду», требовали анархического разрушения искусства и быта и говорили о человеке вообще. Протест экспрессионистов, выражавший индивидуализм мелкобуржуазных интеллигентов, был столь же беспочвенным, как и бунт «сердитой молодежи» пятидесятых годов: классовая основа этих явлений схожа, хотя исторические предпосылки их совершенно разные.

Для литературоведа художественные выступления «сердитой молодежи» особенно интересны потому, что это заставляет задуматься о тех формах, которые принимает критический реализм в английской литературе последнего десятилетия.

Английская печать особенно много внимания уделяет Кингсли Эмису. Критика охотно говорит о «манере Эмиса», «герое Эмиса», «литературной технике Эмиса» и т. д., называя его выдающимся писателем сегодняшнего дня, писателем, наиболее четко выразившим новые тенденции в новейшем английском романе.

О романах Эмиса трудно (и неверно) было бы говорить, как о произведениях *модернистских*. В них нет или почти нет модернистских средств художественного изображения. Манера повествования Эмиса ничем не осложнена, в его романах не нарушаются законы синтаксиса, отсутствует передача «потока сознания». В трактовке комических сцен, которых немало в обоих романах Эмиса, заимствование художественных приемов у Диккенса и даже Смоллетта (какова бы ни была пропасть между идейным содержанием романов Эмиса и романов его учителей) очевидно.

Герой Эмиса — вот то новое, что принес в английскую литературу молодой писатель.

Скучающий и недовольный, не способный ни на большое чувство, ни на активную борьбу, плывущий по течению, как бы ни омерзительна ему самому была вода той реки, которая несет его в своем потоке, — герой этот, как и та молодежь, настроения которой он выражает, пока не способен на целенаправленное и осмысленное действие. Герой Эмиса, как и сам Эмис, не верит в идеалы. Для него характерен не только нигилизм, но и своеобразная форма выставляемого напоказ цинизма. Ко всему решительно он питает отвращение, которое нигде, однако, не переходит в ненависть, нигде не толкает на борьбу.

В то же время роман Эмиса не бесперспективен. Эмис как художник обладает не только зоркостью и наблюдательностью, но и большим даром сатирика. Уже рассказ о короткой карьере Джимми Диксона — незадачливого ассистента в провинциальном университете («Счастливчик Джим») — содержал блестящие сатирические зарисовки. Второй роман Эмиса развивает мотивы, намеченные в первом, менее зрелом, произведении писателя.

Вряд ли можно сейчас говорить об искусстве Эмиса в целом как об искусстве критического реализма, но нет никакого сомнения в том, что творчество Эмиса ближе к реализму, чем творчество многих современных английских прозаиков.

Роман Эмиса стоит на распутье. На распутье стоит и английский буржуазный роман пятидесятых годов, в котором происходят интересные изменения, не вылившиеся еще, однако, в конкретные и для всех очевидные формы. По какому пути пойдет его дальнейшее развитие — покажет ближайшее будущее. Мы попытались лишь поставить некоторые вопросы, наметить направление некоторых процессов, которые, на наш взгляд, характерны для английской прозы последних лет.

О. Егоров

„Прием в свете" Г. Манна

Продолжительное время, примерно с 1947 по 1956 год, роман Генриха Манна «Прием в свете»* представлял своего рода литературную загадку. То обстоятельство, что во второй половине сороковых годов роман был писателем уже завершен, являлось фактом широко известным и непреложным. Наименование произведения также было найдено и не составляло какой-либо авторской тайны. В письме к Арнольду Цвейгу из Калифорнии в феврале 1950 года Манн сообщал, между прочим, что по времени написания «Прием в свете» предшествует «Дыханию» (1949) — его последнему опубликованному произведению.

Но именно эти скупые сведения и составляли, пожалуй, все то, что на протяжении десяти лет знали о предпоследнем романе Генриха Манна ценители его таланта — читатели, критики, историки литературы.

Неожиданная кончина писателя прервала и без того затянувшуюся подготовку к опубликованию романа в Стокгольме. Лишь шесть лет спустя, в 1956 году, книга впервые увидела свет в берлинском издательстве «Ауфбау».

«Прием в свете» привлекает внимание своеобразной формой реалистического мастерства позднего Г. Манна. В книге смело сочетаются безудержный, как бы совершенно «нереалистический» полет авторской фантазии и строгая, суровая, порой чрезмерно скупая манера обрисовки человеческих характеров. Презрительная сатира на буржуазные законы и нравы уживается рядом с главами, в которых писатель с увлечением разыгрывает сцены мистические, проникнутые духом упадка. В этом романе, как и обычно, Генрих Манн выпускает много метких стрел, целясь и в крупные, и в едва приметные для глаза пороки империалистического общества, но, вопреки прежним правилам, избегает прямого и недвусмысленного ответа на вопрос, где и когда происходят события, описанные в произведении. Он предоставляет читателю возможность самому разобраться в этой проблеме, выдвигая при этом противоречивые факты или события, порой трудно совместимые по времени и месту действия.

Опубликование романа не развеяло целиком атмосферы загадочности вокруг него. Так, в упомянутом письме к А. Цвейгу писатель вскользь отмечал, что время действия в его сатирическом произведении предшествует событиям в романе «Дыхание», иными словами — его следует отнести к 30-м годам, к кануну мировой войны. Но вот появился в печати «Прием в свете», и стало несомненным, что слова автора нельзя понимать буквально. В беглом замечании содержалась лишь доля художественной правды, которая была заключена в произведении. В действительности, писатель создал обобщенную, сублимированную, хотя несколько абстрактную, картину жизни европейского космополитического «высшего общества», наиболее яркие черты которого окончательно сложились в 30-х и 40-х годах нашего века. Новый облик современного буржуа и модная светская жизнь буржуазного общества после второй мировой войны — такова тема романа.

Воссоздается гнетущая, душная и сумеречная атмосфера первых послевоенных лет, обстановка, которая была свойственна побежденной стране. Возникают люди, разыгрываются события, строго обусловленные духом времени: происходит крушение былых надежд и иллюзий, наступает пора разочарований, духовной депрессии; в общественной жизни — резкий упадок (на первых порах) деловой активности, крах банков и т. п. Крылатым становится грозное слово «Сталинград». Оно употребляется, в частности, для обозначения краха в личных замыслах. В новых условиях героями светской жизни выступают «идейные» воры и гангстеры, считающие, что в мире все равно все люди друг друга грабят и прежде всего — банкиры и военнозаводчики, обворовывающие народ. Героиня романа Стефани бросает предупреждение гангстеру Пулейле: «Смотрите, чтобы вас не постиг Сталинград».

*Heinrich Mann. „Empfang bei der Welt". Berlin, Aufbau-Verlag, 1956.

Актриса Лукка упрекает военных промышленников в том, что они «развязали две войны».

Генрих Манн стремится к сгущению событий, к их своеобразному «возведению в степень», он хочет преподнести как бы квинтэссенцию пороков европейской буржуазии. С этой целью он отказывается от прямого ответа также на вопрос, где происходят события. Черты внешнего национального колорита намеренно сняты или стерты автором. Изолированность главных героев — Андре и Стефани — от конкретных форм общественной борьбы еще более усугубляет локальную неопределенность романа. Как и в «Дыхании», Г. Манн приводит длинные диалоги на иностранных языках. Персонажи изъясняются не только понемецки, но без видимой причины прибегают порой к французскому или английскому языку. Иногда они вставляют в свою речь и итальянские, испанские или чешские словечки. (Чаще всего — чтобы сказать mot*).

Но если в романе «Дыхание» иностранная речь служила дополнительным художественным средством для передачи национального своеобразия личности, то в сатирическом произведении, наоборот, многоязычие персонажей отображает отсутствие в их натурах глубоких, истинно национальных черт характера. Даже имена персонажей во многих случаях скорее затрудняют, чем облегчают разгадывание национальной принадлежности. Во многом справедливо замечание Томаса Манна о романе его старшего брата: «Прием в свете» — это «страшная общественная сатира, арена действия которой везде и нигде».

И все же нельзя не заметить, как автор романа настойчиво и последовательно стремится выдвинуть на передний план глубоко специфические условия жизни, свойственные Западной Германии, насыщая и перемежая их чертами и обычаями французского и американского «высшего общества».

Роман «Прием в свете» был создан Г. Манном вслед за крупным публицистическим трудом «Обзор века» (1947). Между обоими произведениями существует, однако, не только внешняя, временная связь. В «Обзоре века» Манн-публицист подверг критическому обзору важнейшие международные и германские политические проблемы, начиная от возникновения империи и вплоть до краха гитлеровского рейха. В романе обрели свое художественное выражение именно те общественно-исторические тенденции, которые были ранее так обстоятельно вскрыты и обсуждены. Оба произведения связаны единым направлением авторской мысли, роман как бы вырос из общих итогов авторских размышлений над судьбами буржуазии в XX веке.

«Обзор века» справедливо рассматривается как книга, подводящая своеобразный итог полувековой общественно-публицистической деятельности писателя. Герои романа таковы, что позволяют подвести заключительную черту под всеми сатирическими фигурами, созданными Манном за пятьдесят лет художественной практики.

Писатель выводит травмированных, развращенных войной людей из буржуазной среды, героев с ненормальной, болезненной психикой. Их вышибла из седла военная катастрофа, их разъедает космополитический маразм, охвативший после войны оккупированную Тризонию. Но эти люди все еще крепко цепляются за жизнь, они вновь хотят взобраться на коня. И пусть им это даже на время удастся! Как показывает художник, их усилия — это судороги обреченных, их дерзость и наглость вызваны внутренней ослепленностью и отчаянием.

Отказавшись от внешнего историзма, Г. Манн остается верным историзму иного, глубинного свойства. Историзм в романе проявляется исключительно в сфере изображения характеров действующих лиц, в специфике их внутреннего мира.

Решающие страницы произведения отведены очень подробному, чрезвычайно детальному воспроизведению светского приема, устроенного крупным оперным антрепренером Артуром, чтобы по подписному листу собрать деньги для восстановления оперного театра. Внимание автора сконцентрировано на описании характеров, нравов, стремлений и обычаев прибывших гостей.

Такое обращение с творческим материалом не является чем-то принципиально новым в практике Г. Манна. Чтобы убедиться в этом, достаточно воспроизвести в памяти расстановку акцентов в самом первом сатирическом романе Генриха Манна — «Земля обетованная», созданном молодым художником еще в 1900 году. Большой званый прием, устроенный тогда банкиром Тюркгеймером, занимал примерно такое же центральное место, какое теперь отведено вечернему приему, затеянному Артуром. Показательно само направление, в котором смещается объем глав, посвященных описанию светских приемов в обоих романах. Три вечера во дворце и вилле Тюркгеймера заняли некогда более трети книги. Одна ночь в роскошных апартаментах Артура поглотила теперь половину романа.

Перекличка с романом 1900 года составляет одну из существенных особенностей настоящего произведения. Композиционная, тематическая и идейно-эмоциональная (сатирическая) общность естественно сочетается со сходством проблем, поставленных автором во главу угла обоих романов. Обстоятельно развертывает Г. Манн сквозную для всего его творчества идею несовместимости подлинного искусства и общественных порядков, построенных на погоне за прибылью. С большой силой эмоционального воздействия художник показы-

*Mot *(фр.)* — острое словцо.

вает, как быстро гибнет в человеке все живое и здоровое, если только он попадает в орбиту влияния «высшего общества», если он имел несчастье (пусть вначале это кажется счастьем) прикоснуться к «золотому тельцу».

Однако до чего все-таки изменились люди, которые вхожи в высшие круги общества, за последние пятьдесят лет! Правда, они и раньше не отличались искренностью или честностью, благородством мыслей или чистотой поступков. Но в них все же ощущалась значительная сила характеров, напор страстей и желаний — хотя бы только животных, низменных желаний. Они были уверены в своем будущем, целеустремленно и энергично осуществляли большие замыслы — хотя и проявляли при этом эгоизм, жестокость, звериную хватку. Теперь это тоже характеры хищников, но уже хищников мелких, преследуемых и неоднократно битых. Они по-прежнему опасны, но уже скорее как грызуны, которые разносят заразу чужих болезней. Европейский «бомонд» выродился, в нем быстро и неудержимо прошел процесс утраты человеческих ценностей. Потеряны перспективы благоприятного развития для всего буржуазного общества в целом. Ночной прием у Артура изображен Г. Манном в духе легендарного трагического пиршества Валтасара или как некий современный пир во время чумы. Символично, что имя Валтасара носит отец Артура — миллионер, умирающий в тот момент, когда его сын буйно и непристойно веселится со своими гостями.

Поставив в центр романа длинную, только в карандаше набросанную галерею различных лиц, а не отдельные яркие и законченные портреты, писатель, естественно, мало интересуется диалектикой души своих героев. Характеры статичны, это сложившиеся, «переспелые» и потому преимущественно однотонные люди, которые находятся накануне своей окончательной гибели. Каждый персонаж — метко, но бегло очерченный,— дополняет собой другой, и все вместе они образуют внутренне однородную, изъеденную временем вереницу фигур.

«Борец за существование» — так иронически представлен в романе оперный антрепренер Артур. С большим успехом сумел этот ловкий делец превратить искусство в искусство делать золото. Борьба Артура за существование — это выродившаяся форма столь примечательной некогда погони буржуазного героя за счастьем, славой, положением. У дельца середины XX века эта погоня вылилась в маниакальное стремление воевать, покорять, уничтожать. Артур получил свое имя в честь Шопенгауэра, и вполне естественно, что на исходе буржуазной эры его девизом стали слова: «Пусть идет война, пока я могу участвовать в борьбе за существование».

Основным оружием из арсенала сатиры Г. Манном выбраны ирония, сарказм и гротескная маска. Роман выдержан не только в сатирических тонах, которые передают позицию автора, но и в минорных, щемящих душу тонах, выражающих настроение героев. Но и в этом случае писатель стремится придать ламентациям своих героев добавочную ироническую окраску. Вот люди играют в восстановление оперного театра — жалкая попытка создать иллюзию нового расцвета искусства. Трагикомически звучат слова молодой бездарной актрисы, которая вместо таланта может предложить антрепренеру только свои пышные формы. «Мы призваны охранять последние столпы на поле, усеянном обломками культуры», — говорит она напыщенно.

В порыве наигранного восторга Артур объявил собравшееся у него общество «бастионом против варварства». Писатель убедительно показывает, что в реальной действительности бастионом варварства в буржуазном обществе является как раз «высший свет». Здесь опошляется подлинное искусство, тут покупаются и продаются артисты, художники, литераторы. Банкир Нолюс слывет тонким ценителем живописи — лишь потому, что спекулирует картинами. Бывшая княгиня Анастасия мечтает о роли Кармен и за отсутствием хорошего голоса добивается своего хорошими деньгами. Музыканты джаз-оркестра, веселящего своей музыкой души «жирных», одеты в костюмы великих композиторов прошлого. В джазе играют Шопен и Верди, Берлиоз и Брамс; Иоганн Себастьян Бах играет на... поющей пиле.

Нравы артисток-кокоток таковы, что моральный уровень персонажей романа о «земле обетованной» может показаться образцом добродетели. Авантюристка Нина и две стареющие женщины добиваются любви Андре — одна из них должна стать его мачехой. Певица Алис, провалившаяся при первом исполнении арии, обращается к «домашнему» вору Пулейле с таким предложением: «Если ты добьешься для меня второго выступления, то я готова для тебя красть, убивать, поджечь весь дом».

В уста каждого действующего лица Генрих Манн искусно и ненавязчиво вкладывает одну-две фразы, которые в краткой афористической форме выражают психологическую сущность образа. Самоуверенный и наглый управляющий театрами утверждает: «Где я нахожусь, там всегда верх». Президент треста военных заводов провозглашает, потрясая кулаками: «Наш век принадлежит мужчинам». Именно к нему обратился банкир Нолюс, прежде чем затеять пьяную схватку с Пулейле, приглашая «высокочтимого убийцу проявить воодушевление и внести свои кровавые дивиденды на дело культуры». Старый Валтасар, умирая в подвале дома на огромной куче золотых монет, обратился к ним с прощальной одой. Люди постоянно изменяют друг другу, говорит он, а золото остается вечным и неизменным. «Так будь же прославлено, мое золото! Ты одно утверждаешь себя. Я воспеваю тебя, мое золото, ибо только ты

остаешься верным. Умирая, я обнимаю тебя и беру с собой!»

Тема золота и преклонения перед ним проходит сквозь весь роман. Она определяет отдельные компоненты художественной типизации, частные тематические детали. Как некогда в «Земле обетованной», цвета одежды и расцветка драгоценностей у действующих лиц, а также окраска мебели, безделушек и т. д. строго выдержаны автором. Превалируют различные оттенки таких возбуждающих чувства цветов, как красный, золотой, желтый, огненный. Даже фрак у Артура — карминного цвета, а палочка у дирижера — из чистого золота. По меткому, хотя и грубому, выражению одной певички, в доме Артура «везде воняет золотом».

Вульгарность этого выражения художественно мотивирована. Она подчеркивает различие в той моральной и физической атмосфере, которая господствует на светских приемах в двух перекликающихся романах. В первом автор просто отмечал, что в доме было «очень душно» (как в прямом, так и в переносном смысле слова). Тут же отчетливо дают о себе знать признаки смерти и разложения.

Андре и Стефани ясно уловили эти признаки в обществе, в котором они выросли. Считая себя представителями «нового поколения», они безбоязненно, хотя вместе с тем как бы вполголоса, произнесли приговор всему старому миру. Тому, чему вы говорите да, мы говорим нет, заявили они. «Эти дети, — замечает писатель, — в общем были спокойны: немногим раньше, немногим позже, но все скоро будет сломлено».

Андре и Стефани завершают ряд героев Г. Манна, открывающийся в начале века противоречивым образом Андреаса Цумзее в романе «Земля обетованная», а затем продолженный в 20-х годах по-экспрессионистски бунтарскими фигурами Терра, Мангольфа (роман «Голова») и человеком с головой философа из новеллы «Кобес». Однако внутренне Андре и Стефани еще более изломаны и исковерканы, чем их предшественники. Главное — они еще более обессилены как характеры, как человеческие личности.

Художественная манера Генриха Манна почти всегда была осложнена — иногда в бо́льшей, иногда в меньшей степени — чертами экспрессионистской эстетики. Эти черты — как тенденция — обычно возрастали в творчестве Генриха Манна в периоды идейных кризисов, в годы, когда по тем или иным причинам писатель стоял в стороне или, как в последний период жизни, был в некоторой степени оторван от борьбы широких масс своего народа. Вместе с тем творческие приемы, выработанные немецким левым экспрессионизмом, заново, по-своему переоценивались и переосмысливались писателем и входили в его реалистический художественный метод в качестве неотъемлемой, лично пережитой, оригинальной составной части.

Своеобразные художественные приемы, которые в изобилии можно встретить на страницах романа «Прием в свете», входят в сферу реализма Генриха Манна. Портреты эпизодических лиц нередко даются в форме гротескной маски, которая, однако, теперь менее жесткая и цветистая, чем маска 1900 года. Эта маска более тонка и подвижна. Некоторые фигуры получают не имена и фамилии, а только презрительные клички, в которых рельефно отображается основное впечатление от их внешности: например, о мужчине — «Платяной шкаф», о женщине — «Гадкий утенок». Писатель смело вводит прием параллельной передачи диалогов двух изолированных друг от друга групп людей. Как кадры в кинофильме с напряженным действием, одна сцена чередуется с другой без каких-либо переходов и авторских комментариев. Остается только внутренняя тематическая связь между одним диалогом и другим. В конце романа почти все диалоги построены по строго драматическому принципу. Реплики действующих лиц начинаются с красной строки после их имен и двоеточия.

Роман «Прием в свете» — произведение, по-своему характерное для реализма позднего Г. Манна. Едва ли следует соглашаться с мнением немецкого демократического критика Э. Гильшера, который видит в романе вершину творческих достижений великого сатирика. «Прием в свете» — художественно менее совершенное произведение, чем, скажем, всемирно известный «Верноподданный». Но и в посмертно изданном романе Генрих Манн — оторванный от живительных истоков обновленной родины, преследуемый американскими властями — до конца остался верным основному пафосу всех своих сатирических произведений — презрению и ненависти к германской буржуазии.

Мартин Наг

Путь к расцвету

(Прогрессивные тенденции в современной норвежской литературе)

Прежде всего несколько слов о том, как я понимаю термин «прогрессивная литература».

Прогрессивной является литература, которая созидает, творит, пропагандирует веру в жизнь и будущее, выступает в защиту эксплуатируемых, простых людей, литература радикальная и социалистическая, то есть объективно стоящая в оппозиции к капиталистическому обществу.

В тридцатые годы прогрессивные силы норвежской литературы сплотились в единый фронт против растущей угрозы фашизма. Это выразилось во всеобщей симпатии к республиканской Испании. Однако уже в конце тридцатых годов большинство наших писателей утратило свои прогрессивные убеждения. Это касается в первую очередь «трех великих» литераторов предвоенных лет: Арнульфа Эверланда, Сигурда Хуля и Хельге Крога.

Им противостоял Нурдаль Григ, не отказывавшийся от своих убеждений в самые трудные годы. Григ создал талантливое, проникнутое верой в победу сил прогресса произведение «Мир должен быть молодым» (1938). Его вдохновенные стихи «Человеческая природа» (1943) открывают послевоенный период нашей литературы призывом: «Не поддавайтесь усталости, как это бывает с людьми после войн». Мы поддались усталости, обманув ожидания Нурдаля Грига. А его живое слово напоминало о себе в годы холодной войны. Его дело ждет своих последователей, ибо Нурдаль Григ, любивший простых людей, принадлежит будущему.

В первые годы после войны в норвежской литературе преобладал психоанализ. Это явление поддается и в то же время не поддается объяснению. Оно необъяснимо постольку, поскольку социальная действительность во время войны была так сурова и ясна, что можно было рассчитывать на ее последующее влияние и на жизнь и на литературу. Оно объяснимо, так как детальная психологическая разработка частных жизненных проблем является, по существу, бегством от конкретной действительности, от социальных истин.

Литература первых послевоенных лет проникнута идеей всеобщей виновности. Она требовала от каждого взять на себя какую-то долю вины. Этой пассивной концепции следовало бы противопоставить лозунг: «Обвиняйте виновных! Мы не виновны».

Тем не менее мы не слагаем с себя ответственности за свою собственную судьбу и судьбы других. Даже напротив. Но возлагать вину на плечи невиновного — нечестно по отношению к будущему. Утверждать, что мы все виновны, значило предать солидарность военного времени. От этого выиграли бы силы реакции, выиграл бы фашизм.

«Трое великих» не создали после войны значительных произведений. Жизнь «потерянного поколения», воспевание смерти — вот тематика, к которой обратились С. Хуль и А. Эверланд. Лишь Х. Крог сохранил известную близость к прогрессивному направлению в литературе.

И если меня спросят, кто сейчас является крупнейшей фигурой среди норвежских писателей, я назвал бы Акселя Сандемосе. Он обладает всеми качествами человека незаурядного: оригинальностью, неистощимостью таланта и — не в последнюю очередь — прогрессивностью взглядов. Искусство Сандемосе — это, по его собственным словам, взрыв, «извержение интеллекта». Его произведения можно сравнить со смертоносными осколками. Я говорю «смертоносными», потому что его искусство — смертный приговор старому обществу. Сандемосе говорит: «Классовое общество гибнет, как только познана и проанализирована его структура».

Поэт Клаэс Гилл — полная противоположность Нурдалю Григу. Он предсказывает: «Через пятьдесят лет дело Нурдаля Грига будет мертво». Гилл — представитель модернизма в норвежской литературе. Он — крупный поэт, по его собственным словам «вооруженный благородным оружием слова и пишущий благородными буквами». Гилл говорит об одном из поэтов старшего поколения Нильсе Коллете Фогте (в позднем творчестве), что тот хочет «поставить

неизгладимые следы великого духа над субстанцией и символом... изобразить тончайшие формы душевных движений». Эти слова можно было бы отнести к самому Гиллу, хотя он не настолько реакционен, как сам полагает.

Модернизм как программа носит явно реакционный и пораженческий характер. Это идеология смерти. Мы понимаем отчаяние модернизма и в то же время отвергаем его несовершенные и ошибочные попытки решить наши проблемы.

«Ни один поэт не может воспитывать публику. Он может заставить ее думать и чувствовать, но воспитывать она должна сама себя»,— говорит молодой поэт Пол Брекке и продолжает: — «Я думаю, что... заигрывание с простым человеком опасно для нашей европейской демократии». Такое высокомерие показывает, что модернизм влечет за собой бесплодие.

Пол Брекке наиболее известный из наших молодых поэтов-модернистов. В своей книге «Фехтование с тенями» (1949) он следует традиции Клаэса Гилла. Книга Брекке может служить справочным пособием по страху, этому основному понятию модернизма. Прогрессивные тенденции в творчестве Пола Брекке невелики, но они существуют и страшат самого Пола Брекке. Не так давно он высказывал в противовес К. Симонову ту точку зрения, что «в конце концов каждый говорит только от себя, что поэт обращается только к одному, но к одному во всех».

В 1952—1955 гг. появилось несколько романов, свидетельствующих о начале поворота в литературной жизни Норвегии. Мотив социальной солидарности вновь начинает ощутимо звучать в литературе. В нее пришли новые авторы, твердо стоящие на земле.

Ханс Сельмер Эд пишет о землекопах: «Странники» (1954) и «Пусть дорога ведет дальше» (1955). Его герои исполнены гордого самосознания: «Кто проложил железные дороги, кто строил дороги километр за километром из одного конца страны в другой? Кто построил электростанции и затем ушел, уступив место людям, получившим постоянную работу на всю жизнь?»

Книга Карстена Хауга «Не бойтесь любви» (1954) посвящена забастовке рабочих в лесном поселении. Роман Сульвей Хауган «Из земли ты вышел» (1952) изображает жизнь трудящихся в начале прошлого века. Романы Ингвалла Свинсоса написаны на материале жизни горняков.

Эти произведения, рисующие действительность такой, какова она есть, сходны по духу с лучшими итальянскими неореалистическими фильмами. Они внесли оживление в норвежскую литературу, находившуюся в состоянии застоя. Время, когда в литературе безраздельно царил культ психологии отдельной личности, прошло.

Прогрессивные тенденции в современной норвежской литературе появились не на пустом месте. Почва для них была подготовлена произведениями Сигурда Эвенсму, Эйвина Болстада, Юхана Боргена, Одда Банга Хансена. Из писателей старшего поколения значительное влияние на творчество молодых писателей оказал Юхан Фалькбергет.

В развитии прогрессивных традиций в современной норвежской литературе большую роль играют женщины-прозаики и поэты. Лучшие традиции писательниц старшего поколения Сигрид Ундсет и Коры Сандел — гуманность и реализм — продолжает в настоящее время Торборг Недреос, роман которой «Теплые руки» (1952) является наиболее сильным протестом в нашей литературе против «холодной войны».

Ингер Хагеруп дебютировала, как и Клаэс Гилл, незадолго до начала войны. Ее поэзия проникнута теплотой и интимностью и, одновременно, лишена ограниченности. Свое кредо Ингер Хагеруп формулирует так:

Пока в сердцах людей
живут любовь, доверие и вера,
человек не умрет.

В прекрасном стихотворении «Женщинам, которыми мы рождены» она говорит:

Мы хотим, чтобы свершалось доброе
дело жизни,
чтобы сила подала руку слабости,
чтобы люди помогали друг другу.
Мы знаем, что так хочет сама жизнь.

Эту же прогрессивную линию продолжает другая поэтесса, Халлдис Морен Весос. Ее стихи полны страсти, нежности и воли к жизни. Она называет себя «бодрствующим свидетелем всех хороших событий».

Обе поэтессы в своем творчестве придерживаются традиционной формы. Они не экспериментируют в модернистском понимании этого слова. Их контакт с реальной жизнью слишком тесен, чтобы они могли впасть в искушение и последовать моде.

Любопытно, что Тарьей Весос, муж Халлдис Морен Весос, поддался этому искушению. После войны он написал несколько символических романов в стиле Франца Кафки, в которых он, по его собственным словам, хочет «воспринять современность в себе». При чтении этой книги создается впечатление, что писатель заигрывает с будущим и делает все возможное, чтобы избежать обвинения в узости и провинциализме. В своем космополитизме Весос дошел до предела, желая стать бо́льшим католиком, чем сам папа. В отличие от Франца Кафки, претворявшего свой болезненный страх перед смертью в аллегории, видения, Весос, которому чужда сдержанность, сам здоров. В его символистических романах есть что-то незаконченное. Дело, видимо, в том, что поставленная им задача неосуществима. Невозможно претворить в абстрактный символ такое конкретное явление, как борьба против фашизма, как он пытается делать в книге «Дом во тьме».

Послевоенная лирика Т. Весоса, на мой взгляд, менее всего окрашена символизмом и модернизмом. Прелестный рассказ о первой юной любви, «Любопытный», показывает, что сила Т. Весоса — в показе стихийно-

го простого чувства. Для него употреблять сложные и искусственные формы — все равно что щеголять в чужих перьях.

Среди молодых поэтов был один, который никогда не уподоблялся вороне в павлиньих перьях. Это — Тур Йонссон, чье творчество в наибольшей степени принадлежало будущему. К несчастью, он слишком рано умер, покончив с собой.

Обычно считают, что период расцвета норвежской поэзии относится к послевоенным годам. Я не могу полностью согласиться с этим утверждением.

Действительно, в это время созданы тонкие красивые стихи о природе и об интимных переживаниях. Но поскольку пейзажная и интимная лирика часто становится самоцелью, я протестую против нее, хотя и не являюсь противником лирической поэзии вообще. Мне кажется, что нужно что-то большее.

В целом норвежская поэзия сегодня — это прежде всего бегство от реальности, а не размышления о современности. В этом ее слабость. Слово «страх» стало в ней модным. Карл Кьелхау говорит: «Мы простились с надеждой и верой». Он выражает мысли определенных кругов интеллигенции и некоторых слоев высших классов.

Поэтам следовало бы вселять в нас смелость. Они должны были бы показывать светлое будущее для простых людей.

Вслед за Нурдалем Григом, сказавшим о Гамсуне, что он всем своим творчеством пытается успокоить свою больную совесть, мы можем сказать то же самое о норвежской поэзии последних лет. Это — поэзия больной совести.

Большинство поэтов ориентируется на Запад, используя в качестве образцов для своей лирики творчество поэтов-индивидуалистов Англии и Соединенных Штатов. Это не может быть плодотворным.

Мне бы хотелось крикнуть им: «Взгляните на Восток!».

Ведь это факт, что в Норвегии совершенно незнакомы с творчеством трех самых известных поэтов социалистического лагеря: Владимира Маяковского, Пабло Неруды и Назыма Хикмета, которые совмещают социальное и личное, простоту и утонченность формы. Это такие поэты, творчество которых в настоящее время может быть воспринято читателями во всем мире.

Норвежские поэты, как и все поэты Запада, рано или поздно будут черпать вдохновение у Маяковского, Неруды, Хикмета и других, так как невозможно в течение долгого времени обходить их молчанием.

Обычно говорят, что современная послевоенная литература — это литература кризиса. В этом определении содержится одновременно и характеристика и оправдание. Я согласен с характеристикой и не согласен с попыткой оправдания. Да, современная литература — это литература кризиса. Однако я не хочу иметь ничего общего с теми, кто защищает хаотическую форму и настроения страха, а также пассивность ради спасения самого себя. А это случается слишком часто. Да, кризис существует, и мы должны пытаться преодолеть его. Этого обстоятельства часто не хотят видеть наши современники, в том числе современные литераторы.

Модернизм воспроизводит действительность, но не стремится к изменению ее. Следствием этого является защита существующей действительности. Но к чему защищать эту действительность, если она недостойна защиты?

Конечно, современные релятивистские тенденции разрушают моральные нормы. Но неправильно думать, что мы можем преодолеть кризис, изменив нормы. Мы должны изменить лицо самого времени.

Это единственно прогрессивная точка зрения.

Там, где эта концепция проникает в литературу, мы имеем дело с прогрессивной литературой или прогрессивными тенденциями.

Суммируя все сказанное, сделаем следующие выводы. После распада фронта прогрессивных норвежских писателей в конце тридцатых годов на своем посту остался по сути лишь Нурдаль Григ, ставший во время войны для норвежского народа символической фигурой. Со времен Хенрика Вергеланда ни один поэт не был так популярен среди простых людей, как он. Это свидетельствует о безошибочном инстинкте народа.

Если бы у нас были писатели, подобные Нурдалю Григу, норвежская прогрессивная литература первых послевоенных лет имела бы хорошие условия для развития. Благоприятная ситуация была налицо. Однако использовать эту ситуацию было некому.

В более поздний период, когда Норвегия присоединилась к НАТО, сознательно прогрессивная литература существовала в очень трудной обстановке.

Обстоятельства сложились таким образом, что нам приходится довольствоваться скорее неосознанными, чем осознанными прогрессивными тенденциями.

Взятые в большой литературной перспективе, все, даже самые слабые, прогрессивные тенденции имеют большую ценность, если не с точки зрения сегодняшнего дня, то во всяком случае с точки зрения будущего.

Будущее за прогрессивной норвежской литературой.

г. Ставангер, Норвегия

ЭНДРЕ АДИ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОШЛОГО

О. Россиянов

ЭНДРЕ АДИ С НАМИ

Имя Эндре Ади много говорит сердцу каждого венгра.

Ади — это новый подъем, новый расцвет венгерской поэзии, вступившей в двадцатый век — век пробуждения народа к напряженным политическим б"твам, которые, по выражению поэта, разрушили стены австро-венгерской «тюрьмы».

Ади — это целый этап в духовном развитии венгерских читателей: его поэзия, а также страстная, блестящая публицистика, отмеченная печатью пытливого и проницательного ума, сыграли в их идейном воспитании огромную роль. В двенадцатилетие, предшествовавшее венгерской пролетарской революции 1919 года, поэзия Ади, по свидетельству его современника Жигмонда Морица, «...пользовалась невероятным, беспримерным влиянием на молодежь». И сам Мориц, вспоминая это время духовного возмужания людей своего поколения, «с благодарностью и счастливым удовлетворением» называл его «годами Ади».

Благодаря Ади венгерской интеллигенции, венгерским писателям стали понятнее, ближе идея служения народу, рабочему классу, идея дружественного союза венгров со всеми свободолюбивыми народами в их общей борьбе против угнетателей; яснее стала неразрывность национального освобождения и пролетарской революции. Ади одним из первых в венгерской литературе принес клятву верности пролетариату: «Я — ваш... Одно у нас Солнце на великолепном небе...»; он провозгласил нерушимый обет братства:

Печаль славян, румын и венгров —
Всегда единая печаль!*

Эти главные идеи творчества Ади близки, дороги всем, кто сейчас, спустя полстолетие, живет и борется ради счастливого будущего человечества.

Темпераментные, самобытные стихи Ади уже зазвучали на русском языке в переводе советских поэтов. Это пока лишь небольшая доля его поэтического наследия. Но и по ним можно судить о характерной особенности Ади: огромном, захватывающем читателя душевном напряжении. Поэзия Ади — это поэзия возмущенных, бунтующих чувств, нередко сталкивающихся, противоречивых. В ней сливаются гнев и яростное ликование, слышится ожесточенная угроза барам и пламенная мольба к «Красному солнцу» революции. И над этой стихией бушующих чувств торжествует непокорный и гордый вызов, неукротимый порыв к цели, побеждающий все козни и препятствия, который с такой силой звучит, например, в стихотворении «От Эра до Океана»:

Пусть небо скифское обрушится на голову мою,
Пусть сто проклятий в кровь мою вольются через рану,
Пусть тысячи кротов воздвигнут сеть плотин —
Я все-таки достигну Океана!

В стихотворениях Ади почти всегда присутствует незримый собеседник, поверенный чувств, перед которым поэт раскрывает свое сердце, или противник, на кого обрушивает он обвинения, даже если этот противник — он сам, его собственные сомнения, заблуждения. Так клянет он себя в стихотворении «С соплеменниками вместе проклинаю» за то, что не может с былым рвением выполнять свой долг поэта: «рифмой и саблей, словом, проклятьем» жечь, разить «барскую» прогнившую Венгрию, быть «отмстителем» за народные страдания, «героическим кнутобойцем» всяческого зла. И это прямое обращение к самому себе позволяет поэту с беспощадной откровенностью излить свои горестные и сокрушенные укоризны. А с каким скорбным, но уничтожающим превосходством, с какой непоколебимой верой в свою правоту отвечает он (в стихотворении «Морские каракули») морской стихии, предписывающей поэту, кем ему быть, как себя вести! Заносчиво пенящееся море, «бумажонка голубая» — это вызывающая персонификация непрошенных советчиков, осмеливающихся по-

* Стихотворения приводятся в переводах Л. Мартынова.

учать поэта, что придает его отповеди оттенок некоей «богоборческой», мятежной гордости.

Особенно страстную, гневную силу приобретают обвинения Ади, когда он бросает их в лицо угнетателям, господствующим классам. Тогда это уже — пламенная речь трибуна; вызов поэта превращается в обличение именем народа:

Я Дёрдя Дожи внук, я дворянин в лаптях,
Скорбящий за народ... Эй, господа, эй, баре,
Вам не пора ль с народом-косарем
Поговорить? Ведь летний зной в разгаре! —

спрашивает поэт и заключает с грозной и мстительной радостью:

Куда бежать вы броситесь из замка —
Разбойничьего вашего гнезда,—
Когда придет народ и с громом все ворота
Захлопнет перед вами, господа?

Постоянное присутствие слушателя, собеседника, которое превращает стихотворения Ади в своеобразные лирические диалоги и монологи, обвинительные или зажигательные, сообщает особую драматическую напряженность и полемическую, памфлетную заостренность его поэзии. Разные голоса слышатся в ней: то делятся своими горестными сомнениями и надеждами куруцы — венгерские повстанцы, солдаты антигабсбургских войск Ракоци; то чудится «еретическая» проповедь протестантского проповедника времен реформации; то звучит мятежная угроза крестьянина или речь рабочего агитатора, социалистического трибуна, ободряющего народ, призывающего к еще более дружному, смелому натиску на угнетателей. Агитационными, публицистическими призывами к рабочим были, в частности, многочисленные стихотворения Ади 1907—1912 годов, печатавшиеся в социал-демократической газете «Непсава» («Перед землетрясением», «Поповский бог», «Ненависть и борьба» и другие).

Но в каком бы обличье ни выступал поэт, всюду неизменно слышится страсть гражданина, которого волнует судьба родины, который желает гибели отжившему строю:

Проснулась кровь. Кипит огнем все.
Молчание. Никто не дрогнет.
Мы в революцию несемся!

Впервые после Петефи в венгерской литературе явился поэт такого воинствующего склада, человек с напряженной, зрелой душевной жизнью, носящий в своей груди всю бурную сложность эпохи, которая сама немало «повзрослела» со времен Петефи. Поражение в национально-освободительной войне 1848—1849 годов, предательство венгерских господствующих классов, которые по соглашению 1867 года с Австрией целиком отказались от всякой борьбы за независимость, были суровым испытанием для страны, усложнившим общественную борьбу, поставившим венгерский народ перед новыми трудными социальными проблемами.

Для Ади, избравшего профессию журналиста и уже в ранней юности окунувшегося в стихию политической борьбы, было тяжелым ударом убедиться в полной общественной и моральной деградации дворянства, которое и думать забыло о патриотических заветах 1848 года; увидеть, что в официальной политической жизни в конце века восторжествовал самый бесстыдный и низменный карьеризм, погоня за выгодой. Начинаются тяжкие, мучительные раздумья над будущим своей родины, напряженные поиски — и в Венгрии и в Европе — общественных сил и идеалов, которые помогли бы стране добиться национальной свободы и прогресса.

Помнивший горький исторический опыт венгерской революции 1848 года, живший в эпоху, когда мир стал «тесен» для великих держав, Ади еще острее, чем Петефи, сознавал, что венгры — малая нация, почти беззащитная перед лицом окружающих ее хищников; что судьбы его родины в огромной степени зависят от успехов освободительного движения в других странах. Поэтому он с таким пристальным, пытливым интересом следил за событиями европейской жизни, в частности — за политическими битвами во Франции, стране великих общественных и культурных традиций, очень популярных у венгерской интеллигенции.

Одно время Ади возлагал большие надежды на прогрессивное международное влияние французской Третьей республики и французского радикализма. Но пребывание в Париже в 1904, 1906—1907, 1910—1911 годах глубоко его разочаровало. Новая Франция не может вести за собой Европу: буржуазия ее давно отреклась от «свободы, равенства и братства» и поклоняется «Ваалу», «кровавому отцу злата», а французские радикалы во главе с «новым Тьером» — Клемансо, посылающим войска против забастовщиков,— верой и правдой служат буржуазии. Вот горький вывод, к которому пришел Ади.

Между тем, неустройство жизни на родине поэта, бедствия народа в городе и деревне, национальный и социальный гнет чудовищно растут. Венгрия задыхается в ярме «нового, еще более тяжкого феодализма», как метафорически именовал Ади владычество финансового капитала, империализма. Всей душой ощущает он, как недостаточны теперь старые буржуазно-демократические и даже революционно-демократические идеи для успешной борьбы за национальное и социальное раскрепощение; как велика нужда «в слове лучшем, чем слово Петефи», в войске «новых Дожей», которые поведут народ к свободе.

Новая, победоносная справедливость открылась ему в социалистическом учении, а «новых Дожей» и «Брутов», «затмевающих Брута исторического», он нашел в рабочих, борьбой которых восхищался еще во Франции, в «гордых венгерских пролетариях» — своих «единокровных братьях», как он с нежностью и верой назвал их. Народ-

ная, социалистическая по своей цели, революция становится идеалом, мечтой и боевым кличем поэзии и публицистики Ади. Революция 1905 года в России кажется ему уже началом нового великого исторического «землетрясения», которое сметет, наконец, «горе... грехи, грязь, болезни, нагромоздившиеся на земле», и освободит человечество.

«Это грозное землетрясение будет гордостью истории. Гордостью, уроком и подтверждением,— с глубоким волнением пишет Ади о декабрьском вооруженном восстании в Москве. — О народе вошло в обычай говорить только бездушными фразами или бездумными стихами. Даже самые восторженные апостолы не ждали от народа сознательных действий. Смотрите же: пролетариат вернул народ народу! Народ восстал и преобразует мир».

Прокатившаяся по всей Венгрии в 1905—1907 годах волна забастовок, митингов, демонстраций, в которых впервые свое веское слово сказал венгерский рабочий класс, еще больше воодушевляет Ади, укрепляет его веру в «благостный вихрь» революции, в силы народа, сплачивающегося под «красным социалистическим знаменем».

Вот он, народ! Воцарится он здесь,
Тот, кто в земле копошился всегда.
Судит народ, будет судить!—

торжествуя, утверждает он в стихотворении «Ратный путь», в мерном, глухо-монотонном ритме которого словно слышится тяжкая, грозная поступь рабочего шествия.

...Эта страна — уже наша страна,
Здесь уже строит наша рука...

Годы народного движения в Венгрии и первой русской революции были, пожалуй, самой счастливой порой в жизни Ади, временем смелых надежд, большого душевного подъема. Но австро-венгерской правящей верхушке — при помощи венгерских либералов (поначалу трубивших о «национальном сопротивлении», а потом в страхе отшатнувшихся от народа), благодаря соглашательской позиции социал-демократических заправил — удалось обезглавить и расколоть демократические силы и подавить начавшееся революционное движение. «Трагедия Дожи — истинная трагедия миллионов венгров, — с горечью замечал Ади в одной из статей тех лет.— Властители страны до сих пор нас поджаривают и заставляют пожирать друг друга».

Первая русская революция тоже кончилась поражением. И в душе поэта вновь воцаряется мучительная тревога. Он видит, что в Венгрии растет сильный, боеспособный пролетариат, он восхищается его героизмом, по-прежнему нетерпеливо жаждет перемен и призывает революцию. Но он видит также, что героическую борьбу рабочих (которые опять подымаются на бой в 1912 году) неизменно постигают неудачи: над Венгрией словно тяготеет какое-то проклятье... Его влечет к себе социализм — «самое замечательное вероучение, какое создавал когда-либо человеческий ум»,— но возмущают и отталкивают националистические софизмы, плоское «социалистическое фразерство» и все поведение соглашателей, которые опошляют великое учение, разлагают освободительное движение. Но о другой, подлинно революционной стратегии он только догадывается; других социалистов, которые лучше, правильнее руководили бы народной борьбой, не знает. А на горизонте уже рисуются «кровавые панорамы» империалистической войны, несущей новые тяжелые потрясения...

Лишь в самом конце ее приходит к нему долгожданная радость: над Россией взошло «Красное солнце» Великой Октябрьской революции. Но ее лучей, озаривших и Венгрию, тяжело больной поэт уже не увидел. Смерть унесла его за несколько месяцев до провозглашения пролетарской диктатуры у него на родине.

Терзавшее Ади всю жизнь сознание, что «светские и рясоносные вельможи», «как никогда», угнетают венгерский народ, а он не может освободиться, вносило порой скорбный, горький оттенок в его страстную, непокорную, бунтарскую лирику.

Здесь слезы солонее,
Страданья здесь иные...
Тысячу раз мессии —
Венгерские мессии,—

утверждал поэт, намекая на жесточайшее угнетение народа в буржуазно-помещичьей Венгрии. И уязвленная национальная гордость, обида за свой народ, чьи жертвы остаются бесплодными, подсказывали ему горький вывод:

Тысячу раз умирают,
Но славою крест не покрыли —
Они ничего не свершили,
О нет, ничего не свершили!

«Всегда опаздываем всюду...» — как бы подводит он (в одноименном стихотворении) неутешительный итог венгерской истории, не оправдывающей его надежд и ожиданий.

Скованный, изнывающий в цепях народ, безуспешно пытающийся разорвать их,— этот мотив отчаянного единоборства проходит через патриотическую лирику Ади, повторяясь в разных вариантах, с разными оттенками.

На огненного жеребенка —
Мне на душу аркан упал,—

таким неожиданным образом — но таким «венгерским» и ярко характеризующим натуру самого поэта — начинается, например, стихотворение «Души на аркане». А заключительные строки раскрывают гражданское значение этого символического образа: на венгерской равнине, страдая, бьется в путах «венгерца скорбная душа».

В других стихотворениях это единоборство с судьбой, злополучным роком, преследующим мадьяра, с ополчившимися на него яростными стихиями достигает патети-

ческого, почти трагического напряжения («Под ударами»). Когда-то, в революционно-освободительную войну 1848 года, в трудные для Венгрии дни, в поэзии Петефи возник образ «мадьяра со спутанными волосами над окровавленным челом». Этот образ незримо витает и в патриотической лирике Эндре Ади.

Поэзия Ади — порывистая, дисгармоническая. Разочарования, надежды и снова разочарования, которые сопровождали его путь к народу, к пролетариату, к социалистической революции; бунтующая патриотическая гордость, унижаемая, оскорбляемая реакцией; превратности долгой, так много ему стоившей борьбы с литературными противниками и самозванными друзьями, которые старались залучить его в лагерь буржуазной демократии, «искусства для искусства»,— все это слилось, отозвалось в поэзии Ади. Светлая вера и тоскующее ожесточение, «красное» и «черное» переплелись в ней. И даже его любовная лирика словно впитала, вобрала в себя всю запутанность, беспокойную сложность жизни. Любовь, рисуемая им,— это любовь мятущаяся, неудовлетворенная, бьющаяся в тисках жизненных препятствий, истекающая кровью (стихотворение «Сердце Леды» и другие).

И вместе с тем — и тут мы отчасти возвращаемся к сказанному — поэзия Ади остается поэзией героического жизнеутверждения, которое рождается в скорбной и яростной борьбе. «Я все-таки достигну Океана!..» Лирический герой Ади непрерывно растет, внутренне закаляется в суровых испытаниях времени, в жестоких схватках с противниками, с собственными иллюзиями и приступами уныния. Он страдает, но не сдается. Изнемогая под градом ударов, падая, встает он снова и снова и, преодолевая боль душевных ран, торжествуя над собственной слабостью, упорно идет вперед, в сияющее «завтра», подымается все выше — к коллективистскому, подлинно революционному мироощущению, к радости борьбы за счастье народа, которая приносит полноту жизни и вечную духовную молодость.

Об этом стремлении к отпору, к борьбе с миром буржуазной лжи, которая влечет за собой мучительное, но неизбежное и благотворное внутреннее возмужание, возрождение, рассказывают многие лирические стихотворения Ади, например «Геркулес поневоле». Поэт признается в нем, что он — обыкновенный человек, которому минутами свойственно терять присутствие духа. Но враги, их злонамеренность, их скудоумие, заставляют напрягать все силы, быть «Геркулесом». Нельзя, невозможно останавливаться, утверждает он. Нужно бороться и побеждать. Слишком мало еще героев, слишком подлы и коварны враги.

Неумолимой силой, не дающей поэту покоя, принуждающей его подниматься на ноги, преодолевать себя и бороться, как ни тяжела жизнь, как ни велика усталость, была ненависть к «карликам» венгерской реакции, тщившимся привязать поэта к земле.

«Настоящие люди — те, кто приходит и живет, гневаясь и борясь»,— писал Ади. Великий гнев против «зловредной» шайки «бар-разбойников», врагов всего живого, нового, революционного, придавал ему силы, рождая упоение борьбой, постоянно зажигая «новой верой, новой песней, новым огнем».

> Болят сердца, но ясны наши лица!..
> Друзья! Как хорошо, какая радость
> Сопротивляться адскому напору
> Всех преисподних...

Борясь за правое дело, говорил поэт, «я не умру никогда».

Эволюция лирического героя Ади — это история становления воинствующего гуманизма. И жизнь, судьба народа в творчестве Ади предстает как история революционного возмужания, героических, хотя до поры до времени и неудачных, усилий сбросить рабское ярмо Олицетворяющий народ мадьяр из стихотворения «Под ударами», как и лирический герой стихотворения «Геркулес поневоле», испытывает нечеловеческие страдания; но он тоже не падает, не сдается, а «только упрямее» подымает свою «окровавленную, разбитую голову».

Сопротивляться адскому напору всех преисподних — это гордое упорство, которое поэт черпал в истории своего народа, слышится и в суровом, драматическом пафосе стихотворения «Несемся в революцию», сулящего народное возмездие, и в кратком, но решительном предупреждении угнетателям: «Последними смеяться будем!..» Спокойной уверенностью дышат стихотворения, где возникает образ венгерского рабочего — исполненного сознания собственного достоинства и силы «труженика и борца», который свергнет владычество богачей, когда настанет срок...

Патриот и демократ, Ади ощущал судьбу своего угнетаемого, преследуемого народа, как свою собственную, и старался быть достойным его героизма. В борьбе, страданиях и надеждах венгерского народа, встающих со страниц произведений Ади, всегда как бы заключен и собственный жребий поэта, его надежды, разочарования и внутренний рост. Участие в общественной жизни, настойчивое стремление вперед, к революционному идеалу делали это единство с народом, а вместе с тем единство «общественного» и «личного» — или, по словам поэта, «Политики» и «Любви» — в его творчестве все более глубоким, нераздельным. Примечательно то простое «мы», которое он употребляет, говоря о народе, пролетариате и одновременно о себе самом. В этом «мы» патетически выражается глубокое сознание ответственности за судьбу страны, за исход народной борьбы. Поэт как бы становится в ряды борющегося народа, чувствует себя его соратником и даже предводителем — действующим лицом истории, ускоряющим ее поступательное движение.

Чувство единства с народом, общности судеб достигало в поэзии Ади особенно глубокой тревожной силы в трагические моменты истории — например, после расправы с революционным выступлением будапештских рабочих в 1912 году (под этим впечатлением и возникло стихотворение «Несемся в революцию») и особенно в годы первой мировой войны. В стихотворениях этих лет, исполненных патриотической скорби («Человек среди бесчеловечности», «Напоминание хранителям», «Наше окровавленное, отринутое сердце» и другие), словно жалуются, страдают и взывают сами души людские, ввергнутые в кровавую бойню. Жизнь воспринимается в них как бы через чувства, внутреннее состояние тысяч и тысяч обездоленных отцов, матерей, сыновей, клянущих войну. Но даже в эти дни труднейших испытаний, несмотря на гнусное предательство социал-шовинистов, Ади не отказывался от надежды на пробуждение человечества от кошмара войн, на пришествие грядущей революции.

«Я хочу присутствовать... при том, как станут забивать гвозди в гроб старого мира...» — упрямо повторяет он.

Поэзия Эндре Ади — это поэзия яркого и совершенно особого образного склада. Страстная неудовлетворенность настоящим, порыв к изменению действительности, ненависть к реакции, мечта о революции, которую поэт призывает, торопит,— все это выливается в особую образную форму, создает свой мир, волнующий сказочной и первозданной красотой. В этом фантастическом мире, на небе, освещенном необычными, чудесными знамениями, сияет огромное «Красное солнце», озаряя гордый океан, по которому проносятся быстрые крылатые «колесницы» — причудливые олицетворения предчувствий и надежд поэта. Там из мертвых озер, из топи болот, кишащих мерзкими «змеиноголовыми» гадами, вздымаются огнедышащие горы, сотрясая и преобразуя землю; карающие молнии, испепеляющие тысячелетнюю «навозную кучу» Венгрии вместе с кружащимся на ней злобным хороводом пигмеев, которые, кривляясь, силятся затоптать очистительный пожар. Там, в этом мире, летают сказочные птицы и по заросшей цепкими сорняками земле скитаются человеческие души, мечты, желания — дерзкие и печальные, пылающие радостью и «обугленные» страданием. Там собираются бесчисленные рати и с грозными ликующими кликами или с ожесточенной решимостью приступом идут на «прогнившие замки», «тюрьмы», твердыни венгерского «ада».

Здесь и природные явления, которые вырастают, преображаются в настоящее борение стихий, в «космические» катаклизмы, воплощающие великие исторические бури или кипение чувств поэта. Здесь и сказочные образы, переплетающиеся с легендарными преданиями и языческими представлениями, и необычная, «еретическая» по своему духу библейская символика. Особенно богата поэзия Ади аллегориями, символическими уподоблениями, подсказанными героическими и трагическими событиями венгерской истории, войнами, восстаниями и поражениями. Образы-символы, навеянные рабочим движением, рабочими песнями и социалистической публицистикой, естественно продолжают эту революционно-историческую традицию. Алый, красный цвет—символ крови, жизни, цвет восстания, в который окрасил свои знамена пролетариат,— особенно часто появляется в стихах Ади, усиливая их воинствующий, мятежный характер. И все эти сказочные, «космические» и исторические образы сплавляют воедино порыв поэта к революции, в будущее, а острое чувство истории помогает ему «слышать» пульс времени, угадывать и в фантастическом обличье воплощать подлинные, реальные тенденции общественного развития, перспективы народной борьбы, которой он вдохновлялся.

Романтические образы Ади, отражавшие революционные чаяния поэта, образы, заимствованные из фольклора, исторического прошлого Венгрии и навеянные пролетарской традицией, отвечали душевному подъему народа, боровшегося за свое освобождение. Они были близки, понятны передовой венгерской интеллигенции и рабочим, которые любили поэзию Ади и принимали сторону поэта в ожесточенных спорах, разгоравшихся вокруг его стихов. «Если мы хотим прочесть захватывающее стихотворение и посмотреть в зеркало своей судьбы, мы открываем сборник стихов Ади...» — писал в те годы один будапештский рабочий на страницах столичной газеты.

«Новых времен новые песни» — так называл Ади свою поэзию. Он с гордостью сознавал кровную связь своего творчества и всей передовой литературы с «социальной войной» народных масс. Впервые после Петефи Ади полным голосом заявил о праве народа на эстетическое суждение, о том, что литература должна прислушиваться не к мнению «салонов», а к «Улице». «Мне внушает отвращение догма «искусство для искусства»,— заявлял он в одной из статей.

«Буйная и новая песнь Улицы» — ее желания, ее голос становятся для Ади высшей эстетической и общественной заповедью. «Песнь Улицы» — так назвал Ади один из циклов своих революционных стихотворений, посвященных борьбе пролетариата. Признавая себя представителем «новой литературы», которая «существует благодаря социализму, вместе с социализмом», Ади видел в рабочих — предводителях и освободителях народа — также и «армию спасения красоты». Он мечтал о великом счастье быть свободным поэтом свободного народа, о «литературе новой радости» — свободной, жизнеутверждающей литературе, которая в раскрепощенной России, Венгрии и других странах придет на смену литературе горя и страданий.

Страстное, романтически приподнятое возвеличение народной борьбы и народного гнева, воинствующее, активное отношение к жизни были тем новым словом в венгерской литературе начала века, которое помогло с революционной точки зрения осветить важный эстетический вопрос о соотношении мечты и действительности. Венгерские писатели-реалисты, современники Ади, правдиво рисовали общественную и духовную деградацию господствующих классов, а также здоровые моральные качества трудящегося человека, его инстинктивную тягу к справедливости, сопротивление злу. Но даже перед лучшими из них (например, Морицем) только такие величайшие поворотные события, как империалистическая война и затем социалистическая революция, приоткрыли перспективу исторического развития, показали действительность в бурном историческом движении, а простого человека — доблестным борцом с угнетением, творцом свободы и хозяином страны.

Присущее Ади революционно-романтическое восприятие жизни, которое играло в его творческом методе важную и во многом даже ведущую, определяющую роль, умение опережать действительность, видеть в ней и художественно запечатлевать — пусть не только в «прямой», но и в символической форме — новое, жизнеспособное, принадлежащее будущему позволяли ему достигать большей силы обобщения и обусловили огромное влияние его творчества на современников и на последующее развитие венгерской литературы.

Идейно-художественные искания Ади, чей путь сошелся с воспетым им «ратным путем» пролетариата, наиболее талантливо, самобытно, ярко отразили в венгерской литературе подъем народа на революционную борьбу за свержение габсбургского владычества, идеалы этой борьбы, которые совпадали с освободительными стремлениями других народов. И знаменательно, что в Советской, пролетарской Венгрии 1919 года, которая вслед за Советской Россией разбила цепи буржуазно-помещичьего рабства и призвала венгерский народ сплотиться под знаменем интернационализма и социализма, творчество Ади нашло широкое распространение и признание.

Знаменательно также, что в 1906—1918 годах литературная борьба в Венгрии ожесточенней всего кипела вокруг поэзии Ади. Призывы поэта к братскому союзу угнетенных «славян, румын и венгров», к борьбе со «свиноголовыми вельможами»—«собственниками» Венгрии,—возвеличение им революционной воли народа, новизна его образной системы — все это не могло не вызывать озлобления консерваторов разного толка, особенно националистов. Разгорелась настоящая травля поэта, в которой приняли участие шовинистические публицисты и политики, писатели и церковники.

Венгерская критика отмечала, что со времени Петефи венгерская печать еще никогда ни на одного поэта не нападала в таком тоне, как на Ади. «Мои произведения, особенно стихи, вызывали попросту возмущение. Меня называли сумасшедшим, фигляром, бессмысленно-непонятным, антивенгерским, изменником родины — словом, я достиг всего, чего может достигнуть в Венгрии новый поэт, и все-таки — не умер»,— с горькой иронией писал Ади в 1913 году о своей долголетней борьбе с преследовавшим его «общественным мнением». Сам главарь и вдохновитель венгерской реакции премьер-министр граф Иштван Тиса выступил в печати, грубо упрекая поэта в потворстве вкусам «полуобразованной толпы». За стихотворение «Несемся в революцию» Ади был даже привлечен к судебной ответственности по обвинению в «посягательстве на государственный строй». Поход против Ади, против его творчества принял особенно грубый, издевательский характер во время первой мировой войны, которую он резко осудил, назвав «смертоубийственной, гнусной комедией».

Но образы, идеи произведений Ади оказывались сильнее их хулителей. Они отвечали революционным настроениям самих читателей, в которых росло отвращение к войне, и поэтому находили к ним доступ, несмотря на клевету и цензурные рогатки. И когда Жигмонд Мориц в январе 1919 года, после смерти Ади, требовал: «Памятник Эндре Ади!» и писал о нем как о провозвестнике начавшихся в Венгрии бурных социальных перемен, «поэте венгерской революции», который «ощутил и воспел необычайную энергию, зревшую в народных массах, дал полнозвучно излиться пламеневшему в душах стремлению к свободе»,— он только воздавал должное глубокой народности творчества Ади, подтверждал, что сама жизнь встала на его защиту.

Да, жизнь защитила Ади, невзирая на попытки оклеветать, извратить его творчество — попытки, которые не прекратились и после его смерти. Но тщетно: ненавистникам свободы и демократической культуры не удалось отнять у венгерского народа его великого поэта и преградить ему путь к другим народам. Поэзия Ади навсегда вошла в народное сознание. Его творчество изучают в школах и университетах народно-демократической Венгрии; его образы, метафоры стали крылатыми выражениями; его произведения, издаваемые после освобождения страны небывалыми тиражами, вдохновляют публицистов, поэтов, читателей.

В ноябре 1957 года в Венгрии широко отмечалось восьмидесятилетие со дня рождения Ади.

Борьба его влилась в «Океан» всенародной борьбы за счастье человечества. Он наш, он с нами — поэт с чистой и пламенной душой, который, «обливаясь кровью своей, по-настоящему жил и любил».

Эндре Ади живет и будет жить «в юных сердцах» людей нового, социалистического

мира, которому завещал он свое духовное наследие.

«В юных сердцах и всегда вперед!»—этим приветственным словом встречал Ади зарю нового мира, который примет и воплотит в жизнь его «святые мятежи».

Хитрые старцы и злые глупцы,
Все вы на жизнь мою вышли в поход.
Знайте: у ней миллионы корней!..
Да, буду жить я и покорять
Именем горестной жизни большой.
Бранью и грязью меня не пронять —
Я под защитой юных сердец!
Вечная мне суждена весна,
Не нападайте на жизнь мою,
Словно святая гробница она;
Цвету живому не будет конца.

Эндре Ади

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

КОМУ ДОЛЖЕН ПРИНАДЛЕЖАТЬ БУДАПЕШТ?

МУЗЫКА БУДУЩЕГО НА УЛИЦЕ

(1907 г.)

«Чудесный город — Будапешт, прямо влюбиться можно, если бы не будапештцы». Это суждение в духе Уайльда часто приходится слышать в разных вариантах, а ведь оно неверно. Вовсе незачем из Будапешта изгонять всех будапештцев: нужно только поменять их местами. Магнаты, ставшие чиновниками джентри[1], богатые евреи, безмозглая буржуазия, могучая каста рыцарей промышленности, писатели и художники Будапешта — отвратительны. Но есть в нем и другое население. Его-то и нужно поднять наверх, если город хочет стать когда-нибудь лучше.

Вчера вечером, когда осветилось здание Оперы, где давал концерт Буриан[2], много народу столпилось на одной тихой улочке. В доме на углу — вероятно, в школьном интернате — гимназист играл на рояле. Вдумчиво, с настроением играл все подряд — от Пуччини до Лоранда Фратера[3]. Человек триста, а может быть, и четыреста слушали его: школьники, возвращавшиеся домой рабочие, модистки, приказчики и другие, у кого нет денег на концерты Карузо и Буриана.

Какая замечательная аудитория, и с каким трогательным и благодарным вниманием слушала она музыку, лившуюся из открытого окна! Из этих будапештцев можно создать новую армию спасения — армию спасения красоты[4]. По их печальным лицам видно было, как жаждут они, быть может бессознательно, украсить искусством свою жизнь.

Вот вам поклонение красоте — совсем иное, нежели у тех, которые увиваются вокруг искусства потому, что у них есть наследственное или нажитое состояние или просто кредит.

Конечно, и у нас когда-нибудь будут общедоступные концерты, великолепные дешевые театры, народная опера, бесплатные выставки. Но не придут ли они к нам, именно к нам, слишком поздно? Мы даже по своему внешнему «культурному» лоску на пятьдесят-сто лет отстаем от западных стран. Там — по крайней мере, с культурно-исторической точки зрения — и феодализм и буржуазный строй создавали искусство, культурные ценности. У нас, где культура отсутствует, единственное спасение в том, чтобы поднялись низы. Это не только сделало бы Будапешт больше похожим на город, но и окрасило бы румянцем культуры лик всей Венгрии.

Вот съехались в Надьварад строители-предприниматели — олицетворение всей нашей немощной буржуазии. Объедались, шампанское пили на банкетах, в карты играли и кончили похмельем. А рабочие тем временем слушали лекции, учились, развивались.

Кому же должен принадлежать Будапешт, а с ним и вся Венгрия? Только тем, кто внизу: очарованному культурой народу. Но, может быть, это лишь грезы, а не музыка будущего?.. Ведь Венгрия — единственная страна, где даже естественно-научные законы бессильны.

Видно, с культурой тут вечно будут заигрывать прощелыги, а те, кто создан для нее, — умирать от неразделенного влечения.

---

[1] Такое наименование укрепилось в XIX веке в Венгрии за среднепоместным дворянством.

[2] Буриан, Карел (1870—1924) — чешский певец-тенор, выступал во многих странах Европы.

[3] Фратер, Лоранд — популярный в Венгрии в начале XX века певец и композитор, сочинявший песни в народном стиле.

[4] Ади во многих стихотворениях воспел «жажду красоты и культуры», которой восхищался в рабочих.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕЛЛАГРА
(1907 г.)

Счастливый Марамарош[1]: там люди умеют убивать, когда рассердятся. В Вашкохе и других местах даже сердиться разучились. Весть, дошедшая из Марамароша, просто чудесна: крестьяне схватились за косы — опять у них отрезали что-то около ста двадцати хольдов земли. Господа землемеры так кувырком и покатились из Кёхата, словно снежная лавина. Браво, ура, Марамарош — единственный почти революционный уголок Венгрии!

Вашкохский крестьянин — тот за косу не возьмется. И силы нет в руках, да и коса заложена. В изобильном Бихаре, где молоко и мед текут рекой, картина такая: толпы оборванных крестьян из голодающих деревень, еле передвигая иссохшие ноги, бредут в Надьварад. Идут день и два; а граф Эстерхази, если не совсем струсил, гонит тем временем в Будапешт на четверке лошадей. Грязные, изголодавшиеся, приходят крестьяне к управителю Глатцу и униженно клянчат у него хлеб, который у них же упорно отнимает землевладелец вот уже тысячу лет

Мы со своей стороны всегда с пониманием относились к тем, кто не теряет в Венгрии исторической почвы. В самом деле, без истории нельзя было бы понять положение страны. Бедный Ачади: он уже в преклонном возрасте стал распутывать эту историю, да так умер, не распутав. Искренне сожалеем, что он и Марки с учениками успели все-таки расшатать исторический фундамент[2]. Поди объясни теперь, почему голодают вашкохские крестьяне. Ведь урчание в животах у бихарцев не простое, а историческое. То-то было бы утешение для вашкохского крестьянина — узнать, что голод его вошел в историю! А нас — просто воодушевляет тот факт, что за девятьсот лет в Венгрии ровно ничего не изменилось. Разве что о крепостных до 1848 года — да и то не по доброй воле — больше заботились. Ведь в те блаженные времена крепостной — из хороших. конечно, работников — стоил почти столько же, сколько вол. Так что, если из пятисот душ епископа варадского половину уносил голодный тиф, оставшуюся половину спешили досыта накормить кукурузным хлебом. Ныне и в помине нет этого замечательного обычая, этой барской гуманности! Нынче помещики обижаются на крестьянина: помилуйте, разве это дешево — выписывать сельскохозяйственные машины из Германии! Раньше, бывало, гайдук прикрикнет — и крестьянин жнет себе, возит, веет, косит, копает за милую душу. А теперь поденную плату ему подавай, этой свинье, этому мерзавцу! Хорошо еще, что она гораздо меньше чаевых, которые мы — благоволите заметить, милостивые господа,— оставляем обычно в Мулен-Руже[3].

Марамарошский или, скажем, сарвасойский румын хватается за косу. Можно объяснить и это. Со времени Дёрдя Дожи у нас не было ни одного настоящего крестьянского восстания. Оно, может, и вспыхнуло бы, если б во главе — очень предусмотрительно — не вставали каждый раз баре. Так-то вот, по милости Шандора Карои, и не увенчалось ничем усердие Тамаша Эсе, кроме майтеньской капитуляции[4]. Дз и Пал Вашвари, например, командовал в освободительную войну 1849 года отрядом, который гораздо охотнее взял бы приступом епископские хоромы в Надьвараде, чем Пишкский мост[5]. А поэтому — спи спокойно, о родина: епископ надьварадский с неменьшим патриотическим усердием печется о собственной персоне, чем статс-секретарь Стерени о его подагрическом величестве Ференце Кошуте, которого он посетил на днях в Геркулесфюрдо[6].

Просто умиляет, как преподносят газеты массовую пеллагру в Бихаре. Что у епископов варадских на двоих, пожалуй, многовато земли — это ни одну из газет (и вообще никого) не беспокоит. Да и каноники там — тоже не безземельные Яноши; но и об этом нигде ни слова. А ведь в Бихарском комитате есть еще имения графов Зичи и других (кстати, а куда девался тот миллион, который покойный Ене Зичи за-

---

[1] Марамарош — гористая северо-восточная область тогдашней Венгрии, населенная в основном румынами.

[2] Здесь и ниже Ади, издеваясь над венгерскими помещиками, которые твердили о своих «исторических» правах на землю, иронически намекает на то, что положение крестьян нельзя улучшить «историческими объяснениями». Ачади, Игнац (1845—1906) — венгерский историк, автор труда «История венгерского крепостного крестьянства». Марки, Шандор (1853—1925) — историк, профессор сегедского университета, исследователь революционно-освободительных движений в Венгрии.

[3] Известное в то время увеселительное заведение в Будапеште (и Париже).

[4] Эсе, Тамаш (ум. в 1708 г.) — участник освободительной войны Ракоци, предводитель крестьянской «рваной гвардии». Командовавший войсками Ракоци Шандор Карои близ деревни Майтень изменнически капитулировал перед австрийцами, за что получил от Габсбургов графский титул.

[5] Вашвари, Пал (1827—1849) — друг Петефи, организатор военного ополчения в 1848 г. Его добровольческий отряд, сражавшийся в Эрдее, отличился в сражении у Пишкского моста, отбросив превосходящие силы австрийцев.

[6] Стерени, Йожеф был статс-секретарем «коалиционного» правительства Векерле (1906—1910), которое возникло в результате сделки с Веной так называемого «национального сопротивления» — оппозиционного движения венгерских помещиков и буржуазии, домогавшихся уступок у Габсбургов. Ференц Кошут, лидер Партии независимости, которая играла видную роль в этой либеральной оппозиции, вошел в правительство Векерле в качестве министра. Над честолюбием и политической беспринципностью Ференца Кошута и издевается Ади. Геркулесфюрдо — курорт, где Ференц Кошут лечился от подагры.

вещал на нужды «национального сопротивления»?[7]

Не только в Вашкохе — по всей стране такая же картина. Землю крестьянину, этому историческому парии, латифундии отдадут разве только, если вдруг сжалятся или если земля эта не родит ничего со времен гепидов[8], или чтоб было куда отводить паводок со своей тысячи хольдов. Марамарошский румын умеет еще бунтовать, потому что не забыл Хору и Клошку[9]. А в самой Венгрии и венгр и румын — побираются. Если только не эмигрируют в Америку, куда теперь, впрочем, отправляются с более легким сердцем, чем Йожеф Этвеш в свое заграничное путешествие, которому он посвятил лирическое стихотворение. «Но возвратясь, — о родина, ответь: увижу ли народа процветанье?»[10]

Одним словом, все несчастья в этой стране — от Якабов Вельтнеров[11]. Что говорить, мелкие волнения пока еще бывают. Но признали же ведь мы свое национальное демократическое правительство[12]. И в Марамароше тоже у людей скоро пропадет и охота и возможность браться за косы. Корень зла, по-нашему, в том, что латифундий и родовых поместий в Марамароше слишком мало. Пожалуйста, сделайте там побольше латифундий! Это единственное средство поддержать порядок — порядок, организованную эмиграцию, пеллагру и азиатчину. И заодно лишить страну и благосостояния, и населения, и кос, и революции, и культуры.

[7] Зичи, Ене (1837—1906) — богатый магнат, покровительствовавший промышленности и сочувствовавший «национальному сопротивлению».

[8] Гепиды — древняя германская народность, жившая на территории Венгрии.

[9] Хора (Хориа) и Клошка — руководители восстания румынских, венгерских и немецких крепостных крестьян в Эрдее в 1784 году.

[10] Из стихотворения И. Этвеша «Прощание» (1836).

[11] Вельтнер, Якаб (1873—1936) — один из правых лидеров венгерской социал-демократии, отвергавший идею раздела земли и защищавший крупное капиталистическое производство в сельском хозяйстве.

[12] Ирония Ади: правительство Векерле жестоко подавляло национально-освободительную и демократическую борьбу венгерского народа.

„ДА БУДЕТ СВЕТ"

ПИСЬМО ИЗ ТЕМНОГО ПАРИЖА[1]

(1907 г.)

Представьте себе редакцию «Юманите», где мерцает десяток свечей. Представьте, что Анатоль Франс хочет писать и не может. Керосиновая лампа чадит, свеча мигает и гаснет. А сотрудники «Юманите», ликуя, портят себе зрение в темноте. И Анатоль Франс, присев к окну, предается чудесным грезам...

Город-светоч — во тьме, страхе и растерянности. Только кое-где виднеется благословенный огонек. Люди, как голодная мошкара, с назойливым любопытством жужжат вокруг. Что случилось?.. Телеграфное сообщение долетело и до Будапешта: ничего особенного. Просто полторы тысячи блузников надели воскресное платье. Парижские рабочие обратились с кратким посланием к ненасытному капиталу. К расфранченным буржуа, к государственной власти и ко всем, кто непрочь позабыть, что бог — это труд. Всего-навсего полторы тысячи человек. Всего лишь не зажглись электрические лампочки. И урок продолжался неполных две ночи. Ну, а если сто тысяч рабочих захотят завтра сказать свое слово? Если Париж вдруг останется без света, отопления, транспорта, продовольствия, напитков, развлечений — без всего? Тогда что?.. Лучше, пожалуй, не портить отношений с этими блузниками — у них сила! Кто не дурак или не подлец, с почтением приподымет шляпу. Как далеко вперед ушли народные массы со времен, скажем, Ксеркса. Какая сознательность, какое могущество! Судьба мира и всей человеческой цивилизации в их руках. И в хороших руках, так что бояться нечего. Правда, руки эти порой гасят лампочки, останавливают поезда. Но зато сколько нового света несут они умам! И с какой волшебной скоростью мчится дилижанс человеческого прогресса с тех пор, как они погоняют лошадей!..

Париж, темный Париж; что за зрелище!.. Не работают театры, не видно освещенных ресторанов, не выходят — или почти не выходят — газеты. Говорят, одни только театры за две ночи понесли убыток в полмиллиона франков. А магазины, наверно, миллионов в десять, если не в тридцать. А на умы-то, на умы какое пагубное влияние!.. Подумайте только, как ободрит рабочих других стран одна такая дерзкая, удачная, прогремевшая на весь мир стачка... И тупое недоумение вынуждает газеты, ненавидящие рабочих, к неожиданным признаниям. «Вот, пожалуйста: вся наша жизнь и культура зависят от благосклонности социалистов», — злобствует одна. «Нужно признаться, что мы еще плохо себе представляем страшное могущество рабочих», — вторит другая. Но судорожные рыдания слышатся в этом злопыхательстве. Быть может, и на Марсе заметили изме-

[1] Статья написана под впечатлением забастовки рабочих парижских электростанций в 1907 году.

нения земного света? Что подумали там, когда свет вновь залил Париж?.. Решили, наверно, что это какой-нибудь знак. Может быть, так и есть.

Кто бы поверил, что сердцем Париж был с бастующими? Даже крупные собственники, если и бранили кого, то не рабочих. А город и страна даже не скрывали своего дружелюбного отношения к забастовщикам. Да, в более развитых странах знают, что такое стачка. Хорошо подготовленная, внушительная стачка там — все равно, что в Венгрии майский дождь. Конечно, не для тех, кто из-за нее в ярости хватается за карманы. Она — на благо общества: слова, не очень привычно звучащие по-венгерски. На пользу будущему: тоже понятие, не очень приятное для тех, кого и настоящее балует всевозможными благами.

Снова засверкал огнями ночной Париж — по крайней мере, до поры до времени. Ловите миг наслаждений, у кого есть деньги! Рабочие победили и сжалились над темным Парижем. Сотрудники «Юманите» при электрическом свете пишут о победе своих товарищей. И прочие газеты тоже готовят свою остроумную и тупоумную хронику. Пишите, печатайте: свет горит. Венецианские светильники, цветные лампионы отставлены в сторону. Но Клио наших дней в эти минуты заносит в книгу судеб новое великое деяние рабочих. И Анатоль Франс — быть может, тоже в эти минуты — создает самую замечательную главу своей новой книги[2]. Какая чудесная тема — особенно, когда есть аудитория! Бог Моисея сказал: да будет свет. Ныне с рабочего Сиона то же самое возвещает пролетарий с мозолистыми руками.

[2] Анатоль Франс писал в то время «Остров пингвинов».

ЛА БАРР И ДЁРДЬ ДОЖА
(1906 г.)

Глядя на памятник Ла Барру, воздвигнутый в Париже, вспоминаешь о Дёрде Доже, если ты мадьяр[1]. Этому кавалеру Ла Барру памятник поставили для того, чтобы Рим лопнул от злости. И пускай лопнет: ведь страшно подумать, на какие зверства еще совсем недавно, во времена Вольтера, осмеливался клерикализм! Да и теперь Рим, дай ему волю, учинил бы со своими врагами короткую расправу — почище военного суда. Он глаза бы нам повыколол, языки вырвал и снова разложил костры для еретиков — даром, что запретил сожжение трупов. Ла Барр не снял шляпы перед церковной процессией и порой без должного благочестия поминал деву Марию и всех святых. Ему не было и двадцати лет — смелый, веселый солдат; и попы разорвали его на части.

Франция ведет решительный бой с Римом, и неудивительно, что она поставила памятник Ла Барру. Так появляются статуи и великие люди — старинный и умный обычай. Но тогда какого же монумента заслуживает Дёрдь Дожа?.. Венгрия ведет сейчас борьбу, какой не видывал мир со времен Арпада и Рождества Христова[2]. Мы, миллионы нищих, требуем права на воздух! Мы — единственная страна, где нищие миллионы никогда, ни разу не могли вздохнуть свободно из-за нескольких тысяч богачей. И до сих пор наш удел — позор, унижение и горе. Во всех странах у миллионов обездоленных есть свои светлые воспоминания. Только в Венгрии на нашу долю тысячу лет[3] доставались опиум да плеть. Даже героев наших себе присваивают. Сами обманули и предали Ракоци, а гробницу его обступили так плотно, что нам к ней и протиснуться не удалось[4]. Ненавидели Кошута, а теперь во имя Кошута сели на шею стране, народу.

Нам нужно выбрать себе такого героя, которым уж не смогут завладеть вельможи. Выбрали же себе свободомыслящие французы Ла Барра назло Риму. Если у них хватило дерзости заставить историю служить себе — что ж! И мы тоже найдем кого-нибудь в истории, кто будет символом наших бесконечных страданий, нашей, почти уже отвратительной, трагедии; кто за нас будет кричать миру, что Венгрия — собственность нескольких тысяч привилегированных и в ней мучительно жить каждому рабочему человеку.

Но они все наше прошлое ограбили, подделали. Отняли у нас Ракоци, Кошута. Болтают о Петефи, а страна из-за них еще не искупила гибели Мартиновича и его товарищей[5]. Выхватывают из нашего прошло-

[1] Ла Барр в 1766 году был присужден к мучительной казни за «непочтение» к церкви и религии. В дело Ла Барра вмешался Вольтер, заклеймивший его палачей. Дожа, Дёрдь (1474—1514) — предводитель венгерского крестьянского восстания 1514 года. Жестоко подавившие восстание феодалы сожгли ненавистного им «крестьянского короля», посадив его на раскаленный железный трон, а сподвижников Дожи заставили съесть обугленный труп.

[2] Ади имеет в виду широко развернувшееся тогда в Венгрии освободительное народное движение. Арпад (840—ок. 907) — глава древнего венгерского племенного союза.

[3] Венгерские помещики называли свое господство в стране, счет которого они вели от Арпада, «тысячелетним».

[4] Ракоци, Ференц (1676—1735) — эрдейский князь, возглавлял освободительную войну венгров против габсбургского ига в 1703—1711 годах. Ади имеет в виду торжественное перенесение в 1906 году праха Ракоци из Турции, где он умер в изгнании, на родину в Венгрию (гроб Ракоци перед погребением на некоторое время был выставлен для всеобщего обозрения).

[5] Мартинович, Игнац (1755—1795) — священник, глава республиканского дворянского заговора, руководители которого были казнены австрийскими властями.

го целые эпохи и шлют в поход против нас. Почтить память Габора Бетлена[6] — этого истинно великого человека — им, например, ни разу не пришло в голову. А какое большое дело сделал Гашпар Карои своим переводом библии — трудно даже сказать! Но Венгрию заставляют поклоняться Пазмани. Чере Апацаи, Микеш[7] за ненадобностью да почиют в мире. Те, кто по праву могли бы стать нашей гордостью — гордостью интеллигентов, рабочих, нищего люда, — им не нужны. Зато они собираются устроить всенародный праздник святого Имре. С них станет и праздник Караффы[8] устроить, если нищие будут так же малодушны, как и оборванны. Они нас просто насмерть затиранят своим лжепатриотизмом.

Нельзя ли и нам двинуть против них Дёрдя Дожу? Он был мадьяр, коренной мадьяр, даже дворянин. Трагедия Дожи— истинная трагедия миллионов венгров. Властители страны до сих пор нас поджаривают и заставляют пожирать друг друга. Так пусть же борющийся против феодализма венгерский народ воздвигнет памятник Дёрдю Доже, как свободомыслящая Франция воздвигла Ла Барру! В напоминание, что наша борьба серьезна. Найдется ли, наконец, кто-нибудь, чей голос будет достаточно могуч, чтобы крикнуть на всю страну: памятник Дёрдю Доже! Раз уж человеческая культура до сих пор так примитивна, что нужно объясняться статуями, давайте объясняться статуями. Пусть Дёрдь Дожа говорит за бедствующий, бегущий в Америку венгерский народ — за учителей, железнодорожников, интеллигентов, чиновников, ремесленников, торговцев. За всю рабочую Венгрию, которую светские и церковные вельможи угнетают, как никогда.

---

[6] Бетлен, Габор (1580—1629) — эрдейский князь, боровшийся за независимую, централизованную Венгрию; покровитель ремесел, наук и искусства. Карои, Гашпар (1520—1591) — писатель времен реформации; его перевод библии на венгерский язык имел большое значение в деле становления литературного языка. Пазмани, Петер (1570—1637) — епископ эстергомский, рьяный распространитель католицизма в Венгрии, противник реформации.

[7] Чере Апацаи, Янош (1625—1659) — прогрессивный венгерский мыслитель и педагог, поборник народного образования. Микеш, Келемен (1690—1761) — сподвижник Ракоци, сопровождавший его в Турцию; автор «Турецких писем», рисующих жизнь изгнанников.

[8] Караффа, Антонио — итальянец по происхождению, генерал австрийской службы, известный жестокой расправой с восстанием Тёкели (1678—1685) в Венгрии.

Жорж Садуль

Я ВИДЕЛ НОВЫЙ ФИЛЬМ ЧАПЛИНА

В течение сорока лет раздираемый войнами мир не переставал поражаться таланту Чарли Чаплина, и каждый его новый фильм был событием не только в области кино, но и всей человеческой культуры в целом. «Король в Нью-Йорке» — последний фильм Чаплина — новое тому подтверждение.

Над «Королем в Нью-Йорке» Чарли Чаплин начал работать, как только переехал в Европу, а именно осенью 1952 года. После триумфа его фильма «Огни рампы» он поселился в Швейцарии, где в течение трех лет, в очень спокойной обстановке, работал над сценарием. В 1956 году Чаплин приступил на лондонской студии «Шеперд Буш» к съемкам, которые были закончены через десять недель. Первый вариант фильма был показан им только нескольким близким друзьям в октябре 1956 года. Нет человека более требовательного к себе, чем Чаплин: критикуя собственную работу, он всегда находит в своих фильмах какой-нибудь недостаток. Прошел целый год, прежде чем «Король в Нью-Йорке» был показан зрителям. За этот год картина была переозвучена (в Лондоне и Париже); Чарли Чаплин, как обычно, сам написал музыку, сам дирижировал оркестром.

Каждое истинно большое произведение искусства является сюрпризом. Великие творцы всегда преподносят миру нечто новое. В 1952 году все были поражены фильмом «Огни рампы» — произведением, полным огромной трагедийной силы.

Статья Жоржа Садуля сопровождается кадрами из фильма «Король в Нью-Йорке» и рисунками из рекламного издания, выпущенного во Франции.

Этим фильмом Чарли Чаплин ясно и наглядно подтвердил прозвучавшие в 1920 году весьма парадоксально слова критика Эли Фора, назвавшего его Шекспиром XX века. В картине «Король в Нью-Йорке» Чарли Чаплин убеждает нас в том, что он также и современный Мольер, который заставляет смеяться подобно тому, как это делал великий французский писатель, когда он сам играл в написанных им блестящих комедиях «Мещанин во дворянстве» или «Мнимый больной».

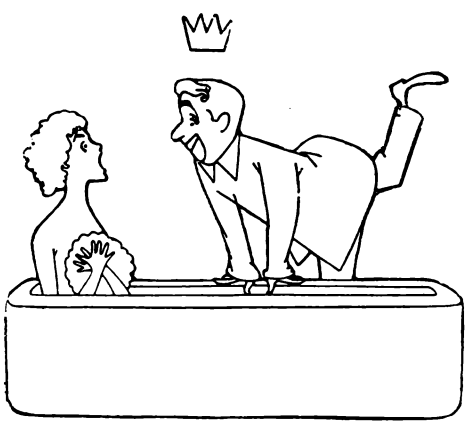
Зрители, потоком хлынувшие в кинотеатр, чтобы посмотреть «Коро-

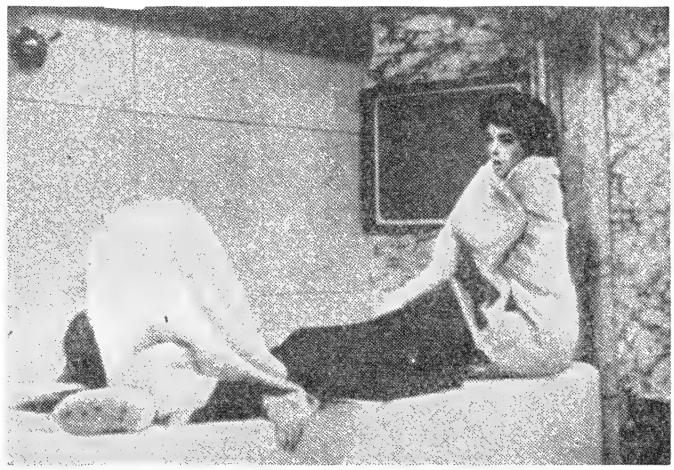
ля в Нью-Йорке», своим веселым смехом показали, насколько неправы были некоторые критики крупных лондонских газет, скорчившие гримасу после первого, предшествовавшего премьере, показа фильма, которому они дали отрицательную оценку по причинам, не чуждым политики...

* * *

Великий французский актер Макс Линдер, учеником которого Чаплин себя считает, в эпоху до 1914 года строил свой комизм на обыгрывании ситуаций, в которые попадает его герой — элегантно одетый человек, с манерами истинного джентльмена. Публика буквально покатывалась со смеху, когда торт с кремом попадал в голову, украшенную цилиндром. Это было гораздо смешнее, чем трюк с бесформенной шляпой какого-нибудь клоуна.

Герой, который в начале нового фильма Чаплина приезжает в Соединенные Штаты, более чем джентльмен. Это — король, монарх некоей страны Эстровии, свергнутый за то (говорит он мимоходом), что хотел использовать атом в несколько иных, чем военные, целях. Король Шэдоу — само достоинство. Это — человек с совершенно седой головой, в каракулевой шапке, в элегантном костюме; он всюду появляется в сопровождении своего премьер-министра и посла. За ним неизменно следует толпа журналистов и репортеров. И вот он выступает с речью, горячая убежденность которой превосходит ее изысканность и учтивость. Он приветствует землю свободы... А в это же время американская иммиграционная полиция мажет ему пальцы черни лами для того, чтобы снять отпечатки...

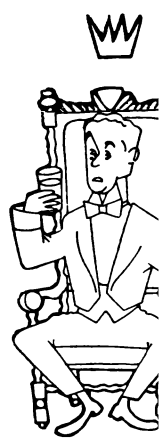




* * *

Король останавливается в отеле «Риц», в апартаментах, соответствующих его рангу. Но не проходит и суток, как, отдав должную дань и Бродвею и ночным клубам, и рок-н-роллу, и суперсинераме, неудачливый монарх теряет свою королеву, своего премьер-министра и (что самое страшное) свою казну, которая, как он полагал, находится на хранении в банке.

Но никто не знает о происшедших с ним несчастьях, и король отовсюду получает приглашения. Он отклоняет все, за исключением одного, исходящего от дамы высшего нью-йоркского общества. Это приглашение передает королю красивая молодая женщина, живущая по соседству с ним в отеле «Риц». Совершенно случайно (хотя это и было очень тщательно подстроено) король попадает в ее ванную комнату, где в этот момент купалось очаровательное создание.



Телевидение оказывается специальностью этой дамы (артистка Дон Аддамс), делающей сенсационную карьеру. В день ужина в честь монарха она устанавливает в зале телевизионную камеру, тщательно замаскировав ее. Красавица просит короля прочитать монолог Гамлета. Король выполняет ее просьбу и с большим проникновением читает Шекспира, в то время как его хорошенькая соседка, непонятно отчего, начинает расхваливать ему в самых нежных тонах достоинства новой зубной пасты.

И вот король, став главным действующим

лицом рекламной передачи, предстает перед десятью миллионами американских семей. Его посол чуть не умирает от удара. Он хочет, чтобы король принял участие в более достойном мероприятии.

* * *

Жизнь в отеле «Риц» стоит очень дорого, а у лишенного престола монарха нет больше карманных денег. Очаровательная соседка уговаривает его последовать ее примеру: заняться рекламой на телевидении. Это очень выгодно, ибо монарху обещают уплатить пятьдесят тысяч долларов за рекламирование виски фирмы «Ройал Кроун». Разумеется, лучше будет, если король покажется перед телезрителями в короне. Король отказывается. Никто не настаивает. Но его помещают в дворцовых апартаментах, убранных в лучшем голливудском стиле, стены которых обшиты деревом и украшены гербами. Все подготовлено, все тщательно прорепетировано. В семьях десятков миллионов американцев на маленьких экранах появляется Его Величество, он подносит стакан к губам, начинает пить и вдруг давится — король никогда не пробовал виски; напиток обжег ему горло, на глазах показались слезы, король закашлялся.

«Катастрофа!» — думает режиссер и приказывает прекратить передачу. «Катастрофа»,— думает король, который уже видит, как у него отбирают его пятьдесят тысяч долларов. Но пятьдесят миллионов телезрителей в восторге. Рекламные агентства разрывают короля на части; на сей раз этот покладистый человек соглашается выступить в другом жанре, обещая восхвалять достоинства нового омолаживающего крема.

Чтобы уничтожить у короля морщины, специальный хирург подтягивает ему кожу на лице, тщательно маскируя швы за ушами. И вот этот несчастный сидит в кабаре с неподвижным, лишенным всякого выражения лицом; он не может смеяться, боясь, как бы у него не лопнули швы. Но номер, который исполняется на эстраде, настолько смешон, что король не выдерживает и начинает хохотать. Швы лопаются, и лицо его становится прежним.

Один из вечеров король проводит в компании мальчика-говоруна, которого по недоразумению принимает за своего племянника. Короля обвиняют в том, что он «красный», ибо родители мальчика подвергаются преследованиям со стороны маккартистов и попадают в тюрьму. Самого короля вызывают в Комиссию по расследованию ан-

тиамериканской деятельности. Бедняга так испуган, что, растерявшись, явился в суд, волоча за собой пожарную кишку, из которой нечаянно обливает своих судей... Тем не менее, с него снимают предъявленное обвинение. После всего пережитого король предпочитает покинуть Америку.

* * *

«Король Чарли», так называли Чаплина в Англии в двадцатые, триумфальные для него, годы. И его мать, которую он смог, наконец, забрать к себе в Соединенные Штаты, всегда называла его королем. В последнем фильме величие Чарли Чаплина почти естественно.

В «Господине Верду» (1947) он создавал с большой тщательностью новый образ, используя такие средства грима, что новый персонаж явился своего рода отрицанием маленького Чарли. В «Огнях рампы» Чаплин дал главному герою—Кальверо — собственное лицо, потому что в этом фильме разговаривал как бы сам с собой; зритель видел старого комического актера, который если и не был маленьким Чарли, то во всяком случае исполнял его роль.

На этот раз он совсем другой.

Другой в той степени, в какой созданная актером роль может быть похожа на того, кто ее создал.

— Прекратите, Чарли Чаплин, прятаться за этим ребенком! — воскликнул один из лондонских журналистов во время показа фильма для представителей печати. Эта реплика прозвучала при демонстрации сцены, в которой король Шэдоу слушает в ультрасовременной школе выступление юного отрока о марксизме.

Нужно быть очень недобросовестным человеком, чтобы осмелиться

бросить такой упрек артисту. «Бовари — это я», — говорил Гюстав Флобер. Толстой мог сказать точно так же об Анне Карениной, Наташе, князе Андрее... Великий артист всегда вкладывает частичку самого себя в создаваемый им образ (плохой или хороший, положительный или отрицательный). Тот, кто умеет создавать свой мир,— гениален. Чаплин в такой же степени король Шэдоу, как и Кальверо и Терри (в «Огнях рампы»), рабочий и девчонка (в «Новых временах»), маленький Чарли и его толстый компаньон (в «Золотой лихорадке»).

* * *

Но нельзя создать «свой» мир, «своих» персонажей, если они не берутся прежде всего из реального мира, из определенного общества, если они не показаны в определенный исторический момент. «Новые времена», «Золотая лихорадка» и «Диктатор» имели миллионы поклонников именно потому, что эти фильмы определенным образом отражали проблемы, волновавшие бо́льшую часть людей в мире. Поэтому миллионы зрителей во всех странах будут аплодировать новому фильму Чарли Чаплина, сказавшему на пресс-конференции в Л ндоне:

— Мой фильм вовсе не является серьезным фильмом. Я задумывал его как комедию. Однако в нем есть серьезное содержание, которое, мне думается, соответствует духу XX века.

На пресс-конференции, когда некоторые журналисты обвиняли Чаплина за тот демократический дух, которым проникнут его фильм, Чаплин заявил:

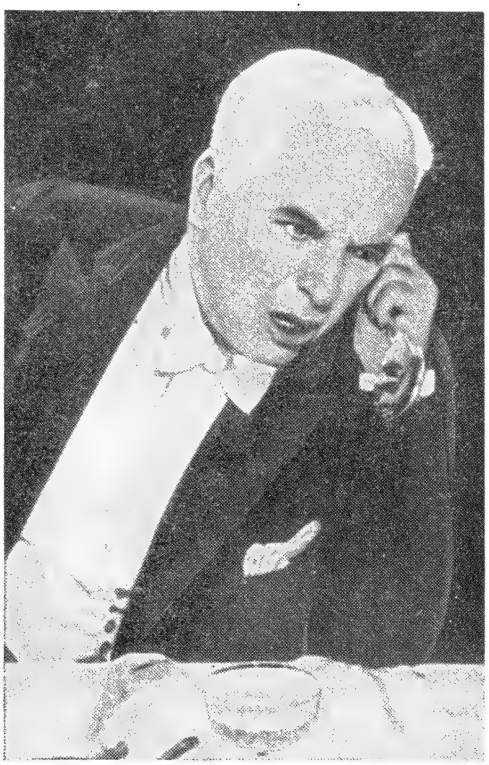
— Я создавал свой фильм для того, чтобы зрители могли посмеяться. Америка достаточно сильна для того, чтобы устоять перед сатирой. Я не политический деятель, но я решительно не могу примириться с окружающей действительностью; а самое главное — я неисправимый романтик. Я никогда не нападал на Соединенные Штаты, а нападал лишь на небольшую кучку злодеев. Могу ли я не реагировать, когда меня оскорбляют? Мой фильм не является политической пропагандой. Я просто хотел показать, как мы ощущаем в наше" душе борьбу, которую ведут между собой люди. Я не думаю, что нездоровая атмосфера «охотников на ведьм» глубоко и окончательно отравила Америку. Мой фильм ни в какой степени не может причинить даже малейшего ущерба Америке. Напротив, он может сослужить ей хорошую службу.

Маленький король, прибывший в Нью-Йорк, представляет собой, по сути дела, современного Дон-Кихота борющегося на этот раз не с ветряными мельницами, а с той частью людей которые обитают в некоторых небоскребах.

«Мистер Чаплин выступает с сатирой на маккартизм» — писал один из критиков английской газеты «Таймс». Но, стремясь свести сатиру до шутовства, этот критик пишет: «Трюк с пожарной кишкой мог занять место в любой комедии, выпущенной студией Кистоун в серии комических фильмов, которые ставил до 1914 года Мак Сеннетт».

Как Мольер, остается Мольером, так и Чаплин остается Чаплином, хотя он и запутался в пожарной кишке. И нужн быть просто недобропорядочным человеком, чтобы сравнить этот эпизод с эпизодом из старого фильма «Политый поливальщик», который в 1894 году поставил Луи Люмьер.

Ведь эта кишка является для него в комическом плане почти живым символом того волнения, которое он испытал сам, когда маккартисты вызвали его в суд. Король



запутался в кишке, как в путах или цепях, и вот эта огромная кишка превращается в змею, следующую по его стопам, словно за жертвой, которой предъявлено публичное обвинение. Наконец, будучи поднята вверх, подобно «факелу свободы», кишка наполняется водой и обливает всех членов суда, мстя таким образом за мир, за поруганное общественное мнение точно так же, как Чаплин по-своему отомстил фашизму, показав Муссолини и Гитлера, бросающих друг другу в лицо торты с кремом.

В фильме «Король в Нью-Йорке» каждая ультракомическая шутка имеет очень серьезный и глубокий смысл. Как и во всякой настоящей и большой сатире, смех преобладает над всем, даже над язвительностью. Самая экстравагантная или смешная шутка основывается на длительном и любовном наблюдении за людьми, за их достоинствами и недостатками.

Таким образом, в течение ста пяти минут комического спектакля эти шутки вовсе не заглушают ста пятидесяти действительно трагических секунд фильма. Например, ребенок, весь в слезах, закрывает лицо руками, потому что, стремясь спасти родителей, он был вынужден выдать их друзей маккартистам. Это волнующий образ нашего времени, заставляющий зрителя содрогнуться. Но эта драматическая нота входит лишь как элемент в общую нить комедии.

«Король в Нью-Йорке» — большое произведение комического жанра, достойное во всех отношениях других фильмов Чаплина. Веселый смех зрителей очень быстро опроверг убогие замечания некоторых «крупных» газет. Новый Дон-Кихот победил, ибо зрители стали на его сторону. «Король в Нью-Йорке» с таким же триумфом пройдет по экранам всех стран мира, с каким прошли фильмы «Малыш», «Огни большого города», «Золотая лихорадка», «Новые времена» — величайшие шедевры классической кинематографии.

Так, в шестьдесят восемь лет Чарльз Спенсер Чаплин, странствующий рыцарь, благородный слуга народов, отдающий свой труд делу защиты гуманизма, продолжает свои славные поиски справедливости и свободы.

Париж.

ИЗ ИСТОРИИ
зарубежных связей мастеров русской культуры

С. М. Эйзенштейн

Письма к Сергею Михайловичу Эйзенштейну

от Теодора Драйзера, Анри Барбюса, Стефана Цвейга, Блэза Сандрара, Гордона Крэга, Лиона Фейхтвангера, Лилиан Хеллман, Уолта Диснея, Поля Робсона.

С. М. Эйзенштейн (1898—1948) — выдающийся советский кинорежиссер. Широко известны созданные им кинофильмы «Броненосец Потемкин», «Октябрь», «Старое и новое», «Александр Невский», «Иван Грозный», с успехом обошедшие экраны целого ряда стран. Далеко за пределами Советского Союза известны теоретические работы С. М. Эйзенштейна в области кино. Его статьи по различным вопросам кинематографии, публиковавшиеся журналами всего мира, вышли отдельными сборниками в Англии, Аргентине, США, Италии, Японии. За теоретические исследования, явившиеся значительным вкладом в отечественное киноискусство, ему была присвоена степень доктора искусствоведческих наук. Много труда вложил С. М. Эйзенштейн и в дело воспитания молодых кадров кинорежиссеров

Горячий патриот своей социалистической родины, С. М. Эйзенштейн живо откликался на события в жизни родной страны. Об этом свидетельствует все творчество этого большого художника.

Широки были международные культурные связи С. М. Эйзенштейна. «Кино, конечно, наиболее интернациональное из искусств,— писал он.— И не только потому, что вокруг земного шара по самым разнообразным странам прокатываются фильмы производства разных стран. Но прежде всего потому, что именно кино, с его все обогащающимися возможностями техники и все развивающейся творческой изобретательностью, может установить очень живой международный контакт творческой мысли».

С. М. Эйзенштейн совершил два заграничных путешествия. Первое — в 1926 году в Германию, второе—в 1929—1932 гг. по Европе, США и Мексике. Ему приходилось часто встречаться с деятелями европейской и американской культуры. Многие известные представители искусства и литературы Запада, например Ч. Чаплин, Т. Драйзер и П. Робсон, остались друзьями С. М. Эйзенштейна на всю жизнь. Множество писем от самых различных людей сохранилось в фонде С. М. Эйзенштейна в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ) и в его личном архиве. И в каждом письме чувствуется глубокое уважение к талантливому советскому кинорежиссеру, чье реалистическое искусство и мастерство немало способствовали пробуждению за рубежом живого интереса к советскому кино, ближе познакомили с героической борьбой русского пролетариата и крестьянства за свободу и по-

строение первого в мире советского государства. Именно об этом нередко упоминается в письмах, об этом говорят автографы на книгах в библиотеке С. М. Эйзенштейна. **«Сергею Эйзенштейну в знак искреннего восхищения «Потемкиным»,**— пишет Бернард Шоу. **«Сергею с глубоким восхищением. Как чудесно обрести Вас и Россию в один день. Искренне Ваш друг Павел»,**— надписывает Поль Робсон книгу своей жены Эсланды Робсон «Поль Робсон, негр».

Мы публикуем отдельные письма некоторых деятелей зарубежной культуры. Не все раскрывается в этих письмах, далеко не полностью отражают они взаимоотношения их авторов и С. М. Эйзенштейна. Но все они свидетельствуют о признанном международном авторитете С. М. Эйзенштейна и о его творческом содружестве с крупнейшими представителями мировой культуры.

* * *

Дата письма (авторская или установленная) и место написания помещаются в начале письма с правой стороны.

1—2—3

От Теодора Драйзера

(С Ш А)

1927 г., Москва

Я вижу, что любой реалистический показ действительности, так же как и изображение мечты о будущем, мечты, не отделимой от этого гигантского эксперимента, любое изображение усилий и борьбы русского народа во имя советской идеологии и прогресса России может возыметь огромное значение.

К сожалению, в связи с тем, что я видел только фрагменты этих обеих картин — «Октябрь» и «Генеральная линия», я не могу оценить их в целом. Но по тому, как насыщены отдельные эпизоды, я чувствую, что ощущение реальности и драматизма жизни должно быть в них очень тонким, что чрезвычайно ценно.

Теодор Драйзер

Отзыв Т. Драйзера, переданный лично Эйзенштейну, печатается по подписанному машинописному тексту на английском языке (ЦГАЛИ, ф. 1923, ед. хр. 1220).

...я видел только фрагменты этих обеих картин — «Октябрь» и «Генеральная линия»...— известный американский писатель Теодор Драйзер (1871—1945) посетил в 1927—1928 гг. Советский Союз. Во время пребывания в Москве он видел фрагменты названных фильмов. «Октябрь» — фильм С. М. Эйзенштейна, поставленный в соавторстве с Г. В. Александровым (производство Совкино, 1927). Фильм рассказывает об октябрьских днях 1917 года в Петрограде. В «Октябре» была сделана первая в истории советского кино попытка воплощения образа В. И. Ленина на экране. «Генеральная линия» — первоначальное название фильма «Старое и новое». Выпущен на экраны в 1929 году. Сценарий и режиссура С. М. Эйзенштейна и Г. В. Александрова. Фильм посвящен коллективизации сельского хозяйства в Советском Союзе.

1 сентября 1931 г., Нью-Йорк

Дорогой Эйзенштейн!

Меня очень заинтересовало Ваше письмо, и я признателен Вам за сообщение Вашей точки зрения на существующие трудности. Ничто не огорчило меня более, чем их отказ поручить Вам съемку картины. Меня устраивало то, что у «Парамоунта» нет никого, кто бы мог ее сделать так же хорошо, как Вы, и их абсолютно узкопрактический и коммерческий подход, в результате которого они отбросили этот оригинальный план, привел меня в ярость.

Как Вы видите, я сделал все, что было в моих силах, чтобы предотвратить съемку фильма, но прилагаемое судебное решение разъяснит Вам, что произошло. Вам будет известна точка зрения суда на кино как таковое в Америке, когда Вы ознакомитесь с этим юридическим толкованием.

Что Вы делаете в Мексике? Снимаете ли картину, и если да, то какого типа, и удается ли Вам, находясь там, чувствовать себя хорошо?

Как Вы думаете, смогут ли когда-нибудь в России экранизировать «Американскую трагедию»? Мне бы этого хотелось. Во всяком случае, я хочу, чтобы Вы знали, с каким величайшим восхищением отношусь я к Вам и к Вашей работе. Я надеюсь, что придет время, когда какое-нибудь из моих произведений не только попадет в Ваши руки, но что Вы будете иметь возможность осуществить его постановку.

Читали ли Вы мою трагедию под названием «Руки гончара»? Если нет, буду рад выслать Вам экземпляр.

Как всегда, с наилучшими пожеланиями. **Теодор Драйзер**

С. М. Эйзенштейн в гостях у Диего Риверы (слева) в Мексике

Печатается по подписанному машинописному тексту на английском языке (Архив С. М. Эйзенштейна).

Ничто не огорчило меня более, чем их отказ поручить Вам съемку картины — во время поездки в США в 1931—1932 гг. С. М. Эйзенштейн принял предложение фирмы «Парамоунт» поставить фильм по роману Теодора Драйзера «Американская трагедия», но трактовка темы вызвала возражения фирмы, так как советский режиссер трактовал роман не как обычную полицейскую историю одного убийства, а как произведение, обличающее буржуазную действительность, приведшую героя к преступлению. С. М. Эйзенштейн писал Т. Драйзеру: **«Величайшая Ваша заслуга, что в простом газетном отчете об очередном убийстве Вы разглядели всю социальную, человеческую атмосферу, которая привела к убийству»**. (Из ответного неотосланного письма С. М. Эйзенштейна Т. Драйзеру. — Архив С. М. Эйзенштейна). Т. Драйзер принял сторону С. М. Эйзенштейна, но фирма отказалась снимать фильм.

...предотвратить съемку фильма...— речь идет о съемке режиссером фирмы «Парамоунт» кинофильма по роману Т. Драйзера «Американская трагедия».

Что Вы делаете в Мексике? — С. М. Эйзенштейн, Г. В. Александров и Э. К. Тиссэ снимали в Мексике картину «Да здравствует Мексика!». Съемки фильма были почти закончены, когда С. М. Эйзенштейн должен был вернуться в СССР. Он надеялся закончить фильм в Москве. Однако материалы фильма из-за границы получить не удалось.

Читали ли Вы мою трагедию под названием «Руки гончара»? — речь идет о пьесе Теодора Драйзера, написанной в 1918 году.

3 января 1938 г., Нью-Йорк

Дорогой Эйзенштейн!

Больше года я собирался Вам написать по самым различным поводам, но оказалось, что никто ничего не знает ни о Вас, ни о том, где Вас можно найти. И вот только что я узнал из газет, что Вы снова работаете и заняты съемкой нового фильма.

Вам, вероятно, известно, что когда в моей стране экранизировали «Американскую трагедию», получилось так плохо, что я был вынужден добиваться переделки фильма. Я был не удовлетворен также тем, что они сделали с «Дженни Гергардт».

Здешняя киноиндустрия вызывает во мне чувство глубокого отвращения, и не только из-за искажения моих произведений, но, как Вы знаете,— вообще из-за ее дешевого торгашества и угодничества перед самыми низкими и дурными вкусами.

С тех пор как появилась техника создания кинофильмов, я видел в ней средство художественного воздействия, которое благодаря силе своей выразительности намного превосходит литературу, живопись и другие виды искусства, и я надеялся, что моя собственная работа может быть удовлетворительно переведена на язык кино. Меня интересует сейчас, по-прежнему ли Вы хотите ставить сценарий «Американской трагедии», который Вы мне когда-то показывали, или экранизировать какой-нибудь другой из моих романов. Я всегда думал, что «Финансист» был бы особенно хорош для русских

зрителей, потому что он затрагивает основы капитализма в Америке. Дайте мне знать об этом. Во всяком случае, я буду очень рад получить Ваш ответ. Я часто думал о том, как Вы поживаете и есть ли у Вас возможность осуществить большие планы, о которых Вы говорили.

С наилучшими пожеланиями.

Теодор Драйзер

Печатается по подписанному машинописному тексту на английском языке (Архив С. М. Эйзенштейна).

4—5

От Анри Барбюса

(Франция)

8 августа 1928 г., Москва

Мой дорогой товарищ,

27 августа во Франции будет подписан пакт Келлога. По этому случаю «Монд» проводит большую анкету среди выдающихся деятелей всего мира, и я прошу Вас сообщить совсем коротко (примерно 10 строчек) Ваше мнение о пакте Келлога. Мы думаем, что эта анкета выявит сущность кампании, которую проводит в настоящее время империализм, чтобы прикрыть свои воинственные намерения торжественными мероприятиями.

С братским приветом.

Ваш Анри Барбюс

Сообщите ответ секретарю «Монд» в СССР. Москва, ВОКС.

Печатается по подписанному машинописному тексту на французском языке (ЦГАЛИ, ф. 1923, ед. хр. 559).

...во Франции будет подписан пакт Келлога. По этому случаю «Монд» проводит большую анкету...— многосторонний договор (пакт Келлога — Бриана) об отказе от военных действий, заключенный представителями США, Франции, Германии, Англии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Бельгии, Польши и Чехословакии в 1928 году. Пакт содержал лишь формулу отказа от войны и не предусматривал никаких санкций в случае нарушения соглашения каким-либо государством. СССР, исходя из основных принципов своей внешней политики и интересов борьбы за мир, присоединился к пакту, но сделал ряд оговорок, расширявших действие пакта.

«Монд» — французский еженедельник, издававшийся в 1928—1935 гг. Анри Барбюсом (1873—1935), крупным французским писателем-коммунистом, выдающимся борцом против фашизма.

28 января 1930 г., Мирамар

Мой дорогой товарищ,

С этой же почтой я пишу друзьям, которые просили меня и Вас, а также Александрова и Тиссэ принять участие в банкете 1 февраля, и сообщаю им, что, к моему несчастью, я не могу приехать в настоящий момент в Париж.

Тем не менее, я бесконечно желал бы Вас видеть и беседовать с Вами. Позвольте напомнить в связи с этим о предложении, которое я Вам сделал в Москве и с чем Вы в принципе согласились: приехать и провести несколько дней на юге у меня.

Я живу в прекрасном городке, который Вас заинтересовал бы как художника, на берегу моря, в нескольких километрах от Канн. Вы могли бы здесь отдыхать или работать — по Вашему усмотрению, и я был бы очень рад случаю снова побыть вместе с Вами. Ваше пребывание в моем доме принесло бы мне огромную радость и одновременно, я думаю, большую пользу организации кампании по вопросам кино, которую мы хотели бы провести на страницах газеты «Монд».

Если Александров и Тиссэ захотят присоединиться к Вам, мое приглашение в равной мере относится и к ним.

С дружеским приветом.

Ваш Анри Барбюс

Печатается по подписанному машинописному тексту на французском языке (ЦГАЛИ, ф. 1923, ед. хр. 559).

...я был бы очень рад случаю снова побыть вместе с Вами — письмо получено С. М. Эйзенштейном в Париже в 1930 году во время заграничной поездки вместе с режиссером Г. В. Александровым и кинооператором Э. К. Тиссэ.

6—7

От Стефана Цвейга

(Австрия)

18 декабря 1928 г., Зальцбург

Дорогой мэтр Эйзенштейн!

Никто не помнит Вас так хорошо, как я, и в Ваших ушах, должно быть, звенит — так часто я говорил о Вас и с такой любовью. Ваше имя Вы найдете кратко упомянутым в небольшой серии статей,— подлинную же, настоящую книгу о России я только собираюсь написать и с этой целью я хотел бы еще раз туда съездить и тогда уже поподробнее посмотреть страну — вниз по Волге, а там вплоть до Тифлиса и Грузии.

За это время я побывал в Париже, где мой «Вольпоне» в переводе Жюля Ромена имел фантастический успех. Теперь я еду в Швейцарию, чтобы немного поработать. Наконец-то, наконец! Но в январе, когда Вы приедете в нашу скучную Европу, я уже вернусь и буду страшно рад повидать Вас. В Вене устроили бы большой вечер в честь Вас, а быть может, Вы могли бы и выступить с докладом. Я определенно гарантирую Вам при этом большой успех в плане материальном, моральном и человеческом. Вам стоит черкнуть мне лишь одну строчку, и я это устрою. Но тогда Вы должны заехать и к нам — это Вам по пути в Берлин и Париж.

Я сейчас же написал дочери Фрейда с просьбой достать для Вас биографию ее отца с автографом. И я не могу даже представить себе, чтобы она не захотела этого сделать. А когда Вы приедете в Вену, Вы непременно должны будете его повидать.

Я страстно хочу снова поехать в Россию. Мы сами слишком долго переживали трудные времена, чтобы не понимать, как часто люди инстинктивно стремятся отгородиться от этого, однако остается справедливой старая прописная истина: людей закаляют только такие трудные времена. И теперь в нашей уютной Европе люди, может быть и бессознательно, опять стремятся к сильным переживаниям.

Итак, тысяча благодарностей и сердечные приветы от преданного Вам Стефана Цвейга.

Печатается по подписанному машинописному тексту на немецком языке (ЦГАЛИ, ф. 1923, ед. хр. 1031).

...я хотел бы еще раз туда съездить...— известный австрийский писатель Стефан Цвейг (1881—1942) посетил в 1928 году СССР и тогда же познакомился с С. М. Эйзенштейном.

«Вольпоне» — переработка С. Цвейгом пьесы Бен Джонсона с тем же названием, написанной в 1607 году.

Ромен, Жюль (род. в 1885 г.) — французский буржуазный писатель.

Я сейчас же написал дочери Фрейда...— в свое время С. М. Эйзенштейн интересовался теорией Фрейда — австрийского врача, известного своей теорией психоанализа, переросшей в целую систему взглядов, которая получила название «фрейдизм». По Фрейду, не общественное бытие людей определяет их сознание, а нечто бессознательное определяет их бытие. Роль социально-экономических условий и классовой борьбы в обществе Фрейд сводит на нет, выставляя на первый план биологические факторы как движущую силу общественного развития.

22 июня 1929 г., Зальцбург

Дорогой мэтр!

Я чрезвычайно заинтересован Вашим фильмом — это я могу сказать Вам откровенно, потому что сильна моя тоска по России. Я чувствую это каждый раз, когда читаю какую-нибудь книгу или кого-нибудь встречаю.

К сожалению, наше желание увидеть двух-трех русских писателей на большом международном конгрессе ПЕН-клуба не исполнилось. Я приглашал их дважды и сделал для этого все возможное; они были бы приняты, как короли, или гораздо лучше, так как королей в наши дни уже не приветствуют так горячо. Поэтому скажем лучше: как кинорежиссеры.

Я сейчас с головой ушел в работу и уже написал довольно крупную вещь, в которой две сцены пока еще не удались; поэтому я до сих пор не выпускаю ее из рук. По правде говоря, может получиться довольно сильная вещь, по характеру своему трагичная. Но это трагизм, которого герой в сущности не чувствует. Я отношусь к этому не так, даже если тот, о ком идет речь, переоценивает свою судьбу.

Меня страшно интересует, как развивается Ваше искусство теперь, когда звуковое кино ставит перед ним совершенно новые задачи. Ведь на этом все помешаны, особенно потому, что тут можно чертовски много заработать. Вчера я опять долго обсуждал все возможности звукового кино с одним приятелем, который собирается создать первый немецкий звуковой фильм. Я абсолютно разделяю Вашу русскую точку зрения, что это дело бессмысленно и ненужно, если оно не одухотворяет, не подает примера, не возвышает наши устремления. Правда, то, что я сейчас публикую, как будто и не от-

ражает эту точку зрения — ведь я написал биографию одного негодяя, биографию Жозефа Фуше для того, чтобы показать, каким дипломат не должен быть и каков он сегодня — только делец и политический игрок. Но надо же когда-нибудь дать волю своей злости, неудовольствию и презрению, а потом можно и опять прийти к душевному равновесию.

Эрих Моссе пишет мне уже из Берлина. Он тоже ужасно сожалеет, что не повидал Вас. На него Россия произвела огромное впечатление, и он будет энергично помогать нам в том, чтобы наконец исчезли в Германии эти глупые представления, вытекающие только из низких и мелочных денежных расчетов.

Мне очень хочется опять поехать туда, и может быть, в Берлине мы сможем договориться. В следующий раз я хотел бы наконец посмотреть страну и проехать до Ташкента или еще дальше.

Дорогой мэтр, я шлю Вам привет, обнимаю Вас и готов совершить специальную поездку, чтобы навестить Вас в Берлине, как только Вы там будете.

Ваш Стефан Цвейг

С. М. Эйзенштейн и Чарльз Чаплин на теннисном ко в Голливуде

Печатается по подписанному машинописному тексту на немецком языке (ЦГАЛИ, ф. 1923, ед. хр. 1031).

...я написал биографию одного негодяя, биографию Жозефа Фуше...— «Жозеф Фуше» — историко-биографический роман, написанный С. Цвейгом в 1929 году о французском политическом деятеле конца XVIII — начала XIX вв. Жозефе Фуше.

Моссе, Эрих (род. в 1891 г.) — псевдоним Петера Фламма, немецкого драматурга и прозаика.

8

От Блэза Сандрара

(Франция)

30 сентября 1930 г., Париж

Дорогой друг,

Бесконечно благодарю Вас за Ваше письмо и за усилия, которые Вы приложили для того, чтобы экранизировать «Золото».

Все, о чем Вы говорите, меня не удивляет.

Если бы Вы рассказали об этом проекте, когда мы с Вами завтракали в Париже, я бы Вас поставил в известность о тех затруднениях, которые были у меня с продажей этой вещи в Америку, и обо всех абсурдных замечаниях, которые делались американцами только для того, чтобы не поставить фильм.

Я был уверен, что, в конечном итоге, так случится и во второй раз. Так или иначе, благодарю Вас за Ваши добрые намерения. «Американская трагедия» — это очень хороший материал, и я уверен, что Вы сделаете нечто исключительное.

Желаю мужества. Здесь, где у Вас так много друзей, Вы всегда желанный гость.

Спасибо за фотографии, они забавны.

Жму руку. **Блэз Сандрар.**

Печатается по подписанному машинописному тексту на французском языке. Слова **«дорогой друг»** и **«жму руку»** написаны по-русски от руки (Архив С. М. Эйзенштейна).

Сандрар, Блэз (род. в 1887 г.) — французский писатель, автор повести «Золото» (1925) о первых золотоискателях в Калифорнии. С. М. Эйзенштейн взялся экранизировать эту повесть для фирмы «Парамоунт». Но написанный С. М. Эйзенштейном совместно с Г. В. Александровым сценарий по произведению Б. Сандрара не был принят фирмой, так как являлся, по существу, изобличением страсти к наживе в буржуазном обществе.

9

От Гордона Крэга

(Англия)

18 декабря 1935 г., Генуя

Дорогой Сергей Эйзенштейн,

Какую огромную радость я испытал, когда пришло Ваше письмо. Я выходил из ворот, а письмо лежало на дорожке среди деревьев и кустов. Я поднял его и на ходу прочитал. Итальянские почтальоны знают, очевидно, лучший способ, каким нужно доставлять письма Эйзенштейна.

Я нахожусь в Генуе с июня — слишком долго, моя белая борода скоро дорастет до земли. Я прочел в газетах, что на берегу Черного моря создается кинематографический центр. Вы, должно быть, там? Полагаю, что да.

Я приглашен в Нью-Йорк!!! Ха!

Если бы до этого города шел поезд, я бы поехал туда, но я не люблю пароходы, хоть и очень люблю, когда меня приглашают.

Видели ли Вы мою небольшую статью о моем визите в Москву, в которой я пишу о Вас в трех словах — солидно, без всякой шумихи.

Я сейчас пытаюсь писать еще одну книгу — о русском театре, об итальянском театре и т. д. Но дело идет медленно.

Я хочу поехать снова в Россию и увидеть работу ... *(неразб.)* **в Ленинграде, в деревне ...** *(неразб.)* **и на Черном море.**

Но возможно ли это?

Мне было бы очень приятно, если бы это можно было устроить.

Но вместо этого я обязан ехать в Англию. Последние годы мне приходится работать над невозможным ради двух дюжин будущих актеров.

Прилагаю маленькую гравюру на дереве для Вас.

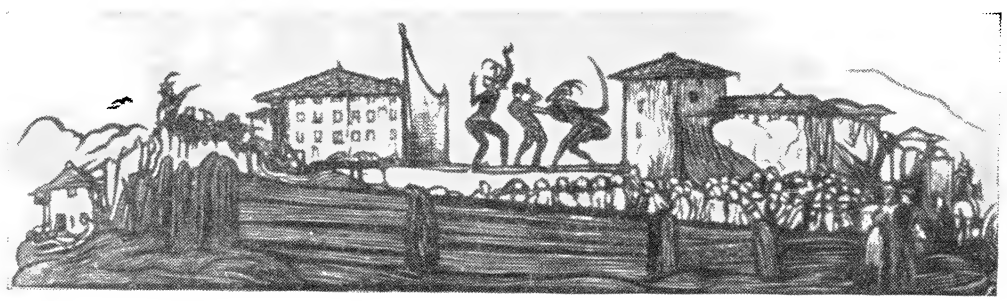
Гордон Крэг

«Башня около Флоренции» — гравюра Гордона Крэга, подаренная автором С. М. Эйзенштейну

Печатается по рукописному тексту на английском языке (ЦГАЛИ, ф. 1923, ед. хр. 775).

Крэг, Эдвард Гордон (род. в 1872 г.) — видный английский художник и режиссер. С Эйзенштейном встречался во время своего визита в Москву в 1935 году.

Гравюра Гордона Крэга, подаренная им С. М. Эйзенштейну



10—11

От Лиона Фейхтвангера

(Германия)

6 марта 1937 г.

Дорогой Эйзенштейн,

Вот я опять благополучно вернулся в свой Санари, а Москва осталась далеко позади, но не забыты и живыми встают передо мной Ваш фильм и те вечера, которые я провел с Вами.

Позвольте мне еще раз от всего сердца поблагодарить Вас. Посылаю Вам на память с этой же почтой «Лже-Нерона», потому что, я знаю, Вы им интересовались, и заодно «Безобразную герцогиню». Передайте мой самый сердечный привет Марии, которой я напишу в ближайшее время, и самые искренние пожелания счастья нашей милой и веселой хозяйке, чье имя я никогда толком не мог понять, но чью любезность и кулинарные способности я никогда не забуду.

По всей вероятности, с Вами можно будет увидеться этим летом во Франции.

Неизменно Ваш

Лион Фейхтвангер

Печатается по подписанному машинописному тексту на немецком языке (ЦГАЛИ, ф. 1923, ед. хр. 997).

...Москва осталась далеко позади, но не забыты и живыми встают передо мной Ваш фильм и те вечера...— известный немецкий писатель Лион Фейхтвангер (род. в 1884 г.) познакомился с Эйзенштейном во время своего посещения СССР в 1937 году.

18 октября 1945 г., Мирамар

Дорогой Сергей Эйзенштейн,

Очень мило с Вашей стороны прислать мне брошюру об Иване. Фильм мы смотрели здесь дважды. Должно быть, стоило невероятных усилий его сделать, но усилия даром не пропали. Это оправдало себя. Очень надеюсь скоро снова Вас увидеть.

Всем сердцем Ваш старый

Лион Фейхтвангер

Печатается по подписанному машинописному тексту на немецком языке (ЦГАЛИ, ф. 1923, ед. хр. 997).

...брошюру об Иване — киносценарий С. М. Эйзенштейна «Иван Грозный», Госкиноиздат, М., 1944.

12

От Лилиан Хеллман

(США)

24 июля 1946 г., Нью-Йорк

Дорогой Сергей,

Вот статья об Уильяме Уайлере одного очень известного американского летчика Бирна Лэя, который работал и летал с Уайлером во время войны.

Насколько мне известно, статья предназначается для какого-то крупного американского журнала, но я предложила ему дать мне один экземпляр для Вашего журнала, и, осмелюсь сказать, он хочет, чтоб ему заплатили за нее.

Не знаю, насколько она Вам понравится. Мне кажется, в ней содержится достаточно точное описание Уайлера, но, так или иначе, ввиду того, что я выступаю посредницей, я хотела бы получить Ваш ответ.

Возможно, Вам будет интересно узнать, что Лэй недавно написал книгу о своих похождениях во Франции в качестве парашютиста и о том, как он, наконец, вернулся в ряды наших войск в Англии.

Лилиан Хеллман и С. М. Эйзенштейн

Эта записка написана очень наспех, и я надеюсь, что Вы простите меня. Скоро напишу длинное письмо.

Примите мою любовь, и я надеюсь, что Вы сейчас здоровы и счастливы.

С любовью.

Лилиан

Печатается по подписанному машинописному тексту на английском языке (ЦГАЛИ, ф. 1923, ед. хр. 1022).

Хеллман, Лилиан (род. в 1905 г.) — известная американская писательница. Ее пьесы «Лисички» «Леди и джентльмены» и «Осенний сад» были поставлены в театрах Советского Союза.

Вот статья об Уильяме Уайлере...— Уильям Уайлер — современный американский кинорежиссер, постановщик кинофильма «Лисички». Статья Лэя о нем напечатана не была.

...дать мне один экземпляр для Вашего журнала...— речь идет о журнале «Искусство кино», где С. М. Эйзенштейн был в то время членом редколлегии.

13

От Уолта Диснея

(С Ш А)

11 апреля 1935 г., Голливуд

Дорогой мистер Эйзенштейн,

Благодарю Вас за письмо от 16 марта, полученное в дополнение к Вашей поздравительной телеграмме от 4 марта в связи с премией, присужденной нашим фильмам.

Разумеется, мы очень счастливы, что наши фильмы признаны достойными такой чести, и мы глубоко признательны за это проявление доброжелательности со стороны народа России к нашей работе.

Что касается издания кинофотоиздательством сборника некоторых наших сценариев, я передаю этот вопрос, затронутый в Вашем письме, моему брату Рэю Диснею, который ведает всеми деловыми вопросами нашей организации. Мне известно, что он Вам об этом уже писал. Также я узнал от моего брата, что ведутся переговоры о продаже некоторых наших фильмов России. Мы очень надеемся, что получим право про-

ката в этой стране наших фильмов, но в настоящее время там интересуются только немногими фильмами и хотят их приобрести, не заключая общего контракта.

Пожалуйста, примите мою благодарность и признательность за Ваш интерес к нашей работе.

С приветом лично от меня и с наилучшими пожеланиями, искренне Ваш

Уолт Дисней

Печатается по подписанному машинописному тексту на английском языке (ЦГАЛИ, ф. 1923, ед. хр. 687).

Дисней, Уолт (род. в 1901 г.) — американский кинорежиссер-мультипликатор. В СССР известны фильмы Диснея «Три поросенка», «Бемби» и другие. Студия Диснея является крупным капиталистическим предприятием.

14

От Поля Робсона

(С Ш А)

[Лето 1937 г.], Москва

Дорогой Сергей!

Вот я в Москве и очень опечален, что Вас здесь нет. Надеюсь скоро встретиться с Вами в нарзанной ванне.

Пера здесь, весела, как всегда, но забыла меня ради Павлика младшего.

Немного утомлен сражениями с англо-американскими режиссерами, но скоро приду в себя.

Всего наилучшего. Эсси и Поль младший шлют свою любовь.

Сердечно

Поль

Печатается по рукописному тексту на английском языке (Архив С. М. Эйзенштейна).

Робсон, Поль (род. в 1898 г.) — выдающийся певец, актер, прогрессивный общественный деятель, лауреат Международной премии мира и Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». С 1934 года неоднократно приезжал в СССР. С Эйзенштейном Робсона связывала крепкая дружба.

...в нарзанной ванне— С. М. Эйзенштейн отдыхал летом 1937 года в Кисловодске, куда собирался и П. Робсон.

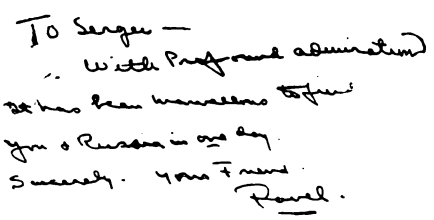
...утомлен сражениями с англо-американскими режиссерами...— П. Робсон перед приездом в СССР снимался в кино.

Павлик (Поль) младший — сын Поля Робсона.

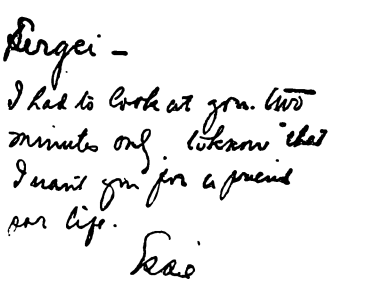
Эсси — Эсланда Гуд Робсон, жена Поля Робсона.

Автографы надписей на книге жены Поля Робсона Эсланды Гуд Робсон «Поль Робсон. негр»

Сергею с глубоким восхищением.
Как чудесно обрести Вас и Россию в один день.
Искренне Ваш друг
Павел.



Сергею.
Мне достаточно было видеть Вас только две минуты, чтобы понять, что я хочу всю жизнь иметь такого друга, как Вы.
Эсси.



Составители, переводчики, авторы комментариев и предисловия П. Аташева и В. Земсков.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

БОЕВОЕ ИСКУССТВО ДЖОНА ХАРТФИЛЬДА

Джон Хартфильд *(фото)*.

Джон Хартфильд (Хельмут Херцфельде), фотомонтажи и выдержки из статьи которого мы публикуем ниже, родился в 1891 году в одном из берлинских пригородов. Шестнадцати лет он поступает в мюнхенское художественное училище, а затем продолжает учебу в Шарлоттенбурге. В 1914 году его призывают в армию. Тогда-то Хартфильд и начал заниматься фотомонтажем.

«...Цензурные условия военного времени,— вспоминает он,— не позволяли высказывать антиимпериалистические мысли, особенно в письменной форме. Солдаты на фронте прибегали ко всяким хитростям, чтобы познакомить своих родных в тылу, часто еще одурманенных шовинистическими идеями, с бытом окопов. Надо было показать зияющую пропасть между жизнью на фронте и жизнью буржуазных тунеядцев. Солдаты, между прочим, пользовались таким средством: они склеивали фотографии, различные газетные вырезки и т. д., соединяя, например, снимки солдат, павших на фронте, с какой-нибудь картинкой из журнала, иллюстрирующей быт капиталистических паразитов. Два-три метких слова дополняли мысль. Больше ничего. Это было началом...»

Когда была основана Коммунистическая партия Германии, Хартфильд одним из первых вступил в ее ряды. С этого момента его жизнь и работа неразрывно связаны с партией и ее печатными органами.

В 1931 году Джон Хартфильд приезжал в Советский Союз, где была организована первая выставка его фотомонтажей. Здесь же им было сделано несколько монтажей для журнала «СССР на стройке».

Многие свои работы Хартфильд посвятил борьбе с надвигающимся фашизмом. Популярность работ Хартфильда среди трудящихся Германии была в те годы необычайной. «...Рабочая иллюстрированная газета (АИЦ),— рассказывает об этом периоде немецкий писатель Бодо Узе,— издавалась полумиллионным тиражом, и тем не менее, в день выхода очередного номера у киосков всегда была давка. Люди рвали ее из рук уличных продавцов. Встречаясь, они прежде всего спрашивали друг у друга: «Видели?» — и показывали на обложку журнала, где был помещен очередной фотомонтаж Хартфильда... Его ждали как экстренное сообщение, как последнюю сводку о политическом положении в стране...»

Выставки его работ в Праге, Париже, Цюрихе и Нью-Йорке вызывали бешеный вой в лагере фашистов.

В 1933 году Хартфильд эмигрирует в Чехословакию, а спустя пять лет — в Англию. В 1950 году Хартфильд возвратился на родину, где был избран действительным членом Немецкой академии художеств.

В день шестидесятилетия Джона Хартфильда Бертольт Брехт прислал ему приветствие, которое может служить лучшей характеристикой этого талантливого революционного художника:

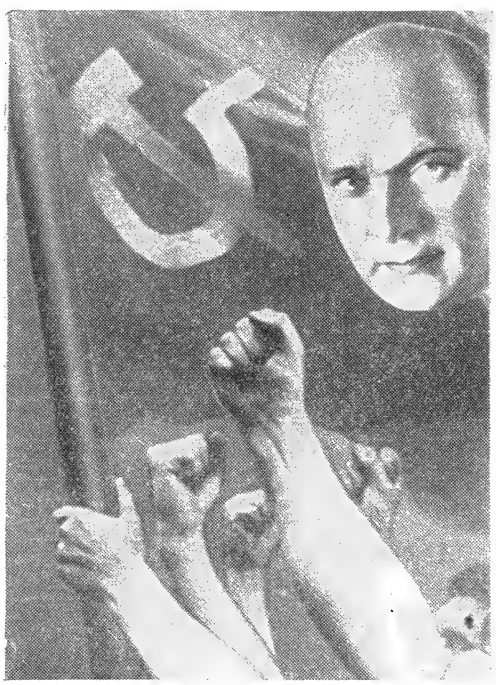
«Джон Хартфильд — один из наиболее выдающихся европейских художников. Он работает в созданной им самим области искусства — в области фотомонтажа. Это новое средство художественного изображения является для него средством классовой борьбы. Непоколебимо защищая интересы рабочего класса, он разоблачал те силы в Веймарской республике, которые готовили новую войну, и, вынужденный эмигрировать, продолжал бороться против Гитлера. Большая часть произведений этого крупного сатирика была опубликована в рабочей прессе. Многие, в том числе и автор этих строк, считают их классическими».

* * *

«...Удачно избежав ночного налета эсэсовцев на мою квартиру, я уехал весной 1933 года в Прагу. В первую же неделю после прибытия я опубликовал в АИЦ (переименованной в августе 1936 года в ФИЦ) свой первый монтаж, сделанный в эмиграции. Гитлер тогда только что распорядился заново побелить все дома. Подпись к монтажу, изображавшему большую малярную кисть, гласила: «Народу помазали по губам, теперь очередь за домами!» С тех пор пражская АИЦ почти каждую неделю помещала новый монтаж. В 1934 году чешское общество художников «Манес» организовало выставку моих работ. Гитлер через своего посла Коха потребовал ее закрытия. Когда же чехословацкое правительство, поддержанное прогрессивной общественностью столицы, отклонило это наглое требование, «Третья империя» пригрозила разрывом дипломатических отношений. В 1938 году по случаю новой выставки моих фотомонтажей в том же обществе «Манес» последовал еще один демарш гит-

«Тельмана надо выиграть, как битву!» (Ромен Роллан). 1934.

Предвыборный плакат, призывающий к единству трудящихся. 1932.



«Где живет капитал, там мир не жилец!» 1932.

леровского «рейха». На этот раз генлейновцев и их покровителей особенно взбесила моя «Миролюбивая акула». На монтаже была изображена акулья морда, торчавшая из генеральского мундира. Они узнали в ней жирного имперского маршала.

Кстати о Геринге. Мужественное поведение Георгия Димитрова на Лейпцигском процессе приводило в бешенство этого «сановника». Возник фотомонтаж, изображавший Димитрова в роли судьи. К процессу о поджоге рейхстага я сделал целый ряд монтажей. Следующие мои работы были посвящены бесстрашному сопротивлению венского пролетариата войскам реакционного австрийского правительства Дольфуса.

Серия монтажей разоблачала войну Гитлера и Франко против испанского народа. Своей работой я стремился тогда прежде всего помочь нашим товарищам, оставшимся в Германии, поддержать их в тяжелой подпольной борьбе. Поэтому я особенно обрадовался, когда неутомимый Ф. К. Вайскопф и художественный редактор Герман Леупольд начали из-

давать малоформатные выпуски АИЦ. Храбрые подпольщики переправляли их через границу, и таким образом мои монтажи попадали в цитадель фашистского варварства.

Монтаж «Железо и кровь», изображавший четыре окровавленных топора, связанных вместе в виде свастики, также стал известен в «империи». Рисунок этой «свастики» можно было увидеть в напечатанных на гектографе листовках и нацарапанным на стенах домов. Печатались мои монтажи и в небольших брошюрах, нелегально распространявшихся в гитлеровском аду; одна из брошюр называлась, как помню, «Немецкий язык для немцев».

Однажды Гиммлеру пришлось конфисковать последние экземпляры одного из номеров своей собственной газеты «Шварце корпс». Автор «Саксонских миниатюр» Рейман опубликовал на первой странице этого номера направленную против меня статью, снабдив ее в качестве иллюстраций моими монтажами. По его замыслу, они должны были произвести на читателей отталкивающее впечатление. Результат, однако, оказался противоположным: монтажи, по-видимому, настолько понравились берлинцам, что газету моментально расхватали. Гиммлеру достались лишь жалкие остатки.

Как-то на улице я случайно подслушал разговор двух игравших мальчуганов. Только что прошел сильный дождь. Они сидели на корточках возле большой лужи. Один из них пробурчал другому: «Ты что тут делаешь,

Письма из гестапо немецким женщинам: «Убили, да еще и издеваются!» 1934.

К Лейпцигскому процессу: «Они вьются, они изворачиваются и они же называют себя германскими судьями». 1933.

«Тот, кто читает такие газетенки, как «Темпо» и «Форвертс», становится слепым и глухим. Долой эти бандажи для одурачивания!» 1930.

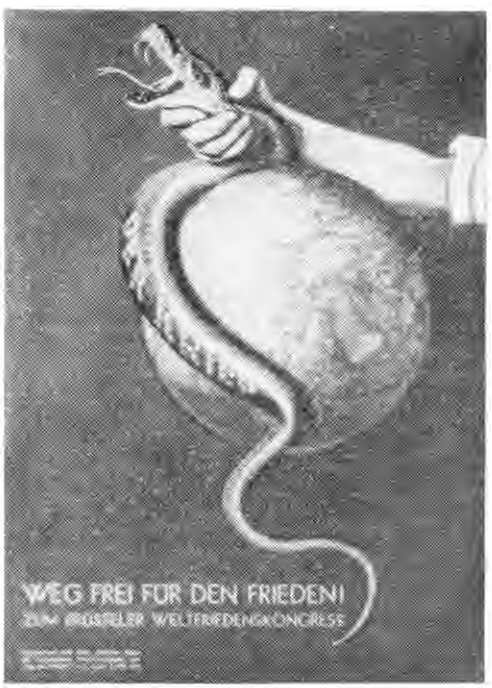
Хор бывших: «Помолимся силе оружия!» 1934.

«Германское естествознание». 1934.
(Гусеница — Эберт — социал-демократический президент Веймарской республики — превращается в куколку — Гинденбург и, наконец, в бабочку — Гитлер).

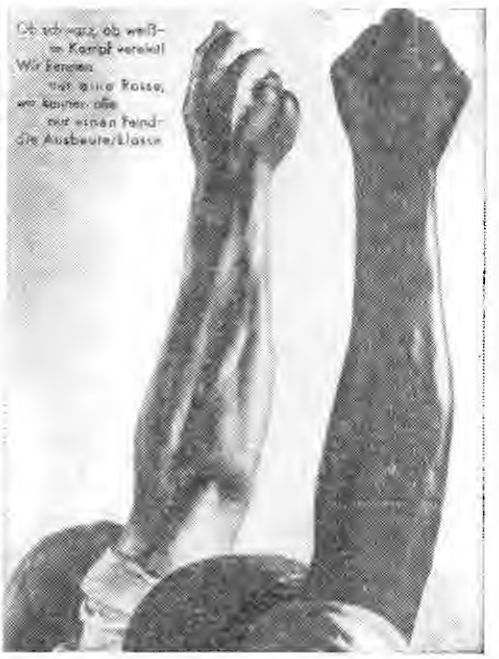
Папен?» Последовал ответ: «Вычерпываю коммунистическое море». Я был изумлен. Мой монтаж, которому они подражали, показывал тогдашнего рейхсканцлера Папена: он стоял на небольшом мостике, подвернув штаны, с ведерком и черпаком в руках, стараясь вычерпать бушующее море. Вспоминая теперь эту работу, я невольно

«Памятник фашистской «славе» в Абиссинии». 1936.

«ДОРОГУ МИРУ!» 1936.
(К конгрессу мира в Брюсселе).



Шесть миллионов голосов, поданных за список КПГ: «Ты что тут делаешь, Папен?» — «Вычерпываю коммунистическое море!» 1932.



«Кто бел, кто черен — все одно.
Нет розни рас у нас.
У нас у всех единый враг —
Капиталистов класс». 1932.

«Чем больше картин они снимают со стены, тем больше обнажается действительность!» 1934.

(К требованию держав «оси» закрыть международную выставку карикатур в обществе «Манес»)

«Долой затмение на Рейне!» 1957.

Сцена из пьесы Н. Погодина «Мой друг» в постановке Театра Революции. На заднем плане — фотомонтаж Хартфильда, сделанный им для журнала «СССР на стройке» (1931) и посвященный строительству социалистической Москвы.

но думаю о том, как в наши дни то же самое пытается сделать тогдашний сепаратист и сегодняшний проамериканский бундесканцлер Аденауэр.

Я знаю, что в Берлине и других немецких городах еще имеются поклонники моего искусства. К сожалению, многие из моих прежних работ сохранили свою актуальность и в настоящее время. Но я все же уверен, что в недалеком будущем борьба человечества за сохранение мира лишит мои работы этой актуальности. Мужественное выступление немецких ученых против опасности атомной войны подкрепляет мою уверенность в этом».

1957 г.

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ О М. ГОРЬКОМ

□

Vladimir Pozner. Souvenirs sur Gorki. Paris, Les Editeurs Français Réunis, 1957.

□

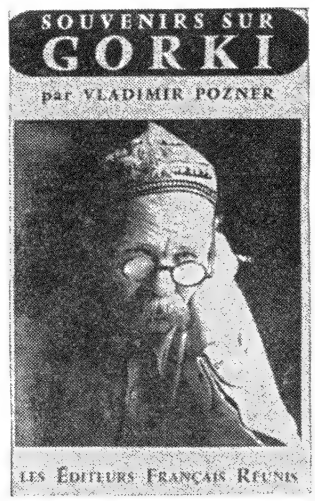
Владимиру Познеру, французскому писателю, поэту, сценаристу и переводчику, посчастливилось еще в раннем детстве встретиться с А. М. Горьким, и эти встречи продолжались, с некоторыми перерывами, много лет. Об этих встречах В. Познер рассказывал уже не раз на страницах французских газет и журналов; теперь он собрал свои воспоминания в отдельную книгу, значительно переработав и дополнив их.

Книга эта как бы распадается на две части. В первой — меньшей — воспоминания В. Познера о встречах с Горьким в Петрограде в 1914 и 1918—1921 годах и в Берлине в 1922 году. В этой части автор мемуаров стремится придерживаться хронологических рамок, последовательности изложения. Вторая часть книги — воспоминания о встречах в Сорренто — представляет собой, по существу, иногда краткие, иногда подробные записи бесед с Горьким.

Удачно дополняют текст помещенные в книге фотографии Горького, многие из которых публикуются впервые. Интересны и опубликованные факсимиле автографов Горького, в том числе страницы из его неизвестной рукописи — очевидно, статьи о русской литературе для венгерского журнала «Запад» (1925).

Уже во время первой встречи в Петрограде, в 1914 году, на В. Познера произвело огромное впечатление мастерство Горького — не писателя, нет, с его книгами В. Познер познакомился несколько позже, — но рассказчика. «Горький-рассказчик стоил Горького-писателя, если не превосходил его», — замечает В. Познер. Тогда же обратил внимание В. Познер на горьковскую исключительную отзывчивость к людям, на его доброту. В. Познер пишет о нечеловеческом труде писателя по собиранию сил молодой советской литературы. «Следует напомнить, — пишет В. Познер, — что Горький никогда не бывал членом какой-либо организации без того, чтобы в ней работать, и что деятельность его не ограничивалась присутствием на одном-двух заседаниях в неделю. Он должен был встречаться с людьми, звонить по телефону, говорить, писать: ответственным лицам, в правительство, Ленину, особенно Ленину».

Воспоминания о встречах в Сорренто в 1932 году — одни из самых интересных в книге. По сути дела, рассказы о встречах с Горьким под



ярким итальянским небом — это законченные миниатюры, как бы освещающие личность писателя со все новых и новых сторон. Иногда это развернутые записи бесед с Горьким, обычно за обедом или ужином, иногда же — набросок в две-три строки.

В. Познер долгое время переписывался с Горьким, и в его личном архиве должны были сохраниться ценнейшие горьковские автографы. Естественно было бы ожидать увидеть их опубликованными в книге. Однако, к сожалению, автор этого не сделал. В книге воспроизведены факсимиле лишь дарственной надписи и отрывков одного горьковского письма. Ранее письмо это было уже опубликовано, правда, в переводе на фран-

цузский язык, в журнале «Эроп» в июле 1936 года. Таким образом, это первая публикация его, хотя и неполная, на русском языке.

Новая книга В. Познера не только значительный вклад в дело пропаганды и популяризации творчества великого писателя во Франции; она представляет немалый интерес для исследователей творчества М. Горького.

А. Михайлов

РОМАН О ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННОМ ВЬЕТНАМЕ

□

Nguyên Công Hoan. Tranh tôi Tranh Sáng. Hà-Nôi, Van Nghê, 1956.

□

Роман «Полутень и полусвет» — одно из значительных произведений в современной литературе Вьетнама. В нем показана та напряженная и полная опасностей борьба, которая предшествовала народной революции 1945 года, и изображены представители самых различных общественных слоев — от революционера, борющегося за освобождение родины, до французского губернатора и отечественного мандарина, которые вместе грабят народ.

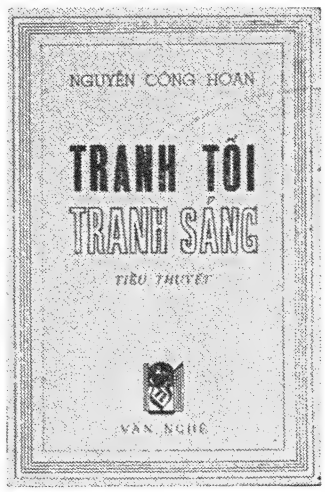
Автор романа — Нгуен Конг Хоан—известный вьетнамский писатель, председатель Постоянного комитета Союза писателей Вьетнама. Писатель много видел и пережил. Литературной деятельностью он начал заниматься давно, еще будучи учителем средней школы. Нгуен Конг Хоан прекрасно знает старую вьетнамскую деревню: он видел жестокость помещиков, невежество и страшную бедность народа, произвол колонизаторов и продажность государственного аппарата — и рассказал об этом в своих романах «Учительница Мынь», «Артист Ты-Бэн», «Золотое сердце».

Писатель был занесен полицией в список «опасных». Когда в 1936 году во Вьетнаме поднялась новая волна революционного движения, Нгуен Конг Хоан написал один из лучших своих романов — «В тупике». Через полгода после опубликования роман был запрещен. После каждого нового произведения писатель подвергался преследованиям полиции; он стоял перед выбором: либо бросить писать и остаться учителем, либо продолжать писать, но попасть в тюрьму. Когда Нгуен Конг Хоан дал согласие сотрудничать в газете бывших политических заключенных, которая должна была издаваться в городе Нам-Динь, власти выслали его на далекий остров Тра-Ку. Неизвестно, что еще предприняли бы реакционеры для того, чтобы заставить замолчать Нгуен Конг Хоана, если бы не Народная революция 1945 года.

Год спустя началась война с французскими колонизаторами, которые снова пытались превратить Вьетнам в свою колонию. Нгуен Конг Хоан подымает свой голос в защиту завоеваний революции, становится активным участником движения Сопротивления. Уйдя из оккупированного врагами Ханоя, он вместе с партизанскими отрядами скрывается в джунглях.

Роман «Полутень и полусвет» закончен в мае 1956 года.

...У богатого помещика есть три сына. Двое из них — Хан-Тхыонг и Суан— от первой жены, третий — Хыу — от служанки, «незаконнорожденный». У каждого брата своя судьба. После смерти отца старший сын, Хан-Тхыонг, овладевает наследством. Хыу немедленно выгоняют из дому. Суан скрывается, прихватив с собой деньги брата. Хан-Тхыонг взяткой добивается благосклонности французского губернатора и получает монопольное право на закупки риса в своей провинции. Он быстро богатеет, обворовывая крестьян. Деятельность его неожиданно прервана приходом японцев, которые в 1940 году начали вытеснять французов из Вьетнама. Губернатор арестован, но он успевает передать Хан-Тхыонгу деньги и драгоценности. С японцами возвращается и Суан. Он узнает о деньгах губернатора и требует их у брата, но хитрый помещик нашел безопасное место для хранения ценностей: он спрятал их на японском складе. Не добившись ничего от брата, Суан нашел способ отправить его в тюрьму.



Пока два брата грызутся из-за денег, третий брат, Хыу, ведет совсем другую жизнь. Вместе с такими же бедняками, как и он сам, Хыу ведет борьбу против помещиков и мандаринов. Восставший народ изгоняет японцев из страны. Бежит и Суан. Выпущенный из тюрьмы Хан-Тхыонг безуспешно пытается вернуть свое богатство: теперь все принадлежит революционной власти. С трибуны многолюдного митинга звучит взволнованная речь Хыу. Он говорит о рождении нового Вьетнама—без колонизаторов, без помещиков и мандаринов.

Оценивая роман, вьетнамский критик отмечал: «Полутень и полусвет» имеет целью показать, что политика истребления людей в колониях, активно осуществляемая колониалистами, бессильна подавить революционное движение, а напротив, заставляет подниматься его на еще более высокую ступень. Этот роман является обвинительным актом против французского колониализма в Индокитае и против колониализма вообще».

Нгуен Ван Тыок

„ЗАКОН"

□

Roger Vailland. La Loi. Paris, Gallimard, 1957.

□

Закон, о котором идет речь в новом романе Роже Вайяна (недавно удостоенном Гонкуровской премии 1957 года),—это игра, весьма распространенная в тавернах и кабачках юга Италии. Партнеры бросают игральные кости, выигравший становится Хозяином. «Это Хозяин Закона. Ему дано право говорить и спрашивать, хвалить и бранить партнеров, оскорблять их, попирать их достоинство. Проигравшие подчиняются Закону. Они обязаны беспрекословно и безропотно слушать Хозяина и отвечать на его вопросы».

Таковы основные правила этой странной и невеселой игры, в которую любит играть один из самых уважаемых и богатых граждан маленького городка Порто Манакоре — Матео Бриганте, гангстер, профессиональный шантажист, подлинный хозяин закона не только в игре, но и в жизни. Это человек, который успешно перенес методы американского рэкета на романтическую почву юга Италии. С помощью вымогательств, угроз, насилия он «контролирует» торговцев, банкиров, адвокатов, чиновников, самого судью и полицейского комиссара города.

Все события, о которых повествуется в романе, происходят в течение трех суток. У богатого швейцарского туриста исчез бумажник с полумиллионом лир. Его украла семнадцатилетняя красавица Мариетта, любовница Пипо—вожака шайки малолетних преступников, терроризирующей жителей городка. Пипо на ножах с Матео Бриганте. Банда Пипо, пожалуй, единственное «предприятие» в городе, которое не подчиняется контролю Бриганте. Мариетте удается подбросить пустой бумажник Бриганте и сделать так, что на него падает подозрение. Местные власти вынуждены арестовать Бриганте. В конце концов ему удается, однако, доказать свою непричастность к делу.

Эта сюжетная основа романа далеко не исчерпывает его содержания. В перипетии борьбы прямо или косвенно вовлечены десятки персонажей, в том числе чиновники, их жены, дочери, сыновья — верхушка «избранного» общества Порто Манакоре. Темные страсти, нечистые, низкие побуждения сталкивают их между собой, ставят в острые, порою драматические, порою гротескные положения.

Вереницей проходят перед читателем герои книги, жители Порто Манакоре, вызывая негодование, чаще презрение к себе. Все подло или ничтожно в этих людях. Вы хотите знать, что движет ими? — спрашивает автор. Что же, смотрите: вожделение, страх, лицемерие и снова вожделение. Так возникает на страницах книги тень большого Закона, который правит жизнью героев этой книги.

Стремительно развивающееся действие, неослабевающий, выверенный разворот сюжетной пружины, острота положений делают книгу увлекательной — она прочитывается, как говорится, в один присест.

Роже Вайян умеет показывать море, зелень виноградника, белые меловые скалы, человеческую плоть. Кажется, что воздух романа насыщен солнцем, зноем, шумом прибоя.

Книга написана сдержанным языком, «с благородной сухощавостью», по выражению одного из французских критиков. В ней нет лирических отступлений, ибо автор не возмущается, предоставляя это читателю, нет длинных психологических экскурсов, ибо герои показаны в действии. Обобщения, которые делает автор, остры, порой афористичны.

Таковы достоинства этой книги, написанной с уверенным литературным мастерством, свойственным Роже Вайяну.

И все же, дочитав последнюю страницу книги, читатель с сожалением убеждается, что у него осталось чувство неудовлетворенности. При всей их яркости и красочности, персонажам «Закона» недостает художественной достоверности, пластичности, «трехмерности».

В предыдущих романах Вайяна — «Пьеретта Амабль» и «325 000 франков»,—в особенности в первом из них, дано большое социальное полотно, широкая картина тех общественных конфликтов, которые являются главным содержанием в жизни современной Франции. Пьеретта и ее друг Бомаск показаны нам со всех сторон, во всех проявлениях их личной и общественной жизни. И именно это вызывает ощущение достоверности и полноты. Между тем, в отличие от них, обитатели Порто Манакоре живут, чувствуют и действуют вне общественных связей. Нам известны их профессии, их имущественное положение, однако это остается лишь социальным адресом, ибо поступки действующих

лиц определяются только одним — законом низких страстей и вожделений, сформулированным Матео Бриганте. Но читатель не может согласиться с тем, что этот закон исчерпывает мотивировку людских поступков, он знает, что в действительности жизнь глубже и сложнее, так же как истинная жизнь Порто Манакоре сложнее и богаче, чем то, что рассказано о ней в романе.

Никто из героев романа не вызывает симпатий, однако один из них поставлен автором как бы особняком, в некотором возвышении над остальными. Это — дон Чезаре, богатый землевладелец, старый, образованный человек, атеист, циник, эпикуреец, познавший глубину людского ничтожества и не ожидающий от жизни ничего, кроме тех немногих чувственных радостей, которые она еще в состоянии дать ему. Как видим, фигура не новая. Дон Чезаре как бы разделяет с автором снисходительное презрение к окружающим его персонажам. Тем внимательнее вслушивается читатель в его рассуждения на философские темы. Дон Чезаре выделяет из общей массы так называемых «выдающихся людей». Их немного, но они составляют соль земли и, более того, движущую силу истории. В некоторые благоприятные исторические периоды «выдающийся человек» чувствует поддержку исторического процесса, и тогда он преобразовывает мир, входя в немногочисленное сообщество тех, кто уничтожает отжившие общественные системы и открывает новые пути развития». В иные же, неблагоприятные исторические периоды «выдающемуся человеку» остается лишь самоустраниться. Противопоставил ли что-нибудь Роже Вайян этой безнадежно устаревшей, как сам дон Чезаре, теории? К сожалению, чтобы найти людей, противостоящих этим взглядам, разоблачающих их своей жизненной практикой, пришлось бы вернуться к другим романам Роже Вайяна, рисующим передовых людей современной Франции в действии, в борьбе, — на страницах «Закона» их нет. И это обеднило книгу, ибо в наше время читатель ищет в литературе иных героев, нежели те, которые составляют «немногочисленное сообщество» дона Чезаре.

Р. Ралов

КНИГА О ТРУДОВЫХ ЛЮДЯХ АНГЛИИ

□

Herbert Smith. A Field of Folk. London, Lawrence and Wishart, 1957.

□

Четыре дня из жизни машиностроительного завода описывает Герберт Смит в романе «Человеческий улей».

Английские буржуазные писатели, как правило, игнорируют рабочую тему; они изображают коммунистов «агентами Москвы» из детективных романов; они торжественно объявляют, что в Англии пролетарская литература умерла и не воскреснет, так как после войны произошло якобы затухание классовой борьбы и наступило всеобщее благоденствие. Но в стране, где не умолкают голоса поджигателей войны, где рабочие матери провожают солдат умирать за интересы империалистов, где цены растут, а заработная плата падает,— в сегодняшней Англии не могут перестать выходить в свет книги о борьбе пролетариата и о коммунистах, возглавляющих эту борьбу.

К числу подобных произведений относится и роман Герберта Смита.

Эпиграф и название книги молодой писатель взял из поэмы XIV века, в которой отразились идеалы народных движений. И подобно тому, как автор поэмы, Уильям Ленгленд, в образе «человеческого улья» дал правдивую картину Англии в период крестьянских восстаний, так и Герберт Смит задумал во всей сложности воссоздать картину жизни современных английских рабочих.

На огромном заводе, принадлежащем крупному концерну, на первый взгляд все обстоит благополучно. Рабочие получают приличную заработную плату, и только семейные неурядицы и невзгоды нарушают привычный ход их жизни. Мастер Олберт Юингс, проработавший на заводе больше сорока лет, поглощен мыслью о здоровье внучат и о близкой пенсии; Тони Уорн, демобилизованный солдат, озабочен тем, чтобы выполнять норму и ладить с родителями; хорошенькая Кейти занята нарядами и вечеринками. Словом, с виду все обстоит так, как об этом пишет официальная пресса.

Однако в течение четырех дней, описанных в романе, обнаруживается действие скрытых сил, взрывающих мнимое благоденствие. Предприниматели решают, что теперь, когда общественная жизнь на заводе замерла, профсоюз практически не существует, а коммунистов всего несколько человек, настал момент схватить рабочих за горло «Либерального» директора переводят на другой завод, а на его место ставят реакционера, который еще в тридцатые годы славился умением подавлять стачки. В погоне за прибылями администрация увеличивает нормы, снижает зарплату, переводит и увольняет «неблагонадежных».

Герберту Смиту хорошо удалось передать эту атмо-

сферу тревожного ожидания и скрытого напряжения. Однако предпринимателям не удается застать рабочих врасплох: при первых же попытках наступления на права рабочих все личное, наносное, поверхностное, которое занимало такое большое место в их жизни, отходит на задний план и уступает место главному — пролетарскому самосознанию, чувству солидарности и глубокому убеждению, что за свои права надо бороться.

Революционный дух рабочего класса в новых, сложных условиях послевоенной Англии нельзя уничтожить — вот основная идея произведения. Его центральная фигура, коммунист Том Баррет — такой же рабочий, как и все. ему нелегко живется, и семейная жизнь его течет негладко. Но разум, сила воли и чувство долга никогда не изменяют этому человеку, к которому тянутся все наиболее передовые, талантливые и честные рабочие.

На протяжении романа Герберт Смит прослеживает судьбы нескольких человек, стремясь увидеть их характеры в противоречивости и развитии, показать, как обстоятельства жизни каждого приводят к решению в своей борьбе встать рядом с коммунистами. Старый кадровый рабочий, дослужившийся до мастера, но не ставший хозяйским холуем, мастер Юингс оказывается перед выбором: предать интересы товарищей или потерять работу. Несмотря на возраст и мечты о пенсии, которую он теряет, старик без колебания выбирает сторону рабочих и оказывается на улице. Горячая голова и умница Кейти впервые по-настоящему сталкивается с горем матери, потерявшей сына, и задает себе вопрос, во имя чего погибают в Малайе и на Кипре сыновья английских рабочих. Тони Уорн никак не может оправиться после пребывания в фашистском лагере для военнопленных; он не доверяет людям и очень боится потерять работу. Но постепенно он начинает понимать, какая замечательная вещь человеческая солидарность, и, хотя его выгоняют с завода, отказывается работать по завышенным нормам и подвести товарищей.

Жизнь всех этих людей, их сомнения и поиски, забота друг о друге, неизбежно приводит их к коммунистам, которые своим примером, знанием целей и средств борьбы, уверенностью в победе придают им новые силы.

Герберт Смит пристально вглядывается в судьбы своих героев. Он никого не хочет рисовать прямолинейно, черной или белой краской; все они наделены сложной внутренней жизнью, которая обусловлена их характером и обстоятельствами.

Можно отметить ряд слабостей этой первой книги молодого писателя. Характеры героев задуманы хорошо, но автору не всегда удается полностью воплотить свой замысел, и некоторые образы страдают схематизмом. К тому же роман чересчур растянут, перегружен разговорами, носящими дидактический характер. И все же «Человеческий улей» — одна из интересных и важных книг на путях развития английской прогрессивной литературы. Этот правдивый рассказ о трудных буднях рабочего люда Англии резко выделяется на фоне книг, посвященных путешествиям, детским воспоминаниям, любовным переживаниям и сомнениям скучающих интеллигентов.

С. Майзельс

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ СИЛИО ТРАНИФИЛО

□

Nino Palumbo. Impiegato d'imposte. Roma, Mondadori editore, 1957.

□

«Как ни кручусь, не могу свести концы с концами», «Не знаешь, какую дыру раньше заткнуть» — эта грустная фразеология как нельзя более характерна для той среды, к которой принадлежит глазный герой нового романа Нино Палумбо «Налоговый инспектор»— мелкий чиновник Силио Транифило. Мизерное жалованье, язва желудка, измученная, рано состарившаяся жена, четверо тщедушных, болезненных детей, которые никогда не наедаются досыта, угроза выселения за невзнос квартирной платы, долги и неотступная, сверлящая мозг мысль о том, из чего «выкроить» необходимую сумму на ботинки для Нонно и нельзя ли сколько-нибудь «сэкономить» на молоке, чтобы принести хотя бы два-три банана Луиджи, который лежит в больнице, короче, безысходная и беспросветная нужда — вот что озна-

чают для него эти выражения, полные трагического смысла при всей своей тривиальности.

Единственное неотъемлемое достояние Транифило — незапятнанная честность, питающая его уважение к себе и презрение к коллегам, которые не брезгают взятками. Но после двадцати лет безупречной службы доведенный до отчаяния Транифило соглашается «помочь» адвокату Бенедетти, представляющему интересы крупного промышленника и коммерсанта Террини, и за скромное вознаграждение совершает подлог, позволяющий последнему уклониться от налогового обложения. Вскоре в связи со скандальным бракоразводным процессом Террини из газет становится известным размах его коммерческой деятельности; подлог обнаруживается, и Транифило увольняют со службы, не возбудив против него судебного преследования, чем он обязан лишь доброму отношению к нему директора. Однако, ставя свою подпись на заявлении об уходе в отставку, Транифило произносит: «Поставить ее для меня хуже, чем сесть в тюрьму». И это так. Свобода, на которую обрекает его гуманность директора, свобода умирать с голоду и видеть, как умирают с голоду дети,— страшнее всякого заключения.

Преступление и наказание Силио Транифило — «обыкновенная трагедия», которую Нино Палумбо сумел изобразить в широком социальном плане, показав, что эта трагедия коренится в самих условиях существования современного итальянского общества.

Транифило совершает подлог, повинуясь властному велению нужды; сам юрист Бенедетти толкает Транифило на заведомое правонарушение, потому что его профессия именно в том и состоит, чтобы помогать деловым людям обходить законы; делец Террини покупает услуги Бенедетти, потому что ему выгоднее заплатить два миллиона лир гонорара адвокату, чем восемь миллионов лир налога. Таким образом, возможность процветания для Бенедетти и «разумной экономии» для Террини обеспечивается нищетой Транифило. Коррупция, по роману Нино Палумбо,— закономерное и, при существующем в Италии положении вещей, неизбежное социальное явление. Чтобы уничтожить ее, необходимо уничтожить нищету сотен тысяч транифило, уничтожить бенедетти, паразитирующих на этой нищете, уничтожить террини с их подставными лицами и миллионами, которые они могут ассигновать на подкупы и взятки. Но Транифило не знает, что это возможно, и в этом — безысходность его трагедии. Он говорит жене: «Наша жизнь должна хоть немного измениться. Мы имеем на это право. Больше того, в этом наш долг перед детьми. Слышишь?» Но если, пользуясь термином просветителей, естественное право человека на человеческую жизнь вступает в противоречие с правом как общественным институтом, это доказывает противоестественность общества и бесчеловечность права. Если нравственный долг личности вступает в противоречия с общепринятыми моральными нормами, это доказывает лицемерие официальной морали. Транифило чувствует это, когда с горечью говорит: «Очень красиво, удобно и, главное, доставляет удовлетворение кричать «распни его» по адресу бедняка-неудачника. На него сразу набрасываются, его шельмуют как вора и мошенника, хотят, чтобы его примерно наказали: пусть отдувается за тех, кто сумел выйти сухим из воды».

Преступление Транифило в себе самом несет наказание. Оно не только вынуждает его лгать, таиться, непрестанно опасаться возможного разоблачения, нависшего над ним, как дамоклов меч,— оно унижает и душевно надламывает его, лишая чувства собственного достоинства. Он сам казнит себя задолго до развязки: «Я продался за чечевичную похлебку. Моя честь, моя честность — что с ними сталось в моих собственных глазах?.. Я продал единственное, что было у меня святого, за пачку бумажек в тысячу лир».

Нельзя без волнения читать ту сцену, когда Транифило объясняет детям, что «синьоры», то есть благородные люди, не обязательно те, у кого много денег и высокое положение в обществе, что синьором, настоящим синьором, может быть и дворник, и привратник, и рабочий—словом, всякий безвестный бедняк, ибо подлинное благородство в душе человека, а не в его бумажнике. Легко понять, чего ему стоит это объяснение: ведь он уже не считает себя «синьором».

И Транифило проклинает этот «гнусный, убийственный мир», где долг обертывается преступлением, а преступление — долгом, где право бесчеловечно, а человек бесправен, где свобода хуже тюрьмы, а совесть и честь покупаются и продаются оптом и в розницу.

Взяточник Транифило бесконечно выше респектабельного и преуспевающего Бенедетти, который готов согласиться, что «живет в обществе мошенников», но отнюдь не терзается, а, напротив, находит в этом оправдание своему собственному профессиональному мошенничеству. Казнокрад Транифило неизмеримо честнее синьора Террини, который обкрадывает и государство и народ посредством таможенных афер и махинаций на черном рынке. Но Террини и Бенедетти остаются безнаказанными, а на Транифило общество обрушивается со всей своей беспощадностью, ибо он непростительно беден.

Нино Палумбо — молодой писатель: его первая повесть вышла в свет в 1955 году. Но «Налоговый инспектор» свидетельствует о том, что автор достиг уже творческой зрелости.

К. Наумов

СБОРНИК КИТАЙСКИХ РАССКАЗОВ

□

短篇小說選
人民文學出版社
一九五七年 • 北京

□

Пекинское издательство «Жэньминь вэньсюэ» начало издавать серию литературных сборников, включающих лучшие произведения за год. Выпущены сборники избранных рассказов, стихотворений, произведений для детей, очерков, одноактных пьес и литературных миниатюр, напечатанных в 1956 году. В сборник «Избранные рассказы 1956 года» включены двадцать три лучших рассказа из числа опубликованных в китайской периодике. Рассказы эти весьма разнообразны и по содержанию и по авторской манере, но все они написаны на злободневные темы из жизни и борьбы китайского народа.

Наиболее сильными рассказами в сборнике, на наш взгляд, являются «Мартовский снег» Сяо Пина, «Письма» Ли Чжуня, «Маленькие сестренки» Фу Цзэ, «Весенний гром» Линь Цзинь-ланя. В рассказе «Мартовский снег», действие которого происходит в период освободительной войны китайского народа против японских оккупантов, автор показывает, как хрупкая слабохарактерная девочка Сяо-цзюань постепенно превращается в стойкого борца. Умение проникнуть во внутренний мир подростка позволило автору создать рассказ большого эмоционального звучания. С волнением читаются страницы, повествующие о том, как Сяо-цзюань хоронит павшую в борьбе мать и сажает на ее могиле кустик «мартовского снега» (так называется раннее весеннее растение). Сяо-цзюань в изображении автора предстает чудесным «мартовским снегом», на котором распускаются белоснежные цветы любви к народу, цветы мужества и героизма.

Молодой писатель Ли Чжунь, известный советскому читателю по рассказу «Не по тому пути», представлен в сборнике новым рассказом «Письма». Жена китайского добровольца Юй-чина получает известие, что ее муж погиб в Корее. Она не решается сообщить эту тяжелую весть матери погибшего и, чтобы успокоить ее, пишет ей письма от имени Юй-чина. Критик Хоу Цзинь-цзин отмечал в газете «Вэньбао», что по простоте, ясности сюжета и композиции рассказ приближается к лучшим образцам китайской классической прозы.

В основе рассказа Линь Цзинь-ланя «Весенний гром» лежит конфликт между старым бригадиром Тянь Ши-фаном и его дочерью, трактористкой Тянь Янь. Старый Тянь Ши-фан — хороший работник, и односельчане избирают его своим бригадиром, но в душе он еще живет прежними представлениями, не болеет за свой кооператив. Автор передал в рассказе закономерность новых отношений между людьми, врывающихся подобно весеннему грому в жизнь китайской деревни.

На темы из деревенской жизни написаны и другие произведения сборника —

«Старина Чжу и домохозяин» Чжан Чжи-миня, «Четыре года без перемен» Хань Вэнь-чжоу, «Сестры» У Чэнь-цая и другие.

Широко представлена в сборнике и рабочая тематика (рассказы «Девушка из Шанхая» Чжан Сяня, «Маленький шахтер» Да Цюня, «В глубине переулка» Лу Вэнь-фу, «Записки о молодом друге» Ду Пэн-чэна и другие). Но достоинство сборника заключается не только в тематическом разнообразии рассказов, но и в том, что авторам большинства из них удалось очень хорошо проникнуть во внутренний мир своих героев, показать их переживания и мысли. По своему художественному уровню некоторые из рассказов (например, «Мартовский снег» Сяо Пина, «Маленькие сестренки» Фу Цзэ) являются большими удачами их авторов.

Иные рассказы слабее, но сборник в целом свидетельствует о дальнейшем развитии жанра рассказа в китайской литературе.

С. Иванько

ЖУРНАЛ И ЕГО ЧИТАТЕЛИ

□

«Revue». München, 1957, №№ 39, 40.

□

Мюнхенский иллюстрированный журнал «Ревю» рассчитан на обывателя. Достаточно ознакомиться с романами, которые печатаются в журнале, чтобы в этом не осталось ни малейшего сомнения.

Молодая женщина, полулежа в постели и покуривая папиросу, говорит по телефону; перед нею, поверх покрывала,— кипа бумаг. Так выглядит на фотографии творческая лаборатория Катерины Арлей, автора очередного бестселлера «Фата-моргана любви». В романе нет даже и обманчивого миража любви. Ничем не прикрытая страсть к деньгам выдается в нем за смысл и цель жизни. Героиня романа, немецкая девушка послевоенного вре-

мени, гибнет из-за этой страсти: она попадает в тюрьму, потому что другие хищники — покрупнее ее. Зачем жить, если никогда больше не придется носить тонкие нейлоновые чулки? — спрашивает себя героиня романа. Из этих самых чулок она мастерит петлю, чтобы повеситься, и писательница не улавливает чудовищной пошлости созданной ею ситуации.

Журнал рассчитан на читателя, который, помимо денег, любит сенсацию. «Признайтесь доктор Гофленер!» — роман, состряпанный на материале зверского убийства и судебной ошибки. Для полноты острых ощущений роман иллюстрируется фотоснимками людей, причастных к этой грязной истории.

Вообще говоря, убийства рекламируются в «Ревю» не менее широко, чем такие сенсационные новости, как женитьба миллионера на красивой манекенщице или развод двух кинозвезд. «Ревю» проявляет особый интерес к эпизодам из жизни королей как царствующих, так и лишенных престола. Журнал не оставляет без внимания небесные светила, составляя для своих читателей гороскопы, которые должны способствовать их житейскому успеху. Попутно «Ревю» окропляет слезами Венгрию, ибо «венгерский вопрос» решен народом Венгрии не так, как хотелось бы издателям журнала. Попутно «Ревю» опубликовывает мемуары бывшего камердинера фюрера.

И вдруг на страницах «Ревю» появляются—и притом почти одновременно! — два романа Виля Бертольда, которые, очевидно, должны читателями восприниматься как протест против возрождения фашизма в Западной Германии. Более того, «Ревю» сообщает, что в Карлсбурге, где состоялось сборище десяти тысяч новоявленных эсэсовцев, бывший генерал Майер с явной угрозой упомянул о Виле Бертольде.

Эсэсовец, марширующий по улицам западногерманских городов,— это, к сожалению, не фата-моргана, не мираж, не призрак. Даже обывателя возмущает это зрелище, потому что и обыватель помнит, что гитлеровский режим — это режим смерти. Не оттого ли «Ревю» опубликовал беллетристику Виля Бертольда?

Имя автора оказывается знакомым: по-видимому, это тот самый журналист, который перекроил для кельнской «Нейе иллюстрирте» роман Вернера Штейнберга «Когда остановились часы». Виль Бертольд нетрепетной рукой внес в чужое произведение свою собственную тенденцию, преимущественно антисоветскую. Вернер Штейнберг добился через суд, чтобы кельнская «Нейе иллюстрирте» приостановила публикацию искаженного до неузнаваемости романа.

Для «Ревю» Бертольд сочинил роман по материалам судебного процесса в Мальмеди. В этом бельгийском городе судили эсэсовцев за зверское истребление американских военнопленных. Бертольд избрал своим героем немецкого солдата, не причастного к массовому убийству. Американский адвокат после долгой борьбы добивается его оправдания, и это представляется автору высочайшим образцом гуманности. Конечно, оправдание невинного всегда было и будет актом гуманности.

И все-таки взволнованные отклики читателей, опубликованные журналом, вызваны не авторским домыслом, а теми страницами, где в соответствии с фактами описаны совершенные эсэсовцами чудовищные преступления. Правда, Бертольд пишет, что и американцы, судившие военных преступников, прибегали к методам допроса, не совместимым с гуманностью. Авторское резюме, в конечном итоге, оказывается следующим: всюду есть разные люди, плохие и хорошие. Эта азбучная истина, возведенная в принцип, не имеет ничего общего с решением проблемы фашизма; больше того, она уводит в сторону от решения этой проблемы.

Читатели полемизируют и с автором, и друг с другом. В их отзывах, помещенных в «Ревю», отражается сегодняшняя Федеративная Республика Германии с ее кричащими противоречиями. В полемике принимают участие и недобитые фашисты: некоторые из них нагло хвастаются своими преступлениями, другие пытаются уподобиться волкам в овечьей шкуре. Все они тайно или явно рассчитывают на реванш. Но большинство читателей дает отпор реваншистским намерениям, отзываясь об эсэсовцах с ненавистью и презрением.

«Как могло случиться, что бывшие нацисты, повинные во всех несчастьях нашего времени, снова получили возможность нагло лезть вперед?» — спрашивает Эгман из Берлина.

Второй роман Бертольда, также вызвавший отклики читателей, описывает гитлеровскую Германию. В погоне за сенсацией издатели журнала превзошли сами себя. Они даже вытащили из архива фотографию какой-то англичанки, покончившей самоубийством из-за любви к... Гитлеру!

Роман печатается под заголовком «Я не был маленьким п. г.» П. г.— это сокращенное наименование члена партии национал-социалистов («Parteigenosse»). После крушения гитлеровского режима многие нацисты, пытаясь уйти от ответственности, стали называть себя «маленькими п. г.». Роман Бертольда посвящен тем, кто не состоял в партии, он имеет второе заглавие — «Один из пятидесяти миллионов».

Комментируя это второе заглавие, «Ревю» пишет: «Круглым счетом десять миллионов были в партии. Они выдвигались на передний план Они восторгались Гитлером. Они представляли собой тысячелетнюю империю. Пятьдесят миллионов, никогда не вступавшие в партию, оставались фоном. Они всегда обходили знамена и уклонялись от маршей. Они, молчаливые. представляли собой другую Германию».

Упрощенная статистика, приведенная в статье «Ревю», опять-таки не имеет ничего общего с уроками недавней истории, которые имеют большое значение для будущего Германии. Но показательно то, что читатели «Ревю», вступая в спор, отстаивают куда более верную точку зрения. «Конечно, исторически доказано, что имелись и «молчаливые, представляющие собой другую Германию»...— пишет Кархер из Штутгарта,— но вы приукрашиваете действительность, утверждая, будто все пятьдесят миллионов, не состоявшие в партии, были такими».

Значит и среди читателей «Ревю» имеются люди, которые хотят неприкрашенной правды, и число таких людей в Западной Германии растет с каждым днем. Они стараются понять, где правда и где ложь, они начинают требовать двойной ответственности: за прошлое и за будущее.

Л. Симонян

ЧЕТВЕРТЫЙ РОМАН ЭПОПЕИ „БРИТАНСКИЙ ПУТЬ"

□

Jack Lindsay. A Local Habitation. London, The Bodley Head, 1957.

□

«В течение последних лет я пытаюсь писать романы о современной Англии с позиций социалистического реализма», — говорил с трибуны Второго Всесоюзного съезда советских писателей Джек Линдсей, имея в виду многотомную эпопею о британском образе жизни, над которой он работает с 1950 года. Вслед за первыми романами этой эпопеи («Весна, которую предали», «Поднимающийся прилив» и «Час выбора») в этом году вышел четвертый роман — «Жители пригорода». Действие его происходит летом и осенью 1951 года в Лондоне и в графстве Эссекс. В центре повествования — известные по первым книгам молодой докер Джефф Бэрроуз, его жена Фил, рабочий-художник Дик Гэртон, их родные и знакомые. Появляются в романе и новые персонажи.

Джефф Бэрроуз с женой и ребенком переезжает в рабочий район восточного пригорода Лондона. Вместо дружного соседства лачужной коммуны в районе доков, где они жили, герои оказываются среди людей, живущих обособленно, своими личными интересами. Занятая ребенком и устройством новой квартиры, Фил поддается влиянию мещанской среды; Джефф, человек по натуре беспокойный и полный жизненной энергии, не может с этим примириться. Ему не по себе в новой обстановке, и свободное от работы время он предпочитает убивать в пивной. Кризис в семейной жизни заставляет Джеффа задуматься. Участник знаменитой забастовки лондонских докеров в 1949 году, он отклоняет предложение вступить в лейбористскую партию, ибо «привык судить о людях по их делам», и снова вечерами сидит за книгами. Мысли его обращены к коммунистам. Образ Фил также претерпевает изменения. «Что значит домашний уют, — думает она, — если мы с Джеффом идем не в ногу». К концу романа Фил стремится найти себя в общественной жизни: она становится одной из зачинательниц движения среди женщин своего квартала за запрещение американских комиксов, организует нечто вроде красного уголка для домашних хозяек.

Большое место в романе занимают образы рабочего-коммуниста Боба Калверта и молодой работницы Дженни Робертс, вступающей, под его влиянием, в коммунистическую партию. В первых романах образы коммунистов слабо индивидуализированы. На этот раз писатель ищет новые средства изображения, показывает своего героя в живом общении с людьми. Перед читателем предстает образ спокойного и умелого организатора, чуткого к людям.

Линдсею удаются массовые сцены — описания митингов, забастовок, эпизоды трудового процесса и т. д. Автор вводит в роман множество персонажей, и это позволяет ему передать различные точки зрения и настроение людей, их отношение к происходящим событиям, создать широкую картину народной жизни.

Как и в первых книгах эпопеи, Линдсей немало внимания уделяет вопросам современного искусства и литературы, месту и роли творческой интеллигенции в обществе. Читатель запомнит обаятельный образ художника-самоучки, рабочего Дика Гэртона, который прошел длительный и трудный путь исканий, прежде чем понял, что искусство не может стоять в стороне от общественной борьбы. Начав с рисования облаков и видов Темзы, художник, вовлеченный в борьбу рабочих, пишет картины на темы из жизни и борьбы английского рабочего класса. «Искусство, — говорит он, — это не просто вопрос самого искусства. Это вопрос о том, как и что вы пишете, для кого вы пишете».

Линдсей продолжает развивать одну из основных тем его предыдущих книг— тему перехода в демократический лагерь лучших представителей английской буржуазной интеллигенции. Молодой архитектор Фрэнсис Масгрейв стоит в стороне от общественной борьбы, но, столкнувшись с фактами беззастенчивого хозяйничания американских лет-

чиков в Эссексе, постепенно приходит к убеждению о необходимости борьбы против превращения своей родины в базу для американских бомбардировщиков. Фрэнсис Масгрейв стремится порвать со своим окружением: циничным эксплуататором Билбридж-Вульфом, полковником в отставке; своим младшим братом Деком, мечтающим о поездке в Кению в качестве полицейского; со своей матерью и ее друзьями, среди которых выделяется фигура сэра Уильяма, «короля нефти и стали, держащего в своем кармане всю страну или добрую ее часть».

Достоинство книги Линдсея «Жители пригорода» прежде всего в том, что в ней хорошо показан процесс духовного роста людей. Внимание автора привлекают не столько герои, нашедшие свой путь, сколько ищущие. Рисуя всю сложность жизненного пути героев ищущих, писатель делает их опыт понятным и поучительным для тех, кто пытается найти свое место в социальной борьбе.

Н. Лопырев

АНГЛИЯ

КАК РОЖДАЮТСЯ БЕСТСЕЛЛЕРЫ

Этой теме, по сообщению журнала «Лондон мэгэзин», посвящен недавно вышедший в Лондоне роман Уильяма Меррея «Боевик», в котором разоблачаются нравы американской печати и махинации американских издательств.

Герой книги — молодой издатель Артур Филдинг, отстаивающий принципы порядочности и честности в издательском деле. Другое главное действующее лицо — его друг, писатель Макс Даниэлс, который вначале отказывается идти на компромисс с «большим бизнесом» и пишет роман, воплощая в нем свои идеи и замысел. Наступает, однако, момент, когда автор вынужден поступиться своими идеалами, подчиниться требованиям «рэкета» и написать «боевик», лишенный художественной ценности.

«Боевик» Меррея, отмечает «Лондон мэгэзин», написан с большим мастерством; роман концентрирует внимание читателей на волнующей и актуальной проблеме: как писателю сохранить свое «я», свою честность и творческие силы, как уберечься от идеологического нажима со стороны власть имущих.

МЕМУАРЫ ГОРДОНА КРЭГА

Гордон Крэг, известный английский режиссер и постановщик пьес Шекспира, опубликовал первую книгу своих воспоминаний под названием «Справочник к истории моей жизни». Первая часть охватывает период с 1872 до 1907 года.

Как указывает газета «Обзёрвер», это произведение ничем не напоминает традиционные мемуары. «В отличие от трудов Гордона Крэга о театральном искусстве, которые сыграли большую роль в развитии современного европейского театра, его воспоминания написаны в стиле вольной импровизации, в свободной манере Стерна. Это живой рассказ, полный поэтического жара, порой веселый, порой грустный, насыщенный юмором и сарказмом».

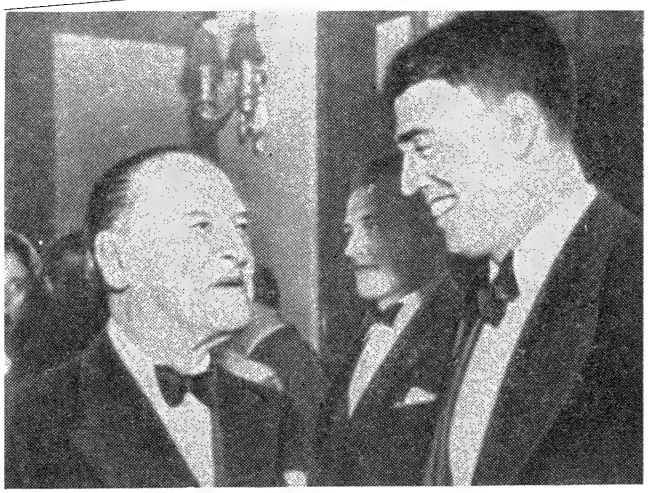
Повествование о трудном детстве без отца, в доме матери, известной артистки Эллен Терри, переходит в описание начала его артистической карьеры, первых лет работы с Ирвингом. Гордон Крэг дает живые зарисовки тех людей, с которыми ему приходилось встречаться, портреты Суинберна, Гренвиля, Айседоры Дункан и других. «Обзёрвер» отмечает, однако, что автор не всегда справедлив в оценке и выборе тех людей, о которых он рассказывает. Так например, в своей книге Крэг ни разу не упомянул имени Бернарда Шоу, который как-то назвал его «избалованным ребенком» артистического мира Европы.

В целом английская пресса положительно отзывается об этом произведении, называя его «оригинальной и удивительно интересной книгой».

РОМАН О КРЕСТЬЯНСКОМ ВОССТАНИИ

В своем новом, недавно опубликованном романе «Большой дуб» Джек Линдсей обращается к историческому прошлому Англии. Книга посвящена крупному восстанию английских крестьян против землевладельцев в 1549 году, когда в ответ на введение жестоких законов, лишавших крестьянство земли, население графства Норфолк взялось за оружие. Восставшие захватили власть и в течение шести недель удерживали в своих руках город Норвич. Восстание было беспощадно подавлено феодалами.

Таковы исторические события, положенные в основу романа. Авторы рецензий, помещенных в «Нью стейтсмен энд нейшн» и «Дейли уоркер», считают новую книгу удачей Линдсея. Стремясь правдиво передать атмосферу эпохи, Линдсей использует бытовые детали, вводит в произведение песни и народные поверья того времени. Перед читателем проходят люди из народа: крестьяне, бедняки, странствующий священник, колдунья. Все эти действующие лица живут своей напря-



В лондонском оперном театре «Сэдлерс Уэллс» состоялась премьера оперы «Луна и шестипенсовик», написанной композитором Джоном Гарднером по одноименному роману Соммерсета Могэма.
На снимке: Соммерсет Могэм и Джон Гарднер.
(Журнал «Иллюстрейтид Лондон ньюс»)

женной внутренней жизнью, их образы отличаются убедительностью и поэтичностью, пишет «Нью стейтсмен энд нейшн».

К числу неудач писателя, по мнению «Дейли уоркер», относится образ руководителя восстания Кетта. Линдсей, по словам газеты, отводит слишком много места описанию душевных переживаний и сомнений героя, причем это звучит не всегда убедительно.

Однако, несмотря на недостатки, критика отмечает высокое художественное мастерство книги.

ЧАРЛИ ЧАПЛИН О ФИЛЬМЕ «КОРОЛЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

В статье «Работа над фильмом в Англии», опубликованной в газете «Санди таймс», Чарли Чаплин сообщает, что фильм «Король в Нью-Йорке» снят в течение десяти недель, то есть в рекордный срок. Чаплин рассказывает о том, как трудно ему было привыкать к новым условиям работы в Англии после того, как он расстался со своей студией в Америке, где проработал 40 лет. На киностудии в Англии «первые дни я чувствовал вокруг себя атмосферу напряженности и холода,— пишет Чаплин,— однако после одной или двух стычек мы нашли общий язык, и скоро все начали работать с одинаковым энтузиазмом. Я был воспринят, как нервический субъект, легко возбудимый, но безвредный... Без ложной скромности, скажу вам следующее — нередко в конце рабочего дня, когда мы уходили из темной студии, кто-нибудь из плотников или электриков говорил мне: «Послушайте, Чарли, этот фильм будет самым лучшим»,— и добавлял много других хороших слов. И мне становилось легко и приятно работать в Шеппл-тоне».

Чаплин заявил представителям прессы, что он никогда не вернется в Америку и что его новый фильм не будет демонстрироваться на американских экранах. «Я обойдусь без их денег,— сказал он.— Там считают, что здесь, в Европе, — мы все ничтожества... они ждут, что мы придем к ним с протянутой рукой». Чаплин подчеркнул, что не хочет жить в стране, где его друзья «будут вынуждены доносить» на него.

На вопрос о его новом фильме Чаплин ответил: «Король в Нью-Йорке» не политический фильм. Самое это слово пугает меня. Этот фильм — не сатира, а комментарий к современной жизни». На просьбу корреспондентов сообщить о его политических взглядах Чаплин сказал: «Я никогда не принадлежал и не принадлежу ни к одной из политических партий или организаций... Единственная организация, в которую я вхожу,— это Движение за мир во всем мире. Я — «поджигатель мира».

БОЛГАРИЯ

КНИГА МОЛОДОГО ПИСАТЕЛЯ

Вышла в свет повесть молодого писателя Драгомира Асенова «Наш взвод».

«О жизни армии в мирное время писатели пишут крайне мало,— сообщается в предисловии к книге.— Принято считать, что в повседневной мирной жизни военных нет места подвигам, что все в ней серо и неинтересно. Повесть молодого писателя Драгомира Асенова опровергает эту точку зрения. В книге рисуется напряженная и в то же время интересная жизнь одного саперного взвода. Писатель имел возможность лично наблюдать в «своем взводе» многих людей, с разнообразными характерами и судьбами. Он не уклоняется от изображения слабостей и ошибок, но старается показать и героическое в обыкновенной будничной жизни солдат, рассказывает об их высоких чувствах и мыслях, о товариществе, сознании долга, пламенном патриотизме, о готовности на подвиг во имя своей социалистической Родины. Командир взвода лейтенант Пахов и его солдаты: Тоска, Факир, Младен, Портной и другие — живые, убедительные образы... Закрыв книгу, читатель знает, что после школы, которую неопытная молодежь прошла в саперном взводе лейтенанта Пахова, армия вернула заводам и полям, нашей Родине зрелых, сознательных тружеников и граждан».

Болгарские зарисовки Хосе Санча.

«Я родился в Испании, в Эль-Эскориале, неподалеку от знаменитого монастыря, построенного для Филиппа II,— рассказывает художник Хосе Санча, болгарские зарисовки которого мы помещаем на этой странице.— Моя мать была школьной учительницей, отец—знаменитый художник Франсиско Санча. Незадолго до первой мировой войны наша семья переехала в Лондон, где я провел свое детство. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, я возвратился на родину. Я начал изучать живопись в Мадридской школе изобразительного и прикладного искусства. Сначала я помогал своему отцу, а потом стал самостоятельно сотрудничать в испанской прессе. Я был корреспондентом ряда испанских и иностранных журналов и газет.

В 1931 году в Мадриде была устроена первая выставка моих произведений; на ней были экспонированы картины из жизни рыбаков Леванте, а также работы, изображающие уличные сценки испанской столицы.

В 1932 году мне была предоставлена возможность организовать свою выставку в Париже, а в следующем году — в Лондоне. На этой выставке были показаны картины, изображающие мадридские кафе, пейзажи, портреты и т. д.

Одна из моих картин была премирована на Национальной выставке изобразительного искусства.

Я был членом Исполнительного комитета Союза испанских художников-графиков, а также почетным членом Ассоциации художников и скульпторов Испании. Во время гражданской войны 1936—1939 годов я служил в рядах Республиканской армии. Сейчас я живу в Болгарии и поддерживаю самые тесные связи с художниками этой страны.

В 1949 году мои работы демонстрировались в одном из художественных салонов Софии.

В настоящее время я являюсь членом Художественного совета болгарской киностудии и главным художником театра сатиры в Софии.

В 1955 году в Будапеште была организована выставка моих последних работ, выполненных в Болгарии. Я принимал участие и во многих международных выставках.

Я работаю также над иллюстрированием книг, главным образом детских. Лондонское издательство «Пингвин букс» издало написанную и проиллюстрированную мною книгу. В ближайшее время в Советском Союзе выйдет ряд книг иностранных авторов с моими иллюстрациями. Я систематически сотрудничаю как художник-график в детских болгарских и иностранных журналах».

БРАЗИЛИЯ

К ВЫХОДУ ЖУРНАЛА «ЛЕЙТУРА»

После восьмилетнего перерыва в Рио-де-Жанейро начал выходить литературный и общественно-политический журнал «Лейтура». Наряду с еженедельником «Пара тодос» это периодическое издание является органом прогрессивных слоев бразильской общественности, выступающих в защиту национальных традиций в области литературы и искусства. На его страницах выступают многие видные деятели бразильской культуры, в том числе Жоржи Амаду, известный писатель и социолог Эдисон Карнейру, журналист и юрист Осни Дуарте Перейра, ученый Карлос Друмон де Андраде и другие. «Как мы говорили ранее,— отмечается в редакционной статье первого номера журнала,— так мы заявляем и теперь, что «Лейтура» всегда будет средством пропаганды культуры, в первую очередь литературы, и всегда будет выступать против обскурантизма и прочих сил, стоящих на пути нашего прогресса».

В первом номере журнала «Лейтура» публикуются материалы о предстоящем издании произведений Грасилиано Рамоса для детей, сообщение о присуждении литературной премии имени Мачадо Ассиса писателю Гимарайсу Роса и другие информационные и критические материалы.

ВЕНГРИЯ

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

В Венгрии начал выходить новый литературно-художественный журнал «Кортарш» («Современник») под редакцией прозаика Йожефа Дарваша и литературоведа Габора Толнаи.

В первом номере помещено «Обращение к читателям». «Редакция,— говорится в нем,— стремится следовать благородным традициям журнала «Ньюгат», в котором сотрудничали Жигмонд Мориц, Эндре Ади и другие большие мастера прогрессивной венгерской литературы. На страницах «Кортарша» будут выступать писатели различных творческих направлений и жанров, однако мы подчеркиваем, что знамя, под которым мы объединились и пойдем вперед, это знамя социализма...» Отметив, что сейчас перед венгерской литературой «открываются огромные возможности и перспективы», журнал призывает писателей к серьезной творческой работе.

В журнале опубликованы рассказы Лайоша Мештерхази, Лайоша Кашшак, Арона Тамаши, Белы Иллеша, Бориш Палотаи, Гезы Фейя, стихи Йожефа Фодора, Эндре Веси, Лайоша Конья и других.

В первом номере «Кортарша» опубликовано также письмо в редакцию шести литераторов — Ласло Беньямина, Шандора Эрдеи, Лайоша Конья, Лайоша Тамаши, Иштвана Эркеня и Дьюлы Шипош, в котором они заявили, что прошлые «ошибки можно исправлять не словами, а делами». Они подчеркнули, что отмежевываются от сбежавших за границу венгерских писателей, прислужников империалистической реакции, нашедших приют под крылом «Свободной Европы», и заявили, что «не имеют никакого отношения к созданному за рубежом так называемому «Союзу венгерских писателей» и выпускаемой там «Литературной газете».

Выход нового литературно-художественного журнала — свидетельство растущей консолидации литературных сил Венгрии.

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

После долгого перерыва в Будапеште открылись двери Музея изобразительных искусств. Как известно, во время контрреволюционных событий мятежники подожгли здание музея.

Теперь в отдельной галерее устроена новая экспозиция произведений венгерского изобразительного искусства. Широко представлено также творчество английских и немецких художников. Центральное место занимает великолепная испанская коллекция музея. В ней — семь полотен Эль Греко, работы Веласкеса, Мурильо, Риберы, Сурбарана, Гойи.

Будапештский музей располагает одной из лучших в Европе коллекций графики, в которую входят, в частности, рисунки Рубенса и Рафаэля.

Открылась также Венгерская Национальная галерея. Здесь выставлены работы венгерских художников XIX века. Готовится постоянная экспозиция «Венгерская живопись XX века».

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

«НАД КАКИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ВЫ РАБОТАЕТЕ?»

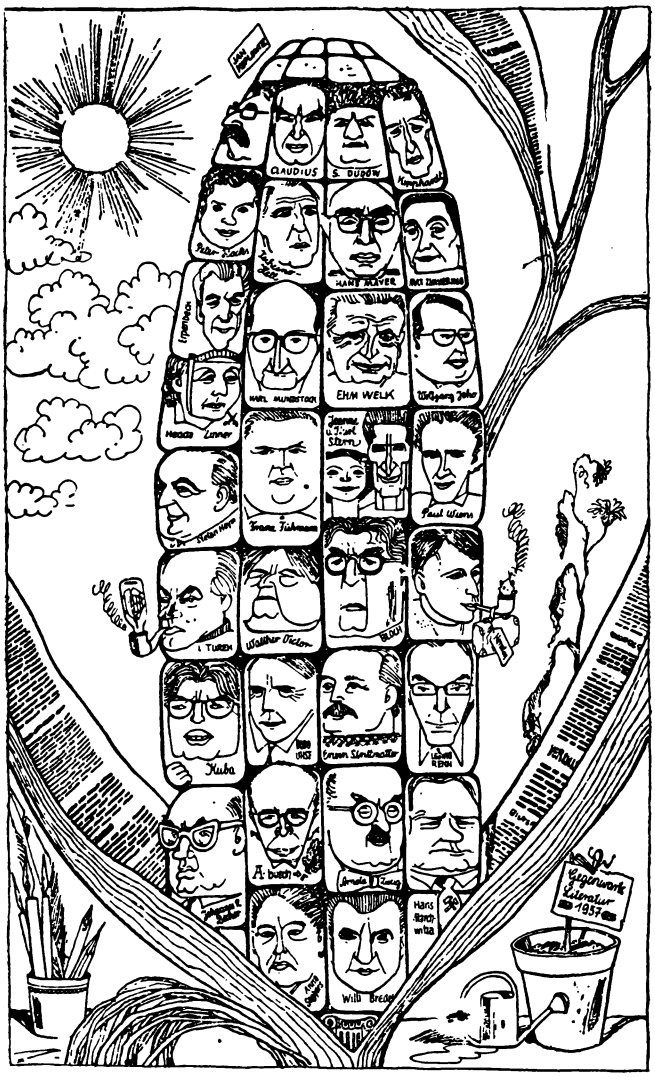
С этим вопросом еженедельник «Зоннтаг» обратился к писателям, драматургам и киносценаристам ГДР.

Анна Зегерс сообщила, что в начале 1958 года она закончит работу над романом «Решение», действие которого развертывается в послевоенной Германии.

Иоганнес Бехер ответил, что он недавно передал издательству стихотворный сборник «В разгар лета», а также цикл не публиковавшихся ранее стихотворений «Прошедшее».

Арнольд Цвейг рассказал о завершении новой книги из серии «Большая война белых людей» — «Время назрело». Сюжет относится к эпохе, предшествовавшей первой мировой войне.

Максимилиан Шеер ска-



«Пусть растет и расцветает литература ГДР в 1958 году!» Дружеский шарж художника Петера Диттриха.

(Еженедельник «Зонтаг»)

зал, что он закончил очерк о своей поездке по странам Востока; ныне он пишет пьесу для радио под названием «Заговор на Ближнем Востоке».

Эрвин Штриттматтер продолжает работать над двухтомным романом. Первый том, озаглавленный «Чудодей», охватывает период с 1910 по 1943 год и заканчивается эпизодом дезертирства героя романа из фашистской армии. Рукопись этого тома передана издательству.

Михаэль Чесно-Хелль и Златан Дудов работают над пьесой «Капитан из Кёльна». Помимо этого, М. Чесно-Хелль собирает материал для сценария о Карле Либкнехте.

Дитер Нолль сообщил, что пишет роман, посвященный последним годам войны и послевоенному времени.

БИБЛИОТЕКА ГАУПТМАНА

В Берлинском городском книгохранилище находится личная библиотека Герхарта Гауптмана, насчитывающая около шести тысяч томов.

Как сообщает газета «Нейе цейт», началась каталогизация библиотеки Гауптмана, особая ценность которой состоит в том, что на полях многих книг имеются пометки и записи, сделанные самим драматургом.

В библиотеке Гауптмана сохранилось много произведений, подаренных ему друзьями и коллегами с авторскими надписями. Такие надписи обнаружены на книгах Ромена Роллана, Томаса Манна, Фридриха Вольфа, Стефана Цвейга и других известных писателей.

По словам газеты «Нейес Дейчланд», библиотека Гауптмана будет вскоре передана создающемуся в настоящее время музею Гауптмана.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ИЗДАНИЕ НОВОГО РОМАНА ЛИОНА ФЕЙХТВАНГЕРА

Гамбургское издательство «Ровольт-ферлаг» выпустило новый исторический роман Лиона Фейхтвангера «Иеффай и его дочь».

В сообщении издательства, опубликованном в журнале «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель» (Франкфурт), отмечается, что этот роман служит новым свидетельством зрелого мастерства писателя.

«Роман «Иеффай и его дочь» будут причислять к самым совершенным произведениям Фейхтвангера, — пишет журнал. — Поразительно, до чего легко воспринимается этот, в действительности столь сложно построенный, роман: несмотря на стилизацию, в нем не ощущается ничего архаического...»

В послесловии к роману Фейхтвангер пишет: «Когда исторический роман до некоторой степени удается, он так захватывает читателя,

как не может захватить никакое другое произведение. Читатель не только понимает, но и чувствует, что проблемы, волнующие людей в романе — какие бы одежды эти люди ни носили, — те же самые, которые волнуют его сейчас и когда-нибудь будут волновать его внуков».

• • •

Роман Л. Фейхтвангера «Иеффай и его дочь» вышел недавно также в берлинском издательстве «Ауфбауферлаг» (ГДР).

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ

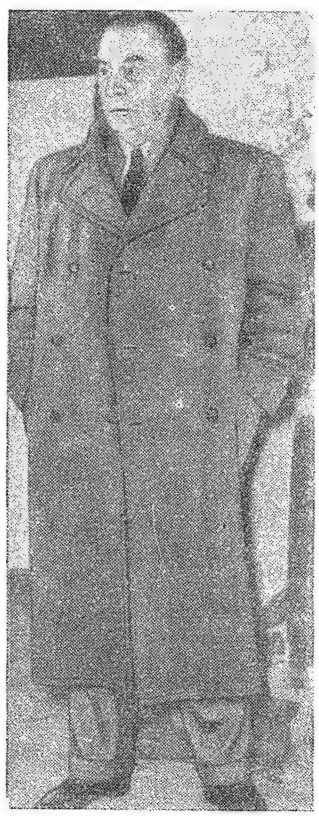
Литературный журнал «Тексте унд цейхен», редактируемый Альфредом Андершем, объявил, что с наступлением 1958 года его издание прекращается.

Комментируя это сообщение, «Нейе дейче литератур» (ГДР) пишет: «Этот литературный журнал не боялся плыть против течения, признанного официальным, он не содействовал холодной войне и литературной ремилитаризации. Такую позицию нужно оценить по достоинству. Если журнал выступил против террора во франкистской Испании, если Карл Мундшток смог опубликовать в нем очерк о поездке в Китай, если один из номеров журнала открывался известной поэмой Арагона «Сирень и розы»... — то следует признать, что в условиях западногерманской «охоты за ведьмами» это требует определенного мужества. Нельзя считать случайностью, что именно данный журнал прекращает свое существование».

Для того, чтобы не привлекать особого внимания общественности к закрытию «Тексте унд цейхен», власти отказались от таких крайних мер, как запрет. Журнал был просто объявлен нерентабельным. На его издание у государства «не нашлось средств», в то время как небезызвестная «Дейче зольдатен-цейтунг», проповедующая милитаризм, получает ежемесячную государственную субсидию в размере 13 000 марок.

«Нейе дейче литератур» подчеркивает, что закрытие журнала «Тексте унд цейхен» — симптом, показательный для современных социально-политических условий в ФРГ.

В Западном Берлине американской кинофирмой «Универсал интернейшнл филмз» снят фильм по роману Эриха Марии Ремарка «Время жить и время умирать». Фильм называется «Время любить». В роли учителя Польмана дебютирует автор романа Э. М. Ремарк. На снимке — Ремарк (слева) и артист Джон Гейвин (справа), исполняющий роль Гребера. *(Журнал «Фильм»)*



Э. М. Ремарк (учитель Польман) в одном из эпизодов фильма «Время любить». *(Журнал «Фильм»)*

ГРЕЦИЯ

НОВЫЕ СТИХИ ТАСОСА СПИРОПУЛОСА

Газета «Авги» сообщает о выходе нового сборника стихотворений поэта Тасоса Спиропулоса «Проволочные заграждения».

«Поэт Спиропулос, — пишет газета, — принадлежит к поколению людей, боровшихся за независимость и свободу нашей родины и прошедших через тюрьмы и ссылки. В сборнике запечатлены воспоминания поэта о последних тяжелых 15 годах его жизни. Но черные дни прошлого не омрачили свойственное поэту оптимистическое мироощущение Поэт ни на минуту не перестает думать и помнить о том, как огромен мир, как много света и любви на земле. Поэзия Т. Спиропулоса проста и конкретна, изящна и немногословна».

К КОНЧИНЕ НИКОСА КАЗАНДЗАКИСА

На 72 году жизни скончался Никос Казандзакис, крупнейший греческий писатель, поэт и драматург.

Французский еженедельник «Леттр франсез» отмечает, что Никос Казандзакис в 1928 году по приглашению советского правительства посетил СССР и написал об этой поездке две книги. После войны Казандзакис два года возглавлял в ЮНЕСКО бюро переводов классических произведений. С 1948 года он постоянно жил в Антибе, на Средиземноморском побережье Франции.

«Леттр франсез» отмечает исключительное разнообразие творческого наследия Никоса Казандзакиса. Поэт и беллетрист, он был также и музыкальным критиком. Много путешествуя, он написал, кроме книг об СССР, также серию путевых очерков: «Испания», «Япония», «Китай», «Англия», «Египет». Его романы «Христа распинают вновь», «Последняя попытка», «Он хочет жить свободно — убейте его!» и «Алексис Зорбас» приобрели широкую известность.

Большое внимание Никос Казандзакис уделял переводам лучших произведений мировой литературы на греческий язык. Он перевел «Фауста» Гете, «Божественную комедию» Данте, ряд пьес Шекспира и т. д.

Одна из последних фотографий греческого писателя Н. Казандзакиса.
(Еженедельник «Леттр франсез»)

ЕГИПЕТ

ТРИЛОГИЯ НАГИБА МАХФУЗА

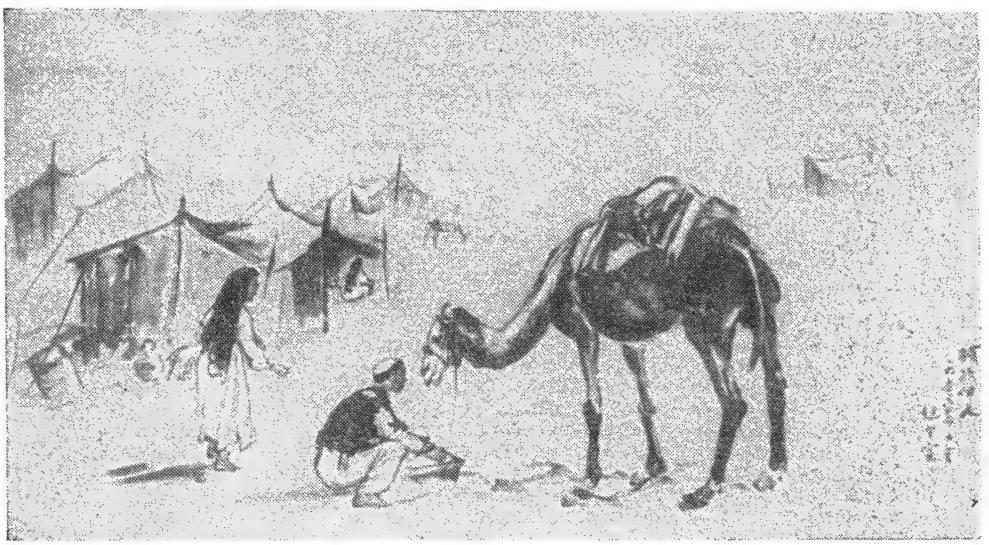
В Египте недавно вышел роман известного египетского писателя Нагиба Махфуза «Сахарница». Это — третья, последняя часть его трилогии «Между двумя дворцами». Роман, по оценке печати, принадлежит к интереснейшим произведениям египетской литературы и является самой значительной работой Нагиба Махфуза. Он дает правдивые, яркие картины жизни египтян на протяжении длительного периода, начиная с эпохи, предшествующей революции 1919 года.

«НЕ ТАК ЛИ?»

Писатель и драматург Юсуф Идрис опубликовал сборник рассказов под названием «Не так ли?». «Этот сборник, — пишет «Ас-Сакафа аль-Ватания», — представляется самым зрелым произведением Идриса».

Юсуф Идрис, по словам журнала, «идет сегодня в авангарде арабских писателей-новеллистов, которые рассматривают явления нашей жизни с новой, современной точки зрения».

«Арабы». (Из египетских зарисовок китайского художника Чжао Ван-юна).
(Журнал «Флакэоа»).



«Мать с сыном». (Из египетских зарисовок китайского художника Ши Лу).
(Журнал «Фламэра»)

«ПЕСНИ В ИЗГНАНИИ»

Издательство «Дом новой демократии» выпустило четвертый сборник стихов иракского поэта Абд аль-Ваххаба аль-Байяти, изгнанного иракскими реакционерами из своей страны. Сборник называется «Песни в изгнании» и включает стихи, написанные поэтом за два последние года в Бейруте, Дамаске и Каире.

ИНДИЯ

ОБРАЩЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ ООН

По сообщению агентства Пресс Траст оф Индиа, тридцать пять писателей и поэтов штата Керала, в том числе известный индийский поэт Валлатхол, обратились к Генеральной Ассамблее ООН с призывом достичь соглашения о запрещении испытаний всех видов ядерного оружия. В обращении подчеркивается, что такое соглашение явилось бы первым шагом на пути к всеобщему разоружению и полному запрещению производства, применения и накопления термоядерного оружия.

НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Калькуттское издательство «Сахитья коне» выпустило роман известного бенгальского писателя Кришнагопала Бхаттачария «Земля отцов» Перед читателем проходят картины тяжелых испытаний, выпавших на долю народных масс Бенгалии в годы второй мировой войны, и особенно в голодный 1943 год. Книга повествует о страшной трагедии сотен тысяч простых людей, которые, оставшись без крова и пищи, умирали на улицах Калькутты.

В издательстве «Атма Рам и сыновья» (Дели) вышел сборник кашмирского фольклора «Листья чинары», составленный Моханкришаном Дхара Книга знакомит с богатым, но малоизвестным народным творчеством Кашмира, в том числе с его сказками и баснями.

В литературном журнале «Аджкал» выходящем в Дели на языке хинди, опубликован переведенный с языка ория рассказ Чандра Мишры—«Наукри» («Должность»). Этот завоевавший популярность рассказ переведен и на другие языки Индии.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КНИЖНЫЙ ТРЕСТ

Недавно в Дели начал функционировать Национальный книжный трест, учрежденный министерством образования Индии. Выступивший на церемонии открытия премьер-министр Неру заявил, что основная цель треста — выпускать хорошие книги по цене, доступной для широкой публики, библиотек и учебных организаций. Это должно способствовать распространению книг среди широких слоев населения, что в свою очередь будет содействовать улучшению материального положения писателей.

Вице - президент Индии Радхакришнан рассказал о большом прогрессе в области культуры, наблюдающемся в стране со времени основания Республики, и отметил усилившуюся тягу народа к книгам.

В издательском плане Национального книжного треста основное внимание уделено классической литературе Индии и произведениям зарубежных классиков, а также переводам художественной литературы Индии с одного национального языка страны на другой. Будут опубликованы лучшие произведения современных индийских писателей.

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ И СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Литературный журнал Индийского ПЕН-клуба сообщает о переводах произведений русских и советских писателей на национальные языки Индии. В 1957 году на языке малайялам (Южная Индия) вышли «Война и мир» Л. Толстого, «Преступление и наказание» Ф. Достоевского и «Тихий Дон» М. Шолохова.

Журнал отмечает, что русская литература благотворно влияет на развитие литературы на языке малайялам.

В Рейкьявике (Исландия) вышла книга К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» на исландском языке.

ИТАЛИЯ

«ДНЕВНИК» ЭЛИО ВИТТОРИНИ

В издательстве Бомпиани вышла книга, обратившая на себя внимание критики и читателей и получившая самые различные оценки. Это — «Дневник» известного писателя Элио Витторини, в котором отражен большой период жизни автора: от октября 1929 до мая 1957 года. «Дневник» интересен тем, что дает представление об извилистом и сложном пути писателя, тем, что он типичен для истории идейных и духовных исканий определенных слоев итальянской буржуазной интеллигенции.

«Это зеркало, — пишет в «Контемпоранео» Карло Салинари, — в котором Витторини видит сейчас свое отражение. Витторини, сам разъясняющий себя, — одно это уже интересно. Но в этом зеркале отражается также глубокая, драматическая ломка итальянской культуры последнего тридцатилетия, видимая с помощью первоклассного объектива».

Элио Витторини в течение многих лет занимает одно из видных мест в итальянской литературе. Он автор многих романов, рассказов, эссе и считается основоположником неореалистического направления. Среди его книг, пользующихся известностью, можно назвать такие, как «Мелкая буржуазия» (1931), «Путешествие в Сардинию» (1932), «Беседы в Сицилии» (1941), «Женщины Мессины» (1949). В 1956 году вышла книга Э. Витторини «Эрика и ее братья» — история девочки, оставшейся главой семьи и вынужденной продавать себя, чтобы прокормить младших братьев.

«Дневник» показывает, как писатель, который не скрывал своего отрицательного отношения к «официальной культуре» фашистского периода и считал, что рабочий класс является движущей силой социального прогресса, в последнее десятилетие отошел на позиции отрицания необходимости организованной борьбы за новую культуру, изолировал себя от прогрессивных сил народа.

«Писатель впадает ныне в противоречие со своими собственными принципами, — пишет Салинари. — Он, постоянно призывающий к человечности и к поискам высшей правды, фактически сполз на позиции либерализма, не способного решить ни одну из жгучих проблем современности».

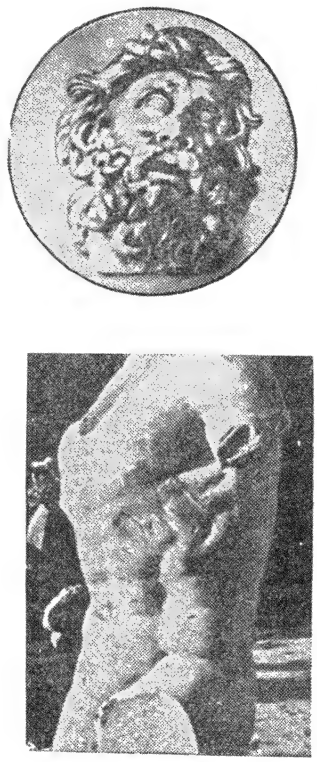
«Дневник» Витторини является, по мнению критика, интересным человеческим и литературным документом, позволяющим проследить закономерность творческой инволюции крупного деятеля культуры, воодушевленного высокими идеалами, но зашищающего позиции крайнего индивидуализма.

НОВЫЙ ВАРИАНТ ИЛИ ОРИГИНАЛ «ЛАОКООНА»?

Внимание мировой общественности было привлечено недавно к сообщениям об археологических раскопках Джулио Якопи, который полагает, что им найден оригинал скульптурной группы «Лаокоон».

Как известно, в Ватиканском музее уже имеется одна, всемирно известная скульптурная группа, изображающая смерть Лаокоона и его сыновей, которая найдена в XVI веке и считается произведением родосских ваятелей.

Не так давно, прокладывая дорогу вблизи деревушки Сперлонга к югу от Рима, рабочие наткнулись на пещеру, в которой нашли обломки монументальной мраморной скульптуры. Прибывший туда профессор Джулио Якопи, продолжив раскопки, обнаружил части скульптуры: голову и торс человеческой фигуры, туловище змеи и другие. Он высказал предположение, что это обломки оригинала скульптурной группы «Лаокоон». Однако другие ученые считают, что найденные Дж. Якопи обломки принадлежат всего лишь другому скульптурному варианту «Лаокоона». Известно, например, что такая скульптура была подарена в свое время императору Тиберию.



Детали скульптурной группы, найденной вблизи Сперлонги.
(Журнал «Иллюстрейтид Лондон ньюс»)

По мнению этих ученых, находка у Сперлонги является «тиберианским Лаокооном». В то же время Ватикан, охраняя свои коммерческие интересы и не подождав окончания научного спора, поспешил назвать профессора Якопи «ученым профаном», утверждая, что именно в Ватиканском музее находится оригинал «Лаокоона», который привлекает тысячи туристов со всех концов мира.

«ТЕАТР-КЛУБ» В РИМЕ

Как сообщает «Чинема нуово», в Риме по инициативе частных лиц создан «Театр-Клуб». В него могут вступать как профессиональные деятели драматургии

и сцены, так и люди, не имеющие непосредственного отношения к театру, но любящие театральное искусство и стремящиеся способствовать его расцвету. «Театр-Клуб» по замыслу его организаторов должен стать своеобразной трибуной для широких творческих дискуссий. Его члены получат возможность познакомиться с различными течениями в современном театральном искусстве.

«Театр-Клуб» начал свою деятельность с доклада известного итальянского артиста Витторио Гассмана о принципах актерской игры. Рассказывая о различной творческой интерпретации драматургических произведений, Гассман читал отрывки из «Гамлета», «Царя Эдипа» и мольеровских пьес, а также привлек материалы кинофильмов, иллюстрирующие различные стили актерской игры.

В программу работ «Театра-Клуба» включены выступления крупных итальянских и иностранных режиссеров и театральных деятелей.

Сцена из спектакля Пекинского народного художественного театра «Человек с ружьем» Н. Погодина. В роли В. И. Ленина — артист Дяо Гуан-тан, в роли Ивана Шадрина — артист Тянь Чун.

(Журнал «Сицзюйбао»)

КИТАЙ

ПЬЕСА ПО РОМАНУ ЛАО ШЭ

Недавно зрители китайской столицы познакомились с новой постановкой Пекинского народного художественного театра, пьесой «Рикша», созданной по одноименному роману писателя Лао Шэ.

Газета «Вэньибао» дает высокую оценку работе режиссера Мэй Цяня и всего творческого коллектива. Газета подчеркивает, что авторам спектакля удалось сохранить специфику языка романа. Особенно ценно, по мнению газеты, то, что в пьесе показан трудовой народ, правдиво отражены его революционные стремления.

По сравнению с романом в спектакле на первый план выведены представители пролетариата, которые приходят на помощь рикше Сян-цзы.

Спектакль «Рикша», пишет в заключение «Вэньибао»,— творческое достижение Пекинского народного художественного театра.

ИЗДАНИЕ ПЬЕС ХУН ШЭНЯ

В Пекине вышли в свет два первых тома сочинений одного из основоположников современного драматического китайского театра, известного драматурга и театрального деятеля Хун Шэня.

В первый том включены драматические произведения, написанные в период между 1919 годом и антияпонской войной, в том числе драма «Дьявол Чжао»— одно из ранних и наиболее известных произведений драматурга. В этот же том включены пьесы «Мест Укуй», «Рис» и «Омут зеленого дракона». Все три пьесы составляют известную трилогию из жизни китайских крестьян.

Второй том охватывает пьесы, созданные после антияпонской войны до наших дней. В него вошла драма «Если рано запел петух, смотри в небо» и другие драматургические произведения.

Третий и четвертый тома выйдут в начале 1958 года.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО»

Издательство национальной литературы начинает выпускать новый общественно-политический и литературно - художественный журнал «Миньцзу туаньцзе» («Национальное единство»). Журнал призван отражать жизнь национальных меньшинств Китая, знакомить читателей с теми изменениями, которые произошли в области политики, экономики и культуры этих народностей, с их литературным творчеством.

Журнал «Миньцзу туаньцзе», отмечает пресса, будет способствовать росту взаимопонимания между различными народностями Китая.

НИГЕРИЯ

ПЕРВЫЙ НЕГРИТЯНСКИЙ ФИЛЬМ

«Свобода» — так называется фильм, вышедший на экраны Нигерии и Ганы. Все в этом фильме, начиная от сценария и кончая режиссу-

рой и музыкой, подготовлено, как пишет «Леттр франсез», неграми—жителями разных стран. «Мы впервые видим на экране африканцев такими, какими они сами себя представляют, а также белых такими, какими их видят африканцы»,— пишет «Леттр франсез».

В фильме повествуется о борьбе негритянского народа за свободу и землю.

«Леттр франсез» сообщает, что идея создания сценария этой цветной полнометражной картины принадлежит Манасеху Моэране, вице-председателю Ассоциации африканских писателей. В работе над сценарием приняли участие Уфигале Амата (Нигерия) и Абаисса Карбо (Гана).

Натурные съемки, в которых занято десять тысяч человек, производились в Африке. Музыка написана американским негром, композитором Дж. Оуэнсом, который прошел пять тысяч километров по Африке, собирая и записывая народные мотивы и песни, положенные им в основу музыки к этому кинофильму.

Все актеры—негры, не являющиеся профессиональными артистами. Главную роль — короля Бокондо — исполняет сын предводителя одного из племен Нигерии. В остальных ролях заняты школьная учительница из Нигерии, медицинская сестра из Родезии, студентка из Ганы, врач из Южной Африки. В фильме участвует также Детройтская негритянская капелла.

Кадры из кинофильма «Свобода».
(Еженедельник «Леттр франсез»)

ПОЛЬША

ДЕСЯТИЛЕТИЕ МУЗЕЯ ЛЕНИНА В ПОРОНИНО

В конце 1957 года отмечено десятилетие музея В. И. Ленина в Поронино. Вначале он помещался в скромной комнате в доме поронинского крестьянина Гута-Мостозого. В этой комнате Ленин жил и встречался с посещавшими его революционерами.

Затем в Поронино была оборудована постоянная выставка, посвященная деятельности Ленина в период его пребывания в Польше в 1912—1914 годах.

В настоящее время экспонаты музея занимают восемь помещений. Ежедневно многочисленные экскурсии со всех концов Польши осматривают заботливо собранные в музее вещи Ленина и исторические доку-

менты, рассказывающие о его деятельности. Как сообщает польская пресса, музей ежегодно посещают более ста тысяч человек.

ФИЛЬМ ПО РАССКАЗУ ЗОЛЯ

На Лодзинской киностудии силами кинематографистов нескольких стран снимается фильм «Осада мельницы» по рассказу Эмиля Золя. Фильм будет выпущен на четырех языках: польском, немецком, английском и финском.

Как сообщает еженедельник «Зонntаг», «Осада мельницы» ставится известным финским кинооператором Эриком Бломбергом, в главной роли — немецкая артистка Марианна Кох.

НОВАЯ ТРИБУНА ПОЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В Польше начал выходить новый еженедельник «Трибуна литерацка», посвященный вопросам литературы и искусства. Одной из основных задач «Трибуны литерацкой» является, как сообщается в редакционной статье первого номера, пропаганда идей социализма и борьба за социалистическое развитие национальной культуры.

В одном из последних номеров «Трибуны литерацкой» помещена статья критика Ежи Вятра, полемизирующего с поэтом Павлом Герцем, который, рассуждая о путях развития польской литературы, задается вопросом: принадлежат или не принадлежат поляки к так называемому «Западу»?

По словам Герца оказывается, пишет Ежи Вятр, что подлинная Европа — это только Западная Европа, истинная культура — только та, в основе которой лежат элементы греческой или римской цивилизации.

Ежи Вятр резко критикует антинаучную фальшивую сущность взглядов П. Герца, указывая, что европейская культура родилась «не только на берегах Сены, Темзы и Тибра, но также и на Неве, Москве-реке, Марице и, наконец, Висле!» Польша внесла свой вклад в общеевропейскую культуру, говорится далее в статье, и этот вклад будет тем значительнее и ценнее, чем скорее страна сможет разрешить свои национальные проблемы и создать новую, социалистическую цивилизацию.

Ни интересы социализма, ни элементарное чувство национальной гордости, пишет в заключение Е. Вятр, не позволяют соглашаться с концепциями Герца, идущего в фарватере буржуазной пропаганды.

СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДЖОЗЕФА КОНРАДА

В декабре 1957 года исполнилось сто лет со дня рождения Джозефа Конрада-Коженёвского, известного писателя, поляка по происхождению, жившего и работавшего в Англии.

В честь 100-й годовщины со дня рождения Конрада в Варшаве состоялись торжества с участием польских и английских деятелей культуры. Были созваны специальные сессии Польской Академии наук, Союза польских писателей и ПЕН-клуба.

Польские и английские кинематографисты наметили создание совместного польско-английского художественного фильма «Сага о Конраде» по сценарию авторов обеих стран. В главных ролях будут сниматься польские и иностранные киноактеры.

РУМЫНИЯ

«ГОСТИНИЦА «ПЕЧАЛЬ» ФРАНЧИСКА МУНТЯНУ

Румынская критика дает положительную оценку книге молодого румынского писателя Франциска Мунтяну «Гостиница «Печаль». Франциск Мунтяну известен советскому читателю своим романом «Город над Муреш», удостоенным в Румынии Государственной премии по литературе. «Гостиница «Печаль» — сборник коротких рассказов, многие из которых носят автобиографический характер. Рецензенты отмечают, что в этих маленьких рассказах автору удалось показать трагические судьбы людей, создать психологически сложные образы.

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Вышел первый номер литературно-критического журнала «Кайете критице» («Критические тетради»), под редакцией П. Джорджеску, С. Брату и М. Шоры.

Еженедельник «Контемпоранул» сообщает, что в первом номере выступили со статьями и очерками видные представители литературной критики Михаил Раля, Тудор Вьяну, Перпессиус, а также молодые литературоведы Савин Брату, Сорин Аргир и другие.

Каждый номер журнала будет посвящен специальной теме. Материалы первого номера освещают вопросы развития румынского романа.

В журнале помещен очерк критика Думитру Мику о крестьянской тематике в румынских романах.

О романах, в которых повествуется о жизни рабочих наших дней, пишет литературовед Михай Гафица. Причиной неудачи некоторых современных произведений является, по мнению автора, то, что писатели не стараются раскрыть новый моральный облик рабочего и увлекаются отражением материальной стороны его жизни. «Книги о подпольной борьбе рабочих-коммунистов изобилуют описанием зверств охранки, но наряду с этим писатели уделяют мало места изображению сложного процесса роста революционного сознания рабочих».

Журнал «Критические тетради» публикует обширную библиографию румынских художественных произведений, изданных после 23 августа 1944 года, а также очерки и статьи о новых романах.

«Новый журнал,— пишет «Контемпоранул», — вызвал широкий отклик среди читательских масс Румынии, желающих ознакомиться с состоянием литературы в нашей стране и за рубежом».

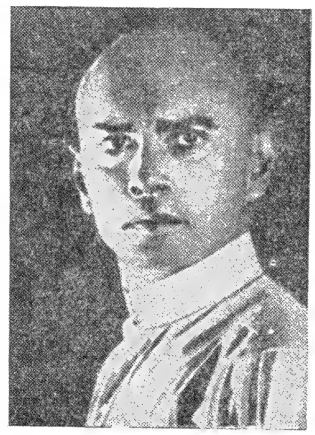
ПРЕМИИ АКАДЕМИИ РНР

Академия РНР сообщила о присуждении премий за 1957 год.

Лучшими работами в области языка и литературы были признаны перевод поэмы Адама Мицкевича «Пан Тадеуш», осуществленный румынским поэтом Мироном Раду Параскивеску (премия им. Георге Кошбука), и «Очерки по языкознанию» И. Котяну (премия им. Богдана Хаждеу).

Премией им. Йона Андрееску отмечены картины живописца Думитру Гяцэ «Цветы папоротника», «Дом, в котором родился Энеску» и другие.

Георге Чебан удостоен премии им. Чиприана Порумбеску за капитальный труд, посвященный первому собирателю румынского фольклора Антону Панну.



Американский режиссер Ричард Брукс выпустил цветной фильм по роману Достоевского «Братья Карамазовы». В роли Грушеньки выступает известная нашему зрителю по фильму «Клысы» артистка Мария Шелл (слева). Роль Дмитрия Карамазова исполняет артист Юл Бриннер.
(Журнал «Синемонд»)

СИРИЯ

«ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ»

Дамасская газета «Ан-Нур» вышла со специальным приложением-брошюрой под названием «Вопросы культуры». Приложение содержит исследования, посвященные развитию культуры в арабских странах. «Вопросы культуры», по словам «Ас-Сакафа аль-Ватания», это тот арабский теоретический журнал, который «призван регулярно освещать вопросы идеологии и политики с новых научных позиций».

ИЗДАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ ХРИСТО БОТЕВА В СИРИИ

Недавно в Дамаске издан сборник стихов Христо Ботева. Переводчик Ахмад Сулейман эль-Ахмад пишет в болгарском журнале «Септември»: «Ботевские «Гайдуки» стали очень популярны в Сирии. Мы их любим так же, как наших национальных героев и мучеников. Они показывают пример такого же исключительного патриотизма, смелости и самопожертвования, какими богата наша история. Хаджи Димитр напоминает героев наших эпопей. Девиз «свобода или смерть» — это девиз арабского поэта IX века Аль-Мутанаби. Чавдар, о котором поют песни,— это наш Юсеф, отдавший жизнь за свободу родины. Павший от руки турок Василь Левский напоминает нашего полковника Аднана Малики, убитого сирийскими фашистами. Поэзия и история, поэтический гений народа и народная борьба за свободу и счастье сроднили нас».

Газеты «Ат-Тахрир» и «Аль-Джумхур» поместили большие статьи по поводу выхода сборника. В национальной библиотеке и в дамасском университетском клубе состоялись вечера, посвященные Христо Ботеву.

США

НОВЫЕ РАССКАЗЫ ИРВИНА ШОУ

Известный американский писатель Ирвин Шоу выпустил в свет сборник рассказов «Ставка на мертвого жокея». «Нью-Йорк таймс бук ревью» и «Сэтердей ревью» отмечают, что новые рассказы Шоу резко отличаются от его прежних произведений и что американцы изображаются писателем в слишком неприглядном свете.

Герои рассказов — американцы, живущие сейчас, как и сам Шоу, в Европе. Автор характеризует их как людей без родины, чести, лишенных привязанностей и моральных принципов, людей опустошенных, эгоистичных и несчастных. Журнал «Сэтердей ревью» отмечает, что в рассказах фигурирует много «бывших» людей — «бывших любовников, бывших солдат, бывших мужей и жен». Они слоняются по Европе, влача бессмысленное и жалкое существование. Пытаясь объяснить изменение в мировосприятии Шоу, рецензент «Сэтердей ревью» пишет: «И он сам, и герои его рассказов являются порождением не той войны, которая окончилась в 1945 году, а порождением холодной войны, навязчивой мысли, что война может стать более горячей...»

ТРИЛОГИЯ УИЛЬЯМА ДЮБУА «ЧЕРНОЕ ПЛАМЯ»

Известный прогрессивный ученый и литератор Уильям Дюбуа работает над

трилогией «Черное пламя», посвященной жизни негров в США и относящейся к периоду с 1870 года до наших дней.

Недавно вышел в свет первый роман трилогии «Испытания Мансарта». Герой романа — сын негра-раба. Автор знакомит читателя с трагическими и позорными событиями, которые имели место вскоре после отмены рабовладения в Америке, рассказывает о том, как охотились за неграми и истребляли их на улицах и в домах, показывает, как зародилась организованная борьба негритянского народа, как сформировалась «Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения».

Дюбуа пишет, что его книга почти целиком написана на основе подлинных фактов и документов, что легко может быть проверено. «Однако,— говорит далее Дюбуа, — это не исторический трактат. Напротив, я использовал художественный вымысел, чтобы интерпретировать некоторые исторические факты, которые без этого были бы непонятны... Используя форму исторического романа, я стараюсь осветить большой период истории, который на протяжении полувека привлекал мои мысли...» В прогрессивной американской печати, живо откликнувшейся на книгу Дюбуа, отмечается, что по своим художественным качествам роман заслуживает высокой оценки.

«ЧЕРНЫЙ РЫНОК» В ГОЛЛИВУДЕ

На страницах газеты «Уоркер» писатель Майкл Голд делится своими впечатлениями о Голливуде, который он посетил после двадцатилетнего перерыва. Киногород показался ему одновременно «протрезвевшим и напуганным».

«Голливуд одолевают заботы морального и материального порядка,— пишет Голд.— Тысячи кинотеатров страны закрываются, и около половины всех людей, занятых в кино, остаются без работы.

Некоторые считают, что в этом повинно телезрение, другие проклинают тупость владельцев киностудий. Я же согласен с мнением моих друзей из Голливуда, которые возлагают вину на Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Клеветники из числа охотников за ведьмами наполнили этот город ужасом, который страшнее, чем ядовитый туман, отравляющий здешний воздух.

В лице писателей маккартизм убил душу кинопромышленности. Без хорошего сценария актеры и режиссеры мало что могут сделать... Когда вспыхнула болезнь маккартизма, владельцы киностудий не проявили желания бороться с ней. Они, как мыши, обратились в паническое бегство, а после того как последовали погромы, линчевания, публичные унижения и ложные обвинения, выяснилось, что многие лучшие писатели были изгнаны из кинопромышленности. Между тем многие из этих писателей были большим источником дохода для владельцев студий. Зрители — странные люди. Они любят хорошие картины. Сейчас поток серой посредственности захлестнул наше кино. Главным образом по этой причине телевидение стало такой доходной статьей. Только дурак станет тратить свой с трудом заработанный доллар, чтобы посмотреть чушь, которую показывают в кино, когда такую же чушь можно увидеть по телевизору...

Жадные ищейки Голливуда, умеющие найти способ выколачивания долларов, изобрели способ ликвидировать сценарный кризис. Мозги писателей стали продаваться на черном рынке Голливуда — этом безусловно самом необычном рынке в истории. Владельцы студий отыскивали голодающих сценаристов, ставших жертвами маккартизма, и, соблазняя деньгами, побуждали их снова писать, ко, разумеется, под чужим именем. Эти писатели поставлены вне закона, и потому оплата их равняется половине, а иногда и третьей части того, что они получали раньше. Поставленные вне закона, они не могли торговаться, как это сделали бы полноправные граждане. Так началось тайное переливание Голливуду крови, насыщенной творческими идеями, и таким образом Голливуд смог продолжать свое существование».

Майкл Голд рассказывает далее, что при недавнем присуждении голливудской премии «Оскара» за лучший сценарий был особо отмечен некий Роберт Рич. Автора долго искали для вручения награды, но не смогли найти. Прошел слух, что Рич — просто литературный псевдоним писателя Долтона Трамбо, занесенного в черный список. «Трамбо ничего не отрицал и не подтверждал,— пишет Голд,— но сильно удивил всех, сообщив, что уже несколько сценариев, написанных им подпольно, было намечено для получения премии «Оскара». Надо заметить, что один из маккартистских запретов гласит: сценарии авторов, занесенных в черный список, не могут быть представлены для получения премии.

Весь этот эпизод заставил подпольных тружеников Голливуда смеяться до колик в животе. Это признак того, что времена меняются и сценаристы и артисты вновь обрели возможность смеяться. Может быть, в недалеком будущем они обретут способность думать и говорить... Гильдия кинодраматургов, ранее беззащитная и немая от страха перед маккартизмом, недавно смело выступила в защиту авторских прав Майкла Уилсона (автора сценария «Соль земли»). Это первый случай, когда писательская организация выступила против фашистов... Одна крупная киностудия недавно осмелилась вновь взять на работу автора, поставленного вне закона за неповиновение одной из грязных комиссий. Да, климат в Гол-

ливуде, как и во всей стране, меняется. У демократии все же есть будущее в стране Джефферсона...»

РАССКАЗЫ ХЕМИНГУЭЯ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ

«Дейли уоркер» сообщает, что Эрнест Хемингуэй согласился на инсценировку пяти своих рассказов для телевизионной передачи. Цикл передач будет называться «Рассказы о Нике Адамсе». По сообщению радиовещательной корпорации «Колумбия», получившей разрешение на телепередачу, «каждый из рассказов относится к решающим моментам в жизни Ника Адамса, молодого человека, достигающего зрелости в двадцатых годах нашего века». К инсценированным рассказам относятся: «На сон грядущий», «Свет мира», «Что-то кончилось», «Трехдневная непогода», «Боксер».

ТРИНИДАД

ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩЕЕ «КАЛИПСО»?

В последнее время на Западе много пишут и говорят о новой музыкальной моде — песнях «калипсо». Одни приветствуют их распространение как противоядие против «рок-н-ролла», другие пытаются использовать «калипсо» для разжигания нового массового психоза.

Что же такое настоящее «калипсо»? С таким вопросом редакция австралийской газеты «Трибюн» обратилась к тринидадскому писателю Ральфу де Буассье. Он сообщил следующее: «Существует версия, что песни «калипсо» родились на сахарных плантациях Тринидада, среди негров-рабов, и стали рабочими песнями с элементом сатиры.

Особенностью «калипсо» является очень простая гармония и повтор музыкальных фраз. Однако эта простота обманчива, она требует большого исполнительского мастерства, иначе аудитория просто не станет слушать певца.

Песни «калипсо», как правило, недолговечны, они откликаются на текущие события, становятся на время очень популярными и затем забываются, уступая место новым. К сожалению, никто их не записывает, никто не изучает фольклор народов Вест-Индии.

Цензура, введенная во время войны и сохранившаяся по сей день, значительно ограничила распространение социально-сатирических «калипсо».

Ральф де Буассье считает, что коммерческий успех «калипсо», который вызван шумихой, поднятой в Голливуде, по радио и в прессе, в определенной степени поможет материально исполнителям этих песен, живущим в страшной нищете. Но, с другой стороны, подчеркивает писатель, попав в кабалу к коммерсантам-импрессарио, певцы не могут сохранять национальную самобытность своих песен. Певцы «калипсо», уезжающие в Англию и США, чтобы выступать там в ночных клубах, отрываются от корней, питающих их творчество.

ФРАНЦИЯ

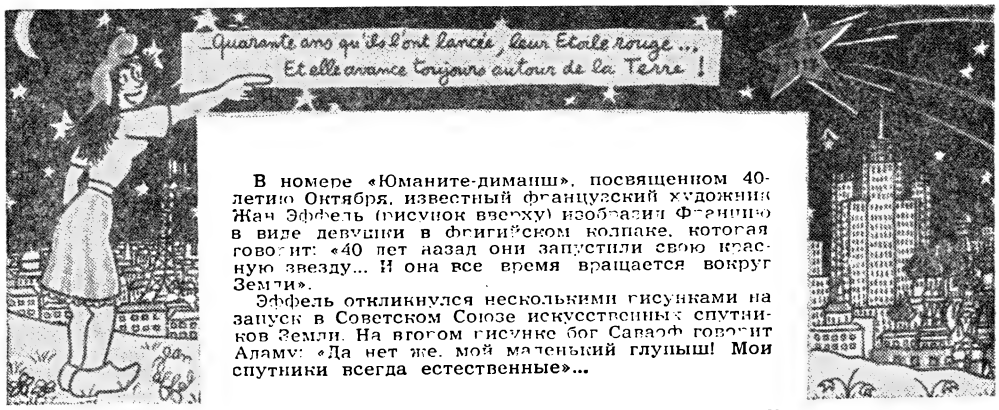
ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Один из недавних номеров парижского журнала «Эроп» посвящен широкому кругу проблем, связанных с жанром научной фантастики, который за последнее время получил большое распространение во Франции. Писатели и литературоведы Пьер Абрагам, Пьер Гамарра, Шарль Добжинский, Жан Марсенак, Мартин Моно, Владимир Познер, Марк Сориано, собравшись в редакции журнала, высказали свое мнение о роли, которую играет научная фантастика в популяризации научных проблем, и о путях дальнейшего развития этого важного жанра художественной литературы. Большое место в дискуссии заняла резкая критика наводнивших французский книжный рынок американских и французских романов, где достижения современной науки и науки завтрашнего дня освещаются с позиций холодной войны и атомной истерии. Многие авторы американских фантастических романов, по словам Шарля Добжинского, переносят в изображенный ими завтрашний день человечества проблемы и конфликты современной американской капиталистической действительности; вся эта литература сдобрена фрейдистским психоанализом. «Но существует,— сказал Шарль Добжинский,— и другая линия — линия подлинно научной фантастики, опирающейся на величайшие достижения человеческого разума и проникнутой верой в творческие силы человека. Эта литература, продолжающая традиции научной фантастики Жюля Верна и Герберта Уэллса, отражает стремления прогрессивного человечества перестроить мир, преобразовать природу и общественный строй». Шарль Добжинский отметил при этом, что к таким авторам научно-фантастических книг, которые несут в себе веру в победу людей над силами природы и над силами политической реакции и критически относятся к современной действительности США, относится, в частности, американский романист Рэй Брэдбери.

В журнале «Эроп» напечатаны также статья Жана-Шарля Пишона, представляющая собой критический обзор «атомного» творчества современных западных писателей, работа Франсуа Кереля о социальной фантастике Карела Чапека и другие.

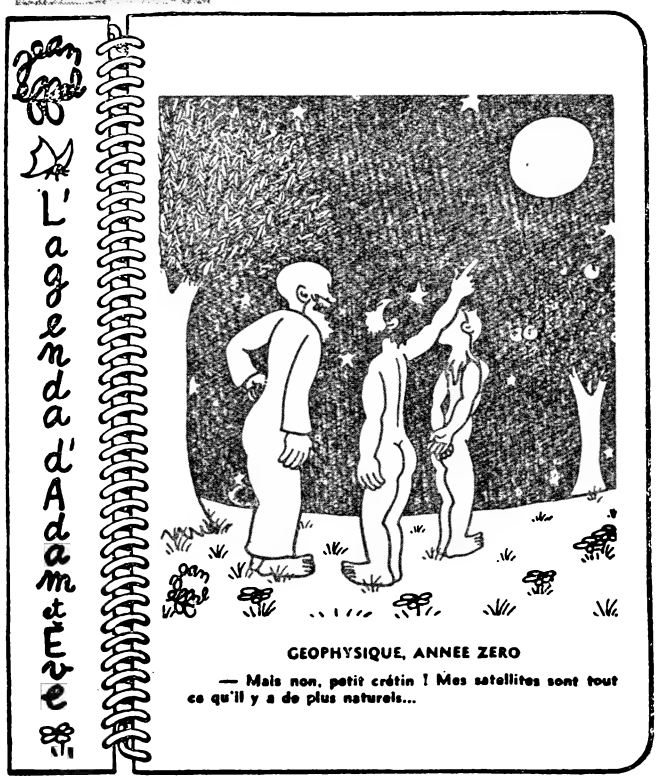
«ЗЕЛЕНЫЕ МАНГОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ» М. АЛЛЕЙН

Недавно литературная критика отметила появление нового романа писательницы Мадлен Аллейн «Зеленые манговые деревья», в основу которого положена тема национально-освободи-



В номере «Юманите-диманш», посвященном 40-летию Октября, известный французский художник Жан Эффель (рисунок вверху) изобразил Францию в виде девушки в фригийском колпаке, которая говорит: «40 лет назад они запустили свою красную звезду... И она все время вращается вокруг Земли».

Эффель откликнулся несколькими рисунками на запуск в Советском Союзе искусственных спутников Земли. На втором рисунке бог Саваоф говорит Адаму: «Да нет же, мой маленький глупыш! Мои спутники всегда естественные»...



КНИГИ ЛУ СИНЯ ВО ФРАНЦИИ

Парижский еженедельник «Леттр франсез» посвятил большую статью творчеству великого китайского писателя Лу Синя. Автор статьи Арман Гатти анализирует новеллы Лу Синя, изданные недавно в Париже во французском переводе, и дает очерк жизненного и творческого пути замечательного китайского реалиста, «генерал-аншефа китайской культурной революции», как именует его Гатти. Напомнив читателям, что Лу Синя сравнивают с классиками мировой литературы, критик подчеркивает в то же время национальную самобытность его творчества.

ПРИСУЖДЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

Недавно состоялось присуждение крупнейших ежегодных литературных премий, в том числе Гонкуровской и Ренодо.

Гонкуровской премии удостоен роман «Закон» писателя Роже Вайяна (см. настоящий номер «Иностранной литературы», стр. 261). За несколько дней до присуждения Роже Вайяну Гонкуровской премии рецензент «Леттр франсез» А. Виелор писала: «Из книг, намечаемых к премированию, «Закон» заслуживает наибольшего внимания... Присуждение Вайяну Гонкуровской премии явилось бы признанием — хотя и несколько запоздалым — таланта писателя... «Закон»,

тельной борьбы африканских народов. Героиня романа — молодая француженка Юдифь, работающая во французской администрации в Экваториальной Африке. Она знакомится с Арнисом — негром-художником, одним из руководителей негритянского национального движения. Полюбив его, Юдифь начинает участвовать в негритянском освободительном движении. Несмотря на то, что впоследствии Арнис уходит от нее, Юдифь продолжает отдавать этой деятельности все силы, найдя, таким образом, свое место в жизни. «Книга написана прозрачным, ясным языком и обладает достоинствами подлинного художественного произведения, лишенного всякой предвзятости и схематизма»,— пишет о романе Мадлен Аллейн рецензент «Леттр франсез».

правда, не является его лучшей книгой, однако, если говорить о писательском мастерстве, это наиболее совершенное произведение Вайяна».

Премия Ренодо присуждена молодому писателю Мишелю Бютору за его роман «Изменение». Критик «Леттр франсез» отмечает, что предыдущая книга Бютора была написана под сильным влиянием модернистской литературы, но его последнее произведение свидетельствует об изменении творческих приемов писателя, о развитии его таланта.

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ СЕРИИ» В 1958 ГОДУ

Парижские издательства ежегодно выпускают так называемые «литературные серии», которые включают произведения, объединенные общей темой или относящиеся к одному жанру. В серию входят от 5 до 40 книг.

«Леттр франсез» сообщает о планах издания таких серий в 1958 году. Издательство Галлимар продолжит выпуск серий «Призвание» и «Южный Крест». Первая из них посвящена теме формирования творческой личности художника. Уже вышли книги о Гюго, Рембо, Валери. В 1958 году будут выпущены монографии о творчестве Флобера, Бодлера, Андре Шенье. Серия «Южный Крест» знакомит французского читателя с литературой Латинской Америки. В этом же году будут изданы поэмы Пабло Неруды и ряда молодых латиноамериканских авторов. Издательство Галлимар продолжает выпуск серии «Советская литература», в которой вышли, в частности, произведения Яновского, Тынянова, Айни Садреддина. Редактор этой серии, Арагон, сообщил, что в 1958 году будут опубликованы романы Ауэзова, Малышкина и Леонова.

Издательство «Сей» продолжит выпуск серии книг молодых авторов, в основном поэтов.

Начинается выпуск серий «Будущее в настоящем» (научно-фантастическая литература), мемуарных произведений и т. д.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

РАССКАЗЫ ИРЖИ ВЕЙЛЯ

«Новы живот» сообщает о выходе в свет сборника «Шильонский узник» И. Вейля, названного так по одноименному рассказу писателя, переведенному на ряд европейских языков. В сборник вошли рассказы, публиковавшиеся в разное время на протяжении последних двадцати лет. Перед читателем предстают различные страны и исторические периоды, проходят рабочие и капиталисты, крестьяне и горожане. Но во всех этих рассказах есть общая черта — это их антивоенная, антифашистская направленность, стремление к миру и вера в человека.

«Написанные просто, сжато, — указывает «Новы живот», — они отличаются простой композицией, большой внутренней динамичностью и драматичностью. Герои Иржи Вейля это простые люди, обладающие большой жизненной силой, исполненные спокойного, но непоколебимого оптимизма. Автор не посторонний наблюдатель, он не смотрит на своих героев сверху вниз, а живет рядом с ними, вместе с ними; он не судит их, не морализирует, а просто и доступно рассказывает о них, потому что прекрасно знает их мысли и чувства, владеет их простым, народным языком... И результатом этого является то большое впечатление, которое производят рассказы Вейля».

«ЧЕЛОВЕК ПУТЕШЕСТВУЕТ»

Так назвал Доминик Татарка свою книгу очерков о совершенных им поездках в Швейцарию, Францию, Англию и Монголию. «Это чрезвычайно живо, образно и остроумно изложенные путевые впечатления, наряду с которыми автор затрагивает ряд проблем, — пишет «Культурны живот». — Все то, что Татарка видит, он сопоставляет с жизнью в Словакии и Чехии...» Наблюдая капиталистический мир, автор отмечает его пороки и противоречия, оценивает его с точки зрения гражданина страны, идущей по пути социализма.

«Культурны живот» считает, что книга Татарки является оригинальной разновидностью широко распространенного в Чехословакии жанра репортажа и большим достижением автора в его творческом развитии.

ФИЛЬМ «ВОЙНА С САЛАМАНДРАМИ»

Чехословацкие и американские кинематографисты приступили к совместному созданию кинофильма. С начала 1958 года на пражской киностудии начинаются съемки цветной картины «Война с саламандрами» по одноименному роману Карела Чапека. Фильм создается в двух вариантах — на чешском и английском языках.

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ АНДРЕЯ ПЛАВКИ

Исполнилось 50 лет словацкому поэту, прозаику и публицисту Андрею Плавке. Газеты «Литерарни новины» и «Культурны живот» поместили статьи, посвященные жизни и деятельности писателя-коммуниста, который всегда твердо стоял на позициях реализма. Новеллы и поэмы Плавки широко известны в Чехословакии. Их источником, пишут «Литерарни новины», служит народная поэзия, героические предания Липтова, родины народного героя Яношика. Плавка, подчеркивает газета, никогда не уходит от современности. Тема борьбы за справедливость и мир, тема труда нашли свое выражение в его поэмах «Три реки», «Зеленая ветка» и лирических стихотворениях.

Писатели Чехословакии горячо поздравили А. Плав-

ку. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Словакии К. Бацилек вручил юбиляру — первому секретарю Союза словацких писателей — поздравительное письмо ЦК КПС.

ЧИЛИ

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА ГАБРИЭЛЫ МИСТРАЛЬ

В Чили недавно вышла книга «Габриэла Мистраль, замечательная мятежница». Автор — Матильда Ладрон де Гевара — рассказывает о своих встречах с выдающейся поэтессой.

Наиболее интересными материалами этой книги являются неизвестные письма Г. Мистраль, содержащие ее высказывания по вопросам литературы и политики.

Журнал «Мундо архентино» цитирует одно из не публиковавшихся ранее писем чилийской поэтессы, где Мистраль высказывает свое резко отрицательное отношение к войне.

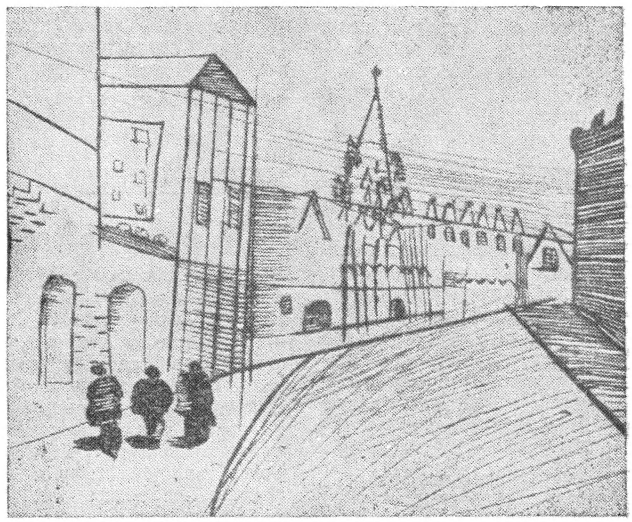
НОВЫЙ РОМАН В. ТЕЙТЕЛЬБОЙМА «ЗЕРНА В ПЕСКЕ»

Издательство «Аустраль» выпустило новый роман В. Тейтельбойма «Зерна в песке». Газета «Сигло» опубликовала рецензию на книгу, где, в частности, отмечается: «Когда по прошествии многих лет люди будут писать о борьбе чилийского народа в эти последние годы, то существование концентрационного лагеря Писагуа войдет в историю страны в качестве одной из самых мрачных ее страниц. Книга Тейтельбойма — художественное отображение событий этого времени, роман о людях, переживших трагедию концлагеря и показавших образцы беспримерного героизма».

Среди тысяч заключенных концлагеря находился и сам автор романа. Однако «Зерна в песке» не просто хронологическая запись событий, имевших место в действительности, а художественное произведение, появление которого Союз писателей Чили отметил как выдающееся событие в литературной жизни страны и устроил чествование Тейтельбойма в связи с выходом в свет его романа.

Чилийский литературный критик Хоакин Хименес в статье, опубликованной в газете «Сигло» и посвященной анализу творчества В. Тейтельбойма, пишет: «Зерна в песке» — доказательство того, что В. Тейтельбойм является зрелым и требовательным мастером слова, умеющим обобщать явления жизни с позиций реализма; сочный язык романа помогает читателю легче понять огромный и сложный мир заключенных концлагеря Писагуа».

Книга иллюстрирована рисунками известного чилийского художника Хосе Вентурелли.



«Трое мужчин на дороге» — офорт шведской художницы Гюн Кеесле, участницы VI Всемирного фестиваля молодежи в Москве. Работы художницы экспонировались в дни фестиваля на Международной художественной выставке.

ШВЕЦИЯ

СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ МУЗЕЯ АВГУСТА СТРИНДБЕРГА

Газета «Ню даг» сообщает, что «Общество Стриндберга» открыло выставку, посвященную Августу Стриндбергу, в доме, где писатель провел последние годы своей жизни. В «Голубой башне», как сам Стриндберг назвал свое последнее жилище, собраны многие экспонаты, относящиеся к его жизни и творчеству. Среди экспонатов выставки рукописи, письма, документы, первые издания произведений, неопубликованные работы, папки с вырезками и т. д. Экспонаты свидетельствуют о многообразии творческих интересов Стриндберга. Здесь, в частности, представлены две картины, принадлежащие его кисти, и флейта писателя.

«Ню даг» опубликовала заметку об этой выставке под заголовком «В «Голубой башне» будет музей, но необходимо 25 тысяч крон».

ЮГОСЛАВИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР «САВРЕМЕНИКА»

Сдвоенный номер журнала «Савременик» (№ 11 — 12) посвящен 40-летию Великого Октября. В журнале помещены статьи Р. Чолаковича «Дух Октября», В. Глигорича «Пламя Ок-

тября», Д. Максимович «Встреча с советскими поэтессами» и другие, а также произведения русских и советских писателей и поэтов, в частности «Песня о буревестнике» М. Горького, поэмы «Двенадцать» А. Блока, «Хорошо» В. Маяковского и «Дума про Опанаса» Э. Багрицкого, рассказ М. Шолохова «Судьба человека».

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛЕТИНЫ БУРСАЧА» НА СЦЕНЕ

Писатель Миня Дедич инсценировал рассказы Бранко Чопича «Приключения Николетины Бурсача» (см. «Иностранную литературу» № 3, 1957). Недавно состоялась премьера пьесы «Приключения Николетины Бурсача» в Белградском драматическом театре. Газеты «Борба» и «Политика» отмечают, что белградские зрители тепло встретили инсценировку популярного произведения Чопича. В роли Николетины выступил артист Радет Маркович.

Пьеса «Приключения Николетины Бурсача» поставлена также в Народном театре столицы Боснии и Герцеговины — Сараево.

ЯПОНИЯ

АКТУАЛЬНАЯ ФАНТАСТИКА

В Японии вышел на экраны кинофильм «Годзилла».

...Испытательные взрывы водородных бомб потревожили живущее в глубинах Тихого океана чудовище — Годзиллу. Разъяренная Годзилла, страшную силу которой можно сравнить только с разрушительной силой ядерного оружия, выходит на сушу и начинает уничтожать японские города и поселки: разрушает дома и заводы, пожирает железнодорожные вагоны с людьми, огненным дыханием сжигает посевы, плавит стальные конструкции. Казалось бы, ничто не в силах остановить чудовище. Тем не менее, средство, с помощью которого можно уничтожить Годзиллу, существует. Молодой японский ученый изобрел аппарат, который способен на расстоянии разлагать или восстанавливать клетки живой ткани. Этот ученый долго не решается пустить в ход оружие, опасаясь, что оно в будущем может быть использовано против самих же людей. Однако в конце концов он применяет свой аппарат, чтобы предотвратить гибель человечества, и уничтожает Годзиллу.

Таков сюжет фантастической кинокартины «Годзилла».

Кинокартина «Годзилла», сообщает польский журнал «Фильм», несмотря на свой фантастико-приключенческий сюжет, поднимает проблему, глубоко волнующую вместе с японским народом также народы всего мира,— проблему запрещения термоядерного оружия и предотвращения войны.

Режиссер фильма— Исиро Хонда, производство студии Томодзуки Танака.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Го Мо-жо — 郭沫若 (род. в 1892 г.) — известный китайский общественный деятель, писатель и историк, президент Академии наук КНР. Произведения Го Мо-жо широко известны советскому читателю. Публикуемые стихотворения присланы автором в рукописи.

Габриэла Мистраль — Gabriela Mistral (1889—1957) — знаменитая чилийская поэтесса и педагог, лауреат Нобелевской премии за 1945 г., автор «Сонетов о смерти» ("Soneto de la muerte", 1914), а также сборника «Скорбь» ("Desolación"), поэм «Белые облака» ("Nubes blancas", 1930) и «Нежность» ("Ternura").

Ивайло Петров (Кючуков) (род. в 1923 г.) — болгарский писатель. Первые рассказы его были опубликованы в газете «Народна младеж» в 1948 г. Повесть «Нонка» вышла отдельным изданием в Болгарии под названием «Нонкина любовь» ("Нонкината любов", 1956).

Тудор Аргези — Tudor Arghezi (род. в 1880 г.) — известный румынский поэт. Его перу принадлежит большое число поэтических сборников, в том числе «Нужные слова» ("Cuvinte potrivite"), «Цветы плесени» ("Flori de mucigai"), «Песенки на посиделках» ("Cîntece de sezătoare"), «Улей» ("Prisaca"), «Песнь человеку» ("Cintarea omului"), «Пестрые стихи» ("Stihuri pestrițe"). Стихотворения «К звездам» и «Длинна дорога» взяты из сборника «Песнь человеку», стихотворения «Песня» и «Плуг» — из сборника «Нужные слова».

Мартин Наг — Martin Nag (род. в 1927 г.) — молодой норвежский литературный критик, автор книг и статей о советской литературе. Статья прислана автором в рукописи.

Чжоу Ян — 周揚 (род. в 1908 г.) — китайский критик, кандидат в члены Центрального Комитета и заместитель заведующего Отделом агитации и пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая. Статьи Чжоу Яна публиковались в советской прессе. Печатаемая статья написана автором для нашего журнала.

Жорж Садуль — Georges Sadoul (род. в 1904 г.) — французский историк и теоретик киноискусства. Статьи Жоржа Садуля публиковались в журнале «Иностранная литература» (см. № 6, 1955 г. и № 5, 1957 г.).

Жан Эффель — Jean Effel (Франсуа Лежён) (род. в 1908 г.) — французский художник, автор широко известных серий сатирических рисунков «Сотворение мира» (см. статьи о творчестве Жана Эффеля в журнале «Иностранная литература» № 4, 1956 г. и № 6, 1957 г.).

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:
И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, Н. И. Родионов** (зам. главного редактора), **С. П. Щипачев.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая улица, дом № 41. Телефон В 1-43-80.

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. Ф. Марков.*

А 10564. Сдано в производство 17/XI 1957 г. Подписано к печати 21/XII 1957 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9,0 бум. л. + 1 вкл. П. л. 24,66 + 1 вкл.
Зак. 2564 Цена 8 руб.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 8 руб.